Владимир Тендряков

Владимир Тендряков
3



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

Владимир Тендряков

Собрание сочинений в четырех томах

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

Владимир Тендряков

Собрание сочинений

ТОМ
3

Роман. Очерк.

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

Р2
Т33



$Т\frac{70302-199}{028(01)-80}$ подписное

Свидание с Нефертити

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Три дня назад он сдал последний экзамен за десятый класс. Позавчера впервые в жизни выпил красного вина на выпускном вечере. Вчера сел на поезд...

Раннее утро, нет пяти часов — город спит, город пуст. Окна еще хранят в своей глубине ночь. Они и в упор и с высоты выжидающе уставились на белоголового паренька в затасканной куртке с «молнией» и в новых, нескладно сшитых штанах.

На вокзале он не расспрашивал: где такая-то улица, как найти, как проехать? Он, сдерживая нетерпение, просто зашагал навстречу городу. Ни один человек его здесь не знал. Да он и приехал не к знакомым, а знакомиться. Знакомиться с городом, о котором с люльки слышал.

И вот разбитые сандалии, на которых еще сохранилась пыль деревенских проселков, звонко шлепают по асфальту: «Здравствуй! Ты — Москва, а я — Федор Матёрин!»

Сначала он удивлялся не самому городу — удивляли на каждом шагу маленькие открытия, одно другого чуднее.

Мост. По нему ходят поезда. Мост как мост — в этом ничего странного нет, только он перекинут не через реку, а через улицу. Мост через сухое!..

Человек в холщовом фартуке, с той величавой суровостью на лице, какая бывает у провинциальных кассиров и ночных сторожей, поливает из кишки асфальт. Что это за человек? Понятно — дворник. А вот зачем он поливает камень?.. Моет?.. Это улицу-то! Все равно что на лугу траву причесывать. Должно, от воды асфальт крепче становится, меньше стирается. Ишь ты, следят...

Для деревьев в асфальте проделаны окна. Каждое окно в землю закрыто чугунной решеткой, посередине — дыра для ствола. Но ведь дерево-то растет, лет через десять стволу станет тесно, куда тогда решетку? Выбрасывать на свалку? Пробросаешься, она, по всему видать, стоит не дешево. Наверное, дерево спиливают, пень корчуют, на его место сажают молоденькое...

Витрина магазина, как не задержаться... За стеклом на черном бархате богатство, какого в жизни не видывал: часы с цепочками и ключиками, часы с черными циферблатами, с белыми, с желтыми, часы большие и, верно, тяжелые, как кистень, часы крохотные, с ноготь, и — шутка ли — полно золотых! Все это рядом, на виду, за стеклом — ткни и хватай. А перед отъездом соседи толковали: «Там, в городе-то, гляди в оба: ловкачи на каждом шагу, деньги зашей в подкладку...» Что эти зашитые рубли ловкачам, если им хоть раз в жизни мимо такого окна пройти пришлось... Но неспроста торчит в будочке — как раз на другой стороне дороги — фуражка милиционера. Уж он-то поглядывает... Неприлично глазеть, Федька, шагай дальше!

Шаг за шагом в маленьких чудесах и странностях вырастал для Федора неведомый мир. Здесь дома потеряли привычное понятие домов со скатами крыш, с бревенчатыми связями углов, выступающими крылечками, здесь дома — каменные берега, или беспощадно стискивающие узенькие улочки, или степенно глядящие друг на друга через улицы просторные. Здесь вся земля, та живая земля, что выбрасывает зеленые побеги, покрыта сплошь каменной коркой. Здесь водой поливают камень, а корни деревьев прячут за решетку.

Все свои неполных восемнадцать лет Федор прожил в деревне Матёре.

Тридцать пять дворов, стайка серых, под воробьиный цвет, изб рассыпалась в размашистом колене, которое делает мелководная речушка Уждалица. Вокруг деревни —

половодье картофельной ботвы, на берегу Уждалицы — курные баньки и клочковатые кусты ивняка, объеденные козами, в самой реке — несметные полчища пескарей. В деревне Матёре живут два Опенкина да учительница Кваскова, остальные — все Матёрины. И Федор не исключение — носил эту привычную, как сам деревенский мир, фамилию. Его часто звали по имени-отчеству — Федор Васильевич, не потому, что очень уважали,— где там, мальчишка,— а для отлички, так как жил еще один Федор Матёрин, но Иванович — семейный мужчина на пятом десятке.

Десять лет из семнадцати Федька топтал одну дорожку от Матёры в школу на станцию — три километра: тропка через огороды, шаткий мостик через овражек, один за другим перелесочки — ельник, березняк, осинничек, а дальше большаком. Зимой и летом, весной и осенью, ранним утром и поздним вечером — тропка через огороды, мостик, ельник, березняк... Хоть с завязанными глазами. Случалось Федору и покидать деревню Матёру, не то чтоб надолго, не то чтоб далеко, до разъезда Кошкино, в гости к тетке — семьдесят пять километров, езды два часа, даже больше.

А мимо их станции шли поезда: Архангельск — Москва, Владивосток — Москва, Москва — Хабаровск.

Шли поезда... В деревне же Матёре шкодливая коза бабки Марфиды объедала капусту, ребятишки штанами ловили пескарей на реке. И для Федьки одна дорога — тропкой по огородам, мостиком, ельничком, березнячком, осинничком...

Шли поезда, везли незнакомых людей: Архангельск — Москва, Владивосток — Москва, Москва — Хабаровск. Да есть ли эти города на свете? Они, словно тридевятое царство, о котором толкуют в сказках, так же далеки и недосягаемы.

Три дня назад сдал последний экзамен за десятый класс и решил сам себе сделать подарок. Сам себе — другие бы не догадались. Съездить в Москву! В Москву! В то самое тридевятое для Матёры царство! Это казалось дерзостью. А на самом деле вышло просто: надел новые штаны, купил билет, сел в поезд, день проторчал у окна, ночь продремал, сидя в уголку... Неполный день и урезанная ночь, Москва не так уж далека, всего лишь в десять раз дальше разъезда Кошкино.

И вот шлепают разбитые сандалии, знавшие только тропку на огородах, дорожку по ельнику да осиннику, шлепают по асфальту: «Здравствуй! Ты — Москва! Я — Федор Матёрин!»

А город заливался ясным светом. Солнце, должно быть, уже взошло, но суровые дома ревниво прячут его за своими спинами. Надолго ль?..

Вот прояснился лоб самого высокого, самого сердитого, самого гордого здания. На его надменном каменном челе горячо и весело вспыхнули окна. Но из окон нижних этажей еще нелюдимо глядит глубоко загнанная ночь, и над асфальтом висит зябкая синева. Надолго ль?..

Неприметно, воровски солнце пробилось между домов и обрушилось на улицу широкой радостной лавиной. Листва деревьев, что растут сквозь решетки, зеленая и сочная, обмытая ночной свежестью листва — еще более зеленая и сочная, чем в деревне Матёре, так как, куда ни глянь, кругом строгий камень,— вздрогнула. В лавину солнечного света с разгона ворвалась легковая машина, поиграла блестящим, как хорошо начищенное голенище хромового сапога, боком, покуражилась — ах, красива! — нырнула в тень. А в подворотнях, в глубоких арках под домами упрямо держится зыбкий сумрак, забивается подальше во дворы. Ой, надолго ль?..

Город по-прежнему пуст, оголены улицы. Город предоставлен ему одному. И у Федора появилось заносчивое чувство собственника. Весь этот город с тесно прижатыми друг к другу домами, все эти окна, истекающие горячим пламенем и прячущие ночной сумрак, эти размашистые улицы вместе с дворниками и торчащими фуражками милиционеров в застекленных будках, машина с лаковыми боками, умчавшаяся невесть куда, деревья, уже дождавшиеся солнца и пока еще ждущие его, вывалившийся откуда-то сбоку, из переулка, с лязгом и грохотом трамвай, огромная бочка на колесах с надписью «Квас» — его! Всё его, всё, всё! Весь белый свет со всеми чудесами!

Легко несут ноги, вызывающе шлепают по мостовой сандалии. С широко раскрытыми от изумления глазами, с бессмысленно улыбающимся от счастья лицом шагает по собственному миру владыка в новых штанах.

2

Солнце восторжествовало над всей улицей. Стали попадаться прохожие — настоящие хозяева города. Заносчивое чувство собственности быстро испарилось, но от этого счастье не стало меньше. Федор с любым встречным готов был по-братски поделиться своим владычеством.

В странном мире люди вели себя странно.

Немолодой уже человек, в шляпе, нагруженный сумками, работает ногами, плечами, всем своим коротким плотным телом — бежит, пыхтит, торопится. Куда?.. И вдруг — стоп! С разгона остановился, просто так, у пустого места. Только что рвался вперед, а теперь — лицо скучающее, глазеет на улицу.

Федор тоже остановился, засунул руки в карманы — что же дальше?

Подбежал второй, встал за спиной у первого, третий, четвертый — выстроилась очередь. Стоят, молчат, глядят друг другу в затылок.

Очередь, но к чему? Очередь к пустоте!

Федор ждал...

«Ах, во-он оно что...»

Мягко подкатил огромный грузный троллейбус — и вся очередь исчезла. Вся, кроме одного старичка в белой парусиновой рубашке и расшитой камилавке.

«Этому не подходит машина, другая должна подкатить»,— Федор становился проницательным.

Старичок кроткими вылинявшими глазами глядел на Федора (или мимо) скучающе, равнодушно, как все прохожие. Федор шагнул к нему, со всей любезностью, на какую только был способен,— хоть и не столичные, а тоже не лыком шиты,— заговорил:

— Очень извиняюсь... Разрешите спросить... Если вас не затруднит. Здесь есть такая картинная галерея, Третьяковская называется... Как мне до нее пройти?.. Очень извиняюсь...

— Третьяковка?.. Одну минуточку, соображу... Вам надо сесть на «восьмерку»...

— На что?

Старичок с такой старательностью и так терпеливо принялся объяснять, что Федору стало неловко. «Навер-

но, я ему очень понравился. Как родной отец, а минутку назад были чужими...»

Какой прекрасный город, если его заселяют такие люди! Несколько слов — и, считай, родственники. Какой прекрасный город!

На больших улицах было уже тесно. Троллейбусы и автобусы старались вовсю, один за другим они глотали очереди с обочин мостовых, а людей становилось все больше и больше.

На центральных улицах кипела жизнь, а маленький чистый Лаврушинский переулок еще продолжал спать. Всего населения в нем — один человек, милиционер у входа в Третьяковскую галерею.

Федор подошел, ступая с почтительной робостью, и вежливо поздоровался:

— Здравствуйте.

Милиционер, издалека встречавший его взглядом, вскинул головой, словно конь после дремоты, уставился на Федора с удивлением и недоверием.

— Я, кажется, пришел слишком рано? — осведомился Федор.

— Смотря куда,— подал голос милиционер.

— Как «куда»? Сюда.

— Галерея открывается в одиннадцать часов. Читай.

Федор добросовестно прочитал от строчки до строчки застекленное объявление, что Государственная Третьяковская галерея работает с 11.00 до 20.00 ежедневно, кроме первого понедельника каждого месяца.

— Пять часов ждать, если не больше,— сообщил он милиционеру.

Тот не посочувствовал.

— Разрешите, я погляжу.

— Что поглядишь?

— Все... Внешность,— Федор обвел рукой здание.

Милиционер помедлил, взвесил про себя, ответил:

— Это сколько угодно.

Деловито засунув руки в карманы, Федор стал прогуливаться вдоль ограды под бесстрастным надзором стража, охраняющего сокровища русского искусства.

Застекленная уступами крыша, кирпичная стена выложена неброским, веселящим душу узором, не слишком

просторный чистый дворик с газонами и клумбами, в стороне скульптура — два футболиста в отчаянной схватке отвоевывают друг у друга мяч, а посреди, закрывая широкой каменной спиной и дворик и стены галереи,— фигура Сталина, закованного в гранитную шинель.

— Странно... И футболисты и памятник Сталину тут... Почему бы это? — обратился Федор к милиционеру.

— Не нашего ума дело.

Милиционер это произнес так внушительно, так веско, словно давал понять, что хоть и обронил он слова «не нашего», но сам все-таки причастен к тому высокому уму, который знает, где нужно ставить гранитные монументы.

И Федор проникся невольным уважением к осведомленному милиционеру.

Уходить, однако, он не спешил. В каких-нибудь двадцати — тридцати шагах от него, за этими стенами, горит, не угасая и не увядая, «Золотая осень», зажженная кистью Левитана; в исступленном отчаянии навечно припал к окровавленной голове сына Иван Грозный; боярыня Морозова из дровней потрясает двуперстым знамением, проклиная отступников веры; княжна Тараканова в красивом томлении ждет близкой гибели в стенах темницы... Каких-нибудь двадцать с лишним шагов!

Он еще не сделал этих двадцати шагов, он еще не проник за стены, но что там — ему известно. Третий год он собирает почтовые открытки, вырезает из журналов цветные репродукции, хранит все в старой канцелярской папке. Над этой папкой проведено много часов. Неразбавленная синева воды узенькой речонки, окруженной торжественно желтым лесом, остекленевшие глаза Ивана Грозного, взрыхленный снег за санями, лиловые ноги юродивого, монашеская одежда боярыни Морозовой, краюха хлеба и кувшин в темнице княжны Таракановой — все заучивалось, как стихи.

3

На станции, в трех километрах от деревни Матёры, живет учитель Савва Ильич Кочнев.

Учитель? Любимый?.. Скорей всего — нет.

Он был учителем рисования и черчения, а учитель рисования — увы, полуучитель. И директор школы и ре-

бята — все в глубине души убеждены: к тому, что он преподает, нельзя относиться серьезно. Директор в этом не признавался, а ребята откровенны. На уроке Саввы Ильича можно пропеть петухом, можно повесить на потолок «фонарь» — бумажный фунтик с жеваным концом; можно и вообще сбежать с урока. Двойку поставит, за рисование-то, эка! Да и не дадут Савве Ильичу особо разгуляться, кто позволит таким несерьезным предметом портить такую сугубо серьезную вещь, как показатели успеваемости.

Савва Ильич никогда не ставит двоек, Савва Ильич не имеет никакого диплома, Савва Ильич вообще странный человек. Ему уже под пятьдесят, а забавляется как ребенок, торчит на берегу Уждалицы, по опушкам леса, рисует картинки. Впрочем, почти все на этой станции эти картинки хвалят: «Похоже, как живое». А страховой агент Пашуткин, человек начитанный, выписывавший журнал «Агитатор», вздыхал: «Погибший талант». Один только Платон Муха, он и штукатур и маляр при комхозе, не признавал Савву Ильича, подвыпив, кричал:

— Живописец в местном масштабе не он, а я! Может он вывеску разрисовать? Нет! Все вывески кругом моей рукой писаны. То-то.

На уроки Савва Ильич приносил кубы, конусы, шары из папье-маше, расставлял их на столе и говорил: «Рисуйте!» Не могло быть скучнее занятия, чем штриховать на тетрадной в клеточку бумаге грани кубов и бока конусов.

Савва Ильич приземистый, довольно плотный, крылья нижней челюсти выступают углами, издалека квадратное лицо кажется внушительным и суровым, приглядишься — мягкий, бесхарактерный нос, в губах виноватая складочка, маленькие глазки глядят наивно и беззащитно. Густые волосы, уже изрядно тронутые сединой, он подстригал в кружок, носил косоворотку и тяжелые русские сапоги — по облику не то отставной кучер, чудом сохранившийся от царских времен, не то и на самом деле художник, вышедший из простонародья.

Как-то раз на его уроке Федька Матёрин, вместо того чтобы вырисовывать конус с параллелепипедом, набросал Савву Ильича —бабьи волосы, нос гулей, глаз почти не видно — закрыл лоб — и лошадиная челюсть. Портрет пошел из рук в руки по партам, вызывая смех:

— Баба-яга.

— Нет, дьячок.

— Батька Махно.

Настенька Матёрина, девочка из одной с Федором деревни, взвизгнула:

— Ой, похо-ож!

— Матёрин, что там у тебя? Дай-ка сюда! — над ней стоял Савва Ильич. — Дай сюда, я прошу.

Савва Ильич, насупившись, долго глядел на рисунок. Класс виновато притих. Минуту-другую Савва Ильич сосредоточенно посапывал, потом сказал негромко, без всякой обиды:

— Работайте. Чего же вы!

И весь класс дружно взялся за карандаши, склонился над неоконченными рисунками конуса и параллелепипеда.

В течение урока Савва Ильич несколько раз брал в руки вырванный из тетради листок и, серьезно хмурясь, разглядывал. Наконец не выдержал и задал тот вопрос, который следовало бы задать с самого начала:

— Кто это сделал?

Все, разумеется, молчали.

— Кто это сделал?

Молчание.

— Хорошо... — Савва Ильич встал — плечи расправлены, голова откинута, квадратная челюсть вздернута вверх, во всем — от сапог до волос — непривычная торжественность. — Тот, кто это сделал... — начал он, — талант! Да, настоящий талант. И пусть он знает: я на него не обижаюсь. Только дураки могут обижаться на талант, перед талантом преклоняются!..

Звонок оборвал речь Саввы Ильича. Он вложил в свои книги рисунок Федьки, забрал со стола конусы и параллелепипед, победно удалился.

А класс озадаченно молчал.

Через несколько дней Савва Ильич после уроков подошел к Федьке, кратко сказал:

— Пойдем ко мне.

— Зачем? — поинтересовался Федька, ожидая каверзы. Он не совсем верил и в то, что он талант, и в то, что Савва Ильич на него не обижен.

— В гости.

В гости так в гости — отказываться неудобно.

...В тесной и темной комнатушке Саввы Ильича стены увешаны картинами: лужайки, березки, кусты, берега речки...

— Это все вы нарисовали?

— Я,— сознался Савва Ильич и добавил не без гордости: — Всю жизнь учусь у природы.

— Красиво. Все как живое.

— Вот! Это тебе,— Савва Ильич положил перед Федькой большой альбом и коробку красок. — Рисуй что хочешь, что видишь. Только каждый рисунок будешь показывать мне. Для консультации!

Многозначительно поднял палец.

Альбом, а не школьная тетрадь в клетку. Твердая картонная обложка, на обложке рисунок — обнаженный человек сдерживает коня, выгнувшего дугою шею. Откидываешь обложку — и... просторные листы, они чуточку шероховаты, матовы, тверды на ощупь. Они притягивают глаз белизной, они словно тоскуют — ждут, чтоб кто-то провел по ним карандашом. А как ярко будет выглядеть на этой ласкающей матовости карандашный след. Тронь — и линия зазвучит, запоет, заиграет. Тронь. Хочется тронуть, и страшно нарушить чистоту листа — какое-то насилие! Но хочется, как хочется!

Краски... Нет, не простые краски, глинистые и кирпичные кружки, приклеенные к картонке. Коробка приятной тяжестью гнетет руку. В ней рядком свинцовые тюбики с этикетками. На каждой этикетке ободок — светло-желтый, темно-желтый, коричневый, опять коричневый, но уже другой, погуще, синие ободки, зеленые, красные... Не карандашом, а красками по этой бумаге! Красным по белому, синим по белому, лиловым, зеленым...

Нет более волшебной картины, чем лист нетронутой бумаги. Это картина без плоти, картина-мечта. Что может быть прекраснее?

Савва Ильич — учитель-самоучка, художник-самоучка, человек не семи пядей во лбу — случайно или по наитию сделал самое мудрое: подарил Федору чистую бумагу, краски и один-единственный совет: «Рисуй что хочешь». Он не стреножил мечту условиями.

Федька с альбомом и красками бежал домой через голый осинник, березняк, через заснеженный ельник — скорей, скорей! Эта страсть, наверное, ничем не отличалась от нетерпения любого мальчишки, получившего в

подарок новые коньки или лыжи,— скорей покататься, скорей испробовать!

Рисуй что хочешь... А что?

В избе нет ничего интересного: стул, печь, на загнетке квашня, на лавке кошка. На улице же — зима, не усядешься с красками посреди сугроба. Но первый лист альбома тянет к себе, тюбики полны красок — надо попробовать сейчас, немедля. И Федька подсел с альбомом к окну.

За низким оконцем тоже ничего интересного — сугроб, в сугробе молодая березка, на которую обычно подымал ногу пес Касьян. Ничего интересного, но выбирать не приходится. Выдавил на черепок старой тарелки краски, взял в руки кисточку, вгляделся... И тут же сделал открытие. Он-то всегда считал — раз березка, значит, белая, а выходит на поверку, что сугроб-то, похоже, и белый, а березка желтая, да и не желтая, какая-то теплая, как обнаженное человеческое тело. Стало даже жаль голую березку, мерзнущую среди сугроба.

Федька на глазок прикинул, какую взять краску, и смело — он первый раз в жизни писал с натуры и по неведению еще не испытывал робости,— смело, одним взмахом кисточки, воткнул березку в воображаемый сугроб. Березка получилась слишком смуглой, но это не обескуражило. На сугробе синеют глубокие следы — на бумагу их! За березкой — ветхая изгородь, свалившаяся набок, черной краской ее! Этой же краской пятна на стволе березы, сучья.

Долго ли умеючи-то, пяти минут не прошло, как картина готова. Федька схватил шапку, шубейку, альбом — и за порог, ельником, березнячком, осинничком, к Савве Ильичу. Нет сил терпеть до завтра, надо узнать, что получилось...

«Меряй не меряй, а во все стороны на пятьдесят верст лучше меня никто не рисует»,— в самые откровенные минуты говаривал Савва Ильич. И это было правдой, так как в округе на пятьдесят верст никто этим делом и не занимался, никто, если не считать Платона Муху, который разрисовывал только вывески. Могли полюбопытствовать на картинки, могли похвалить их: «Ишь, как живое...», но никто не относился серьезно — забавляется, и пусть себе. Святое искусство! Всю жизнь поклонялся ему Савва Ильич Кочнев при общем равнодушии, всю жизнь преданно служил, верил, молился, не смущаясь тем, что никто не разделяет с ним веры.

И вот рядом появилось живое существо, которое готово разделить веру,— кончилось одиночество, нашелся товарищ. Он не смотрит на малевание красочками как на пустую забаву, он молод, не то слово — он ребенок, у него впереди вся жизнь, и кажется, есть что-то за душой, Что-то... Савва Ильич с готовностью называл это талантом.

— Природа — лучший учитель. Учись у нее,— постоянно повторял он где-то краем уха слышанные слова.

На этом и кончились наставления. Савва Ильич не собирался соперничать с природой в преподавании, лишь изредка с важностью добавлял для назидания:

— Я сам всю жизнь учусь у природы.

Но природа, с капризно изгибающейся речкой Уждалицей, с глядящими в воду ветхими баньками, с размашистыми заливными лугами, с майской пеной цветущих черемух, природа многоликая, неумеренная была для Саввы Ильича, увы, неблагодарно-унылым учителем. На всех картинках у него — одинаково желтые дороги, одинаково зеленая травка, синяя водичка, голубые небеса с завитыми облачками и без оных у каждого деревца аккуратно подведены веточки.

А у Федора вода в речке иногда получалась черной, как нефть, тропинка — густо-лиловой, ствол дерева — розовым, а небо — зеленым. Савва Ильич разглядывал его работу и посапывал озадаченно:

— Гм... Характерец... — Объявлял осуждающе: — Импрессионист ты, братец.

Каждый раз он после такой беседы становился заметно взволнованным, усаживался перед своими работами, теребил длинные жесткие волосы, долго-долго созерцал чистенькие елочки и березки, упитанные облачка на незатейливо голубом небе, рассуждал:

— Хочу, чтоб точно, как есть в природе... Нет, я реалист, хотя, конечно, далеко не Левитан.

Последнее признание было справедливым, но уж слишком очевидным. Даже для Федора.

Савва Ильич иногда мечтал:

— Как бы я жил, если бы стал настоящим художником?.. Я бы долго-долго бродил по свету, из деревни в деревню, из села, в село, пока бы не нашел себе дом. Нет, не богатый, не каменные хоромы, маленький — сени, кла-

довка да две комнатушки. Но чтоб дом стоял на богатом месте. Я, брат, вижу его: на высоком берегу, внизу речка играет, камыши, кустики, в заводях листья кувшинок, как оладьи на сковороде, а за рекой — луга тянутся, пока глаз хватает; по лугам деревеньки, старые церкви белеют, и у самого неба лес, синий-синий, чтоб как у Есенина: «Только синь сосет глаза...» А над этим далеким лесом по вечерам, брат, закаты. Пожарища! Мятежи, прости господи! Чтоб из окна было их видно! А земля сонная, покойная, в дремоте, в благополучии. И река от небесных пожаров раскаляется... И чтоб за спиной дома сразу же лес — тень, сырой мох, грибами пахнет... Утвердился бы я в том месте на всю жизнь и работал, работал, не жалел себя. Вставал бы в четыре часа утра да забирал бы с собой краски, бумагу... Ходят люди мимо какого-нибудь овражка — так себе, кусты, тропка, крапивное царство. И никто-то внимания не обратит, никто-то глазом не кинет. А я бы сел перед этим крапивным царством и... нате вам, люди добрые, посмотрите, мимо какой красоты ходите и не замечаете, откройте глаза, радуйтесь, на красивой земле вы живете, что еще вам нужно. Может, от красоты-то размякнут люди, добрей друг к другу станут... Радовал бы я всю жизнь людей, сам бы радовался — покой, тишина, живи до ста лет, не надоест. Вот что значит быть художником. Сплошное, брат, счастье. Никак не пойму только, почему настоящие-то художники по городам больше живут, от природы прячутся? Хоть бы один к нам приехал, уж я бы на него нагляделся досыта.

Обычно Савва Ильич говорил это в своей комнатушке, в окна которой видны были слепые стены станционных складов да чуть поодаль — кусок железнодорожного полотна с кучами шлака по обочинам. Он уже не верил, что станет настоящим художником, когда-нибудь испробует того тишайшего счастья, о котором мечтал.

А для Федора Матёрина нет несбыточного. Федька заразился мечтой. Вставать утром, слышать, как иволга приветствует тебя грудным свистом, по росе идти на поиски притаившейся в оврагах, в опушках, в поросших ивняком речных берегах той нетленной красоты, которая станет радовать людей, размягчать их сердца. Что может быть чище такой покойной жизни! Еще не так давно, начитавшись книжек, мечтал о приключениях, о далеких морях, о соленом ветре, пальмах, скалах, подвигах —

ничего не надо. Мир завоевывается не только вширь, но и вглубь. Бумага, краски, леса да луга, речка да небо и еще собственные руки — так мало, так доступно, так скромно и так заманчиво. Ничего другого не надо, только это.

4

Москва есть Москва, она сама по себе стоит того, чтобы забыть на время родную Матёру. Но в Москве есть две святыни — не минуй их, что бы ни случилось. Таков зарок, давний, выношенный годами. Первая — Третьяковка, вторая — художественный институт.

Оставив в одиночестве милиционера, охраняющего Третьяковку, Федор направился на поиски института.

Прошел не один час, прежде чем он в сутолочном, шумливом, путаном, бесконечном городе отыскал парадное, возле которого висела скромная вывеска, убеждавшая, что Федор не ошибся, он стоит перед вратами, ведущими в храм высокого искусства.

Художественный институт! Федор нисколько не сомневался, что будет в нем учиться. И все же знобящие мурашки пробежали по спине — не от робости, от почтительности.

Он толкнул дверь, и она подалась. Перед Федором вырос крупный мужчина в низко надвинутой на лоб фуражке.

— Что угодно, молодой человек?

Что угодно?.. О, сразу, в двух словах не объяснишь. Ему угодно многое: во-первых, поглядеть, что это такое — художественный институт; во-вторых, узнать, как в него поступить; в-третьих, убедить кого нужно, что лучше его принять сразу, так как он станет надоедать из года в год, пока не попадет в эти стены.

— Что угодно, спрашиваю?

— Познакомиться...

— С кем? Со мной?

— И с вами, если вы имеете отношение к художественному институту.

— Имею. Я здесь сторож. Дежурю по выходным дням, чтоб отваживать любопытных.

— А что, разве...

— Иль запамятовал? Сегодня — воскресенье. В институте никого нет. Ну-кась, прошу...

Сторож распахнул дверь, но Федор сокрушенно стоял.

— А я-то ехал...

— Ничего не попишешь. Поезжай обратно.

— Уж больно далеко.

— Откуда такой?

— Из Вологодской области.

— Оно не близко. Обожди до завтра. Что ж делать, парень.

— Что же делать, не учел...

И сторож проникся.

— Вот что я тебе скажу: тут сейчас один человек... Он тоже издалека приехал, из армии. Прежде-то преподавал здесь и, видать, снова преподавать будет. Поговори с ним, коль хочешь.

— Да ну...

— Вот тебе и «ну»... Он, должно, в мастерской пятого курса, третий этаж, на двери табличка, отыщешь. Смотри же не выдавай, что это я тебя послал.

— Не выдам. Третий этаж, да?.. На двери табличка пятого курса, да?

Федор бросился по лестнице.

Длинный коридор, пустой, сумрачный, гулкий, с одним-единственным широким окном в самом конце на солнечную улицу. В голых стенах с высокими дверями — чопорная суровость, вызывающая у Федора робость. Даже воздух не обычен — пропитан незнакомыми запахами красок, старых холстов, музейной пыли. Даже воздух... Вот оно! Здесь живет то святое, о котором так часто говорил Савва Ильич приглушенным от волнения голосом. Вот оно — проник!

Одна дверь чуть приоткрыта, за ней кто-то мурлыкал хрипловатым баритоном:

Отдадут меня замуж
В деревню чужую,
В деревню большую...

Федор несмело постучал.

— Ты, Василий Никитич? Входи!

Федор помялся — приглашали не его, но вошел.

— Э-э, что за явление? Кто вы?

— Федор Матёрин.

— Гм... Скажем откровенно, от такого ответа вопрос ясней не стал.

Просторная светлая комната заставлена мольбертами (Федор уже знал об их существовании по книгам и репродукциям), широкие картины стояли на полу, прислоненные к стене. Впечатление — хозяева уехали, идет ремонт.

Посреди неустроенной комнаты — долговязый человек в военной гимнастерке. У него узкие острые плечи, удлиненное лицо, горбатый нос, сурово отвисающая нижняя губа и бесцеремонные глаза.

— Так что вы скажете, Федор Матёрин?

— Я приехал... Мне просто хочется поглядеть немного... если можно.

Человек в гимнастерке осмотрел Федора от сандалий до макушки: потертая, мятая куртка с «молнией», выгоревшие жестковатые пшеничные волосы, густой, деревенский, не пробиваемый даже сочным румянцем загар, лицо круглое, с выразительной бесхитростностью, которая одушевляет тяжеловатые, мягкие, размытые черты,— простачок, если б не глаза. Они, откровенно голубые, широко распахнутые, требовательно ждут чего-то необычного, какого-то чуда.

— Приехали... Поглядеть... И наверно, издалека... Что ж, это, пожалуй, мне понятно.

А Федор уже шагнул вперед, жадно уставился в прислоненные к стене картины.

Ближайшая изображала девушку в пестром сарафане, вяжущую чулок. Затененное лицо, белая склоненная шея, заполненные светом волосы,— уже готово было сорваться слово восхищения, но Федор вгляделся и прикусил язык. Он привык к гладеньким репродукциям, к зализанным акварелькам Саввы Ильича, а перед ним с откровенной грубостью, с варварской щедростью наляпана корявая краска. Небрежные густые мазки на лице, в волосах, где свет — крутая мешанина, а сарафан — вот уж где поплясала широкая кисть. В буйстве взбесившихся мазков пропадал для Федора смысл, небрежность оскорбляла его.

— Вижу, не нравится? — спросил человек в гимнастерке.

Федор подавленно молчал.

— Это последние работы пятого курса. Считайте, что их писали уже не студенты, а художники.

Федор молчал.

— Не нравится. Хорошо. Я вам покажу другое... Встаньте-ка сюда.

Человек в гимнастерке открыл шкаф, извлек оттуда гипсового старика с окладистой бородой. Рядом со стариком поставил большой бюст какого-то вельможи в парике с буклями и со звездой на груди. Третьим — маленькую голову — то ли мальчик, то ли женщина...

— Вглядитесь и скажите, что больше всего нравится? Глядите, глядите внимательней, не спешите отвечать.

Три гипсовых лица уставились незрячими глазами на Федора — суровый старик с завитками бороды, довольный собой, откормленный вельможа и женщина... Впервые их видит, они застали его врасплох.

— Не знаю,— откровенно признался Федор. — Может, старик...

Старик подкупал величавостью.

— Что же... — Человек в гимнастерке положил руку на голову старика. — Эта работа знаменита не тем, как сделана, не мастерством, а тем, что изображает великого древнего поэта Гомера. Слышали о таком?

— Слышал.

— А это талантливо,— широкая ладонь погладила плечо вельможи. — Создал русский скульптор Шубин... Талантливо, ничего не скажешь, но... Но время от времени человеческие руки создают нечто особое, сверхудачное, которое ни с чем нельзя сравнить...

Пальцы с крепкими плоскими ногтями взяли женскую голову.

— Вот копия одной такой работы... Копия, и, прямо скажем, не очень удачная. Но при желании и в ней можно увидеть силу гения.

И Федор испугался, что человек в гимнастерке поставит в шкаф голову. Федор не успел ее разглядеть, а это, наверное, самое интересное, самое важное среди того, что он видел, что может еще увидеть сегодня. Сверхудачное! Ни с чем нельзя сравнить!

— Покажите!..

Человек в гимнастерке поставил голову перед Федором.

Федор ждал: его должно оглушить, у него должно перехватить дыхание. Сверхособенное! Ни с чем не сравнимое!

Но ничего «сверх», ничего особенного, просто женское лицо, наверно красивое — нежный точеный подбородок, правильный нос, в разрезе глаз что-то странное. Лицо как лицо, и только-то...

— Кто это? — подавленно спросил Федор.

— Египетская царица Нефертити.

— А-а-а...

— Больше трех тысяч лет ей... Три тысячи — это почти вся история. Появлялись, расцветали, уходили, забывались целые народы. А Нефертити... Может быть, ее и вспомнила бы история — разумеется, сухо, деловито, бесстрастно, по-ученому. Любил ли бы я Нефертити, восхищался бы ею за то, что она участвовала в каких-то там реформах? Да плевать мне на трехтысячелетние реформы: мертво, не трогает!.. И вот безвестный мне человек, с великим даром божьим и, должно быть, в душе тайком влюбленный в эту женщину (без любви такое невозможно сотворить!), взял камень. Понимаете вы — камень! Самое что ни на есть мертвое, самое неодухотворенное... Поглядите на ее губы. Еще не улыбаются, вот-вот улыбнутся... вот-вот. Невольно ждешь эту улыбку, непременно доверчивую, непременно открытую, ждешь, как личное счастье. Губы, зовущие и недоступные, простодушные и загадочные, стыдливая плоть, горячая кровь под тонкой кожей — каменные губы! Ох, сколько на земле жило красивых женщин! А что мне до них? К Нефертити, простите, неравнодушен. Все потому, что три тысячи лет назад какой-то гений обтесал мертвый камень. Камень ожил, камень живет. Простое чудо...

Черные, близко поставленные к переносице глаза обжигали Федора, на виске у его нового знакомого билась жилка. Мимоходом Федор кидал взгляд на гипсового Гомера и уже ненавидел его — холодная степенность с бородой. Федор не хотел ничему больше радоваться, не хотел ничего больше любить, вся душа без остатка принадлежала теперь Нефертити, только ей! И удивляли уже не одни только губы — мягкие надбровья над странными удлиненными глазами, изгиб тонкой, нежной шеи, мягкий овал скул. С минуту назад тупо глазел. Теперь прозрел! А это разве не чудо?

— Вот вам пример, что такое настоящее искусство. Понятен ли?

— Я все понял! Все! — Федор не мог оторваться от Нефертити.

— Все... — усмехнулся человек в гимнастерке. — Всего в искусстве никто не понимает. Не родился еще такой человек и не родится.

— А вы? — удивился Федор.

Человек в гимнастерке расхохотался:

— Я, сознаюсь... меньше многих.

— Но мне сообщили, что вы преподаете...

— Только то, что знаю. Да и то не всегда удачно.

— Вы им тоже преподавали? — Федор со сдерживаемой недоверчивостью кивнул в сторону картин, расставленных вдоль стены.

— Преподавал в свое время... Преподавал, а сегодня увидел, что кое-кто из моих учеников знает то, что мне никогда не было доступно.

— Кто?

— Именно этот — автор картины, которая вам так не понравилась.

— Странно... А она вам нравится?

— Да.

— Странно... Но кто же его научил тому, чего вы сами не знаете?

— Никто.

— Поня-атно. Вы хотите сказать: он был талантлив и дошел сам?

— Вот именно.

Должно быть, на простоватой физиономии Федора в эту минуту появилось самонадеянное удовлетворение — он-то в душе нисколько не сомневается, что талантлив. И человек в гимнастерке уловил это:

— Вы, вижу, собираетесь стать художником?

Федор застеснялся:

— Хотелось бы...

— Готовьтесь к тому, что вас изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год будет мучить один простой и страшный вопрос — что есть истина? Что есть истина в искусстве? Вам нужно ее открыть, вы обязаны ее открыть, а открыть невозможно. Полного ответа нет. И вы будете страдать от собственного бессилия, вы будете презирать себя, ненавидеть себя, вы станете своим вра-

гом. И не дай вам бог отмахнуться от страшного вопроса, на минуту — хотя б на минуту! — забыть о нем. Тогда будет покойная жизнь, мир в душе, довольство собой, ожирение, но художник в вас умрет...

Человек в гимнастерке увидел глаза Федора и перебил себя:

— Зачем я вам это говорю? Сейчас все равно не поймете.

Глаза Федора голубые, доверчиво открытые,— не трудно заглянуть через них на самое дно простенькой души. Как необычно, как удивительно, как непохоже на то, чем он до сих пор жил,— сон! Разве может испугать его какой-то, пусть трижды мудреный, вопрос? Ему уже теперь почти все понятно, а дальше-то он станет еще более умным. Непременно.

Кроме того, он, Федор, знает один секрет, о котором, должно быть, не догадывается этот странный горожанин. Рано или поздно он поселится в скромном домике возле леса, на берегу реки, каждое утро будет вставать до солнца, каждое утро под пение петухов и свист иволги будет уходить на открытия. Открывать знакомую и неведомую людям красоту в оврагах и перелесках, в изгибах речки и тенистых опушках. Разве тот мудреный вопрос сможет отнять у него эти овраги и перелески?

Чушь! Он ничего не боится, он станет художником.

Федор глядел на учителя в гимнастерке восторженно-любовным взглядом.

— Нет, не поймете... Не тот возраст.

В это время за дверью, в пустом коридоре, раздалось тяжелое и торопливое топанье. Дверь распахнулась, в ней, запыхавшись, стоял сторож — полное лицо красно, глаза круглы, хватает раскрытым ртом воздух, как выброшенная на берег рыба.

— Валентин Вениаминович!..

— Что стряслось?

— Вой-на!

— Что-о?!

— Война... С немцами... По радио передают...

Человек в гимнастерке жестко собрал губы, распрямился, казалось, стал еще более длинным и тощим. Поскрипывая сапогами, он двинулся к двери.

Оборвался разговор. Из распахнутой двери было слышно, как постепенно утихают шаги — одни легкие, четкие, другие тяжелые, суматошные.

А на столе посреди комнаты стояла голова Нефертити. Губы таили тысячелетнюю улыбку, удлиненные глаза загадочно уставились куда-то сквозь стены вдаль. Война... Еще одна...

Оборвался интересный разговор...

За окном раскаляло город жаркое солнце памятного дня — 22 июня 1941 года.

5

На пригретой весенним солнышком завалинке, под стеной зернового склада, переоборудованного в казармы, лейтенант Пачкалов, три дня назад прибывший из училища, сам с собой играл в ножички. Играл с увлечением, складной ножичек взлетал в воздух и вонзался лезвием в землю. Лейтенант считал:

— ...Двадцать один, двадцать два, двадцать три... — Восхищался собой: — Молодец, Юрка!..

За этим мальчишеским занятием и застал его младший сержант Федор Матёрин.

Лейтенант Пачкалов увидел тень, упавшую на землю, поднял голову, густо, так, что вот-вот брызнут слезы из глаз, покраснел... И с тех пор он люто возненавидел Федора.

Сто тридцать первый артиллерийский дивизион подходил к линии фронта.

Начинался беспощадно жаркий день лета тысяча девятьсот сорок второго года. Пойма Дона среди серых, голых, до звона прожженных степей, душивших запахом распаренной полыни,— райские кущи. Здесь луга — от их живой зелени если не телу, то душе становится прохладней — здесь глаз изредка натыкается на тесные семейки веселых ветел, здесь нет-нет да и потянет ветерком, не тем знойным, полынным, трижды проклятым, а влажным, свежим, застенчиво напоминающим о близости большой реки. Здесь земля дремлет в мире, тучная земля, осчастливленная влагой.

Но где-то за краем этой зеленой земли чуются грозовые раскаты, неумолкающие, приглушенные, зыбкие. Невольно вскидываешь глаза на небо, ищешь тучу... Небо чисто, оно еще не успело вылинять от зноя, растущего с каждой минутой, оно сине-сине, словно вымыто. Нет грозы, есть война. Она впереди, близко — рукой подать.

И копыта лошадей, запряженных цугом, подымают пыль. И на этой вновь оседающей жирной пыли печатают тяжелыми скатами грубый узор семидесятишестимиллиметровые орудия. И качаются длинные стволы с упрятанными под брезентовые чехлы пламегасителями. И оттягивает плечо карабин. И кричат ездовые. И раздаются команды:

— Ма-арш! Ма-а-ар-рш!

«Марш! Марш!» До войны близко, рукой подать.

Шагают рядом с Федором его новые товарищи, топчут пыльную дорогу. Они все начали этот день, они все видели восход солнца, а все ли увидят его заход?..

Близко до войны. Вот-вот откроется ее загадочное лицо!

Таскали на учениях катушки с кабелем — ждали этот день.

Маршировали строем, распевали: «Эх! Эх! Шел герой...» — ждали его.

Ехали в теплушках — ждали.

Вот он, день,— синее небо, горячее солнце, зовущая вперед команда: «Марш! Марш!» А впереди — поставленная на кон жизнь миллионов людей. А позади — бескрайняя страна, не захваченная врагом, не спаленная пожарами, не искромсанная снарядами. Где-то там, за спиной, и деревня Матёра — баньки на берегу Уждалицы, дощатые мостики, скрипучие колодезные журавли. Деревня Матёра — родной рай, далекий отсюда, словно Австралия. «Марш! Марш!» Увидит ли он деревню Матёру? Пробежит ли еще хоть раз знакомой дорогой — ельником, березнячком, осинничком?..

День только разгорается, он не вошел в силу — весь впереди. Чья мать отметит его в календаре черным числом?

Шагают рядом с Федором товарищи. Против воли каждый думает о том, что их ждет. Но эти мысли не убивают жизнь. Все идет как обычно.

Заряжающий Матвей Косопалый, маленький, колченогий, въедается в разведчика Тихона Бучнева, держа наготове кусок газеты для цигарки:

— Твой табачок, моя бумажка — споемся?.. Ась?.. Не слышу ответа...

Тихон Бучнев солидно шагает, степенно молчит.

— Очнись, заботушка! Я ж толкую: твой табачок, моя бумажка — составим компанию. Ась?..

Дружок Федора, связист Котельников, или попросту Мишка Котелок, ноет:

— Мочи нет. На мясе иду... Право слово, до кости проело.

Он вчера обменял у ездового Зипунова свои башмаки с обмотками на яловые сапоги, дал в придачу кусок домашнего сала, пайку хлеба. Зипунов сало и хлеб съел, теперь готов меняться обратно, но Котелок терпит — авось растянутся.

Лейтенант Пачкалов выпросил перед походом лошадь из резервных. Сейчас он молодецки восседает на ней, расправив плечи, соколом поглядывает сверху на идущих, покрикивает начальственно:

— Марш! Марш! Не отставать!

Лошадь — обозная клячонка с раздутым животом и раскляченными ногами уныло бредет, но время от времени резко вскидывает задом, так как Еникеев, балагур из огневиков, запускает ей под хвост острый конец хворостины. Пачкалов съезжает на самую холку, кричит баском:

— Н-но! Ба-луй!

Солдаты сочувствуют:

— Резва, товарищ лейтенант.

— Не мякиной, казенным овсом кормлена.

— Вы ее того, попридерживайте, не то к немцам занесет.

Лейтенант Пачкалов — ровесник Федору, нет еще и девятнадцати. У него до неприличия пухлые мальчишеские щеки, никакой растительности на лице, даже брови почти отсутствуют; когда он хмурится — можно только догадываться по неумелым складкам на лбу. Он старается говорить только басом, голову держит заносчиво, ходит обычно враскачку, утицей, подражая командиру дивизиона капитану Голованову. Очень любит начальственно покричать, приструнить, дать взыскание. Но боль-

шинство доверенных ему связистов и разведчиков взвода управления намного старше его, не раскричишься, например, на Тихона Бучнева, когда тот в отцы годится. Поэтому лейтенант Пачкалов отводит душу на Федоре. Над ним-то он начальствует усердно: «Как стоите? Р-распустились! Пач-чему подворотничок несвежий? Я из вас сделаю примерного солдата! Кр-р-ругом!.. Арш!..»

После очередного вскидывания лейтенант Пачкалов заподозрил неладное, быстро спешился. Но не вести же проклятую клячу, как собаку, на поводке.

— Младший сержант Матёрин!

— Я, товарищ лейтенант!

— Садитесь! Сдадите потом в обоз.

— Я не устал, товарищ лейтенант.

— Раз-зговорчики! Приказываю — свести в обоз!

— Не могу, товарищ лейтенант. У меня там, где сидят... извините... чирей.

Складки избороздили чистый лоб лейтенанта.

Выручил Мишка Котелок:

— Разрешите мне, товарищ лейтенант! — С гримасой боли переступил с ноги на ногу. — Мечтаю.

Лейтенант передал повод, свысока, холодным, многообещающим взором окинул Федора, неторопливо повернулся, придерживая планшет, утицей зашагал вперед.

Мишка Котелок подковылял к Еникееву, отобрал хворостинку:

— Дай-кась.

— Зачем? Без того побежит. Конь — что надо.

— Не для коня, для мух, чтоб к хвосту не липли.. Подсади-ка... Ох, с ногами повыдергаю ботинки у Зипунова.

На рыжем жеребце подскакал командир дивизиона Голованов — плотное тело туго стянуто лоснящимися ремнями, влито в седло, каска на бровях, пистолет на боку, автомат на шее, вид грозный, голос отеческий:

— Как, орлы? Не сомлели?

— Никак нет, товарищ капитан! Держимся!

— Шагай веселей, скоро придем!

И «орлы» пред очами начальства распрямляются, шагают размашистее. Капитан Голованов скачет дальше. Федор влюбленно смотрит в спину, перехваченную крест-накрест ремнями: это командир — не лейтенант Пачкалов, тому бы в ножички играть, не командовать.

Растянулись батареи, помахивают кнутами ездовые, качаются стволы.

— Марш! Ма-арш!

К войне!

Но вòйна сама выступила навстречу. Высоко в небе два «мессершмитта» напали на наш самолет. Натужный вой моторов на разворотах, зловещий блеск крыльев на солнце, приглушенно-тугие очереди спаренных пулеметов, нежные, словно осенняя паутина, нити трассирующих пуль... И наш самолет пошел к земле, перечеркивая синее небо маслянисто-черным полотнищем.

Где-то в степи задымил костер...

Тревожна дорога: одна за другой обходят артиллерийскую колонну машины с солдатами, машины, груженные ящиками, машины с чем-то громоздким, длинным, укутанным в брезент,— похоже на складные пожарные лестницы. И передается по рядам:

— «Катюши», «катюши»...

Страшное, овеянное тайной оружие, о нем рассказывают сказки.

Тревожна дорога. Дымит костер в степи за спиной.

А кругом голубеют дали, пойменные луга ласкают глаз зеленью, теснятся ветлы, бездонно небо. Мир кругом, солнечный мир!

Дымит костер...

Нет, Федор не верит — его, убить? Значит исчезнет все — и эти луга с кучками ветел, и дали, и небо, и солнце, исчезнет Матёра, исчезнет Москва, в которую успел заглянуть,— все исчезнет, вся вселенная. Из нее будет вырван центр ее — он, Федор Матёрин! Его? Убить?.. Не представляется! Невозможно!

Дымит костер...

Федор даже испытывает подмывающее нетерпение — скорей, скорей! Впереди новое, важное, необычное, впереди то, о чем потом в школе будут рассказывать на уроках. Шутка ли, подметками своих сапог оставить следы в истории... Скорей! Федор жадно вглядывается вперед. Там уже можно уловить ломкие строчки пулеметных очередей.

А за спиной, далеко в степи, все еще дымит костер...

6

Федор думал, что едва ступит на фронт,— сразу увидит немцев, сразу схватится за карабин. Схватиться сразу пришлось не за карабин, а за лопату. И немцев не видно — просто уткнулись в поле пшеницы.

Раскалена солнцем земля. От нее прозрачными волнами, не прерываясь, течет вверх такой же раскаленный воздух, и в его волнистом потоке колеблется размашистый степной горизонт — гнется, растягивается, вот-вот лопнет.

До самого горизонта застыло колос к колосу поле. Кажется, стоит только разбежаться, прыгнуть на облитые солнцем колосья и — побежишь по ним, не проваливаясь, только упруго подпрыгивая. Густой хлеб, море хлеба, никогда в жизни Федор не видел таких бескрайних полей! Тихон Бучнев, земляк Федора, крестьянин из лесного угла Вологодской области, всегда молчаливый, ничему не удивляющийся, не уставая, ахает:

— Вот так пшеничка! Вот так богатство!.. Ну стекло! Хоть газету читай скрозь зерно-то... Слеза, право, слеза чистая...

И топчет хлеб Бучнев, всаживает заступ в землю, выворачивает, потное лицо морщится — не землю ковыряет, свое тело.

— Эх, слеза... У нас бы такое росло...

Раскалён воздух, раскалена каска, мокра насквозь гимнастерка, на губах соль. Федор роет, бросая на примятый хлеб лопату за лопатой... Время от времени распрямляется и вглядывается в конец поля, в колеблющийся от зноя край земли. Оттуда доносятся вялые автоматные и пулеметные очереди. Там враг, он невидим.

Во весь рост через пшеницу шагает незнакомый солдат. Навстречу ему раздаются злые голоса:

— Не маячь!

— Пригибайся!

— Демаскируешь, сволочь!

Солдат, показывая белые зубы на черном спекшемся лице, не спеша подошел, спрыгнул в недорытый окоп.

— Свеженькие?.. А мы уже пятый день тут. Минометчики. Неподалеку в балочке окопались.

— Ты бы фасонил побольше. Идет, как на гулянке.

— Не бойсь. Теперь у немца обеденный перерыв. Через полчаса ждите — начнет лупцевать.

— Но стреляют же?..

— Разве это стреляют? Это так, наши, для острастки. Вы еще почешетесь, когда стрелять начнут. Не на курорт приехали... Ну-ка, братцы, гони табачок. У нас вчера последние крохи соскребли.

Тихон Бучнев, кряхтя, полез в карман за кисетом.

— А вы видели немца? — спросил Федор.

— Не. К нам в гости не наведывался, а самому набиваться — гордость не позволяет. Тебе что, мокроносый, не терпится?

— Любопытно, какие они?

Бучнев заворчал, скаредно отсыпая из кисета табак:

— Лю-бо-пытно ему... Лю-бо-пытно! Век бы не видать проклятых!

— А ты, отец, жадоват... Нас же восемь курцов. Не для себя стараюсь. Эк, отмерил.

— На всех бог подаст. Покури сам да отваливай.

Появился лейтенант Пачкалов, совещавшийся в штабе, начиненный приказами.

— Бучнев! Иващенко! Пойдете со мной на поиски НП. Младший сержант Матёрин!.. Вы не сержант! Вы не командир отделения! Вы шляпа! Котельников стер ноги в походе — недоглядели! Стыд! Безобразие! Будете сами тянуть связь. Один! Две катушки на спину! Быст-ра!.. Да что вы хватаетесь за вещмешок! Оставьте здесь, никто не возьмет ваше добро. Карабин тоже можете оставить. Ваша задача обеспечить связь, а не стрелять по противнику! Быст-ра!

Федор взвалил на плечи две тяжелые, как гири, катушки с кабелем и, оставив в недорытом окопе мешок, карабин, бросился за лейтенантом Пачкаловым. Тот, обремененный одной лишь планшеткой, легкой рысцой уходил в степь.

Степь — обилие рядом с оскудением, плодородие с пустыней, моря хлеба по соседству с полынными океанами.

Полынь, растущая из раскаленной земли, полынь, купающаяся в зное, проклятая трава, живущая там, где все гибнет. Она так одурманивает, что ее горький запах кажется приторно-сладким, начинает напоминать запах

земляники, слежавшейся, перебродившей,— пьяный запах. И вспоминается дом — мягкая травка, обрызганная цветами ромашки, тень под тесно стоящими деревьями, погребная освежающая сырость от корней, влажные кочки во мху, кочки, усеянные кукушкиными слезами. Деревня Матёра — родной рай, какое сравнение со степью!..

Пыль и зной, зной и полынь, враждебно солнце, враждебна степь, пот заливает глаза, катушки с кабелем гнетут к земле, уходят все дальше и дальше его товарищи. Уходят... А как хорошо стало бы на душе, если б кто-то пожалел: «Дай понесу одну катушку...» У Тихона Бучнева в руках тренога, у Иващенко — стереотруба, а Пачкалов-то бежит налегке. «Дай понесу...» Не надо помощи, нужно доброе слово, чтоб знать, что помнят, знать: не забыли.

Зной и пыль, зной и пыльная полынь, океан полыни, плоский, душный, бескрайний. Уходят товарищи, бросают его, они уже давно обогнули овражек.

«Срежу путь!» — Федор ринулся в овраг.

Цепляясь за кусты полыни, выдирая их, полез наверх.

— Стой! Стой!! — раздалось в стороне. —Сто-ой! Куда прешь?

По оврагу, сломя голову, бежит лейтенант Пачкалов, размахивает руками, каска съехала на нос, голова запрокинута, виден распахнутый в крике рот:

— Сто-ой!!!

У лейтенанта пепельные щеки, испуганно округлившиеся под козырьком каски глаза.

— Смерти захотел?.. Как мы шли?.. Как мы шли, спрашиваю?.. Не видел? Понесло! Чуть в минное поле не залез. Де-рев-ня!.. А ну, назад! Бегом! Бегом!

Федор скатился по склону оврага и побежал. Сзади топал Пачкалов и мстительно покрикивал:

— Бегом, черт возьми! Бегом!

Тихон Бучнев сказал Федору:

— Может, поживешь еще. Моли бога за лейтенанта— углядел. Еще минутка — и разбросало бы тебя, парень, по кусочку в степи.

Федор готов с радостью протянуть руку лейтенанту: забудем старое, станем друзьями,— может, и тебя спасать придется. Но Пачкалов надут, говорит с презрением:

— Детский сад! Няньку бы солдатику... — И вдруг предложил: — Дай катушку понесу.

Но Федор сердито ответил:

— Не дам!

Тихон Бучнев не то с осуждением, не то с жалостью крякнул:

— Дети.

7

Проложенная связь оборвалась на первых же словах. Федор услышал в трубку голос Миши Котелка:

— «Резеда», я — «Одуванчик», вас слышу вполне прилично...

На этом «прилично» «Одуванчик» онемел, зато обрел красноречие лейтенант Пачкалов. Федор выполз из окопа и, пригибаясь к земле, бросился по проводу.

А зной все рос, и полынь душила запахами.

За спиной неровными перекатами автоматы бросают в воздух короткие рваные очереди, пулеметы шьют размеренные, чеканные, продолжительные строчки. Перестрелка то чуть увядает, то вспыхивает в азарте. Азарт доходит до ожесточения, и вновь — спад. Только тогда слышны клюющие винтовочные выстрелы.

Нет-нет, да посреди опаленной степи вспыхнет седой куст, вспухнет, расправится, опадет — донесется звук взрыва.

Нежно, застенчиво поют пули. Федор уже не кланяется им, но знает цену их застенчивости. Он рыл окоп, рядом лежала каска Бучнева, который, съежившись в недорытой траншее, смотрел в стереотрубу. Раздался короткий злобный визг, даже не визг, а захлебнувшийся выкрик, каска упала под ноги Федору. Потом все по очереди щупали отверстие — сталь прошило, как бумагу. Тоже была из застенчивых. Лейтенант Пачкалов хотел сначала поменяться касками с Бучневым, но раздумал: если б только царапина, а то сквозная пробоина, красуйся не красуйся — никто не поверит, что каска твоя собственная, а Бучнев заявил: «Я этот горшок больше не напялю. Что толку, уж лучше в пилотке...»

На каждом шагу — листочки бумаги, необмятые, свеженькие, под лучами палящего солнца на больной, спеченной, потрескавшейся земле. Кажется, вся степь запо-

рошена бумагой, словно ветер развеял какую-то невидимую канцелярию.

Федор торопился и сначала не обращал внимания, потом нагнулся, прихватил один из листков и... остановился.

Орел, распластавший крылья, вместо хвоста — свастика. Под ним от края до края — жирным шрифтом: «Жиды и коммунисты ведут тебя к гибели!.. Спасай свою жизнь!.. Тысячи твоих братьев бросили оружие!» В конце — угроза: «Спеши спасти свою жизнь, пока не поздно!»

Мелким шрифтом многозначительное сообщение:

«Эта листовка является пропуском при переходе к нам в плен».

Федор впервые услышал голос врага. До этого тот говорил с ним лишь перестуком автоматных очередей, вкрадчивым свистом пуль.

Привык с уважением относиться к печатному слову, как-никак те, кто пишет и печатается, умней тебя. А тут слова постыдные. Голос врага, вот он каков! Он стращает: спеши спасти себя... спеши — будет поздно!

И по-прежнему со зловещей нежностью свистят в воздухе пули, посланные теми, кто звал его к себе. Пули и зазывание площадным голосом, пули и обещание спасти жизнь, пули и театральный жест — пожалуйте контрамарку, все удобства, пропуск даем. Пули, пули, пули...

Федор бросил листовку.

Линию рассек не осколок мины. Обрыв на дороге — прошел танк или зацепила повозка. Дорога узкая, захолустная, но не перекопай ее — набегаешься.

Срастив кабель, Федор принялся долбить саперной лопаткой ссохшуюся, словно кость, дорогу. Не переставая нежно свистели высоко летящие пули, где-то в овражке ухали невидимые взрывы, изредка шелестел тяжелый снаряд, направляющийся из дальней немецкой батареи к нам в тыл,— все обычно, напоен воздух летящей мимо смертью. Она не настигает, она пока равнодушна к тебе, можно до поры до времени быть спокойным. Он долбит землю, а покоя нет, он долбит, а что-то давит душу, что-то растекающееся в воздухе, невнятный гул.

Федор торопился, дорога не поддавалась. Некогда поднять голову. Наконец не выдержал, поднял...

Из края в край по небу, распластав крылья, неторопливые, грузные, шли самолеты. Шли прямо на Федора. С разных сторон беспорядочно заквакали зенитки. Как тополиный пух сквозь воронью стаю, поплыли мелкие разрывы. Но самолеты не обращают на них внимания, утюжат воздух, вспухают, грузнеют, на глазах наливаются силой.

Для них степь что ладонь. В самом центре этой доверчиво раскрытой ладони — он, оголенный, беспомощный, маленький человечек.

Гул моторов до отказа заполнил просторный солнечный мир, от неба до земли, гудят моторы и дрожит каждая травинка, сама засохшая от зноя степь отвечает ознобом под коленями. Гул моторов — равнодушная мощь.

Зенитки уже не квакают, они, словно взбесившиеся собаки, захлебываются от лая. Пятнают синеву разрывы.

Что может быть бескрайнее неба, а в этом необъятном небе стало тесно. Крылья, крылья, крылья, вытянутые тела, хвосты — тесно, небо в черных тяжких крестах. Степь шевелится от теней.

В угрожающе равнодушном гуле моторов зародился сдержанно свирепый вой. Первый самолет наклонился, пошел к земле, второй, третий... Вой надрывный, разноголосый — спотыкается сердце, темнеет в глазах. Самолеты падают на него, застывшего посреди распахнутой степи. От первого самолета отрываются крохотные крупинки...

Тут Федор бросился на дорогу, вжался лицом, грудью, животом в черствую, горячую, пропахшую полынью землю. Земля неуютная, земля не схожая с той, на какой вырос, земля родная, единственная надежда, спасай, земля!

И земля болезненно содрогнулась — раз, другой, забилась в судорогах. А над затылком раскалывалось небо. Достаточно! Хватит! Наверное, весь мир в обломках! Хватит же! Но сотрясается земля, утробно ухают взрывы, шипит напоенный осколками воздух — нет конца.

Не верил — его убить?.. Маленький, растерянный, забытый... Маленький? Нет, огромный. Не спрячешь

неуклюжее тело в землю. Затерянный? Нет, видно его со всех сторон. Стать с божью коровку, с травяную тлю — спастись, жить!.. Его? Убить? Очень легко. Дотянуть до конца, дожить чудом, только бы дожить!..

Тишина обвалилась внезапно. Тишина более оглушающая, чем взрывы. Ей не верилось, Федор продолжал вжиматься в землю, в тот целый кусок земли, что чудом уцелел от разрухи. Но минута, другая — по-прежнему тихо. Тело мало-помалу приобрело нормальные размеры, не казалось уже распухше-громадным.

Он поднялся.

По выжженной степи прыгало подгоняемое ветром перекати-поле — клубок сухих колючек. Все цело, ни одной воронки вблизи. Бомбы, оказывается, падали в стороне.

Отфыркиваясь, как рассерженная кошка, упал перед Федором на дорогу заблудившийся в поднебесье осколок — корявый, зазубренный, покрытый окалиной. Такая штука может снести полчерепа. В другое время Федор непременно бы схватил его рукой, поднес к глазам, полюбовался.

Самолеты, сыто урча, уходили к себе. Зенитки продолжали пятнать небо. Уходили, не наказанные за бесчинство.

Федор поднял лопатку и принялся долбить захрясшую, звонкую дорогу.

Стук! Стук! — отлетают кусочки...

Жизнь — роса на траве под низким утренним солнцем, сизая, как грудь голубя. Жизнь — город, где водой поливают камень, а корни деревьев прячут за решетку. Жизнь — губы Нефертити... Он хочет жить! Хочет! А из далекой, известной ему только по картам и книжкам страны посланы машины, летающие, ползающие, бросающие снаряды,— много машин, армии людей, всё для того, чтобы отнять у него, Федора Матёрина, жизнь. Для чего это им? Что он сделал? Чем помешал?

Стук! Стук! — долбит лопата.

До сих пор мир был ясен, мир был доброжелателен,— казалось, шагни к нему и он встретит широко раскрытыми объятиями — добро пожаловать, Федор Матёрин, не стесняйся, будь хозяином. А в мире есть темная сила, она готова совершить убийство, совершить и не заметить этого. Какое ей дело до маленького человека, одного из

бесчисленных миллионов, какое ей дело до того, что он хочет жить, мечтает о новой Нефертити. Не укладывается в голове. Страшно! Хочется плакать...

Стук! Стук!

На дороге показались двое — низкорослый солдатик, суетливо пританцовывая чересчур большими сапогами, услужливо поддерживал раненого. Тот был по пояс голый, мускулистую грудь крест-накрест перехлестывали бинты — яркая, режущая белизна и рыжие пятна крови. Бинтами перехвачена и правая рука. Верх галифе черен от крови.

Раненый выступал бережно-спокойным шагом — голова вскинута, спина распрямлена. Казалось, он не особенно нуждался в услугах суетливого солдатика.

Они приближались, а Федор, затаив дыхание, страдая, глядел.

Раненый перехватил его взгляд, и лиловые губы растянулись в усмешку:

— Старайся, брат, старайся. Чего рот раскрыл?

Он прошел мимо все тем же бережным шагом, горделиво неся голову. Из-под бинтов с плеча тянулся по крепкой спине черный след запекшейся крови.

Федор не шевелился.

«Старайся, брат...» Он еще шутит. А губы темные, обметанные, идет, словно по стеклу. Солдат возле него выплясывает, по спине видно — чувствует свою вину за то, что жив, не тронут... Минуту назад Федор чуть не плакал — жить хочу, страшно... А его и не задело — целехонек. Стало стыдно.

«Старайся, брат. Чего рот раскрыл?»

Федор принялся торопливо долбить: стук, стук!..

8

Присыпал, притоптал, распрямился, огляделся...

Вдали тень легкого облака гладила степь. И видно было, что степь не такая уж плоская и гладкая как казалось раньше,— шероховата, морщиниста. Тень от облака гнется, переползает через глубокие морщины. И вид у степи тусклый, пепельный, утомленный той древностью, теми столетиями, что пролетали над этой много пережившей землей.

И Федор неожиданно для себя ощутил, что эта степь перестала быть чужой и враждебной. Где-то в ее необъятности есть ничем не приметное место, такой же, как все кругом, прожженный насквозь солнцем, поросший рахитичной полынью клочок степи. Там окоп, в окопе ребята — дом.

Сразу же охватила тревога. В том доме не был минут сорок, если не час. А это вечность! За это время видел наползавшие самолеты, лежал под бомбами, верил, что мир рушится, крошится, проваливается в тартары, ждал смерти, встал живой, убедился — мир цел, столкнулся с раненым, отчаяние и успокоение, страх и стыд за себя, а между переживаниями перекопал дорогу — вечность! А там, дома, в окопе,— ребята, свои родные, родней никого нет здесь. Даже лейтенант Пачкалов родной человек, кричит, придирается — плевать. Вдруг да с ними со всеми что-нибудь случилось, вдруг да он осиротеет в этой сумасшедшей жизни... Может, убиты, может, ранены, ждут помощи. Вечность!

От дороги в глубь степи тянется кабель. Он ведет прямо к дому. Скорей!

На наблюдательном пункте дивизиона действительно все умирали, но не от ран — от жажды.

Первый, кого увидел Федор,— босой, сапоги рядом с телефоном, круглая рожа блестит от пота,— Миша Котелок.

— А я под бомбежку попал,— похвастался Федор и тут же удивился: — Как ты очутился здесь? Почему на линии не встретились?

— А я не по проводу... Степью напрямки босиком шпарил. — Плюнул крутой слюной в сторону сапог: — Измучили, сволочи. — Облизал растрескавшиеся губы, спросил: — Родничка тут, случаем, не приметил?

— Родничка? Где?.. Сам видел — сушь.

— Видел,— уныло согласился Мишка. — На огневой тоже без воды сидят.

Лейтенант Пачкалов, осунувшийся, с расстегнутым не по-уставному воротом гимнастерки, с грязным пятном под носом, сидел над развернутой картой, что-то вымерял, страдальчески морщил лоб.

— Младший сержант Матёрин!

И все-таки до чего неприятный у него голос!

— Докладываю, товарищ лейтенант! — вытянулся Федор.

— Слушайте и не перебивайте, когда говорит старший по званию. Возьмите все котелки, какие есть, идите за водой.

— Куда?

— Что за глупый вопрос? Найдите! Из-под земли достаньте! Боевое задание — напоить людей! Выполняйте!

Опять — в степь, опять — один. Здесь обжитой окоп, Миша Котелок поджал босые ноги, сапоги возле телефона, Тихон Бучнев сосет бычок, снизу, со дна окопа, чуть-чуть тянет прохладцей. Посидеть бы, рассказать про бомбежку, про раненого.

Лейтенант Пачкалов начальственно смотрит в глаза.

— Есть достать воды!

Котелков оказалось всего два.

Из-под земли, как крот, вынырнул солдат. Бруствер замаскирован вянущей травой — в двух шагах не разглядишь, торчит только длинный ствол тяжелого противотанкового ружья. Лицо у солдата серое, густая пыль стерла с него морщины, возраст, страсти, желания. Блестят лишь влажные белки глаз да сведенные губы шевелятся — что-то перекатывает во рту.

Судя по слою пыли, солдат сидит здесь давно, врос в степь, ко всему привык, ничему не удивляется, все знает наперед — ни дать ни взять окопный мудрец в пузырящейся каске.

Он даже знал, где есть вода.

— Видишь ветлу?.. Не назад гляди, а вперед... Видишь — из балочки верхушка проглядывает. Там... У самого, брат, нутро ссохлось.

— Так ползем вместе.

— Подожду.

— Чего ждать?

— Подожду умирать. Балочка-то насквозь простреливается. Живым не вылезешь.

— Что делать?

— Терпеть. Сам терплю. Пулю из патрона выковырял, сосу — холодит вроде.

Жить — скрывать, жить — обманывать, жить — и презирать самого себя. Притворяйся не притворяйся, а трус есть трус, лжец есть лжец, жизнь куплена обманом. Живи и помни — ты хуже других.

Федор приподнялся и сел.

Хуже других?.. К черту!

Федор вскочил, схватил котелки, едва пригибаясь, пошел обратно.

Не доходя шагов ста до оврага, упал и пополз...

Снова склон в рыжих плешинах...

Кто-то следит со стороны, кто-то жестокий, без сердца... Ну что ж...

Федор медленно переполз черту.

Из разнотравья игривых выстрелов вырвалась короткая очередь. Федор не видел, куда ударили пули. Брызги земли впились в щеку, тонко зазвенели котелки.

Вторая очередь пришьет к склону. И он вскочил, кинулся вперед, навстречу ветлам, наперерез пулям, на виду у того, кто уставился со стороны жестокими глазами.

По заскорузло глинистой земле пробежали пыльные, как рыжие дымчатые цветы, фонтаны — в ряд один за другим. Федор упал и покатился по склону: небо — земля, небо — полынь, небо — ствол ветлы, толстый, корявый, серый от пыли, с тупыми наростами.

Федор лежал на животе — склон кончился. Где-то рядом бил в землю злой, короткий, рвущийся свист лозы, бил и тонул в земле.

Федор не двигался, хитрил — пусть думают, что убит. Он даже закрыл глаза в усердии.

То, что сверху казалось ему мешком или камнем, был наш солдат. Он сидел на задниках башмаков, поджав колени, спина в туго натянутой, выгоревшей до белизны гимнастерке, голова уперлась в край сруба, руки в покойной усталости опущены к земле. Рядом с ним стоит котелок, до краев наполненный водой.

Он сохранил все человеческое — форму тела, даже усталую человеческую позу, он человек, но к нему уже надо относиться как к вещи, как к стволу ветлы, не обра-

щать на него внимания. Вокруг него — пугающая тайна, которую не хочется знать, которая сковывает душу. Федор с содроганием отвернулся: он еще не привык к мертвым.

Отвернулся и наткнулся на другой труп.

Тот лежал прямо за колодцем. Лицо вдавлено в засохшую бугристую грязь, сухие взлохмаченные волосы, массивные плечи плотно облегает голубовато-серое сукно мундира, на плечах узкие погончики с белесыми металлическими пуговицами — немец!

Федор не видел немцев ни живыми, ни мертвыми. Всегда думал: встретит — и вспыхнет в нем ненависть, встретит живого — постарается убить, встретит мертвого — порадуется, что убит. Ненависть за то, что пришли сюда, что заставляют ползать на брюхе, что их самолеты рвут бомбами землю, что хотят убить его, Федора Матёрина, его, ни в чем не повинного перед ними. И вот встретил: бодает лбом засохшую грязь, крупные жирные мухи ползают по сукну мундира... Нет ненависти.

Стараясь не глядеть ни на того, ни на другого убитого, но кожей чувствуя их близость, Федор подполз, приподнялся, чтобы перегнуться через край сруба. Воздух заполнился стонущим визгом, срубленная пулей ветка ветлы упала на плечи. Федор присел, снял ремень, захлестнул его на ручке котелка.

Застойный воздух вязок. Прель и сырость смешаны с мутящим, нечистоплотно вкрадчивым, жирным трупным запахом. От него все кажется грязным — и руки, и гимнастерка, и земля, и даже холодная, колеблющаяся в котелке вода. Сквозь кожу проходит зараза. Скорей отсюда, из застоя, из коварной ненадежной тишины, скорей в степь, где пахнет полынью, где время от времени налетает ветерок. Скорей, но как?..

Котелки полны, но второй раз тем же путем не проскочишь. Федор лежал, скупо вдыхал жирный, зараженный воздух, мучаясь от брезгливости к самому себе.

Шагах в тридцати дом — осевшая в землю мазанка с распахнутой дверью. Тридцать шагов — и на полпути ветла, за ее стволом можно при нужде спрятаться. Тридцать шагов до дому, завернуть за угол, а там — дом спрячет, можно далеко уползти за его прикрытием.

Тридцать шагов... Одним махом... Федор взялся за котелки...

Воздух рвется, визжит, весь воздух заполнен пулями. Чудо, что ни одна пока не задела. Между лопатками зуд, между лопатками свербит — сюда именно вот-вот войдет пуля. Осторожно,— котелки, не расплескать! Мягко свалился под комель ветлы. Ветла толста, кажется надежной, голова и плечи спрятаны, а ноги... Ноги не спрячешь, они далеко от ствола. Земля вспаривается, брызжет, воздух ноет, захлебывается от визга...

Нет, не обогнуть дом, не добежать до угла. Место плоское, вытоптанное, только перед распахнутыми дверями разбрызгана воронка. Дверь распахнута...

Федор подбирает ноги, напруживинивается и бросается прямо к двери, перемахивает через воронку...

Пустая комната с дощатым топчаном, на сером земляном полу, на самой середине,— щербатый чугунный горшок. Дом хрустит, трещит, скрежещет, пули прошивают тонкие стены. Летают отбитые щепки, сыплется с потолка труха. Некуда спрятаться. В доме как в клетке.

Два оконца с выбитыми стеклами глядят в ту сторону, куда нужно бежать. Два оконца напротив распахнутой двери. Федор навалился плечом на переплет, он с хрустом ломается.

Оконца узки, с котелками в руках не пролезешь.

Щербатый горшок посреди комнаты крякает, катится под ноги Федору, как собачонка, которая ищет защиты. Злобно воющая, срикошетившая пуля утопает в потолке. С потолка сыплется труха...

У окон нет подоконников, не на что поставить котелки. Федор бросается к топчану — тот тяжелый, врос в земляной пол ножками. Федор выворачивает его, тащит к окну, ставит на него котелки. Стараясь не задеть их, протискивается, валится вниз головой на землю, вскакивает...

Спасен! В комнате за стеной мечутся пули. В комнате — а он на воле... Тянется в окно за котелками и... приседает — слабеют колени. Где-то близко, едва не задев каску, ахнула прямо над ухом пролетевшая пуля.

Отсиделся на корточках, снова потянулся. Нащупал вслепую один котелок... Второй... Что-то он слишком легок.

Котелок пуст. В нем два отверстия — одно у самой ручки, другое на палец от дна. Один котелок воды на всех.

Федор сидит над ним, прислушивается к выстрелам, Один неполный котелок... Не напьются. Из-за одного котелка не стоило рисковать... И Федор толчком опрокидывает полный котелок. Сухая земля жадно впитывает воду, благодарно темнеет.

Федор решает начать игру сначала.

Но он сидит над пустыми котелками, не торопится, ждет, когда совсем стихнут выстрелы.

Клонится на покой солнце, недалек вечер. На степной равнине под косыми лучами отчетливо выступают щетинистые бугры и запавшие выемки. Степь не плоска, степь изрыта не столько снарядами и бомбами, сколько временем. Степь — это старческое лицо планеты. Тысячи лет степи, и Федору кажется — он так давно знаком с ней, так свыкся, так сросся, что неправдоподобно то время, когда ее размашистость его пугала. И запах полыни приятен.

Он топчет тысячелетнюю землю, топчет по-хозяйски, смело, он не гнется под пулями. Полный котелок воды, полная каска, вырвался от смерти. Нет радостней победы, чем победа над собой. Хорошо жить чистым!

Пейте, ребята, сколько есть! С лейтенантом Пачкаловым он еще поговорит по душам: «Не заносись, Юрка, возле смерти живем, не след заедать друг друга».

Голова знакомого солдата торчит из окопа. Вгляделся, окликнул:

— Жив?

— Как видишь.

Не удивился, не восхитился, лишь попросил без надежды:

— Дай, паря, один глоточек.

— Нет уж, пульку пососи.

Не огорчился, не обругал, принял как должное, молча проводил глазами.

Сидит окопный мудрец, бережет свою жизнь, сосет пульку.

А Федор меряет степь, сам себе умиляется — хорош парень Федька Матёрин!

10

Припадали по очереди к котелку и к каске, отрывались, вздыхали:

— Ох, наконец-то! Душа отмокает, а то прямо камушком ссохлась.

А Федор только сейчас вспомнил, что сам-то не напился — забыл, не до того. Во рту сухо, язык распух — забыл. Но взять котелок, тоже припасть, скажут: «Не жадуй». Кто поверит, что забыл про себя. У воды сидел. Нет, песню испортишь.

Тихон Бучнев спохватился первым:

— Эй! Эй! Разрезвились!.. Лейтенант еще не пил.

Но уже поздно. Опрокинули над пустым котелком каску — вылилось несколько капель.

Лейтенант Пачкалов, ссохшийся, измотанный, с запавшими глазами, только что от телефона, подошел, протянул руку к котелку, спросил покровительственно:

— Ну как, все напились?

А все смотрели под ноги, прятали глаза.

— Что же это? А? — Горькое изумление, мальчишеские морщины на выпуклом лбу.

Тихон Бучнев сопел в сторону. Мишка Котелок, который трижды припадал к каске, вертел босой пяткой на дне траншеи ямку.

Лейтенант Пачкалов растерянно оглядывался, кривил губы — вот-вот заплачет, в глазах пустота. И вдруг он расправил плечи, выставил грудь:

— Младший сержант Матёрин! К-кому вы должны отдать воду? Кто должен распределять? Вы или я?

— Тут все своевольничали. Он не распределял... — начал было Тихон Бучнев.

— Мол-чать!.. Вы или я? Кто здесь командир?

Федор не отвечал, ответить — значит свалить вину на ребят. Молчание Федора подхлестнуло Пачкалова.

— Взять котелки! Пойдете снова за водой!

— Я пойду. Разрешите... — отозвался Мишка.

— Молчать! Вас не спрашивают!.. Матёрин! За водой! Снова! Быстро! При-ка-зы-ваю!

Федор ответил:

— Пока схожу за водой, будет ночь — кухня воду привезет.

— Не рас-суж-дать! Берите котелки!

Лейтенант бросил под ноги Федору пустой котелок.

— Ну!

— Не пойду.

Пачкалов весь передернулся, ухватился за кобуру.

— Взять котелки!

В упор на Федора в окружении вороненой стали уставился матовый зрачок пистолета.

— Считаю до трех... Раз!..

Федор стоял не двигаясь.

— Берите котелки!

Посеревшие, собранные в тугой узелок губы, остекленевшие глаза — в них боль, в них злость, в них страх. От страха, из амбиции так просто нажать спусковой крючок. А тупой ствол пистолета висит в воздухе; если лейтенант сделает один шаг вперед, ствол упрется в переносицу Федора.

— Два!!

И Федор, страдая от унижения, пряча глаза, нагнулся, поднял котелок с земли.

Отойдя от НП, Федор отбросил в сторону котелок и зашагал не к колодцу, а к огневой, где остались его вещмешок и карабин.

На него, Федора Матёрина, на него, который только что победил саму смерть, который готов был отдать для товарищей все — не последнюю рубаху, не пайку хлеба, не глоток воды, а жизнь, себя целиком, всего со всем прошлым и будущим,— и на него поднять пистолет!

И глаза остекленевшие, и губы сведенные, и палец на спусковом крючке... Как просто его нажать!

Пришлось нагнуться... Испугался?.. Нет, нет! Он же доказал, что не боится смерти.

Всякую смерть можно представить, но такую, когда свой своего из-за глотка воды... Не он, Федор Матёрин, первый поднял оружие.

На огневой он нашел в окопе свой карабин. Проверил магазинную коробку — полная обойма. Один патрон загнал в ствол, поставил затвор на предохранитель...

На огневую недавно привезли воду. Между окопов стояли квадратные термосы. Федор подошел к одному из них и долго пил черпак за черпаком. Отяжелел от воды,

почувствовал усталость — лечь бы в окоп, вытянуть ноги...

Но не лег. Перекинул через плечо карабин, зашагал в степь знакомой дорогой на НП, туда, где ждал его с полным котелком воды Пачкалов.

Солнце садилось. Над потемневшей, нахмурившейся степью разлился пыльный, широкий закат.

Федор шел вдоль по кабелю, тянувшемуся между полынных кустиков. На всякий случай (а вдруг обрыв) он исправит — ребятам не придется лишний раз бегать. Пересек перекопанную им дорогу, на которой лежал под бомбежкой.

Полынь полосовала по кирзовым сапогам, очищала от пыли кожу головок до сухого блеска. Ближе и ближе НП, ближе и ближе встреча с лейтенантом Пачкаловым. Тот ждет воды, полный котелок воды. Карабин оттягивает плечо, в ствол загнан патрон, затвор взведен, стоит на предохранителе...

Изредка в полынном океане встречаются острова высокой — выше пояса — сухой травы, степной, незнакомой Федору. На багровом свете заката ее метелки отливают, как петушиный хвост.

Впереди, укрытый травой по плечи, прыгал солдат, спешил навстречу. Федор вгляделся — похоже, Тихон Бучнев, но уж слишком прыткий, как мальчишка.

Тихон Бучнев — он! Заметил Федора, замахал, как мельница, руками, несколько раз споткнулся. Лицо распаренное, темно-красное, глаза белесые, словно вымоченные.

— Лейтенанта...

И Федор почувствовал, как стала мокрой рука, придерживавшая перекинутый через плечо ремень карабина.

— Лейтенанта Пачкалова... Только что... Минут десять назад... Шальной пулей... Впереди меня шел... Гляжу — боком, боком... И упал... Я к нему... В голову... На моих руках и отошел... Ну, минут десять, пятнадцать...

Федор стоял, вцепившись липкой ладонью в брезентовый ремень карабина.

— Боком, боком, гляжу... Я всего в пяти шагах шел... Капитан Голованов вызвал его к себе... Он меня с собой

прихватил... Всего в пяти шагах, как мы с тобой... И боком, боком...

Тихон Бучнев вытирал рукавом с лица пот, жалобно глядел вылинявшими глазами. У Федора были свинцовые ноги — не оторвать от земли. Он стоял и молчал.

— Надо капитану доложить... Не знаю, право... Страх, парень, нашел, не скрою...

Федор с усилием отодрал руку от ремня карабина, почувствовал — способен оторвать и ноги от земли, обронил ватное:

— Пошли...

Тихон Бучнев пританцовывал рядом:

— И пули я не слышал. Не свистело вроде... Боком, боком, как пьяный... Ребенок, считай. Ох, ребенок!

Закат разливался над плоской землей. У самой земли — густой, красный, злой, выше — нежный, чистый, словно зеленая морская вода, освежающий. Закат снизу подпирает равнодушная перебранка автоматов и пулеметов.

Гнулись вниз метелки незнакомой травы. Воздух застыл — нет дыхания.

И знакомое лицо спокойно, и прядь волос, прилипших ко лбу, прядь белобрысых волос, пропитанных потом, который еще не успел высохнуть, и сапоги со сбитыми каблуками. Ногти на руках уже начали синеть...

Вспомнилось, как лейтенант Пачкалов играл в ножички, стоял на коленях и считал сам себе: «Двадцать один, двадцать два, двадцать три... Молодец, Юрка!» Потом он увидел Федора и залился краской. С той минуты и стал придираться.

Колени поджаты к животу, маленький, худенький, угловатые плечи под облинявшей гимнастеркой, губастое, грязное лицо. И сапоги-то старенькие, каблуки сбиты на сторону.

Закат тяжелеет. Земля впитывает в себя раскаленную полосу неба. Юрка Пачкалов не видит этот закат... Он не узнает, что завтра утром подымется солнце. Ни солнца, ни неба, ни дня, ни ночи — ничего, пустота. А в ствол карабина вогнан патрон... Для него...

Если б можно все то, что ему, Федору, суждено прожить, честно разделить пополам,— с радостью, если б было можно...

Прядь волос еще не высохла, острые колени прижаты к животу. Но уже посинели ногти на руках...

Он, наверное, так и не успел напиться перед смертью. Ему никто не принес воды.

— Похороним,— сказал Федор Тихону. — Документы взял?

— Документы и письма какие-то — пачка... Вот пистолет еще забрать... Лежит на пистолете, ворошить не посмел.

Перевернули вялое, покорно податливое тело. Федор вынул из кобуры теплый пистолет, которым недавно ему грозил Пачкалов.

Шагах в пятидесяти был заброшенный окоп. Уложили в него, землю с бруствера сбрасывали руками и прикладами карабинов.

Посидели на корточках, помолчали...

Похоронена вина Федора перед этим человеком, похоронена от всех, но не от самого себя — сам-то будет помнить.

Похоронена и юность Федора. За эти минуты он повзрослел. А лейтенанту Пачкалову, недавно игравшему в ножички, так и не пришлось стать взрослым.

11

Изрытую снарядами, развороченную бомбами, проточенную траншеями, исковырянную одиночными окопами степь накрыла темнота. Вместе с темнотой пришла тишина. Вместе с тишиной — ощущение, что ты пока жив и что долго, долго будешь жить, долго, по крайней мере до утра. Можно распрямиться во весь рост, стать на несколько часов человеком.

...Светят звезды, низкие, крупные, какие-то лохматые. Степные звезды. Среди них, извечно неподвижных, выстроенных в знакомые с детства созвездия, нет-нет да потянутся ровной чередой блуждающие звезды. Где-то далеко-далеко простучит автоматная очередь — пунктир трассирующих пуль, звезд-скитальцев, утонет в чернильном небе.

В окопах с хрустом потягиваются, распрямляют затекшие спины, садятся прямо на бруствер, и тут, как на деревенских завалинках, начинаются негромкие беседы.

От нагретой за день земли тянет теплом, от голосов — уютом и тихим радостным удивлением: «Живы, братцы!»

Тишина, тишина...

Но эта тишина пуглива. Кто там курит, черт возьми! А ну, сукин сын, прячь цигарку! Огонек проколет темноту — ударят автоматы, пулеметы, взроют пули землю, а то, гляди, набросают мин, пойдет карусель не хуже дневной. Береги темноту, если хочешь тишины и передышки, береги темноту — кури в рукав, прикрывайся полой плащ-палатки, лезь в окоп на самое дно... Кто там курит? Прячь цигарку!

Тишина, тишина...

Лишь взбрыкнет где-то сонный автоматчик, подпустит к законным звездам незаконное многоточие трассирующих пуль...

Тишина, тишина...

А на бруствере-завалинке захлебывающийся от умиления голос толкует о неправдоподобно прекрасном прошлом:

— Девка-то она, братцы мои, такая, что с разгона подойти боязно. Но я был под хмельком, что мне — море по колено... Я было ее уламывать: брось, мол, Машка, куражиться...

В стороне сидит Мишка Котелок, сосредоточенно мнет задник сапога, заглядывает в черный зев голенища, ворчит:

— Наградил, лахудра, да еще сало взял. Сапоги-то хоть штабной машинисточке подари. Кожу живьем сдеру с этого Зипунова... Лахудра!

Тишина, тишина...

На той стороне пробил в небо автомат не обычную очередь, а с коленцем: трат! трра! тра-та-та!

Миша Котелок на секунду отрывается от сапога:

— Музыкант какой-то... Там кроме немцев румыны стоят. Румыны — все музыканты. Ишь, откамарил... — И снова ворчливо: — Встречу Зипунова, натяну на морду сапог — ходи, гад, как в противогазе...

Федор лежит на спине, глядит в небо, в сочные звезды.

Прошел день. День — и только-то. Кажется, когда-то давным-давно, где-то в середине жизни шагал он, Федор,

вместе с артиллерийской колонной — «Марш! Марш!». Горел в степи костром сбитый самолет... И шагал петухом, выставив грудь: его — убить?.. Давно, давно, тогда он был глупый, совсем щенок. Неужели прошел только день? Теперь кажется — вся жизнь раскололась на две равные половины: вся прошлая — Матёра, Савва Ильич — и этот день. Один день!.. Не верится...

Тишина, тишина...

А звезды помаргивают. Другие звезды, другие земли глядят вниз на эту покрытую ночью степь, на исклеванную, на избитую, на спаленную. Здесь разбушевалось величайшее несчастье, а им, звездам, с их высоты, с бесконечности все это кажется ничтожно маленьким, не стоящим внимания. Помаргивают добродушно, заговорщически, словно он, Федор Матёрин, разделяет их мысли — мелочь, шуточки, так себе... Так себе? А для Пачкалова вы, звезды, потухли — нет вас, не существуете, вычеркнуты вместе со всей вселенной. Шуточки, так себе...

И вдруг звезды в испуге бледнеют. На чернильное небо со злобной веселостью круто взбегает игрушечное, белое от накала солнце — осветительная ракета!

Собеседники с бруствера-завалинки дружно — куча мала! — скатываются в окоп. Миша Котелок гибко припадает к траве, прижимается тесней к земле и Федор.

Степь — шероховато-живая, каждая тень движется, корчится, словно пытается сорваться и бежать от страха. Свет, заливающий степь, мертвенно-голубой, резкий, беспощадный.

Солнце-игрушка взбежало на горку, покатилось вниз. Набухают, растут тени, тянутся издалека к лицу Федора, кажется — не щетинистая трава вокруг, а, как в сказке, вздымаются на глазах лохматые леса. Земля глотает солнце-игрушку, ночь наваливается еще более густая, смолистая.

Снова выползают на бруствер солдаты, снова умильно-задушевный голос:

— Значит, так... Поймал ее раз как-то после танцев и говорю напрямки: хватит, моя дуся, в кошки-мышки играть. Бросай ты своего долговязого, собирай свои кунды-мунды и переезжай ко мне...

Снова звезды висят над лицом. Снова — тишина, тишина...

12

Кончился еще один день. День долгий, как век.

В овраге собрались на партийно-комсомольское собрание.

Многие ранены. Свежие бинты над грязными, обожженно-копотными лицами среди уныло пыльных гимнастерок сияют в полутьме.

Комиссар дивизиона, рослый, рыжий, конопатый, в каске набекрень — кадровый вояка, за спиной гражданская война и финская,— говорит осипшим голосом, рубит ладонью:

— На нас бросали пехоту — мы выдержали! Нас засыпали минами и снарядами — выдержали! Шли танки — и мы устояли! И самолеты тоже бомбили — мы живы, мы не отступили! А завтра на нас может свалиться все разом — атаки, снаряды, танки, бомбы. Все вместе! Выдержим завтра, не побежим,— значит, мы победили на этом участке!.. Понятна задача? Объясните беспартийным бойцам одно требование — не показывать спину! Вот и все!.. Говорить много нечего. Расходитесь по своим подразделениям, отдыхайте.

Комиссар подтянул на плече автомат, неповоротливо кряжистый, в пропотелой солдатской гимнастерке, перехваченной офицерскими ремнями, первый полез по склону из оврага. За ним круглый, пышнотелый, с мягким, как подушка, задом политрук Сергеев.

Комиссар оказался прав: утром противник бросил все, что мог. Он оказался прав, но убедиться в этом уже не успел. Ранним утром при первой перестрелке его убило.

Пшеница горела. При свете солнца пламени не было видно. Только в метре над землей, словно сам по себе, из знойного воздуха рождался растрепанно-темный дым. По-мирному пахло костром.

Одна подбитая пушка скособочилась среди трепещущего дыма. А одну пушку подбили еще вчера и ночью без хлопот отправили в тыл. Вокруг двух оставшихся — суета, крики, матерщина. Получен приказ — сниматься. Пламегасители на длинных стволах задраны в небо.

За копотным чадом горящей пшеницы, за плещущим жарким воздухом видны немецкие танки — маленькие безобидные жучки, словно уснувшие на солнце.

Первое орудие запряжено, ездовые бьют коней, и кони, падая вперед, рвут постромки.

— Марш! Марш!.. Эй, сучье вымя, куда прешь?.. Вправо, лапоть, бери! Впра-аво-о!

Неподалеку рванул снаряд, комья сухой земли застучали по каскам — никто не обратил внимания.

— Марш! Марш!

Началось отступление.

Отступление...

На плече у тебя карабин, ты не ранен, ты не болен — способен драться.

Кремнево спеченная степь, полынь пахнет перебродившей земляникой. Степь без конца... Впереди она своя, за спиной — чужая. Ты — граница государства. Стой! Нельзя! Все идут, идешь и ты.

Шаг за шагом, шаг за шагом в глубь степи, в глубь страны...

— Воздух!!

И смывает всех с дороги, кубарем катятся с лошадей ездовые. В колючие кюветы лицом, грудью, коленями — спасай, земля-матушка!

Моторный рев, надсадный, вынимающий душу вой — водопад из поднебесья... И незыблемо-прочная земля сотрясается, лопается, крошится. Лицом, грудью, животом, коленями в ненадежную землю.

А потом... сытое урчание удаляющихся бомбардировщиков. На дороге, путая постромки, бьется раненая лошадь, ржет, истерично захлебывается, в ее предсмертном крике что-то жутко человеческое. Остальные лошади теснятся, храпят, во влажных глазах тоскливое недоумение.

Разносится приказ: батареям держать интервал — пол-километра, при лошадях — ездовые, при пушках — расчеты; связисты, разведчики, хозяйственники — с дороги, в степь! Шагай стороной, чем меньше на дороге народу, тем она безопаснее — не налетят самолеты, не обстреляют.

Федор вышел в степь с Мишкой Котелком и Тихоном Бучневым. Снова в воздухе раздался гул моторов — бро-

сились врассыпную, попадали... Самолеты прошли мимо, Федор встал, рядом с ним поднялись какие-то минометчики, тащившие на себе тяжелые плиты и стволы.

Крикнул:

— Котелок! Бучнев!

Никто не ответил. Бросился в одну сторону, в другую — всюду похожие друг на друга, почерневшие от солнца, от пыли, от пота, от усталости люди. Тащатся в одиночку, темными кучками, растянулись цепочками, в голове которых идут то лейтенант, похожий на Пачкалова, то какой-нибудь грузный старшина-сверхсрочник, армейский волк... Ковыляют раненые, одни, как младенцев, несут перебинтованные руки, другие, изнемогая, волочат простреленную ногу, как на костыль, опираются на винтовку. Степь населена, по степи великое переселение — все живое и полуживое тянется в одну сторону, к Дону, к переправе.

Вместе со всеми двинулся и Федор. Вместе со всеми, но один, без товарищей.

К переправе! Она — что ворота в рай. Только через нее можно попасть к своим, не оказаться в плену. К переправе!

13

Высокий берег, под ним густая каша людей, грузовиков, автофургонов, «катюш», пушек, танков, броневиков, повозок коней. Все это в тесноте, в пыли, в поту туго шевелится, жмется к воде, растекается вширь. Никто не хочет оставаться наверху, в степи — гребень берега спасает от снарядов. А степь все выкидывает и выкидывает под берег — новых людей, новые машины, новые танки, новые пушки. Цепляются, сталкиваются, потрясают оружием, в роевом пчелином гуле не слышно охрипших голосов.

А под неспокойным берегом спокойно течет Тихий Дон. Что из того, что на нем время от времени взлетают водяные столбы, что из того, что по нему плывут вниз трупы. Тихий Дон привычен ко всякому.

Два берега соединяет тонкая нитка, по нитке гуляет паром. Сверху он кажется крохотным — накроешь ладонями. И не верится, что это к нему свалились полчища изнеможенных людей, стада машин, вереницы обозов...

Перевезти буйное скопище таким крохотным паромом, кажется, все равно что вычерпать Тихий Дон ложкой, вынутой из-за голенища.

Течет Тихий Дон. Тихий Дон привык ко всякому.

Два могучих грузовика столкнулись на крутом склоне, измяли друг другу крылья, выбили фары, но спор не решили. Два капитана, наливаясь багровой кровью, хватают друг друга за грудки.

Застрял среди брошенных повозок санитарный фургон, возле него мечется растерзанная женщина в белом халате, уцепилась за рукав какого-то майора:

— У меня раненые! Поймите — раненые...

Майор дергает свой рукав, отводит глаза в сторону.

Увяз среди дышел и лошадиных крупов грузный танк. Вид у него конфузливый — люки открыты, башня повернута, пушка застенчиво глядит в сторону от реки. Танк брошен, как брошен сваленный на кучу патронных ящиков мотоцикл, как брошена переносная радиостанция 6-ПК — о нее споткнулся Федор.

Куда ни глянь, торчат стволы пушек. Сперва Федор кидался к каждому задранному пламегасителю — а вдруг свои! Нет! Сумели ли добраться или побиты по дороге? Что делать, к кому прилепиться? Один...

Среди солдатских выгоревших гимнастерок — диагоналевые сочно-зеленые гимнастерки комсостава. Для Федора командир дивизиона Голованов был богом, а он — всего-навсего капитан, одна «шпала» на петлице. А тут по четыре «шпалы» — полковник, перед такими капитан Голованов тянется в струнку. Выбрал одного полковника: рослый, плечистый, крупная седая голова, а главное — петлицы артиллериста. Бросился к нему, издалека вздернув ладонь к каске:

— Товарищ полковник, разрешите обратиться!..

И осекся... Полковник-то полковник, но не по форме — без пояса, травянисто-зеленая гимнастерка, распояской. Хотел осведомиться — не знает ли он, этот высокий артиллерийский полковник, где должен сейчас находиться 131-й артдивизион?.. Полковник скользнул по Федору невидящим, тоскующим взглядом, пожевал губами — и губы у него стариковские, мятые, запавшие, и в угасшем лице покорная усталость. Пояс с пистолетом бросил.

Ни налезающие друг на друга машины, ни несчастная женщина в белом халате, умоляющая: «У меня раненые!» — ничто не испугало так, как этот полковник распояской. Омертвело в груди: «Выкручивайся, Федька, как знаешь».

Подчалил паром, и Федор ринулся к нему.

А у парома — баталия. По сходням заводят пушки — нет, не их дивизиона — тяжелые гаубицы. Сходни под ними гнутся. А со всех сторон тычется бескомандная пехота, толкаются мешками, цепляются штыками. Дюжие бойцы из команды, следящей за порядком, поставили заслон — плечо к плечу; тех, кто выскакивает вперед, бьют прикладами — осади. Сходни неприступны.

Лезут прямо по воде, на высокий борт. На борту выплясывает молодой лейтенант, трясет остервенело над фуражкой пистолетом, в крике распахнут рот, а голоса не слышно, хромовым сапогом бьет наотмашь по лицам: раз! раз! Люди падают в воду, не ругаются, не угрожают, только утираются и опять лезут, отталкивая друг друга. А лейтенант беззвучно вопит — раз, раз, хромовым сапогом по лицам. Головы исчезают и вновь вырастают над бортом, кто-то пытается уцепиться за хромовый сапог. Лейтенант оскалился, пистолет в его руках дернулся раз, другой — выстрел, выстрел, в упор в глаза! Падают мешками, падают и уже не подымаются. Остальные шарахнулись, спотыкаясь, рвут с плеч винтовки, выпутываются из автоматов. Винтовочные сухие хлопки, коротко рявкнувшая автоматная очередь, и лейтенант, косо взглянув сникшим лицом в мутную прибрежную воду, медленно, медленно стал падать.

Федор отвернулся.

Прославленный Дон-батюшка, он казался не таким уж широким. Федор плавал неплохо.

К берегу прибило узкую садовую дверь — не плот, самого не выдержит,— но можно привязать одежду и карабин. Главное — карабин, личное оружие, номер которого записан в красноармейскую книжку. Гимнастерку и брюки вниз, карабин, обернутый в белье, на них. Все это обмотал лямками от мешка, сквозь ткань мешка

выпирает котелок — тоже вещь, не след расставаться,— сверху сапоги и каску. Ну вот, судно готово к плаванью.

Комсомольский билет... Получал еще в школе, фотография мутноватая — чуб да глаза. Комсомольский билет вложил в красноармейскую книжку, все это засунул в пилотку, натянул пилотку потуже на голову, тряхнул — крепко сидит; если утеряет, то вместе с головой, живым без комсомольского билета на тот берег не вылезет. Вот готов и сам.

Оглянулся на забитый, перемешанный, гудящий берег, проводил завистливыми глазами, казалось, застывший на середине реки паром... Возле парома вырос ватнисто-белый столб воды — мимо, пока целы гаубицы.

— Давай, Федька, отчаливаем.

Вода сначала показалась ледяной, мало-помалу обвык.

Тихий Дон. Не такой уж тихий. Ветра нет, а поплескивает волна. Первая же смыла каску. Каска перевернулась и важно поплыла. А сапоги сразу пошли ко дну. Без сапог явится к начальству — хорош боец. Но уж если полковники щеголяют без пояса, то, поди, можно и без сапог...

Только бы не потопить карабин — личное оружие, рукою старшины Родина вручала, расписывался за получение, выслушивал наставления — хранить как зеницу ока.

И голову надо держать выше — замочит пилотку, в ней комсомольский билет. Время от времени трогал рукой голову — цел ли? Цел, цел билет! Только вместе с головой...

Греб, экономил силы, но начал уставать. Тот, вожделенный — узенькая зеленая полоса — берег за рыжей волной не приближался. Несло в сторону.

Тихий Дон, отсюда не слышно ни шума, ни суеты на берегу. Тихий Дон, по нему прокатываются взрывы. Бьет дальнобойными, сволочь. Доплыл ли паром, целы ли гаубицы?.. Не видно, да и нет сил подвыкинуть себя над водой, оглянуться.

Тихий Дон, и между взрывами издалека отчаянный вопль:

— Спа-а-си-и-и!..

Какой-то бедняга, одиночка, вроде Федора.

И ломит плечи, ломит шею, спирает дыхание, отваливаются руки. Не забывай — голову надо держать высоко, промокнет комсомольский билет. На плоту все насквозь промокло, сквозь мокрую ткань мешка проступает котелок. А карабин цел, надежно привязан... Ломит плечи...

— Спа-а-си-и!.. То-ону-у!

Кто тебя спасет?

Ломит плечи, немеют руки... Федор подталкивает плот, пробивается поперек течения. А тот берег словно ползет назад...

Прокатился над водой новый взрыв и... тишина. Чего-то не хватает. Чего? Ах да, крика «спасите». Кого-то не стало в эту минуту, кто-то перестал видеть солнышко. По Тихому Дону поплывет еще один труп.

Тот берег не приближается. Так же узка и невзрачна полоска зелени, перебиваемая волной. А сил больше нет, плечи чугунные, тянут вниз, а течение несет в сторону, в сторону...

— Спаси-и-и-и!..

Новый... У этого бас...

Не хотел, а вышло само собой — оперся на плот, конец легкой дверки сразу же погрузился. И охватил испуг: карабин может выскользнуть из-под лямок! Карабин пойдет на дно, останется котелок. Вояка с котелком... Волна бьет в лицо, маленькая волна, но и ее хватает, чтобы выбить остатки сил. Плечи чугунные, не удержишь... И вода смыкается у глаз, сквозь воду — зеленоватое, жидко плещущее солнце...

В голове мелькает покорная мысль: «Конец... Подмокнет комсомольский билет...»

Но нет, не конец. Снова солнце, снова волны, снова мокрый край плота. И карабин цел... И берег, *тот* берег, словно ближе немного. Но как до него бесконечно далеко. Нет сил...

— Спас-с-с!.. — голос со стороны.

Ты жив, бас?

— Спа-аси-те! То-ону-у! — голос со стороны, голос смертника.

Только не кричать, крик — это смерть, все силы уйдут на крик. Только не кричать! Кто к тебе бросится?..

Но и без крика умрешь — берег далеко.

Умереть в воде, не от пули. Как глупо! Не лучше ли было остаться, встретить немцев с карабином в руках? Хоть одного, да убить... В карабине — полная обойма, четыре патрона на них, один на себя. Так все делают, он читал не раз.

Четыре патрона на них, один на себя — и выкрикнуть перед смертью: «Да здравствует Родина! Да здравствует Сталин!» А комсомольский билет?.. Цел.

Оглянулся назад — дыбится высокий берег, можно различить суетящихся людей, машины, уцелевшую мазанку на гребне. Какое сравнение — до *того* берега куда дальше.

Надо повернуть. Умирать, так на земле.

Подталкивая плот, Федор поплыл назад.

Над Тихим Доном не раздавалось криков.

Он вытолкнул плот на галечный берег, выползти из воды не смог — упал рядом с плотом. Била крупная, редкая дрожь. Тело как кисель, лежал, раздавленный собственной тяжестью, жадно, со стоном дышал, сотрясались плечи, дергались спущенные в воду ноги, лязгали зубы. Не верилось, что плыл, шевелил руками и ногами.

Карабин цел... Насилуя себя, с мучением пошевелил рукой, тронул мокрую пилотку — цел и комсомольский билет.

Грело солнце и не могло прогреть промерзшее тело. В самых внутренностях угнездился донный глубинный холод. Лежал, дышал, не пытаясь остановить конвульсивную дрожь.

Сначала перестали дергаться ноги, тело уже не казалось плоским, раздавленным, и зубы не лязгали. Приподнялся на ослабевших руках, удивился — держат, не подламываются. Тогда вылез совсем из воды, сел, огляделся.

Его снесло от переправы на километр, не меньше. Но и здесь стояли брошенные повозки, вдоль берега были покиданы шинели, каски, плащ-палатки, маск-халаты. Какой-то аккуратист на пригретой гальке сложил, как на тумбочке в казарме, гимнастерку, брюки, белье, хоть и грязное, но конвертиком, рядом пояс, обмотки, ботинки. Все есть, нет только самого хозяина, а так бы — по команде: «Тревога!» — пять минут, и на ногах. Приплескивающая прибрежная волна не оставила его следов. Не он

ли кричал басом: «Спасите!» Не его ли несет сейчас Тихий Дон к Азовскому морю?

Среди раскиданных шинелей, плащ-палаток, противогазных сумок мирно паслись распряженные лошади. А вдали судорожно жила переправа.

Федор вынул из пилотки комсомольский билет в красноармейской книжке, разложил на камнях, на солнцепеке — пусть подсохнут. Сушить одежду не стал — зачем? Одеждой аккуратиста-несчастливца он побрезговал, зато у первой же повозки нашел все, что нужно. Не нашел только сапог, пришлось влезть в ботинки, но ботинки подыскал добротные, желтой кожи, ремень комсоставский, белье шелковое, чистое. Подыскал и новую шинель, она была из тонкого сукна, длинная, в кармане оказались белые лосевые перчатки. Попалась каска, не обычная, а с гребешком. В таких касках — видел на фотографиях в журналах — в мирное время маршировали войска на Красной площади. Каску тоже водрузил на себя — своя-то уплыла.

Взял в руки карабин, взял с гордостью — все-таки спас, не обронил на дно. Попробовал затвор — не открывается,— заело,— должно быть, попал песок. Вот и встречай с таким оружием немца.

У самого берега куча — винтовки со штыками и без штыков, винтовки самозарядные, ручные пулеметы. Сверху точно такой, как у Федора, короткоствольный карабин. Но у Федора на карабине — грубый брезентовый ремень нелепого портяночного цвета. У брошенного же карабина — ремешок узкий, прошитый кожей; быть может, от этого и сам карабин казался красивее — изящней линия приклада, гуще вороненость на казеннике. Федор попробовал затвор — смазан, легко ходит, повертел в руках, отыскивая изъяны, и не нашел, повесил на плечо,— вот это другое дело, теперь можно и встретиться: «Четыре патрона по ним, один для себя...»

А собственный карабин, спасенный с таким трудом, остался в куче брошенного оружия. Четыре патрона на них, один на себя. Захотелось вдруг жить...

Для полной экипировки не хватало обмоток, из-под брюк на желтые добротные ботинки свисали завязки кальсон. Но обмоток Федор так и не успел намотать.

С переправы донесся знакомый тягуче-утробный вой. Над кишащим человеческим муравейником разворачивались самолеты. Один из них уже покато падал вниз. По

речной глади разносился стонущий, с металлическим звоном натянутой струны вой. Зябко встряхнулась под ногами нагретая галечная россыпь, плеснуло в лицо тугим воздухом. И было видно, как мечутся стиснутые берегом и водой люди и в небо, лениво, с бескостной ломотцой, расправляясь, ширясь, полз ядовито-черный дым. И в этот дым снова и снова ныряли хищные машины, и возносился надсадно вопящий рев, и поеживался осыпанный галькой берег.

По самому гребню обрыва, на фоне поднявшегося на дыбы дыма, с воплем бежали застигнутые войной женщины — волосы раскосмачены, белые кофты изодраны. А на переправе, кроме тяжелой тучи, ничего не было видно.

Как ни странно, но казалось, что на переправе почти ничего не изменилось. Так же рычали, наползая друг на друга, машины, так же метались люди, потрясали кулаками, ругались, отстаивая свои права в очереди к жалкому причалу! Как и прежде, качался канат над водой и где-то шел паром...

Только рыдающе ржала раненая лошадь. Ее животные рыдания не мог заглушить гомон переправы, рев перегретых моторов. Да еще у самой воды рядами стояли носилки, в них лежали люди, с головой укрытые шинелями, из-под одной шинели вместо ног высовывались два неперебинтованных, уже не кровоточащих, нежнорозовых обрубка. Лошадь ржала, животное негодовало, а люди на носилках переносили мучения молча.

Где-то далеко за полночь Федор очутился у борта парома. Впереди него, подтянувшись на руках, влез здоровенный солдат. Влез, сел на корточки, начал оглядываться — не попрут ли обратно.

Федор позавидовал: «Мне не подтянуться». После плавания он чувствовал слабость во всем теле.

— Ты куда выпер, ловкач? А ну, назад! — прикрикнул Федор снизу, стараясь так, чтоб голос звучал побасистей.

— Да тебе чего?.. Да разве жалко?

— Черт с тобой! Сиди уж... А ну, дай руку!

Парень с благодарностью вытянул его, как котенка.

Занималось нежное утро, вода Дона румянилась вместе с небом.

В набитом без продыха пароме велись вполголоса «утешающие» разговоры:

— В полдень канат перерубило...

— Канат что, а вот тут в корму засадил фугасным, семерых уложил.

— Как прет, сволочь... Как прет!

Солдатик с усохшим лицом, острые колени сжимают длинную винтовку, влажными глазами озирается кругом, ловит взгляды.

— Как прет... Силища!

И ему хочется, чтобы возразили, презрительно обругали, пусть даже сунули в шею. Злую ругань ждет и Федор — она успокоила бы. Но все угрюмо замолкают. Трется канат о бревно, въедается в дерево, нежно поплескивает за бортом ясная водица.

Грудастый, сыто-красивый старшина в комсоставской мятой гимнастерке, тряхнув тяжелой головой, роняет:

— А если и за Волгу так?..

К нему дернулся костлявый солдат, упрятанный в тесную шинелишку:

— Что — за Волгу?

— А то, что лопнем... «На заранее подготовленные позиции»... Украина, Белоруссия, Россия до Москвы — подготовленные позиции. Только для кого? Для него! И Урал подготовим... «Широка страна моя родная», но и ей конец есть...

Голос грудастого взвинченный, тонкий, с петушиными выплесками. Шуршит канат, вгрызающийся в разлохмаченное дерево, пошептывает вода... И Федор в эту секунду почувствовал, как внутри проливается ужас, леденит сердце: «Широка страна... Широка, но становится меньше». Почувствовал, не успел подумать. Взвилась длинная фигура, костлявый солдат прирос к старшине, схватил его за горло:

— Г-гад! Кур-ва!

И паром заколыхался от бешеных выкриков:

— Запел!

— Вырви ему зоб!

— Пустите меня! Я вкачу!

— За борт, сволочь!

— В воду!

И Федор, не помня себя, спасаясь от леденящего нутряного ужаса, сам кричал:

— В воду!

Старшина упал, на него навалились. Тесная толкотня пропотелых гимнастерок, короткие возгласы:

— Перехвати.

— Брыкается.

— Дай приму.

— Врешь, стерва, не выскользнешь!

Куча копошащихся тел докатилась до борта. Всплеск... И шуршит канат. Солдаты отворачиваются, хмуро оправляют гимнастерки, усаживаются в прежней тесноте. Чей-то голос, заискивающий, неискренне бодрый, произносит:

— Собаке— собачья смерть.

Ему никто не ответил.

В стороне раздалось знакомое:

— Спас-с-с!..

Смолкло. Шуршит канат. Съежился солдатик с усохшим, морщинистым лицом, обнимает винтовку, боится, что вспомнят о нем...

А Федора охватывает невыносимо щемящий — хоть кричи — стыд. Он вместе со всеми вопил: «В воду!» За борт свое бессилие, свой ужас! А за бортом оказался человек, ужас остался, он плывет на пароме, все сидят, придавленные им. И все, наверно, думают об одном: близко Волга, так близко, что на машине к ее берегам можно подкатить к обеду.

Обнимает солдатик винтовку, напуган за свою маленькую жизнь. А что жизнь?.. Близко Волга, так близко, что вдруг да... Чужие солдаты растекутся по всей стране, не минуют тогда и Матёры. Что одна жизнь, хотя бы его, Федора?.. Он раньше считал — нет ничего дороже. Жизнь — это весь мир. Сменял бы ее сейчас не за мир, а за несколько десятков километров степи, что лежит между Доном и Волгой, степи прожженной, пыльной, полынной, нисколько не похожей на мягкие и сочные луга близ деревни Матёры. Как отдать себя за нее? Как? Кто подскажет? Все кругом сидят и молчат, всем стыдно, что бросили человека, такого же, как они, быть может, только сильнее напуганного. Как? Никто не знает. Как?!. Молчат... А многие бы предложили: «Бери жизнь, сбереги степь». За степью Волга, за Волгой Урал, у широкой страны есть конец... Больно!..

Кто подскажет? Молчание. Тихие всплески воды...

Брызнуло солнце, когда паром уткнулся в дно, не доходя до берега. Стадно, с толчеей посыпались прямо в воду.

Костлявый солдат в куцей шинелишке, стоя по колено в воде, повернул назад жестковато ястребиное лицо, погрозил вдаль черным кулаком, матерно выругался.

Федор тоже оглянулся на краснеющий в первых лучах солнца глинистыми оползнями берег: чей он — еще не немцев, но уже и не наш. «На этот раз ушел, там встретимся — посмотрим».

В стороне мелькнула кургузая, озабоченная фигурка, круглая, скуластая рожа.

— Мишка! Котелок!

Оба рванулись друг другу навстречу, обнялись.

Кто-то сочувственно высказал догадку:

— Братья, должно.

14

Среди степи, в плоской прокаленной выемке, расположились огневики без орудий, ездовые без лошадей, повозочные без повозок. Многие не только без оружия, не только без скаток, касок, но и без гимнастерок. У одного на голые плечи наброшен кусок плащ-палатки, другой щеголяет в вышитой петухами поношенной косоворотке — в хуторе по пути обмундировался, третий — бос. Вольница, но не воинственная, беженцы, но никуда не спешащие. Федор средь них — в каске с гребешком, без обмоток, с торчащими из-под штанов грязными завязками кальсон — выглядит щеголем.

Вершит делами дивизиона политрук Сергеев. Этот человек с пышными плечами и широким бабьим тазом до сих пор был неприметен. Он не появлялся на марше среди колонн, не командовал на огневой во время боя, не сидел на наблюдательном пункте. Все знали комиссара дивизиона и капитана Голованова, похожих друг на друга, в солдатских касках, с автоматами, крепко сбитых, грубоватых, напористо деятельных. От них бегали связные, от них летели приказы, их требовало командование к телефону, к ним обращались за помощью. Комиссара убило шальной пулей, капитан Голованов растерял пушки, часть в боях, часть по дороге к переправе,

последние — у самой переправы под бомбежкой: выбило всех лошадей. И все это время никто не знал — жив политрук Сергеев или он остался лежать после очередного налета в придорожном кювете, как остались лежать многие.

Оказалось — жив, не ранен, с грехом пополам, как все, переправился и на этом берегу должен заменить погибшего комиссара.

Капитан Голованов, прежде лишь мимоходом замечавший его, сейчас сидел в стороне, натянув на лоб пилотку, праздно глядя в землю. Его часть отступила, опрокинутые взрывами пушки валяются по степным дорогам среди трупов людей и лошадей, он — командир и должен ответить. Его посылают в штрафной батальон. И это почему-то решил новый комиссар Сергеев.

Сергеев на солнцепеке разбирает какие-то бумаги, к нему и от него бегают связные.

Солдаты озлоблены. Кто виноват в том, что оказались за Доном? Конечно, начальство. Поругивают вполголоса:

— Попляшут в нашей шкуре.

— Наша-то шкура теперь помягче будет. Из штрафников-то вырвешься, ежели только кровью обмоешься,

— А комиссар нынешний вроде свят. Сам небось через Дон в солдатских обмоточках прискакал.

— Интересно, кормить он нас думает?

— Заглянул бы я, братцы, в котелок.

— Карабин бросил, а котелок небось цел, фигура,

— Вот погляжу на твою фигуру, когда баланду раздавать будут,— не поклонишься ли моему котелку.

Твердым шагом, с выражением деловитой запарки на молодом лице подошел один из замполитов, развернул бумагу, откашлялся, суровым голосом стал читать фамилии:

— Рядовой Аверкиев!

— Я!

— Рядовой Барышников!.. Есть здесь рядовой Барышников?

— Я!

— Уснул, что ли?.. Ефрейтор Букашин!

— Я!

Солдаты выжидающе глядят на неприступного замполита, гадают, что сулит эта перекличка,— может, за

продуктами на продпункт пошлют, может, в наряд сунут.

— Рядовой Котельников!

— Я! — выкрикнул Миша Котелок.

— Младший сержант Матёрин!

— Я! — по-уставному бодро отозвался Федор.

За продуктами? Вряд ли... Великоват списочек-то.

Замполит судейски рубящим голосом извещает:

— Вышеперечисленные бойцы и младшие командиры за проявленную в боях трусость и паникерство, за безответственное отношение к высокому долгу защитника нашей Родины от фашистских захватчиков направляются в штрафную роту.

Молчание.

Замполит не торопясь свернул бумагу, взглянул поверх голов:

— Два часа на сборы!

Кто-то сдавленно вздохнул:

— Вот это да-а...

— Уделались, на нас отыгрываются,— сплюнул Мишка Котелок.

Замполит, прежде чем повернуться, напомнил строго:

— Приказ подписан комиссаром дивизиона.

Удалился твердым шагом — жаль, что степь не линейка, а то бы припечатал подметками.

— За что нас, братцы?

— За то, что с немцем не справился.

— Стрелочник виноват.

— Поди докажи, что ты не верблюд.

Федор вскочил на ноги:

— И пойду! Пойду к комиссару! Я — комсомолец! И чтоб меня насильно в бой!

Федор рванулся в сторону комиссара.

Вслед ему кто-то недружелюбно бросил:

— Чище других хочет быть...

Штрафная рота — да разве она страшна? Тот же фронт, а на фронте всюду смерть. Страшно клеймо преступника, клеймо труса, клеймо паникера! Как это пережить?

Новый комиссар дивизиона сидел на раскинутой плащ-палатке, положив на колено планшет, что-то писал.

Он очень походил на знакомого Федору бухгалтера райпотребсоюза — широкое, сглаженное лицо, тугая складка под подбородком, глаза какие-то послеобеденные, дремотные. И в рыхлой фигуре с брюшком, переваливающим через ремень, было что-то домашнее, обогретое, напоминавшее о тюлевых занавесках, разбитых шлепанцах, кошке, мурлычущей на коленях....

— Разрешите обратиться!..

— Садитесь, пожалуйста... Одну минуточку... Да, я вас слушаю.

Добрый, обнадеживающий голос.

— Разрешите спросить, товарищ комиссар, за что меня послали в штрафроту?

— М-м... — Комиссар не знал Федора Матёрина, младшего сержанта из взвода управления второй батареи, видел его впервые и, конечно, не мог ответить, за что именно его послали в штрафную роту. Но он, наверное, был добрый по натуре человек, поэтому не поднял с места, не повернул обратно со словами «приказы не обсуждаются». — М-м... — пожевал губами, отвел глаза. — Есть приказ...

— Приказ, наверное, указывает на трусов, паникеров, дезертиров?..

— М-м... В этом плане.

— Я — комсомолец!

— Очень жаль, очень жаль...

— Я обивал пороги военкомата, чтоб меня направили добровольцем!

— Охотно верю, охотно верю...

— Доказать, что я трус или паникер, не сможет никто!

— Не знаю, не знаю...

— Почему нужно ставить за моей спиной другого солдата, гнать меня в бой силой? Я и так буду воевать!

— Меня назначили — я должен выполнять. Есть приказ: из подразделений, позорно отступивших перед противником, отчислять в штрафники по три человека.

— Не верю!

— Я же вам объяснил... Совершенно недозволенное отступление. Приказ есть приказ. Ничем не могу помочь.

— Дайте мне доказать, что я не трус, не паникер. Дайте задание! Пошлите на смерть!

— Там вы тоже можете доказать... Так сказать, смыть с себя...

— Что смыть? Что смыть? Мне нечего смывать!

— Ну как же так — нечего. Раз попали в списки, значит, что-то есть...

— Я хочу знать... Я хочу услышать — какая за мной вина?

— Приказ. По три человека. Кого-то мы должны послать.

Выползающее через ремень брюшко, распаренное лицо человека, страдающего одышкой, сонливая доброта в мутноватых глазах и песня про белого бычка, песня, которую нельзя изменить.

И Федор не выдержал, он почувствовал, что у него что-то лопнуло внутри,— он заплакал от бессилия и унижения. Он сидел, размазывая грязным кулаком слезы под каской, чувствовал, что это смешно, нелепо, что слезы только могут вызвать подозрение, подтвердить — трус, тряпка, не зря посылают в штрафники,— но остановиться не мог.

А комиссар терпеливо и стеснительно глядел в сторону, повторял:

— Приказ есть приказ...

Неожиданно он назначил Федора старшим группы.

15

Все оказалось очень просто.

Федор, высушив слезы, злой, замкнутый, поднял свою группу — солдаты, сержанты, даже один старшина. Большинство из них взрослые люди, отцы семейства. Никакой охраны, никаких сопровождающих, оставили комсомольские билеты и красноармейские книжки, заставили только сдать оружие. Выдали на руки продаттестат, на котором помечен маршрут: через такие-то хутора, к такой-то станице.

В первый же переход вся команда разбежалась, кроме Мишки Котелка. Не остановишь, не схватишь за шиворот — степь велика, в степи много полурастрепанных частей, любая с охотой примет беженца.

В станице пересыльно-формировочного пункта не оказалось: эвакуировался — немцы перешли через Дон. Но

пока оставался продпункт. Федор отоварил продаттестат на всю команду — пшена несколько килограммов, банка лярда, большой кулек сахару. Мишка Котелок торжествовал:

— Так воевать можно.

Но это был первый и последний продпункт. Пшено вышло, шли голодные, залезали в хуторские и станичные огороды, бабы-казачки провожали их сумрачными взглядами:

— Вояки...

Стыдно, но голод не тетка.

На десятый день добрались до станции Садовая — окраина Сталинграда. Наткнулись на повара запасного полка, тот свел их в штаб, подождал, пока ему не сообщили, что новые бойцы поставлены на довольствие, скупо покормил галушками.

Вместо штрафной роты — поход в роте запасного полка за Волгу, в глубь степей, к Астрахани.

Село Пологое Займище растянулось одной улицей на несколько километров от ветряка до ветряка. По этой единственной улице с деревянными ружьями на плечах (настоящие винтовки нужны на фронте) маршируют солдаты, маршируют и поют:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!

И деревяшки на плечах, и сжимает тоской сердце...

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна...

А немцы уже на окраине Сталинграда, в районе Красноармейска они вышли к Волге. Когда-то пели:

Не видать им красавицы Волги,
И не пить им из Волги воды...

И кровоточило сердце, и родная Матёра разрослась до размеров необъятной страны. И чужие деревни, лежащие в пепелищах, было так же до боли, до судорог жаль, как свою, спрятавшуюся в далеком тылу. И тяжелая ненависть душила минутами к тем, кто в знакомых уже степях сидит в окопах, едет на машинах по знакомым дорогам. К тем, кто без человеческого лица, без

человеческого сердца, не похожим на все родное. И заново осмыслялось угрюмое слово — фашизм.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна...

Федор учился ненавидеть...

Дни, дни, дни...

Гнетущие сводки Совинформбюро...

Маршевая рота, расставание с Мишкой Котелком, запас НЗ в вещмешках, новые шинели...

Энская гвардейская дивизия приняла пополнение...

Дни, дни, дни...

Сотни километров проложенного по степи кабеля. Сотни километров, исползанных на брюхе, под минометным огнем, под взрывами тяжелых снарядов. Сотни вырытых окопов, десятки возведенных и брошенных землянок. И ни единого выстрела по немцам из автомата, который постоянно висит на шее,— он связист, он разматывает и сматывает катушки, он один из тружеников войны.

Каждый день — вечность. Где-то в глубине памяти, в самом ее углу,— речка Ужделица с солнечным песчаным дном, роса, обжигающая босые ноги, мать, стучащая ухватами спозаранок, запах свежеиспеченных караваев, отдыхающих под чистым полотенцем на скобленом столе. Где-то краски, альбом, подаренный Саввой Ильичом. Счастливый, неправдоподобный сон. Да была ли на самом деле та жизнь?

16

От хутора в степь выбежало красное кирпичное здание — школа.

Хутор давно уже мертв. Там не только нет ни одного жителя, но и окопов. Там нет ни одной мазанки, стоят лишь среди пепелищ горбатые, прокопченные печки, торчат черные трубы. Оттуда через степь доносит ветер запах гари, от которой першит в горле.

За этот мертвый хутор идет бой уже много дней.

Почти каждый час от окраины земли через все небо начинает течь широкая невидимая река, переполненная

гулом, шелестом, воем. Почти каждый час все немецкие батареи гонят сюда снаряд за снарядом.

Сначала начинает стонать мертвый хутор. Тяжкий дым взрывов перемешивается со взбаламученным пеплом, обрушиваются трубы, брызжут осколками кирпича многострадальные печи. Потом снаряды набрасываются на школу...

Окоп Федора на окраине школьного двора. Во время обстрела каска, положенная на бруствер, через пять минут падает в окоп. Скорбно содрогается земля, песок сыплется за воротник гимнастерки, песок скрипит на зубах. Всякий раз обреченно ждешь: ну, теперь-то конец. Снаряды обрушили крышу школы, осколки исклевали кирпичные стены, воронками, как оспой, изрыт школьный двор. Должен же рано или поздно попасть снаряд в окоп, где, съежившись, сидит Федор... Рано или поздно...

Но стихает обстрел. Федор с удивлением отмечает — пока жив, странно, но факт. И лезет из окопа на линию, перебитую осколком.

Много дней идет бой за хутор. Много дней сидит Федор на промежуточной, сидит один на один с телефонным аппаратом.

Сначала их было трое. Одного отозвали в роту — там перебило всех связистов. Второй полез искать обрыв кабеля и не вернулся — сообщили: ранен. Федор один среди воронок.

По ночам мимо него проходит полевая кухня. Повар Леонтий Щелканов выдает ему два черпака густого супа из пшенной сечки и хлеб по гвардейской норме. Полковые новости Федор узнает по телефону.

Он совсем разучился ходить, только ползает. Он уже дней девять не умывался — воды не хватает, чтобы пить вдосталь. Он спал урывками, привязав телефонную трубку к голове. От взрывов снарядов, которые сотрясали окоп, он не просыпался, но при звуке голоса дежурного: «Тополь»! «Тополь»!» — мгновенно приходил в себя.

— «Тополь» слушает!

В минуты передышки он видел перед собой одну картину: полуобвалившиеся кирпичные стены, школьный двор, засыпанный бумагами,— ученические тетрадки, классные журналы, книги из школьной библиотеки. Они забивали воронки, их лениво листал ветер.

Среди бумаг лежал голубой глобус с отбитой подставкой. Когда близко падал снаряд, стаей взмывали в воздух разрозненные белые листы школьных тетрадей, глобус перекатывался...

Макет планеты катался по истерзанной земле, не находил себе места. В этом было что-то сиротливое, угнетающее. Макет планеты — голубой от океанов. Где-то затерялись сказочные архипелаги, там пальмы смотрят в зеленые лагуны, там туземцы с золотой от солнца кожей режут волны на своих пирогах, где-то у причалов дремлют уставшие от дальних переходов суда, их трюмы пропахли сандалом.

Школьный глобус — памятник известным по названию и совсем неведомым странам, памятник городам и народам,— его бросает из стороны в сторону, он никому не нужен, не интересен. Богатая, обширная планета — никому? Но почему-то он сидит здесь: в окопе? За богатую, за обжитую, за дружную, за счастливую... Катается глобус...

После очередного обстрела на бруствер забросило книжку. Федор дотянулся до нее — Чехов, «Пьесы».

Страницы книги по углам были чуть-чуть замусолены. Они еще сохранили следы пальцев — быть может, детских. Когда-то ее читали, она стояла на полке, имела свой штамп и номер; получая ее, расписывались. Взорвавшийся снаряд выбросил ее во двор — кончилась благополучная книжная жизнь. Ее метало из конца в конец по двору, хлестало земляным крошевом. Песок глубоко забился в пазы между страницами, книга утратила способность закрываться, бумага ее пожелтела от солнца и воздуха. А уголки страниц чуть-чуть замусолены — чьи-то пальцы листали ее, кто-то читал...

Федор раскрыл — первая пьеса: «Дядя Ваня».

Содрогался окоп от взрывов, осыпался песок со стенок, шепеляво пели осколки над головой.

Содрогался окоп, в телефонной трубке время от времени раздавался голос, беспокойный, ожидающий:

— «Тополь»! «Тополь»!

И Федор отвечал:

— «Тополь» слушает.

Голос становился спокойным:

— Проверка... — Кому-то бросал в сторону: — Есть связь.

А Федор читал.

Как жили люди! Как жили! В доме, не в окопе! Не ползали на брюхе — ходили во весь рост. Не ждали, что вот-вот влетит шальной снаряд, смешает тебя с землей. Ели досыта — три раза в день! И не из котелка, куда сыплется песок,— за столом, накрытым белой скатертью. Даже салфетки! Даже занавески на окнах! Даже друг другу цветы дарили!.. Что еще надо?

А дядя Ваня просит доктора:

«— Дай мне чего-нибудь!..»

Просит яда, просит смерти среди цветов, белых скатертей, светлых окон.

«— О боже мой... Мне сорок семь лет: если, положим, я проживу до шестидесяти, то мне остается еще тринадцать. Долго! Как я проживу эти тринадцать лет? Чтó буду делать, чем наполню их? О, понимаешь... понимаешь, если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому. Проснуться бы в ясное, тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова, что все прошлое забыто, рассеялось, как дым...»

И он плачет.

— «Тополь»! «Тополь»!

— «Тополь» слушает.

— Жив пока?

— Пока жив.

Раз жив, значит, все в порядке. Раз есть жизнь, значит, будет все, что нужно. Сорок семь лет прожил на свете дядя Ваня, а Федор всего девятнадцать. Сорок семь лет прожил — разве это не счастье, прожить такую уйму? — а он боится — впереди будет еще жизнь, целых тринадцать лет! А может, больше, может, все девятнадцать! Боится этого?

«Проснуться бы в ясное, тихое утро...» Да, в тихое... Когда не стреляют и знаешь, что не будут больше стрелять, когда можно без опаски бросить окоп, сдать автомат, перекинуть через плечо мешок и отправиться домой через города и села, через поля и леса в родную Матёру.

Тихое утро...

Даже если не осилишь Нефертити, даже если Савва Ильич ошибся — нет таланта,— все равно прекрасно. Просто жить, как все. Только жить.

Станет работать в колхозе, вставать тихим утром, спешить на околицу деревни к конюшне, открывать ворота, вдыхать запах тепла, навоза, конского пота, выводить коней к обледенелой колоде, стоять, сонно жмуриться, терпеливо посвистывать — пейте. А кони будут подымать мохнатые морды, задумчиво смотреть на робкую зорьку, с их губ будет капать розовая вода...

Проснуться бы в ясное, тихое утро...

Снаряд ударил возле самого окопа. Вздыбившаяся земля поднялась сухой тучей, закрыла на секунду солнце, першащий горло дым прополз через окоп. Комья земли обрушились на пилотку, на плечи, на страницы книги. Федор стряхнул землю и продолжал читать.

«— Что же делать, надо жить!.. Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный, длинный ряд дней, долгих вечеров, будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба, будем трудиться для других и теперь и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем...»

А в телефонную трубку бубнит голос:

— «Рябина»! «Рябина»! Отвечайте, «Рябина»!..

«— ...Я верую, дядя, верую горячо, страстно... *(Становится перед ним на колени и кладет голову на его руки; утомленным голосом.)* Мы отдохнем!..»

— «Тополь»!

— «Тополь» слушает.

— Плохо слушаешь. Почему «Рябина» не отвечает?.. Ее Первый вызывает.

— Сейчас проверю. «Рябина»! «Рябина»!.. А, черт — порыв! Лезу...

Федор оставил книгу, снял с головы веревочную петлю, которая держала возле уха телефонную трубку, вжимаясь в землю, выполз из окопа.

Рванул снаряд, метнул навстречу Федору охапку бумаги. Прокатился мимо школьный глобус, макет земли...

17

Дни, дни, дни...

Осень 1942 года в приволжских степях была сухой и солнечной, морозы ударили поздно.

Был долгий поход. Остановились посреди степи, насквозь промерзшей, черствой, удручающе унылой.

Полынь в инее, кругом ни намека на жилье — пустыня. Привал ли на пять минут, на неделю или на месяцы? Солдаты, пряча лица в поднятые воротники шинелей, приплясывали на пронизывающем ветру, с неприязнью оглядывались — проклятое место, ждали команды: «Вперед!» Но забегали офицеры, бросая приказы: «Занимать оборону!» А это значит — здесь твой дом, здесь, где стоишь. Взяли в руки лопаты...

Велика способность солдата обживаться. Сначала выкопали ямы, спали в них под открытым небом, прижавшись друг к другу, прямо на земле, сверху опускался реденький снежок. На следующий день привезли откуда-то старые бревна, балки, доски. Как муравьи, тащили каждый к своему жилью, к своим ямам. И вот уже накат не накат, от прямого попадания снарядом не спасешься, а все ж крыша над головой — слой досок, разнокалиберных балок, вверху земля да для маскировки кучки полыни. Вместо дверей на выходе — заиндевелая плащ-палатка. А потом в углу появляется старое ведро — самодельная печь, трещат в ней дрова, как и откуда добытые среди голой степи, один бог знает. А там и освещение — патрон противотанкового ружья, сплющенный на конце, с чадящим фитилем. Тепло, смутные тени ползают по земляным стенам, пахнет портянками, пусть себе воет снаружи ветер, сыплет снег — уют. Посреди голой степи вырос поселок, от него потянулись кабели — назад в штаб дивизии, вперед в штабы батальонов, вправо, влево к соседям. Гвардейский номер такой-то полк занял оборону. Надолго ль?.. Поговаривают о наступлении.

Раза два начинал кружить одинокий немецкий самолет, косились на него, ждали — вот-вот «плюнет» бомбой. Но самолет, как манной небесной, осыпал землю листовками. Подбирали, читали:

«Русские солдаты! Сдавайтесь в плен. Не забудьте с собой захватить котелок! ШВЗ! (Штык в землю!)»

Добродушно матерились:

— Хоть бы бумагу, растуды их, с умом подобрали. На раскурку не годна...

Немец заискивал: «Не забудьте захватить с собой котелок!» И было в этом заискивании что-то грубое, оскорбляющее — зазывают, как свиней, кормежкой. Убоги умом агитаторы!

Слухи о наступлении крепли.

Мутное раннее утро 20 ноября — серое низкое небо, серая плоская степь. И вся степь, весь воздух над степью загудел. Снова потекла река плещущим шелестом тяжелых снарядов. На этот раз невидимая река текла в таинственную, мглистую даль, занятую противником.

Прощайся с обжитым местом, бросай теплые землянки с самодельными печами, с коптилками из патронов, сматывай кабель в катушки.

Раннее утро двадцатого ноября...

Сцепившиеся повозки опрокинуты набок. Из повозок вывалились ящики с патронами — брошено.

Ты идешь.

Штабная немецкая машина, вокруг нее по земле — белые канцелярские бланки. Кончилось горючее, штабисты улепетывали дальше пешком.

Ты идешь.

Брошенные пушки, завалившиеся набок тракторы, черные, выгоревшие дотла хутора, окопы с нацеленными в твою сторону молчащими пулеметами, окоченевшие трупы в голубовато-серых шинелях...

Погас день, началась ночь,— ты идешь.

Отстали где-то кухни и обозы, несколько сухарей из неприкосновенного запаса, выданного старшиной перед наступлением, давно съедены.

Нет конца дороге, ты идешь, идешь, идешь.

Усталой рысцой пробегает офицер, покрикивает:

— Не отставать! Подтянись!

Ночь, дорога, покачивающаяся перед глазами спина шагающего впереди солдата. Кто он? Из твоей роты, из чужого батальона, быть может, из соседнего полка? Все перемешалось на этой дороге.

— Бери вправо! Вправо!

Проходит один танк, другой, третий, обдают гулом и лязгом, теплом разогретых моторов и запахом бензинного перегара.

— Вправо!

Берегись, пехота, не путайся под ногами, теснись к обочине!

Покачивается впереди спина, навевает дремоту, гудят ноги, ломит плечи, сосет под ложечкой — пусто в брюхе.

Нет конца дороге. Уже бледнеет небо, уже можно разглядеть изрытую обочину, уже степь не черна, а мутна.

А спина покачивается перед глазами — та же спина или другая? Внезапно налетаешь на нее, упираешься носом в шершавое сукно.

— Проснись!.. — в придачу крепкое слово, голос усталый и злой.

На дороге застрял грузовик — задержка...

Грузовик обходят. Снова усыпляюще качается спина.

Мыльный свет просачивается сквозь облака, вкрадчиво, провокаторски открывает увядшую, заскорузлую степь во всей постылой наготе полузимы, полуосени. Мыльный безрадостный свет и корявая земля, дорога, распоровшая эту землю, дорога, вызывающая тоску своей бескрайностью. Иди, иди, иди — нет конца земле, нет отдыха. Полмира занимает широкая солдатская спина в такой же серой, как сама степь, шинели.

И опять забылся — толчок, влип лицом в холодное, шершавое сукно. Покорно ждешь злую и усталую брань.

Но спина молчит. Рядом тесно друг к другу стоят солдаты.

Что это?

Музыка! Посреди окоченевшей от заморозков степи, посреди войны!..

Сон? Бред на ходу?.. Так, пожалуй, можно услышать и голос матери.

Но за плотной шинельной стеной вырвался нечеловеческий голос, стонуще-страстный. Вырвался и упал, сообщая что-то сокровенное, растворявшееся в степной бескрайности. Музыка! Не сон и не бред — на самом деле.

Федор протиснулся.

Прямо у дороги, на бугристой и смерзшейся обочине, сидел пленный румын. Жеваная, зеленая, утратившая свой ядовитый цвет шинель, ноги в грубых ботинках подвернуты под себя, низко остриженная, угольно-черная голова, шапка — меховое ведро — валяется на земле. Руки, раздавленные, широкие, дремучие окопные руки, словно десять лет пролежавшие в земле, ставшие такими же черными, как сама земля, и только ногти на пальцах, как раковины, белы — на них не держится грязь. Этими руками и подбородком, заросшим пыльной щетиной, зажал скрипку. Что-то пугающее, варварское в том, что глинистые пальцы с неестественно белыми ногтями осмеливаются касаться ее, легкой, хрупкой, благородно лоснящейся отполированным деревом, переполненной тре-

петом, нервной дрожью. Осмеливаются касаться, нет, грубо и властно мнут — не рвись, птица, хочешь улететь — не получится! И скрипка стонет от сладкого насилия.

Она стонет... И мыльный свет сквозь жидкие облака обливает замороженную щетинистую степь, и где-то в мутной промозглости утра остервенело рычат машины, и тесно сбились вокруг остановленные на полпути люди, в одинаковых шинелях, с одинаковыми обросшими лицами, с общим выражением усталости — дети-близнецы угрюмой степи, распятой войной.

А скрипка поет... Печаль?.. Может быть. Плач?.. Возможно. Но если и печаль, то счастливая. Если и плач, то без слез. Мутный, грязный, утомленный рассвет — чистый голос, настолько чистый, что не вынесешь: вот-вот остановится сердце.

Поет скрипка...

А впереди у тебя бой. И наверное, с ходу, после целых суток марша, когда ты валишься с ног, не дождавшись кухни, придется взвалить на горб пудовые катушки с кабелем и ползти по мерзлой степи, ползти, обдирая кожу рук, вжиматься под снарядами лицом в застывшую грязь. И может, убьют...

Убьют?.. О господи! В эту минуту плевать на все, ничто не важно — бой, голод, усталость, смерть,— плевать! Есть голос, чистый голос — стон и страсть, плач и счастье...

Посреди войны, оборвав на минуту напористый поход, поет скрипка. Вокруг слышалось тяжелое дыхание.

Стоявший рядом солдат, тот, на чью спину Федор натыкался,— рослый детина с рубленым лицом и ввалившимися глазами — несмело отогнул полу шинели, достал из кармана сухарь, не спуская взгляда с румына, разломил пополам, осторожно бросил полсухаря на шапку.

Румын не поблагодарил, он просто этого не заметил, а солдат смущенно крякнул.

Федор давно сгрыз свои сухари... Как сказать, что он любит этого человека с грязными окопными мужицкими руками, не стыдится своей любви, счастлив ею и в эту минуту даже забыл, что он, этот человек, недавно был его врагом, что и сейчас еще сидит в одежде врага?

Жеваная, замызганная шинелишка, на черных пальцах белые ногти, плавает смычок над скрипкой.

Мутный, грязный рассвет и пронизывающий все тело, все твое существо чистейший — ничего не может быть чище на свете — голос...

Станция Тингута. Посреди станции — полевая немецкая кухня, рослый битюг с раздутым брюхом и оскаленной мордой подымает вверх копыто с отшлифованной подковой.

Станция Тингута. Здесь штабелями сложены мешки сухой картошки, здесь — мука, консервы, бутылки с разными наклейками, возвеличенные солдатами под общим названием «немецкий шнапс». Здесь нет только воды. В мирное время на эту станцию воду привозили в цистернах.

Федор второй раз увидел румына.

На дороге, поодаль от брошенной немецкой кухни, собрались в круг солдаты, успевшие отведать трофейного шнапса. Видать, не без щедрости поднесли и румыну. Он, в своей высокой, как ведро, меховой шапке, нахлобученной на самые уши, лихо отплясывал. Парень в артиллерийской, с черным околышем фуражке, посаженной на тугие кудри, рвал мехи гармошки, наяривал:

Барыня, барыня,
Сударыня-барыня...

Пожилой старшина торжественно и величаво, как каравай хлеба на блюде, держал обеими руками скрипку румына.

Румын плясал, кругом похохатывали.

В этот день среди брошенных немецких окопов Федор нашел альбом. Он был наполовину заполнен рисунками — женские головы, умелая рука набросала их жирным угольным карандашом. Только женские головы, нежные, задумчивые, с опущенными густыми ресницами, с чистыми овальными подбородками. Федор с любопытством пролистал альбом, восхитился — «ишь ты, мастер», вспомнил Нефертити. Но восхитился и вспомнил без зависти, без боли — по-чужому, со стороны. Он добросовестно выполняет обязанности солдата. Нефертити умерла

где-то перед склоном, ведущим к колодцу. Она умерла, дав возможность стать солдатом и выжить ему. Стать солдатом и выжить, а это значит — презирать смерть, собственную жизнь не считать равной всей вселенной. Есть многое, что выше твоей личной жизни, понять это — значит стать солдатом.

А Нефертити умерла.

Вокруг Федора так часто умирали, что и эта смерть не особенно тронула.

18

А на другой день прочно лег снег. Из конца в конец растерзанная степь стала белой, непорочно чистой, торчала лишь редкая щетина травы. Снег покрыл старые воронки и брошенные окопы, снег запорошил трупы. Снег не смог скрыть лишь фронтовые дороги, они были черны, как строптивые реки, не желающие замерзать. Лишь фронтовые дороги да еще чадящие пепелища.

Со всех сторон обложен Сталинград. Отсюда путь к нему — на восток.

Днем — наши тяжелые бомбардировщики, эскадрилья за эскадрильей, невысоко, на виду, не воровски, не прячась,— летят хозяева неба.

И вспоминается не такое уж далекое время — всего-навсего отошедшее лето. Вспоминается, как он, Федор, лежал, вжавшись грудью, брюхом, коленями в черствую степную дорогу... А теперь спокойно провожай глазами — ты вместе с ними хозяин. И стоит он по-хозяйски как раз посреди той степи, за которую, сидя на пароме, готов был предложить жизнь, не знал лишь как. Он, Федор, жив, многие умерли, степь — наша.

Суматошно оживленный огонь зениток, словно окраина немецкой степи, встречает наши самолеты аплодисментами. А самолеты отвечают тяжкими взрывами, до нутра сотрясают землю, эскадрилья за эскадрильей... А ночью по всей степи вызывающе, открыто запылали костры — пехота грелась.

Костры... Даже глазок цигарки вызывал бунт: «Прячь в рукав, сукин сын! Накрывайся плащ-палаткой!» Невзрачный цигарочный огонек принесет другой огонь — снарядов и мин. Закон фронтовой земли свят — бойся света по ночам.

Греется пехота, летят доски от трофейных снарядных ящиков, полыхает пламя. Утром в наступление, нет смысла зарываться в землю, строить землянки — утром вперед!

Вся Европа сейчас утонула в непролазной тьме, вся Европа с богатыми и людными городами, а тут, на самой передовой, вопреки привычкам, вопреки законам,— костры!.. В эту ночь кусок фронтовой степи — самое светлое место в Европе.

Костры, костры, костры, вся степь в кострах, давно отвыкло от них воюющее человечество. Грозный знак...

А на другой стороне — глухая, угнетенная темнота. Темнота и тишина...

Утром те, кому посчастливилось спать в землянках, вылезали наружу и протирали глаза... Поперек степи — забор не забор, что-то вроде этого.

Топтались, глазели, гадали:

— Огорожа, коз держать.

— Иль для немцев загончик.

— Не лезь, фриц, к нам по капустку.

— Бороны какие-то...

И вдруг эти «бороны-огорожа» покрылись дымом, покатился по степи тягучий гул. По небу, словно дельфинья стая, полетели толстые, неуклюжие снаряды.

И начался день, ходуном заходила земля...

Догадались: редкий гость, «Иван Грозный», степенный собрат «катюши». Слышать — многие о нем слышали, но даже старые вояки, уцелевшие с первых дней войны, не видали его в глаза.

Всеведущие вестовые ПСД принесли подробности:

— Один снаряд, братцы, вшестером подымают. Прямо в ящике такого быка вкладывают. Из ящика и прыгает... Иной зацепится, так и с ящиком пошел гулять.

— То-то там щепки летят.

— Немец, поди, серчает: «Рус избой кидается...»

Впереди Ворапоновка. До Сталинграда рукой подать.

Прошлой ночью взвод пешей разведки ушел на вылазку. Должен бы вернуться к утру, сейчас близок вечер — ни слуху ни духу. Командир разведчиков, младший лейтенант Хлопотун, человек степенный, близко к пятидесяти, не мальчишка — тертый калач. Ребята у него

во взводе — каждый сорвиголова, не раз выходили целыми из крутых переделок. Не может быть, чтоб увязли... Потерять таких ребят, когда, если не завтра, то послезавтра, прихлопнут полузадушенную группировку, фронт окажется далеко-далеко за спиной, где-то у Курска! Не может быть, вынырнут.

И вынырнули...

С темнотой в штаб полка пришел разведчик Хлопотуна — Сашка Голенищев. В своем маскхалате, словно полярный медведь, поднявшийся на дыбы, в складках на необъятной груди прячется немецкий автомат, он кажется игрушкой. Сашка, переступив порог землянки, как ни в чем не бывало сказал:

— Здорово, братва.

От котелка щей, который сразу же подсунули ему, отказался:

— Сыт... Сообщите Первому. Пусть примет, есть разговор.

Первый — командир полка — принял его сразу же.

Через полчаса всем стало известно: разведчики угнездились за передовой немцев, разорвав их оборону. Разведчиков двадцать человек всего, немцев не сосчитаешь, но те думают, что русские бросили по крайней мере батальон. Не воспользоваться таким случаем грешно, но нужна связь, сигнализация ракетами не подходит. Сашка требует радиостанцию.

Все радиостанции разосланы по батальонам, пока вызовешь да пока прибудут — глядишь, ночь пройдет.

Командир полка вызвал начальника связи, начальник связи — Федора Матёрина.

— Возьмешь одного человека, две катушки кабеля. Потянешь связь от штаба пятой роты к Хлопотуну. Позывной Хлопотуна — «Гвоздика».

— Есть!

— Поведет Голенищев.

— Есть!

— Кого возьмешь в помощники?

— Сивухин отсыпается, он только и свободен. Выбирать не приходится.

— Буди Сивухина.

Посидели, покурили в пятой роте у лейтенанта Зеленчакова. Обычно ротная землянка не в обороне, а в наступлении — конура. Но здесь, должно быть, у немцев

был расположен крупный штаб. У лейтенанта Зеленчакова — палаты под землей, генерал таких не имеет. Трюмо от пола до потолка, настоящая никелированная кровать, не жестяная печка, а камин из кирпича, и ко всей роскоши — важный в своей черной лаковой чопорности рояль, уставленный котелками с недоеденным пшенным гуляшом.

Сашка Голенищев, прямо в маскхалате, не снимая с шеи автомата, сидел у рояля, тыкал прокуренным черствым пальцем в клавиши. Вроде получалось веселенькое: «Соловей, соловей, пташечка...»

Хозяин палат, вчерашний взводный, с полудня заменивший раненого командира роты, в грязной гимнастерке и лоснящихся ватных брюках, маленький, худенький, со спеченным, морщинистым, но не старым лицом, сидел на никелированной кровати, на самом краешке, подавленный непривычной роскошью, блаженно жмурился, делал вид, что «соловей, соловей, пташечка» доставляет ему удовольствие, через силу превозмогал себя — хотел спать.

Возле камина, поближе к теплу, прямо на затоптанном полу развалился телефонист, вызывал воркующим голосом:

— «Незабудка», «Незабудка», ты слышишь меня, «Незабудка»?..

От его телефона и должен тянуть кабель Федор.

Сашка захлопнул крышку рояля, встал — головой под потолок, необъятный в своем маскхалате,— рядом с ним даже громадный рояль казался мелким.

— Хватит, отдохнули... А ты, младший лейтенант, торопись к нам. У нас там землянки пошире твоих, хотя каминов и нету. Зато другого чего... Консервы, бутылки с золотыми головками. По вкусу — наш самогон, ежели не крепче. При Хлопотуне особо не развернешься, все бутылки в свой угол составил, сидит на них, как курица над цыплятами, пригрозил: «Кто самовольно тронет — пристрелю». Ходи да облизывайся, батько шутить не любит. Утром всем по стакану выдал, да мне, когда отправлял, на дорожку дал хлебнуть... Ну, коль вы придете,— гульнем... Торопись, младший лейтенант, готовь роту!

Помощник Федора, связист Сивухин, плутоватый мужик лет под сорок, сплюнул замусоленный бычок, резво поднялся:

— Пошли... Пора...

Сашка ухмыльнулся:

— Ишь ты, ожил...

Федор поднял с пола катушку. Конец кабеля от нее был сращен с линией у входа в землянку.

Телефонист, лежавший у камина, бросил:

— Ни пуха ни пера, ребята.

— Пошел к черту!

Черное вязкое небо, мутная белизна снега, колючий ветер.

— Вались, братва... — шепотом сказал Сашка и сам упал.

Упал — и в своем белом халате сразу же растворился среди серого снега. Федор узнавал, где он, только по шороху и сопению. Жгучий снег забивался в рукава шинели и ватника, визгливо скрипела раскручивающаяся катушка, пристроенная на спине. «Голосистая, сатана. Смазать бы — не догадались».

Ветер неровными порывами шумел над головой, дул наискосок от немца. Сзади пыхтел Сивухин, почти налезал на пятки Федору, помогал, если зацепится кабель... «Спешит Сивуха, надеется, что Хлопотун поднесет стаканчик из бутылки с золотой головкой...»

Сашка Голенищев переставал сопеть, поджидая, ворчал шепотом откуда-то из блеклой снежной мути:

— Ленивы, братцы, ленивы, шевелитесь-ка...

Федор таким же сдавленным шепотом огрызался:

— Тебе бы, слон, катушку на горб посадить!

Как кроты, буравили снег. Упор локтем, толчок ногой, еще толчок, еще... Скрипит катушка...

Перед глазами невнятная пелена снега. Снег — единственно осязаемая вещь, а все остальное кругом — чернота. Черно и пусто, как то Ничто, которое, наверное, наступает после смерти. Черно и пусто... Толчок коленом, еще толчок, еще... Ползешь вперед, в беспрерывно черный мир, где нет вещей, нет земли, нет звезд, нет жизни туда, где не будет тебя самого.

Кончилась первая катушка. Искать нож по карманам долго, зубами сорвал смерзшуюся оплетку с кабеля, снег набился в рукава, запястья онемели, пальцы еле шевелятся, не могут связать оголенные проводники —

тонкая работа для окоченевших рук. Подполз Сашка Голенищев, выдвинулся из темноты гора горой, дыхнул на Федора запахом махорки:

— Теперь близко. Но тут-то он, гад, и ущупывает. Сторожись!

А концы провода падают в снег, пальцы не держат. Федор выругался:

— Сволочь! Не выходит...

— Ш-ш... Не у мамки на печке. Беда с вами, ребята. Давай помогу, что ли...

Наконец стянули проводки, перехлестнули кабель петлей, чтоб не расползся. Вперед!

Теперь впереди, за валенками Сашки Голенищева, ползет Сивухин. Крутится катушка на его спине, выплевывает в снег тонкую нить кабеля.

Толчок, еще толчок, еще...

И вдруг Сивухин вместе с катушкой исчез. Сдавленный выкрик, шипение Сашки:

— Заткнись, холера... Выползай. В окоп рылом угодил.

Сивухин выполз. Полежали все трое, тесно прижавшись друг к другу, прислушивались — не открыли ли себя? Тихо, темно. Осторожно поползли дальше...

Не успели проползти и десяти шагов, как где-то в глубине бездонной черной пропасти явственно раздался щелчок. И через секунду снег, тот мутный снег, не до конца потушенный темнотой, еще сохранивший остатки своего цвета, внезапно вспыхнул голубым вопящим светом. Вся земля в холодном, до боли режущем глаза пламени. Вся земля трепещет, плещется, корчится — нагая, раздетая, огражденная еще более черным, плоским, как стена, небом.

И на голой, яркой земле — они, вжавшиеся в голубой снег.

Выброшенная вверх ракета нехотя покатилась вниз. Еще вовсю пламенела заснеженная земля. Издалека, со стороны, раздался глухой стук пулемета. Рядом — дотянись рукой — булькающими всхлипами тонули в снегу пули...

Ракета упала, пламенеющую землю словно накрыли ладонью. Но уже кончилась безликая чернота, разбуженная ночь забунтовала. За спиной широкими полосами с визгом рвали ночь трассирующие пули. Раско-

лолась, плеснув багрянцем, одна мина, другая. Колючая, морозная, тончайшая снежная пыльца ударила в щеку...

И среди этого визга, глухого пулеметного выстукивания, нарастающего воя летящих мин кто-то в глубине ночи начал вертеть несмазанное колесо. Скрип!.. Скрип!.. Скрип!.. Один поворот, другой, третий...

«Ишак» — шестиствольный немецкий миномет!

Федор вжался в снег... Скрип! И смолкло...

Долю секунды тишина — даже пулемет перестал стучать. Затем вой. Выла не мина, выла голодная стая, мчащаяся по воздуху на Федора. Вой возрос до осатанелого надрыва, и... земля прогнулась под тупыми ударами — один за другим, один за другим, не верится, что их всего шесть — шесть мин, брошенных из шести стволов, — нет им конца.

Тишина, стучит пулемет, где-то в стороне, давясь в визге, кусают заснеженную землю пули. Пока целы, черт возьми!

— Ребята! — голос Сашки впереди. — Рви за мной, не то крышка!

Но вскочить не успели. Вспыхнула снова земля испепеляюще голубым пламенем. Скрип!.. Скрип!.. Скрип!.. Родилась в воздухе голодная стая, заполнила плоское, непробиваемо черное небо... Грохот справа, грохот слева — в скорлупе грохота, в кольце раскалывающих ночь всплесков пламени...

Радужные круги расплылись, заскользили перед глазами куда-то плавно, плавно, наискось вправо, вправо, словно сносимые ветром...

Последнее, что врезалось в память, — удушливо едкий, химический запах в морозном воздухе... Радужные круги наискось вправо, вправо...

19

Федор открыл глаза — ничего, только чернота, плоская, прижатая вплотную к зрачкам. Может, так и начинается *та жизнь,* жизнь по ту сторону? Может, она есть?

Но взапуски... Но вперегонки, вперепляс резвятся автоматные и пулеметные очереди. Он лежит в кругу, очерченном выстре-

лами. Значит — жив. Он даже не так долго был в забытьи. Перестрелка-то не кончилась...

Федор приподнялся на увязнувших в снегу локтях, снова упал грудью на мягкий, уютный снег, застонал — от пяток до затылка прошибла резкая боль, вспотел лоб под надвинутой шапкой. Отлежался — боль прошла. Попробовал шевельнуть одной ногой, другой, почувствовал, что обе ноги — огромные, тяжелые, как два мешка песка, они горят, они раскалены,— казалось, снег под ними должен шипеть и таять.

«Значит, в ноги»,— трезво и даже холодно отметил про себя Федор. Он снова приподнялся на локтях, и снова — всплеском по всему телу — боль, перед глазами рыжие горячие пятна — вправо, вправо, наискось... Федор упал лицом в снег.

Очнулся, во рту сухо, пылающими губами схватил снег, приятно заломило зубы, ясней стало в голове. Надо ползти... Куда?.. К своим. А ребята?.. Что с ними?..

Совсем рядом, шагах в трех, что-то темнело в снегу. Бережно, бережно, подтянулся на локтях,— ноги что якоря — не сдвинешь с места. Боль бьет в затылок... Оказывается, ее можно перенести. Вершок, еще вершок, руки дрожат в плечах... Все-таки дополз — валенки! Большие растоптанные валенки. Тряхнул за пятку:

— Сивухин...

Валенок пружиняще подался, принял прежнее положение.

— Сивухин...

Так можно будить камень или бревно.

— Сашка... Голенищев...

Тишина. Снова налег на дрожащие руки...

Сашка Голенищев в своем маскхалате, большой, горбом, как наметенный сугроб. И внутри этого сугроба что-то булькает, хрипит. Сашка дышит.

— Саш...

Федор тряс за плечо, пытался заглянуть в лицо разведчика. Но лишь хрипение и бульканье внутри.

— Саш-ка!

Тащить?.. Где уж... Сашка вдвое больше Федора, а Федор и себя-то самого волочить не может.

Кругом выстрелы, скрипит на немецкой стороне «ишак», где-то далеко рвутся мины, и рядом хриплое, клокочущее дыхание умирающего разведчика,

Вспомнил, как лежал летом перед плешивым, голым склоном оврага, смотрел пристально и серьезно: «Так вот где место моей смерти...» Нет, не там...

Весь мир разделен — черное небо и серый снег, снег и небо, выстрелы кругом и тишина рядом. И товарищи его — один мертв, другой умирает, недвижные ноги, слабые руки, кружится голова...

Но пока-то жив, надо ползти от этого места... Черное небо и серый снег... Надо ползти... А как уютно лежать в снегу. Надо ползти, но куда? Вперед, к разведчикам? Они где-то близко... Близко и немцы... Только Голенищев знал дорогу, а Голенищев лежит и хрипит.

Надо ползти, нельзя спать в снегу, ползти обратно по кабелю. Кабель приведет к своим.

Лежит, зарыв голову в снег, Сивухин. Горбом сбилась у него на спине шинель. Сползла набок катушка, от катушки — кабель...

К своим... К своим... Кружится голова, подгибаются руки, вся сила ушла на переползание от Сивухина к Сашке, от Сашки к Сивухину, руки не держат, а ноги сзади, как плуг, пашут снежную целину. Надо пропахать к своим, а свои далеко, не надо ни о чем думать, надо только ползти. Вершок, еще вершок... И не выдержал, упал.

Какая удобная и мягкая земля в снегу! Не дрожат руки, не чувствуешь своего свинцового тела, от ног успокаивающая мирная боль. Она растекается по всем уголкам тела, к локтям рук, к запястьям, кружится голова, но не сильно. Укачивает, как на качелях: вверх-вниз, никакой тяжести в теле, оно легко, совсем невесомо и очень послушно: вверх-вниз... И холода не чувствуешь — мягко, уютно...

Летом он любил спать на повети. На сене разбрасывался старый отцовский тулуп. Запах сена, пыльный чердачный запах повети, запах тулупа — густой, овчинный — и легкий, горьковатый, щекочущий — табака. Когда-то этот тулуп был новым, его на зиму пересыпали махоркой, чтоб не ела моль. До сих пор запах этого табака сохранился. Тулуп мягко и ласково обнимает, прижимает к себе. Запах овчины и табака — отцовский запах, а объятия тулупа — теплые, материнские. Темно в повети, только сквозь щели прохудившейся крыши блестит случайная звезда, и бревенчатая поветь вместе с сеном,

с крышей, с землей, со звездой мерно раскачивается — сейчас он уснет, властно и ласково обнимает его уставшее тело тулуп... Уснет, он счастлив, что может ни о чем не думать, ни о чем не беспокоиться...

И вдруг Федор стряхивает сон. Снег и черное небо... Нельзя спать. Сон и снег — смерть! Надо ползти. К своим!.. Какая тяжелая голова, какое неповоротливое каменное тело, как больно двигать руками. Руки подламываются, Федор тычется лицом в снег, снова приподымается и снова падает... Нельзя спать, если хочешь жить. Нить кабеля по серому снегу... Во рту пересохло, язык распух. Плодятся перед глазами рыжие расплывчатые пятна, плывут в сторону, пропадают, на их место появляются новые.

Федор ползет. Кажется, ползет. Выдерживают руки тяжесть головы... Выдерживают, но вот снова подламываются. Это ничего, они окрепнут, им нужно дать только отдохнуть...

И снова тело становится легким, оно само подымается в воздух, оно, кажется, плывет... К своим! Плывет само. Не надо ползти...

Жаркий летний день, на земле от деревьев пятнистая дрожащая тень — вызванивающие зайчики по траве. А в воздухе лениво плывет тополиный пух. Плывет над изгородями, над деревенской дорогой, над горячими завалинками под бревенчатыми стенами. Плывет тополиный пух, не желает ложиться на землю. А земля сверху близкая, знакомая. Как интересно глядеть на эту землю с высоты и лететь, лететь, плавно, лениво, не падая. Можно, как в трубу, заглянуть в черный колодезный сруб, можно пронестись над крапивными зарослями, можно миновать двор, пересечь грядки с капустой, на задах овраг, но и он не помеха... Река... Летишь над рекой, сквозь воду маячат песчаные косы, под ними — темная, загадочная глубина...

В эти секунды человек, стынущий среди заснеженной степи, на нейтральной полосе между своими и чужими, человек с перебитыми ногами, истекающий кровью, потерявший последние силы,— в эти секунды он счастлив.

Тополиный пух в синем воздухе, тополиный пух над землей, обласканной солнцем.

А человеку неполных девятнадцать лет. Он еще не любил в жизни женщин, строил не дома, а убогие землянки, он баловался красками, но только баловался... Не-

полных девятнадцать лет, он еще не успел стать человеком, он лишь мечтал им быть.

Тополиный пух гонит ветер...

Стыдливые зори над пасмурными лесами, слежавшиеся туманы под блеклой луной — счастливые откровения на холсте красками, знакомые губы Нефертити... Всего этого может не быть.

Плывет тополиный пух...

И коченеют на морозе руки...

Обшитый крупными листами фанеры потолок, запах йода, чей-то голос упрямо долбит:

— «Гвоздика»! «Гвоздика»! Отвечайте, «Гвоздика»!

Чуть скосил глаз — под потолком угол зеркала.

— «Гвоздика»! «Гвоздика»! Говорит «Лотос». «Гвоздика»!.. Черт бы их побрал! Не может же быть порыва...

Над самой головой обрадованное:

— Эге! Моргает!

Знакомое лицо — узкое, морщинистое, с пучками белобрысых бровей. Лицо морщинистое, но не старое, где он его видел?

— Ну как, дружба? Очухался?

Федор попытался подняться.

— Лежи! Лежи!

Но он уже успел разглядеть черный рояль, на лакированной крышке, как на полке, грязные котелки. И вспомнил, что морщинящееся в улыбке лицо — младший лейтенант Зеленчаков. На рояле Сашка Голенищев выклеивал одним пальцем веселенькое: «Соловей, соловей, пташечка...»

— Голенищев... Там... Он ранен... А Сивухин наповал...

Морщинки распустились:

— Голенищев здесь. Вытащили, как и тебя.

— Где он?

Помолчал, ответил нехотя:

— За порогом. Ему теперь все равно где лежать.

. . . . . .

Жарким августовским днем пятитонный грузовик затормозил посреди украинского села. С высоты холма, откуда сбегала дорога, это село с белыми хатками, уто-

нувшими в зелени, казалось уютным, открыточно красивым. Вблизи же — на побеленных стенах оспины пуль и осколков, стекла выбиты, посреди дороги воронки, за зелеными купами деревьев прячутся пепелища.

Шофер грузовика выглянул из кабины, крикнул в кузов:

— Сыпьте. Дальше не везу.

Несколько солдат, подхватив тощие вещмешки, спрыгнули на землю, огляделись.

На площади, у колодца, обнесенного бутовым камнем, толпились пленные — мятые суконные мундиры нараспашку, маскировочные в лягушачьих разводах костюмы, пыльные, заросшие лица. Возле них, рослых, звероподобных на вид — мальчишка с автоматом, круглая конопатая рожа, поблескивающая медаль «За отвагу» на затертой гимнастерке.

— Пасешь? — бросил ему Федор.

— Приходится,— важно ответил конопатый и ломающимся баском прикрикнул: — Шнель! Шнель! Хватит прохлаждаться.

Пленные покорно побрели по дороге, сгорбленные спины, болтающиеся руки, потухшие глаза,— все как один высокие, заматеревшие, за ними — вразвалочку, сплевывая через губу, парнишка, едва ль не подросток.

Пока Федор лежал в госпитале, отъедался, отсыпался, бегал в самоволку на костылях, шло время. Такие конопатые, моложе его, призваны в армию и уже обстрелялись, медалей понахватали.

А Федор так и не успел попасть в Сталинград, пленные немцы были для него в диковинку.

Через камышовые крыши хат ветер бросил на улицу листовки. Они легли на грязь возле колодца, догнали понуро бредущих пленных, обметая их пыльные шевелюры, усеяли дорогу. Ни пленные, ни конопатый парнишка не обратили на них внимания.

Федор поднял один зазывно белеющий листок:

«Родные подсолнухи зовут тебя!» Рисунок-виньетка: аляповатые подсолнухи выше игрушечной хатки. А дальше и читать нечего — сплошь фотографии, одна за другой рисующие райскую жизнь некоего Филиппа Сидоровича Лобуденко, сдавшегося добровольно в плен, получившего за это ферму, двух коней, пять коров, свинарник с цементным полом. Даже читать не трудись — все в наглядных картинках. Вот и сам Филипп Лобуденко в чи-

стой рубахе. Филипп Лобуденко в той же чистой рубахе держит двух жеребцов, жеребцы спокойны, а их хозяин тревожно скалит лошадиные зубы. Филипп Лобуденко с женой в окружении свиней на цементном полу собственного свинарника...

«Родные подсолнухи зовут тебя!» А Федор помнит и другую лирику. Тогда они советовали: «Спасай свою жизнь, пока не поздно...» Потом тоном ниже: «Переходя к нам, не забудь захватить с собой котелок...» Теперь — жеребцы, породистые коровы, свиньи, и все в картинках, с припевом: «Родные подсолнухи зовут тебя!»

Идет время, ничего не скажешь.

Федор перекинул через плечо вещмешок, зашагал. В его походке была заметна порывистая раскачка — правая нога срослась, но стала на три сантиметра короче.

Федор шагал в соседнее село, где расположился штаб дивизии, в которой придется служить.

— Идет время, но пока идет еще и война, до конца не близко.

Первое ранение Федора, первое, но не последнее. Он принес с фронта три нашивки.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

По улицам Москвы не торопясь вышагивал младший лейтенант — хлопчатобумажная гимнастерка, суконные полевые погоны, по кирзовым сапогам недавно прошлась щетка уличного чистильщика. Нельзя сказать, чтобы вид бравый.

Путь лежал из Судет через Европу в деревню Матёру. На пути стояла Москва.

Из деревни писали, что известие о победе пришло на станцию вместе с ночным пассажирским поездом. Люди вываливались из вагонов, плакали, обнимались, носили на руках какого-то полковника, качали едущих из госпиталя солдат.

Платон Муха, маляр, писавший вывески, ходил в пляшущей, плачущей от радости толпе, носил в обнимку четверть самогона, держал в руке стакан, останавливал всех и предлагал:

— Ну-ка, пропусти за победу.

И сам пил:

— Со счастьем великим, друг.

Какая-то старуха из деревни, притащившая корзину клюквы на продажу, зазывала:

— Родненькие, сюда! Родимые, ко мне идите! Касатики вы мои милые...

И сыпала стаканами мягкую, перезимовавшую ягоду в фуражки, в подставленные карманы, в бумажные кульки, каждому сообщала:

— У меня Ванюшку убило, сынка... Ванюшка мой на войне этой погиб... Люди добрые, вспомяните Ванюшку моего...

Ей пытались сунуть деньги, она отталкивала:

— Господь с вами, грех-то какой... Ванюшки моего нету, так уж вспомяните его добром...

И женщины с поезда плакали вместе со старухой о ее Ванюшке.

Если перебрать день за днем с глубокой древности всю историю России, не было счастливее дня, чем 9 мая 1945 года. Еще в самом начале войны Сталиным было сказано: еще несколько месяцев, полгода, в крайнем случае годик... Но шли месяцы, шли годы, а война не кончалась: голодные пайки, работа по двенадцати—пятнадцати часов в сутки, похоронные со свежей почтой, сводки о сдаче городов, и кажется — нельзя выдержать, вот-вот лопнут силы, но — выдержали. 9 мая 1945 года — оглянись в глубь веков — не было счастливее дня.

Федор находился в немецком городке. Этот город с окраин был не тронут, черепичные крыши торчали за кронами вековых вязов и лип. Каждое утро дома по улицам расцветали перекинутыми через окна спален пуховыми матрацами, а обыватели выходили на улицу, ловили взгляды русских военных и раскланивались:

— Гутен морген, гер официр!

С окраин город не тронут, а центр... Кучи кирпича и пепла; как гнилые зубы, торчат стены домов. В центре города уцелел лишь бронзовый памятник известному немецкому философу, имевшему честь здесь родиться.

Философ сидел с раскрытой книгой на коленях, через книгу связисты перекинули телефонный кабель. Из одного штаба в другой шли по кабелю обычные армейские распоряжения, а бронзовый философ величаво и отрешенно вглядывался в этот кусок проволоки, старался понять его мировой смысл.

В центре города засели фольксштурмовцы, наспех собранные и вооруженные мальчишки, им приказали умереть, и мальчишки, воспитанные в добропорядочных немецких семьях, были послушны. Артиллерия на прямой наводке разнесла их и весь центр города, бронзовый философ-идеалист уцелел случайно.

На верхнем этаже уютного дома, где квартировал Федор, по временам раздавался рыдающий смех, смех, доходящий до судорог. Там жила взаперти фрау Хайзер, двое ее мальчиков были убиты в центре города, и она сошла с ума.

Город давно был взят, давно уже не раздавалось на его улицах даже одиночных выстрелов. Немцы вели себя благоразумно и предупредительно:

— Гутен морген, гер официр,— и старались заглянуть с улыбкой в глаза.

Но вот ночью под окном прогремела автоматная очередь, еще одна, еще, взлетела ракета, голубой яркий след окна поплыл по стенам. Федор вскочил, начал натягивать одежду и тут услышал захлебывающийся от радости вопль:

— Победа!

Кричали, обнимались, целовались, стреляли в воздух. Победа!

Старшина выкатил на средину улицы бочку вина, вышиб дно, заорал, обращаясь к темным окнам, за которыми прятались испуганные выстрелами и криками жители:

— Мир, фрицы! Эй, вылезай! Пейте! Радуйтесь! Мир!

До утра праздновали в покоях Федора. Старшина, бывший минометчик, крутошеий мужчина с изуродованной осколком щекой, пьянел и все больше удивлялся:

— А ведь выжили... Мы-то дожили, черт возьми, до этого дня!

Этот день... За спиной свист снарядов, трупы товарищей, и уже фашистские наводчики не направят в твою

сторону ствол орудия, и танки с крестом не двинутся на твой окоп. Конец!.. Этот день гарантирует каждому жизнь. Что может быть святей такого дня!

Но день еще не начинался, занималось голубенькое весеннее утро в чужом городе, под чужим небом. Пили за победу, а вверху корчилась в веселой истерике сумасшедшая фрау Хайзер, отдавшая Гитлеру двух сыновей.

Занималось утро, среди развалин горбился бронзовый философ. Он глядел на телефонный кабель, перекинутый по бронзовой книге, и силился понять что-то свое, далекое от людских радостей и бед.

На уцелевших улицах вывешивались флаги: красные, напоминающие о победе, и белые — о капитуляции.

— Гутен морген, гер официр. — Обыватели этого благопристойного городка тоже, кажется, радовались.

И в это же время в глубине России, на станции близ родной Матёры, старуха оделяла незнакомых пассажиров с проходящего поезда перезимовавшей ягодой:

— Ванюшку моего добром вспомяните...

...Путь лежал в деревню Матёру.

И вспомнилось раннее утро, последнее довоенное утро. Вспомнилось дерзкое шлепанье сандалий по асфальту, сумрак, прячущийся под арками ворот, ночь, притаившаяся в окнах, солнце, ударившее в лоб самого высокого здания, — весь тот странный мир, где корни деревьев прячут за решетки, водой поливают камень.

Федор Матёрин вспомнил все это, когда набитый солдатами, офицерами, мешочниками, командировочными, рабочими по вербовке поезд приближался к Москве. Стало грустно. У него есть прошлое — то, что делает человека если не старым, то достаточно взрослым. Потянуло увидеть след своей юности, как уже при седине тянет к себе какой-нибудь тополь или покосившаяся калитка, где в первый раз, холодея от робости, поцеловал девчонку.

И Федор не стал пробиваться в очередь к билетной кассе, а, спрятав поглубже свой литер, вышел из вокзального здания.

И опять в Москве ни одного знакомого, ни одного, кроме самого города. А с городом «на заре туманной юности» знакомство было самое мимолетное.

На ступеньках вокзального крыльца, прямо на мостовой сидели, лежали, ели, спали, плакали, смеялись, молчали, беседовали женщины, старики, дети, солдаты, матросы, колхозники, помятые интеллигенты, бригады рабочих, русские, грузины, армяне, узбеки, татары, вездесущие цыгане... Война потревожила людей, сорвала с обжитых мест, разбросала в разные стороны. Каждая война — великое переселение народов. Теперь война кончилась, началась отливная волна, не менее размашистая и широкая, чем в прилив. Любой вокзал — становище кочевников, какие не снились самым непоседливым нашим предкам.

Инвалид без ног, волоча по пыльному асфальту обшитые кожей культяпки, тряс картузом, ловил мятые рубли, сипло пел пропитым голосом:

Жена родная не признала
И отвернулась от меня-а...

Федор с трудом узнавал тот утренний удивительный город, город-мечту. Кое-где на окнах виднелись крест-накрест наклеенные бумажные ленты — былое пожелтевшее заклинание от бомбежек. Часто на каменных цоколях проступает полустертая надпись «Бомбоубежище» и стрела, указывающая путь.

Нет, незнаком и ему, демобилизованному офицеру, не обещает пристанища. Но проездной литер лежит в кармане незакомпостированный, поезд пропущен — хочешь не хочешь, а раз напросился, будь гостем города.

Куда идти? Как убить время? И вспомнил о Третьяковке. В прошлый раз он так туда и не попал. Началась война — до того ли, сразу бросился к вокзалу.

Федор шел не спеша, козыряя встречным военным. Не спешил и не торопился — а вдруг та Третьяковка будет закрыта. Закрыта так закрыта, станет бесцельно шататься по улицам.

Четыре года на войне, а из окопа мир выглядит иначе, чем из окна теплого дома. Иначе выглядит, иначе оценивается. За эти годы Федор не помнит, чтобы когда-нибудь любовался закатом, зато не раз видел дымные зарева пожарищ, обнимающих небо. Где-то в первый фронтовой день умерла в его душе бессмертная Нефертити, а вместе с ней появилась бесхитростная мечта... Хорошо

вставать с первой зорькой, хрустя валенками по снегу, идти к конюшне, открывать ворота, выводить коней к обледенелой колоде. Кони станут подымать к размытому восходу лохматые морды, вода будет капать с их губ...

Живет еще недалеко от Матёры, на станции, Савва Ильич Кочнев, художник-самоучка, почитающий Федора за талант. Но как раз судьба-то Саввы Ильича и остерегает — берегись! Ни пава, ни ворона среди людей, ни настоящий художник, ни настоящий учитель — аппендикс в обществе. Не признан, а признавать-то нечего, не понят, а что понимать? Весь на ладони. Нет уж, минуй чаша сия.

2

И вот уныло тихий, прокаленный солнцем Лаврушинский переулок. Вот милиционер у ворот... Потемневшие от времени и непогоды футболисты все еще отвоевывают друг у друга мяч. Монумент Сталина вознес каменную голову до самой крыши.

Вход открыт, милиционер не обратил внимания на нового посетителя в полевых погонах...

Музейная прохлада Третьяковки лета 1945 года.

Сводки Информбюро уже перестали останавливать людей на улицах, и уже вид почтальона, подымающегося по лестнице, никого не заставляет бледнеть. Но существуют карточки — их надо отоваривать, существуют разовые талоны, ордера, сверхнормированный рабочий день, армейские бутсы на ногах девушек вместо туфель с высоким каблуком, пахнущий керосином лярд вместо сливочного масла. Война кончилась, кончился пожар, но угарный чад еще не рассеялся. Казалось бы, не должно еще наступить время для искусства.

Не должно бы... Но в залах Третьяковки полно посетителей. Те же девушки в солдатских ботинках, в латаных кофточках, парни, не успевшие снять гимнастерки, женщины с голубовато-бледными лицами от хронического военного недоедания, простые солдаты, притихшие, замкнутые в себе подростки-рабочие, интеллигентного вида велеречивые старички, ищущие собеседника, чтобы излить на него свое восхищение «колоритом», «рефлексами», «одухотворенностью». Пестрый народ, народ, а не

избранные. И то, что он в дни карточек и ордеров, маргарина и девичьих юбок, сшитых из плащ-палаток, пришел сюда, к «Березовым рощам» и «Золотым плесам»,— не признак ли духовной молодости, неутоленной жадности к жизни? Не доказательство ли, что война безвозвратно окончена?

Федор сразу же настроился на серьезный лад, испытал легкий укор совести — как он мог жалеть, что отказался от поезда, как он мог проехать мимо Москвы и не побывать в Третьяковке, в той самой Третьяковке, которой бредил в юности, картины которой заучивал наизусть, как стихи.

С утомительной добросовестностью он принялся изучать все подряд от порога первого зала. Слащавые «селяне» Венецианова, дурные портреты царей и цариц в деревянных позах и пышных одеяниях — тусклый восход русской живописи. Но раз все это висело в Третьяковке, значит — ценно, хорошо.

Федор ждал потрясений, великих откровений, от которых бы кровь стыла в жилах.

Его остановило полотно Александра Иванова «Явление Мессии». Остановило своими гигантскими размерами — вся широкая стена от потолка до пола,— великан в толпе, как не остановиться.

Федор стоял, смотрел, и все не нравилось ему в этой картине: и размеры, нескромные, хвастливые, и расчетливо расставленные, претенциозно обнаженные люди, чистые, словно только что из бани, и фигура Христа в глубине — бога же ждут, сына божьего, он как-то должен выделяться среди других людей. Ждут-то, оказывается, заурядного, невыразительного человека, восторг их фальшив. Нет, не нравится. Федор отвернулся.

Васнецовские «Богатыри» — любопытно, не на конфетной коробке, взаправдашние...

Вот и «Княжна Тараканова» — ей-ей, даже красивые барышни умирают проще, безобразнее. Он помнит, как девка-красавица, жившая с немецким комендантом, спроваживавшая на тот свет каждого, кто косо на нее взглянул, сама своей рукой не брезговавшая расстреливать, валялась на площади, цепляясь за ноги солдат, целовала пыльные сапоги — сильная, гибкая, плотскипотная, густые волосы рассыпались по обнаженным плечам.

Суриковские «Стрельцы»... «Боярыня Морозова»... Знакомы, очень знакомы, вплоть до лиловой ступни юродивого на снегу...

Лиловая ступня напомнила ноги двух мальчишек. Стриженые головы, на острых, костлявых плечах какие-то длиннополые чуйки, похожие на рваные мешки, босые ноги утопают в талом снегу. Они стояли под виселицей. После них ужасаться — боярыню-матушку везут в цепях на простых дровнях...

А ждал, что, когда увидит не репродукцию, а холст, которого касалась рука самого Сурикова, должно оглушить, перехватить дыхание, должно потом сниться по ночам.

Нет, не оглушило и сниться не будет...

Федор устал, дотащился до жесткого диванчика, стоявшего посреди одного из залов.

Зал был внизу, по сравнению с верхними залами, накрытыми застекленной крышей, казался полутемным, сумрачным.

Федор сидел развалясь, вытянув затекшие ноги. А мимо не спеша проходили люди, каждый утонул в самом себе. Подойдут, остановятся, постоят задумчиво, двинутся дальше. Люди пришли сюда в свободное от работы время. Оно предназначено для отдыха, для развлечений. Но здесь не отдыхают, не развлекаются — слишком серьезны лица, сам воздух насыщен благоговейной суровостью.

Медленно текут мимо Федора люди, и кажется, что все они что-то ищут, упрямо, терпеливо, что-то дорогое, бесконечно близкое, утерянное.

И вот в голове сама собой складывается красивая легенда... В седой древности князь-воин ищет после боя своего сына. Шагает среди трупов, останавливается — сын? Нет, старый дружинник, с которым еще в молодости ходил на половцев, был в плену, бежал из плена, спал на одном пропахшем конским потом чепраке. Нет, не сын, но смотрит князь, вглядывается, вспоминает. Постояв, стряхивает задумчивость, идет дальше — сын? Нет, опять дружинник, веселый бражник, плясун, заводила. И снова вглядывается князь, снова вспоминает: сколько хмельного меда выпито вместе, сколько ночей проведено в бесшабашном угаре, сколько песен спето,

каблуков сбито в пляске, девок попорчено. Идет князь, натыкается на тех, кто напоминает ему его самого, его жизнь, его страсти, его грехи, а сына нет, не найдет. Самое дорогое, самое близкое — утеряно.

Люди останавливались напротив Федора перед портретом молодой женщины с ребенком в руках. Федор уже несколько раз скользил взглядом по портрету, безучастно, без интереса — слишком много картин кругом, много среди них женщин, молодых, с младенцами, без младенцев...

После одного такого равнодушного взгляда заметил, что женщина-то слишком молода. Ей лет шестнадцать — семнадцать, а уже на руках — ребенок.

Простое открытие — молода... Открытие, которое может занимать внимание от силы минуту,— сонная вялая мысль, готовая, едва появившись, умереть. Но взгляд задержался, и Федор уже не мог его оторвать.

Чуть-чуть обметенное веснушками лицо, распахнутые глаза, глаза чистые, не тронутые мыслью. Губы нецелованные, припухшие, доверчиво милые, и прическа взрослой женщины. Открытый человек, без секретов — глядите, вся здесь, ничего не спрятано. Ребенок с ребенком. И она не в сиротском наряде — богато одета, не покинута, не обманута, на лице не скорбь, а несокрушимый покой благонравной девочки, не сознающей, что жизнь трудна, сложна, жестока. Вся здесь со своей крохотной биографией — ребенок на руках. Вся здесь со своей простенькой, незапятнанной душой. Вся здесь, с неистраченным запасом доверчивости. Нет причин для жалости, а ее жаль, сжимается сердце. Беззащитна? Не ведает о жестокостях? А может, тебе просто жаль себя, жаль того, что растеряно по окопам? Жаль, что чистота бывает мимолетна, что хорошее проходит, ясная молодость уступает место угрюмой старости.

И еще жаль — ты уйдешь, она здесь останется. Она ли? Есть холст, покрытый красками. Почему ты думаешь о ней как о живой? К ней привык. За несколько минут привык. Не хочешь расставаться. Почему?.. И к живым так быстро не привыкают...

Не стоит думать о разлуке, сейчас встреча, а не расставание, знакомство, а не прощание. Никто тебя не гонит отсюда. Уйдешь и все равно будешь помнить о ней, что живет, что может встретиться...

И появилась зависть... Зависть к человеку, сотворившему такое. Человек, а не бог, но какой человек!

Старательность, добросовестность, аккуратность — заповеди заурядных людей — все ниспровергнуто. Где там старательность, когда в дерзком запале брошен густо замешанный шлепок краски, брошен и забыт во всей его корявости, грубости, обильной щедрости. Добросовестность... Платье, руки, кружева одеяльца, сам ребенок сделаны в каком-то исступлении, небрежно. Сумасшедше плясала кисть. Безумие... И это безумие родило покой, которым дышит угловатая фигурка.

На лице кисть не плясала, не неистовствовала, здесь она вдумывалась. Здесь тишина — человек творил.

Человек, а не бог, но какой человек!

Если б Федору сказали, что ему на одни сутки дадут его силу, его страсть, его дерзость и умение,— на одни сутки, только на сутки, а взамен попросят всю жизнь, всю, которую удалось сохранить от пуль, Федор бы подумал и, пожалуй, согласился бы. Одни сутки побыть таким человеком, а там не умрешь. Будут помнить тебя, считаться с тобой, мысленно беседовать. Не умрешь, будешь жить. А жизнь?.. Федор знает, как ее легко теряли люди на фронте...

Он встал. Теперь ему хотелось бежать обратно в те залы, которые он проскочил. Обратно — к лиловой на снегу ступне юродивого, к горящей свече возле белой рубахи стрельца, ожидающего казни... Обратно... Но хватит на сегодня. Храни то, что получил. А потом тебе, Федька, нужно подумать, серьезно, не спеша, наедине.

Федор подошел к портрету, взглянул на надпись: «В. Серов. Дервиз с ребенком».

Мадам Дервиз, мать-девочка.

Когда-то лежал на снегу с перебитыми ногами — плыл тополиный пух, коченели руки... Подымись в атаку рота Зеленчакова на полчаса позже, не было бы на свете человека по имени Федор Матёрин.

Несколько минут назад сидел на диванчике посреди зала, шли мимо люди, а у него от усталости омертвела душа. Как знать, что было бы, если б он сел перед другой картиной, в другом зале?

3

Федор вышел на один из пыльных скверов. По скамейкам дремали разморенные на солнцепеке старушки, ребятишки с криком гонялись за продавленным мячом. К газетной витрине — голова к голове — тесно прилипли люди. Одни вылезают из кучи, утирают пот с распаренных лиц, другие протискиваются ближе к газетному листу.

Два седеньких пенсионера — каждый Сократ, не меньше, перед другим — важно доказывают:

— Она, не спорьте, величиной с автобус. Такая разрушительная сила не может умещаться в маленькие габариты.

— Разрешите заметить, вы не представляете, что такое сила атома. Она может быть с детский мяч или даже с наперсток.

Что-то опять случилось в мире — что ни день, то событие. Федор не столько из любопытства, сколько по привычке — осведомляйся, чем скорее, тем лучше,— привалился к спинам, закрывшим газетную витрину. Сразу же кто-то притиснул его сзади, жарко дыша в затылок. Сосредоточенное сопение и неумолкающие разговоры.

— Новостишка-то, а?..

— В чем дело? Я еще ничего не знаю.

— Бом-ба!

— Ну и что?

— Да ничего. Трумэн на Японию капнул... От одной бомбы взрыв такой, что полстраны словно корова языком слизнула.

— Не полстраны, уничтожен всего один город.

— Все равно штучка. Одна бомба — и города нет.

Федор выбрался из толпы.

Разбит и сожжен еще один город в мире.

Новая бомба, о ней на фронте ходили смутные слухи, ждали ее от немцев. Но Федор привык думать о бомбах только тогда, когда они падают ему на голову. А в ближайшие годы вряд ли кто посмеет спустить ему на макушку бомбу. Его волнует сейчас другое.

Он уселся в тени, достал плексигласовый портсигар, закурил.

Бомба. В Японии нет города. Смежив морщинистые веки, дремлют, тоже, видать, осведомленные об этой бомбе, старушки. Визжат ребятишки.

Бомба, сверхсекретная, сверхмощная... А Федор скоро снимет погоны, для него пришло время в упор, решительно спросить себя: «А кем ты теперь будешь, Федька Матёрин?» Обычно отмахивался: «А-а, была бы голова цела...» Голова-то цела, о ней нужно позаботиться.

Ворота конюшни, обледенелая колода, капающая вода с лошадиных губ... Так просто — конюх на всю жизнь?..

Дремлют старушки, плетется прохожий с авоськой, из которой выглядывает бутылка молока, плачет взахлеб девочка — горе, мальчишки отобрали мяч. А на другом конце планеты сейчас, в эту минуту, еще чадят пожарища города, спаленного таинственным, ужасным огнем. Где-то далеко, на другом конце планеты... Здесь же обыденный, трезвый мир, дорого купленный, долгожданный для Федора. И в голове его тоже трезвые, обыденные для всего рода человеческого мысли — как прожить? А перед глазами стоит мать-девочка, которой не суждено постареть, хранит память тронутое веснушками лицо, непорочные глаза, непорочные губы — расстался с нею, но рано или поздно еще встретится. И не проходит зависть: это сотворил не бог — человек. И по длинному ряду залов Третьяковки и сейчас еще ходят люди, ищут что-то сосредоточенно, упрямо, что-то дорогое, близкое, утерянное.

Дымит в Японии город, то в Японии...

Человек творил, не боги горшки обжигают — решайся, Федор.

Не так-то просто сменить гимнастерку на штатский пиджак, особенно если ты прежде носил мальчишескую куртку с «молнией». У многих на это уходят годы, кривыми путями, растерянностью, заблуждениями, зачастую отчаяньем заполнены они. Фронтовик, ищущий место в жизни,— дежурная тема в грядущих романах.

Федор Матёрин — счастливое исключение. Он бросил окурок и встал. Он решился — на это ушло каких-нибудь десять минут, одна папироса.

Он совсем забыл о бомбе. Лицо в веснушках девочки-матери и атомная бомба — вещи, не умещавшиеся одновременно в одной голове.

Федор не догадывался, что ударная волна этой бомбы пройдет через миллионы газетных листов, книжных страниц, через тысячи километров кинематографической пленки, тронет в свое время и его холсты.

4

Знакомый подъезд, знакомая вывеска — Федор толкнул дверь.

Четыре с лишним года назад навстречу ему встал плечистый сторож в фуражке, надвинутой на глаза, сейчас тощая женщина с равнодушным, стертым лицом на вопрос: «Как увидеть кого-нибудь из приемной комиссии?» — нехотя кивнула головой в сторону лестницы.

— Там.

Сдерживая зуд в ногах, ощущая, как колотится в груди сердце, перемахивая через две ступеньки, бросился вверх.

Полутемный коридор, двери вдоль стен, паркет громко скрипит под сапогами, и прежний запах масляной краски, музейной пыли...

Возле дверей кучками жмутся молодые ребята — пестрый народ: щегольские куртки и не слишком чистые рубахи-ковбойки, отутюженные костюмы и такие же, как на Федоре, гимнастерки, головы расчесанные, головы всклокоченные, сдержанный галдеж. Никто не повернулся к Федору. В этот день храм искусства выглядит по-вокзальному.

Быстро-быстро просеменила секретарского вида девица.

— Где приемная комиссия? — крикнул ей Федор.

Дернула затейливой прической:

— Там... Дальше.

Навстречу решительно вышагивает человек: темно-серый костюм, галстук, держится подчеркнуто прямо, но одно плечо опущено, другое вздернуто, левый рукав пиджака не обмят, в мертвых складках, на руке черная перчатка — руки нет, носит протез.

Человек приблизился, и Федор увидел узкое лицо, лоб с залысинами, энергичный горбатый нос, выдающуюся вперед толстую нижнюю губу.

— Простите,— остановил его Федор.

Встречный окинул острым взглядом гимнастерку, погоны, лицо Федора, сказал:

— Вам приемную комиссию? Следующая дверь направо.

— Я хочу поговорить с вами.

— Извините... Спешу.

Федор решительно загородил дорогу:

— Вы не помните меня?.. Помните двадцать второе июня сорок первого года?

Человек удивленно, недоверчиво, как петух перед просом, склонил набок голову.

— Помните, как вы узнали о начале войны?

Человек нерешительно пошевелил плечом, на котором висел протез:

— Как видите... Хотел бы, да не забуду.

— Помните, с кем вы тогда разговаривали?

Молчание. Темные запавшие глаза ощупывали Федора.

— Так это — вы?

— Да.

— Пойдемте.

Тот же номер двери, та же комната, она по-прежнему загромождена мольбертами, прежнее ощущение — идет ремонт, хозяева выехали на время.

— Садитесь.

Человек коленом пододвинул рябой от засохших разноцветных мазков стул, сам сел напротив, продолжая пытливо вглядываться.

Глаза Федора бегали по комнате, по верху громоздкого шкафа, заваленного рулонами бумаги, гипсовыми муляжами.

— Где-то здесь, но вряд ли найдем сейчас в этом хаосе,— обронил знакомый.

Где-то здесь... Длинным кружным путем он шел к этой встрече по степям, источенным окопами, падал раненым, валялся на госпитальных койках, шагал по Европе... Он забывал ее, предавал память о ней, совсем потерял веру, что встреча состоится. И вот — где-то здесь, рядом, в нескольких шагах. Она, привыкшая ждать тысячелетиями, терпеливо выждала и эти четыре года. Пусть будет где-то здесь, Федор успеет ее увидеть.

Знакомый наблюдал за Федором.

— Итак?.. — сказал он.

Федор поспешно напомнил ему:

— Вы тогда говорили: в искусстве всегда будет мучить один вопрос — что есть истина?..

Знакомый усмехнулся:

— Хватит теории. На повестке дня практический вопрос: у вас есть какие-нибудь работы — рисунки,

этюды,— по которым бы вас могли допустить до экзаменов?

Федор развел руками:

— Откуда?.. Я — связист, командир линейного взвода.

— Понятно... Зайдите в приемную комиссию, оставьте заявление.

— Я бы хотел съездить домой. Не видел мать и отца все это время.

— Экзамены начинаются через двенадцать дней. Успеете?

— Хватит... А работы?.. Меня не допустят без них?

— Постараюсь, чтоб допустили. Но уж ежели на экзаменах не вытянете, тогда...

— Понимаю.

Знакомый вынул из кармана записную книжку и ручку:

— Запишите мне ваш адрес, вышлю официальный вызов.

Федор записал.

— Так... Деревня Матёра, Матёрину Федору Васильевичу... Так, будем наконец-то знакомы. Меня зовут Валентин Вениаминович Лавров. Если проскочите сквозь экзамены, буду преподавать вам живопись.

Валентин Вениаминович встал.

— А теперь попрощаемся. Я спешу.

Он мало изменился за эти годы; быть может, чуть суше стало лицо, полная, слегка отвисающая нижняя губа придавала ему важный вид, запавшие глаза глядели по-прежнему остро, бесцеремонно.

Федор мялся, не спешил прощаться.

— Ну, а если?..

— Не беспокойтесь, не обману — себе дороже. Вы же все равно разыщете, навалитесь. Догадываюсь о вашем характере.

В дверях он еще раз окинул взглядом Федора:

— Как вы выросли, однако. Ни за что не узнал бы.

— А я вас узнал сразу. Вижу — тоже пришлось хлебнуть.

— Хлебал я и в финскую и в эту... Как только начинал преподавать,— война, надевай гимнастерку... До свидания. Нисколько не сомневаюсь, что еще увидимся... Вы бы поработали там, дома,— пописали этюды, порисовали...

Он кивнул и торопливо зашагал по коридору — одно плечо опущено, другое вздернуто.

Федор оглянулся: просторная светлая мастерская, мольберты в беспорядке, старые холсты прислонены к стене изнанкой наружу, на широком шкафу — пыльные рулоны бумаги, из-за них торчат гипсовые макушки. Где-то здесь...

Он летел по улице.

Дребезжащие трамваи, толпящиеся на перекрестках машины, размякший асфальт, просторные витрины магазинов с фальшивой колбасой и разукрашенными окороками из папье-маше, разомлевшая от жары, но деловитая, не утерявшая энергии людская толпа. До свидания, Москва. Скоро встретимся, скоро побратаемся, быть может, на всю жизнь. До скорого свидания, только отвешу поклон родной Матёре.

5

Круглый мир для Федора делился на две половины: Матёра и все остальное.

Москва с переполненными вокзалами, с плавящимися на солнце асфальтовыми площадями, с ее Третьяковкой, с ее институтом — и омуток на Уждалице, за бродом. Плавящиеся под солнцем площади — и матово серебрящаяся листва ивняка и черная, тянущая к себе неразгаданной тайной вода. Внизу, у самого дна, эта вода холодная до ломоты, там прибежище сонных лещей. Омуток прославлен деревенскими сказками о водяном, которому «где и жить, как не там», о щуке, хватающей уток, о попе Гаврюхе, много лет назад спутавшемся с водяным и утонувшем в омуте.

Степи, опаленные, бесконечные, обжитые и политые кровью, памятные теперь Федору на всю жизнь... Но еще более памятен ему взлобок сразу за задворками. С него первого сходит весной снег, он первым прогревается солнцем, и, когда цветет черемуха, там можно лежать прямо на земле. Лежать и видеть над собой пену черемухового цвета, дышать бодрым черемуховым запахом. Родной запах, им от околицы до околицы пропитывается вся весенняя Матёра.

Европа и Матёра... Европа — маленькие города, которые не тронула война,— острые черепичные крыши, умытые окна. Они, эти города, похожи друг на друга, как новые деревянные ложки. Прокалывают небо острые шпили протестантских храмов, они темны, от них веет суровыми веками, они вызывают такое же уважение, как старинная книга с пожелтевшими страницами — читать не захочешь, а почтительно полистаешь. Вот оно — прошлое древней Европы... А разве меньше напоминает Федору о прошлом старый, осевший въезд на поветь? Он сколочен из темных бревен, многие прогнили, в пазах между бревнами растет трава, и давно уже на него не ступало копыто лошади, не стучали по нему колеса телег. Он — памятник, деды и прадеды Федьки Матёрина, махая вожжами, подымали на поветь возы с сеном. И, наверно, радовались, что сенокос хорош, что управились до дождей, что скот зимой будет сыт. Просто радовались запаху сена и жизни.

Велик мир, в этом Федор сам убедился,— мала Матёра. Не пришлось видеть Федору такой карты, которая бы снизошла и робкой точкой отметила — существует такая деревня, есть она, не вымысел. Велик мир, а для Федора маленькая Матёра вмещает не меньше, чем все остальное на свете, она всегда приветлива, не вспомнишь ее в черных красках — все розовое да голубое, солнечное да улыбчивое. Детство прошло в ней, детство да ранняя юность, взрослым в Матёре еще не жил.

От станции знакомой дорогой — осинником, березнячком, ельником, по мосту через овраг — явился Федор домой.

И не ожидал — Матёра, родной рай, самое светлое место на всей планете, оказывается, постарела, сгорбилась. Крыши прогнулись, резные полотенца отвалились, и на дороге — пыль пополам с мусором, и на улице — пустынность, людей нет, живут несколько кур с облинявшим петухом во главе. Кисловато пахнет помоями.

Оправдывай Матёру — не она стала ниже, а ты вырос, не она пожухла, слиняла, а ты нагляделся диковинок,— после меда и сладкая ягода кисла. Оправдывай, но от этого не становится легче. Родной рай, а так неказист. Был красивым в памяти, а в натуре — на вот.

И все-таки сжимается сердце, когда видишь знакомую кривую улочку, выпирающий вперед пятистенок Алексея Опенкина, старый бригадирский столб с подвешенным к нему куском рельса. И все-таки любишь ее такой, какая есть, даже больше, больнее...

У Василия Матёрина было три дочери, два сына. Давно уже дочери выданы замуж, одна живет в Вологде, другая — в Архангельске, третья — на станции Вожега. Старший сын Петр умер мальчишкой. Федор был последним, поскребышем. Отец, пожалуй, по-своему любил его. Глядя на него, говорил не без гордости:

— Парень... Фамилию мою сохранит.

То-то крайняя нужда сохранять фамилию, когда кругом, почитай, все Матёрины.

Пятеро детей, и ни одного Василий Матёрин не держал на руках, не случалось, чтоб когда-либо гладил по голове. И не потому, что был черств, не только из врожденной суровости, а придерживался неписаных законов деревни, делящих, что мужское, а что бабье. Пахать — мужик, боронить — баба, косить — мужик, жать — баба. Бабье дело возиться с детишками, утирать им сопли.

Брови срослись у переносицы, в серых глазах нетающий ледок, даже у пьяных примораживало языки, когда глядел в лоб. Он гнул в ладонях подковы, плечом опрокидывал возы, которые едва-едва могла сдвинуть пара коней. Его все побаивались, никто не любил, в глаза величали по отчеству, за глаза звали — Булыга.

В нем жила какая-то дикая порывистость правдолюбца. До колхозов он числился в крепких середняках — корова и телка, овцы и свиньи, не просто лошадь, а жеребец по кличке Казак, которым Василий Сергеевич гордился. Началась коллективизация, такие же середняки, как Василий, сжались: «Коммуния... эка...» А в деревню один за другим наезжали уполномоченные, собирали собрания, взывали к новой жизни, где все будут жить единой семьей, все помогать друг другу, поддерживать слабых, душить хапуг... И Васька Булыга, бирюк, нелюдим, забрал корову, телку, запряг Казака и погнал в колхоз. Сзади шла жена, лила горькие слезы по корове, покорно погоняла хворостиной блеющих овец. Он был первым, если не считать Кирюху Матёрина, по прозви-

шу Хвост, который приволок заморенную телку, единственное свое достояние.

Василия поставили председателем. Он взялся за дело по-своему, круто — все ходили по струнке, все работали и уже поговаривали: «Крутенек, а без нужды не обидит...» Но наезжали уполномоченные, один из них — мальчишка с портфелем — раскричался на Василия, а тот взял его за грудки — лязгнули зубы, свалился картуз.

В ту же ночь Василий вывел из конюшни своего Карака, запряг в дрожки, тоже когда-то принадлежавшие ему, бросил под ноги котомку сухарей и укатил — не куда-нибудь, а в Архангельск, в то время краевой центр, искать правду «у больших людей».

Туманом покрыты для Федора пять лет отцовской отлучки. Знает только, что работал на лесозаводе в Соломбале.

Через пять лет он вернулся, бритый, пахнущий дешевым одеколоном, прилично одетый, уже чужой совершенно. Привез денег, наладил совсем развалившееся хозяйство, купил корову и укатил снова. На этот раз всего за сорок километров, на сплав.

Так и жил он, то приезжая, то уезжая, снабжая деньгами, не делая попыток сблизиться с детьми. Между ним и Федором всегда была стена. Впрочем, это не особенно тяготило Федора — привык, не представлял иного, считал — так и должно быть.

Все до единого дети были в мать. Федор тоже — и лицом, и, пожалуй, характером. «Пожалуй» потому, что второй такой характер, как у матери, трудно найти. О ней не расскажешь многого, ее не ломала круто жизнь, не ходила в председателях, не хватала за грудки уполномоченных, не скакала сломя голову за сотни верст в Архангельск за правдой. Вставала намного раньше всех, ложилась позже всех. Сидящий Федор видел мать только за столом в обед, да и то сидела на краешке, готовая в любую минуту вскочить, ринуться к печи или во двор. Не помнит Федор, чтоб когда-нибудь она болела, на что-либо жаловалась. С тех пор как что-то начал понимать, помнит ее песню:

Березыньки-то заку́ржавели,
Елочки-то замо́зжевели.
Ох, под ноженьки-то мне мяте,
Всея следыньки заглаживае,
Снежком белым припорашивае...

Почти всегда без мужа, пятеро по лавкам, но всегда есть хлеб и картошка на столе и всегда звучит:

Березыньки-то закýржавели,
Елочки-то замóзжевели...

Беспечный гимн семьи — по утрам он будил Федора, по вечерам убаюкивал.

Федор не знал лица матери молодым, оно всегда было морщинистым, но в каждой морщинке — доброта, в каждой морщинке таится улыбка. Если она не пела, то говорила, а ее разговор мало чем отличался от песни.

— Ишь ты, сокол, маслица ему подавай — губа не дура. А ты молочком забели. Не куражься, ягодка, не в боярском доме живешь. Съешь, да встань, да спасибо скажи.

Она могла разговаривать и с коровой, и с подсвинком, и просто с каким-нибудь обрубком жерди, которым старалась подпереть покачнувшуюся изгородь:

— Ах, лукавый, не лезешь, а я-то упряма. Поставлю, любой, куда следует. Ну-кось, вот так-то. Мило-дорого, и ты на месте, и мне одной заботушкой меньше...

Так она разговаривала и с мужем, нисколько не смущаясь тем, что тот молчит, как тот березовый обрубок:

— И чтой ты гладкой всегда приезжаешь, словно конь после пахоты? Когда улетаешь-то?.. Чай, в среду? Три дня всего... И то ладно, перышки почистишь — и с богом...

Непонятно, как сошлись эти два совсем непохожих друг на друга человека, а еще непонятней, как отец за много лет не смог оттаять при такой жене, как он мог чувствовать себя уютно где-то на стороне, без нее? Быть может, уюта-то он больше всего и боялся?..

Отец теперь жил дома, работал в колхозе. Он постарел, облез, поседел,— большой, костистый, серый, сутуловато сидел за столом, положив перед собой тяжелые, перевитые вздутыми венами руки. И казалось, что ему трудно прямо держать крупную голову, и чувствовалось, что взрослый парень, военный, его сын, свободно державшийся за столом, смущает. И, наверно, потому отец был более разговорчив, и, что странно, в голосе его чувствовалась суровая застенчивость.

— Я, брат, скажу тебе вот что: держись возле земли, не отходи от нее, не след... По себе говорю, сам от земли бегал, теперь жалею. Нутром понял: возле земли проще, чище живется. Понять-то понял, но скрывать нечего — чего уж,— поздновато...

— Нет, я и заявление подал. Вызов должен прийти.

— Гляди... Не тебе отцовским умом жить. Сдается мне — еще пожалеешь. Возле земли нелегко живется... Да-а... Там-то жизнь, конешно, будет полегче, но суетней. А суета, брат, страшное дело, душу так источит, что труха останется. Д-да, труха, пепел.

— Оюшки! — огорчалась мать у печи. — Как послушать хочется! Диво дивное, ну-ка старый пень разбеседовался. Сорок лет не слыхивала, чтоб так прытко говорил.

А она нисколько не изменилась: так же суетливо подвижна, так же — не больше — морщиниста и ласково говорлива. И, наверно, вечером, когда будет засыпать, Федор услышит родное:

Березыньки-то заку́ржавели,
Елочки-то замо́зжевели...

И как знакомо, как радостно, что она гремит ухватами, ворочает горшки, собирает на стол. А пока на столе тоскует в одиночестве мутноватая бутылка самогона — покупную водку теперь разве достанешь.

Постарела Матёра, постарел отец, одна мать не обманула, не подвела — такая же, какой вспоминал, какой хотел видеть.

Отец же осторожно щупает выцветшими глазами, продолжает разговор:

— Вот ведь беда — знаю, а сказать тебе не могу. И удержать тебя — нет уж, не под силу. Я сам всю жизнь правду искал. А правда-то, она, парень, проста. Да-а, проста... Жив — вот и вся правда. Жив, ешь, пьешь, спишь, работаешь, чтоб быть живу. Другой-то правды на свете нет, не ищи. Вот мать наша жить умеет, ей ничего другого не надо. А я вот не умел... И ты тоже глядишь куда-то поперек, тебе тоже надо больше, чем быть живу.

— Быть живу... Я и сам так думал. Быть живу — и больше не надо,— ответил Федор.

— Думал?.. Так?.. Ты?..— Лоб отца собрался в крупные складки, густые брови недоверчиво поднялись.

— На фронте... Бьют по тебе прямой, роют рядом снаряды, ты в землю вжимаешься и думаешь, вот бы знать, что и завтра увидишь солнышко. Только б выжить, ничего больше не надо.

— Ох, страсти-то! — отозвалась мать. — Вот что дите твое выносит...

— А смерть отошла,— продолжал Федор,— мало просто жить да глядеть на солнышко.

Голова отца опустилась:

— Перед смертью, значит... Может быть, может быть... У меня тоже, должно, смерть на носу.

— Эва... Ты, любушка, еще слезу пусти,— повеселела мать. — Помяни мое слово — ты еще всех переживешь. Старо дерево долго скрипит.

Опущенная голова в волчьей седине, устало лежащие на столешнице крупные руки — вот он, его отец. Федор в глубине души всегда чувствовал, что мать сильнее этого сурового человека, которого все боялись, который в молодости плечом опрокидывал возы с мешками, в драке мог разбросать пятерых дюжих мужиков. Но вряд ли бы он в одиночку вытянул четверых детей, выучил, поставил на ноги, не сломался бы, не говоря уже о том, что сохранил бы беспечность и жизнерадостность. Мать сильнее и проще. Отец не прост. Всю жизнь к чему-то рвался, к чему-то высокому, чего сам не знал. Рвался и не достиг, утомился — сидит сейчас с опущенной седой головой.

На столе появился противень картошки, жаренной на свином сале, подовые пышки, квашеная капуста, свежая щука в ржаном пироге.

Мать пристроилась к уголку стола, спустила платок с волос на плечи.

— В рот не беру зелья поганого, а уж выпью ради такого случая.

И взглянула на сына, осеклась от счастья.

Круглое, иссеченное морщинами лицо, розовые щеки, еще хранящие жар прогоревших в печи березовых дров, дрожат мешочки у подбородка и блестят в глазах слезы. Федор даже ужаснулся: самая счастливая минута в ее жизни, счастливей, пожалуй, не бывало — сын вернулся с войны, живой, здоровый...

За лесистым, тучным, как косматая туша лежащего ничком медведя, дальним угором спряталось солнце. Спряталось — взорвало небо, оно гневно дыбилось раскаленными облаками. И по небесному пожарищу чертили ласточки. И матерые ели, застыв в безветрии, каждой старческой веткой, каждой иголкой с натугой думали о чем-то своем, степенном, многолетнем, не касающемся людей. И черемуха с заломанной верхушкой разбросала в стороны растрепанные ветви, как два больших уха, чутко ловящих тайну елей. И веселая, приветливая речка Уждалица грозно потемнела. Слышно, как бьет волна на перекате. Только в тихие вечера доносится сюда ее звук, днем никогда не достигает. Старые стены бревенчатых изб смуглы от заката. Мир над деревней Матёра, мир в ее окрестностях.

Не обманула Федора мать, да еще не обманула природа — она такая же, если не значительней, если не ближе.

Федор сидел на высоком, недавно построенном отцом крыльце.

Подошла мать.

— Гулять-то, сынок, не пойдешь?

— Куда?

— Да по деревне пройдись — пусть полюбуются. Эхма! Веселья-то нынче никакого. Солнце спрячется,— все, как куры, спать.

— И меня вот тоже ко сну клонит.

— Пойду постель разберу.

— Не надо. На повети лягу.

— Крыша-то на повети, как решето. А вдруг да дождь... И сена, поди, маловато.

— Тулуп-то отцовский цел?

— Лежит гдей-тось. Одно звание, что тулуп. Облез начисто, что шелудивая собака.

— Сойдет.

О чем мечтал на фронте — добраться до дому. Добрался!

Пахнет овчиной, чердачной пылью, сеном — только запах табака выветрился,— и корова вздыхает внизу о своей немудрящей коровьей житухе, и случайная звезда глядит сквозь щели в крыше, даже не одна звезда — несколько,— ветшает крыша. Вот оно — все есть, о чем мечтал, во что боялся даже верить. Сбылось! Живи себе

да здравствуй долгие годы, ходи, а не ползай, живи под крышей, не в окопе, нет пуль, не воют мины. Мало!.. Через несколько дней он бросит эту поветь с родным домом, с тулупом, с сеном, поедет навстречу другой жизни, незнакомой, наверняка менее уютной, менее покойной. И придется перебиваться на студенческую стипендию — отец какой уж помощник; придется оставить мать... Что-то ждет еще впереди?

В сенях под поветью заскрипели ступеньки старой лестницы.

— Спишь ай нет? — густой, осторожный голос отца.

— Нет еще, влезай.

— На минутку только...

Зашевелились под тяжелыми ногами половицы, отец, расплывчатый, большой в темноте, опустился рядом, посапывает.

— Спросить хочу... Так ли нужны картинки людям, которые ты будешь малевать? Вот хлеб нужен, а картинки... А?

— Не единым хлебом жив человек.

— А не единым ли? Не обман ли это?.. Человек-то горазд обманывать себя. Оглянешься кругом: что ты сам, что береза или куст репея — суть-то одинакова. Репей живет, чтоб жить. Родится, плод дает другому репею, умирает, и человек так же... Ну в чем отличка — в том, что человек больше других на земле наследит, и только-то... Одинакова суть — пожить да помереть.

Федор не видел в темноте лица отца, но чувствовал — взволнован, по-большому, по-серьезному. Не зря сюда поднялся этот нелюдим. Похоже, в последние годы он ищет какого-то ответа на свою долгую растрепанную жизнь — в общем-то жизнь неудачника.

— А ты бы хотел быть репеем? — спросил Федор.

— А чего ж, как не жить... У репея, должно, свои радости. Засуха — вянет: знать, беда настала; линёт дождичек — ожил, рад, счастье пришло.

— Врешь, не хотел бы! — Федор поднялся на локте. — Почему-то ты бросался в жизни, искал чего-то, не хотел по-репейски жить. А по-репейски-то можно и в человеческой шкуре — жрать да пить, с бабой спать, чтоб другого человека-репея на свет божий родить. Не захотел зачем-то.

— М-да... — Отец долго сидел смутной тенью, посапывал. — М-да... Оно верно... Ну, спи. — Он поднялся. — Не совсем ловко ты тут пристроился, кабы дождь не пошел. Все руки не доходят залатать крышу. Руки не доходят, да и незачем. Свой век со старухой мы и под такой как-нибудь прокукуем.

Он ушел по шевелящимся ветхим половицам, утратившим даже способность скрипеть. Ушел озадаченный, но явно не убежденный и уж конечно не успокоенный.

А Федор ворочался с боку на бок, ерзал, не мог уснуть, прислушивался. Наконец он услышал где-то на задах, на огороде:

Березыньки-то заку́ржавели,
Елочки-то замо́зжевели...

И тогда, счастливо про себя улыбаясь, он уснул, сразу забыв все высокие задачи перед родом людским, которые предстояло ему свершить.

6

Вот кто сдал, так это Савва Ильич.

Они обнялись, и Федор почувствовал под своими руками острые, собранные из хрупких костей плечи старика. Савва Ильич стал на полголовы ниже Федора, пожелтел, сморщился, курносое лицо сейчас напоминало грустную мордочку щенка, отнятого от суки. Волосы попрежнему художнические, длинные, но поредели, висят прямыми жидкими прядями. От тощей фигурки, одетой в рыжий с заплатами на локтях пиджак, казалось, исходил при движении сухой шелест.

А когда Савву Ильича усадили за стол — опять праздничный, опять с жареной жирной картошкой, с укладистыми пышками, с бутылкой туманного самогона — Федор увидел то, чего не заметил с первого взгляда,— голодно обострившиеся скулы на лице старого учителя рисования. Савва Ильич не имел приусадебного участка, был не из тех, кто умел ловко изворачиваться из кулька в рогожку, а годы войны на станции, забитой эвакуированными, были жестоки для идеалистов, не умеющих приспособиться к мелочно-трезвой жизни.

Он сохранил все рисунки Федора, начиная с первого альбома, им самим подаренного когда-то. Он со стыдливо выступившей краской на скулах, с горьким блеском в глазах покаялся Федору:

— Скрывать нечего, мне тут пришлось не совсем того... Из деревень приносили фотокарточки убитых, срисовывал, увеличивал, в рамки вставлял... — Весь погрустнел, съежился. — С фотографий рисовал... Но, знаешь, иначе не выжил бы. Картошки приносили, иногда яичек...

С фотографий рисовал, не с натуры,— торговал святым искусством, предал природу, унижен в собственных глазах.

Федор и с любопытством, и с глухой тревогой листал свои старые работы. Не понять — хороши или плохи, но есть в кое-каких — не во всех! — бездумная, примитивная смелость. На одной стволы сосен брошены каждый одним взмахом, на другой стожок сена, лиловый горбун. Надо же решиться — лиловый! Теперь, пожалуй, прежде бы подумал, чем раскрашивать, а подумав, вряд ли осмелился.

Были когда-то среди этих работ любимцы. Например — опушка с нескошенным лугом в цветах белых ромашек и голубых колокольчиков. Теперь не нравится: сама опушка как стена глухая, цветочки слишком умильные — под Савву Ильича старался. Нет, ни одной работы не покажет в институте — старье, давность. Пусть их возьмет себе Савва Ильич на память.

Под вечер, захватив краски, вышли вдвоем на этюды.

Но едва перебрались по шатким мостикам за Уждалицу, на скошенные луга, как ударил дождь. Короткий летний дождь из куцей, но сердитой тучи, время от времени, как кучи булыжников, обваливавшей гром. А солнце продолжало светить. А воздух, наполненный ливнем, сверкал, кипел, бесновато праздничный, хохочущий, подмывающий на что-то озорное, мальчишеское. А в этом кипящем серебряном воздухе купались коровы, яркие на зелени, лоснящиеся. Они, захудалые и низкорослые, сейчас казались монументально величавыми, важными — языческие идолы сытости.

Туча, нутряно урча, уползла дальше, оставив крикливо яркий, мокрый, объятый пылающей зеленью солнечный мир. А в довершение всего, как последний гимн в общем торжестве, из конца в конец по небу в голово-

кружительном размахе встала четкая, твердая — сквозь не пролетит птица — радуга. По всему небу, пустив корни в мокрую, пылающую землю.

Савва Ильич в морщинисто облегающих тощие ляжки штанах, с бабьими волосами, прилипшими к щекам, смешно засуетился, подавленно выкрикивая:

— Ах ты!.. Ах ты!..

Стал тормошить старый ученический портфель, где лежала бумага и краски.

— Ах ты!.. Ах ты, красота-то какая!

А радуга, как в детстве, одной ногой упиралась в жиденький лесок на недальнем — рукой подать — Роговском болоте. И, как в детстве, подмывало туда бежать, проверить, что там действительно живет радуга, увидеть ее вблизи, пощупать ее руками.

Федор тоже сел на пенек с бумагой на коленях, но не притронулся, только смотрел... Беспомощен и бессилен, не может оскорбить то, что видит, то, что переживает сейчас. Сидел и смотрел, не двигаясь, пока радуга не слиняла.

А Савва Ильич написал картинку: зеленый лужок, торчат деревья, на небе — ярмарочной дугой радуга.

...Дома мать подала письмо. Федор нетерпеливо разорвал конверт — бумага с грифом института, вызов в Москву.

На поезд Федора провожали мать, отец и Савва Ильич.

У матери заплакано и скорбно лицо. Быстро же у нее счастье сменяется горем, бесхитростен человек. Сморкается в платочек, вздыхает, повторяет сотый раз ненужные слова:

— Пиши почаще, не забывай стариков.

— Еще не примут, встречать придется.

— Ох... — и не договаривала.

Была бы рада, если б не приняли,— жил бы рядом, женился, наплодил внуков на радость бабушке, пришла пора — проводил бы в могилу. Что еще надо от жизни?

Савва Ильич, в свежей рубахе, с гладко приглаженными волосами, был взволнован, преданно и любовно заглядывал в лицо Федора, суетился, со страстью повторял:

— Верю! Верю в тебя! Ты — талант! Ты пробьешь себе дорогу. Как знать, как знать, станешь великим,

вспомнишь Матёру и нас. Мне, чего уж, не судьба, в тебя верю, как в «Отче наш»...

В руках он держал какой-то аккуратно перевязанный веревочкой сверток.

Отец, в старом картузе, в суконном пиджаке, просторно свисавшем с костистых, широких плеч, был замкнут и молчал, но Федор время от времени ловил на себе его сосредоточенный взгляд. Было почему-то жаль не мать, которая плакала, а его. Горе матери невелико, быстро притерпится, что сын на учебе, а отец только-только начал сближаться, почти нашел сына, а сын исчезает — опять одиночество, остается сам с собою, с невеселыми мыслями о жизни, прожитой не так, как хотелось бы.

Станция — тяжелая башка водокачки за крышами складов, бревенчатое здание вокзала с позеленевшим от времени медным колоколом у входа, начавший полнеть начальник станции в фуражке с красным верхом.

Подошел поезд. Один из тех поездов, какие Федор в детстве с завистью провожал глазами, читал таблички на вагонах: «Архангельск — Москва», «Владивосток — Москва», «Москва — Хабаровск».

Федор обнял мать, поцеловал:

— Буду, буду писать. Только бы приняли.

Обернулся к отцу:

— Ну, отец...

И смутился, невольно заробел — у отца в тени под козырьком картуза подозрительно блестят глаза и тяжелые, грубые морщины на лице размякли.

— Учись, уж ладно... — сказал отец, протягивая руку, стесняясь при всех обнять сына. — Учись... Добивайся... Да вот еще... И еще вот что хочу сказать... Я-то думал, другого такого, как я, неспокойного дурака, не сыщется больше. А теперь вот ты неспокоен, едешь искать чего-то. Может, что-то найдут люди. Неважно — ты, твой сын,— найдут. А?..

Отец кашлянул взволнованно в кулак, Федор обнял его. Впервые за всю жизнь они расцеловались. Отец сразу же отвернулся, снова закашлялся.

— Староват я, помощи от меня мало. Эх бы прежнюю силу,— всю в тебя вложил... Вот только картинки рисовать — дело-то больно несерьезное.

Савва Ильич топтался, ждал своей очереди. Обнялись и с ним. Савва Ильич сунул в руки Федора перевязанный бечевкой пакетик, пряча глаза забормотал:

— Совестно мне, но сделай одолжение... Великая просьба... Тут работы мои. Покажи их знающим людям, пусть оценят, пусть только взглянут... Не трудно же — пусть взглянут и скажут одно слово: хорошо или плохо, есть ли искра божия в старике Савве. Просьба...

— Покажу,— смущенно ответил Федор.

— Это лучшие мои работы... Знающим людям... И одно словечко мне черкни в письме. Только правду, не скрывая.

— Сделаю.

Ударил три раза позеленевший колокол. За станцией, в голове поезда, прокричал паровоз. Федор вскочил на подножку. Лязгнули вагоны, поплыл назад потемневший, исхлестанный дождями вокзал, пыльный скверик с двумя дощатыми скамьями, лицо матери в тоске, лицо отца в надвинутом на глаза картузе, лицо Саввы Ильича, вдохновенное, почти суровое.

Прощайте...

7

Открылась дверь, будущие студенты, толкая друг друга, устремились в мастерскую.

Экзамен по живописи: натюрморт — мертвая природа.

Лева Слободко, рослый парень со сдобным розовым лицом, в форме летчика, присвистнул:

— Изюминка с косточкой. Не подавись, ребята.

А натюрморт на первый взгляд был предельно прост: на табуретке, покрытой небеленым грубым холстом, стояла темная, почти черная бутылка, возле нее граненый стакан и два ярких, свежих лимона, сзади голубовато-серый фон стены.

Федор, не спуская глаз с бутылки и лимонов, установил на мольберте свой холст, раскрыл на стуле недавно купленный, еще пахнущий свежим деревом этюдник, вынул незапачканную палитру и новенькие кисти.

Он ни разу в жизни не писал маслом, не держал в руках палитру. Позавчера только ребята научили грунтовать холст. Все внове... Но если этот натюрморт с

бутылкой не получится — поворачивай оглобли обратно в Матёру: дорогие родители, зря слезы лили при прощании, дорогой Савва Ильич, ты ошибся — нет таланта. Как знать, потом, верно, всю жизнь будет угнетать чувство — ты неудачник.

Кажется легким, доверчиво доступным этот натюрморт. Эка мудрость написать на холсте бутылку, стакан, два лимона. Бутылку черной краской с бликом на боку, лимоны желтым, фон с синевой. И если б не разговоры кругом, Федору и в голову бы не пришло расстраиваться, что он впервые в жизни держит в руках палитру. Бок о бок с Саввой Ильичом выписывал пейзажи с елями и березками, уж как-нибудь с бутылкой справится.

Со всех сторон доносятся реплики:

— Изыск.

— Серая гамма.

— Серая лошадка...

— Попробуй-ка всадить туда эти собачьи лимоны — полезут.

Оказывается, натюрморт не такой, каким видишь. К нему не относятся с пренебрежением. Ждет не постигнутая тобой каверза. Ты не видишь,— значит, непременно споткнешься. Федор глядел на непрозрачную бутылку примерно с таким же чувством, как когда-то в первый свой фронтовой день всматривался в опаленный солнцем лысый склон, ведущий к колодцу.

А может, он настолько талантливее других, что ему все кажется легко? Ведь он же не знает пока себя..

Но холст, туго натянутый на подрамник, шероховато-матовый, с чуть проступающим плетением нитей сквозь грунтовку, был чист. Не какой-то клочок бумаги — пространство, отданное для воображения. Оно вызывает тихое волнение, оно заставляет забыть, что вокруг топчутся люди, что ждет тебя неразгаданная каверза. Ты перешел в другую жизнь, загадочную, туманную, ограниченную рамками холста. Бутылка, стакан, лимоны...

Федор кусочком угля сначала робко, едва решаясь потревожить чистоту холста, потом смелее стал набрасывать и бутылку, и стакан, и пару лимонов... Но уже растет нетерпение, уже бутылка требует цвета, лимоны — своего солнечного сияния, уже видишь не тусклый уголь, а сочная, звучная, чуть разведенная маслом краска ложится на холст.

Федор так и не кончил рисунок, только наметил, что и где должно находиться. Нет сил больше терпеть, торопливо выдавил на палитру ласкающие глаз, как первый снег, цинковые белила, глинисто-густую охру, насыщенный, почти черный, пугающий своей ядовитой силой краплак, праздничную киноварь.

Начал прямо с бутылки, намеченное для нее место погрузил во мрак.

Почувствовал, за спиной кто-то остановился, пристально смотрит. Обернулся,— вздернув плечо, невесело сощурив глаза, наблюдает Валентин Вениаминович. И рука с кистью сразу перестала повиноваться, появилось ощущение, что он, Федор, стоит перед экзаменатором нагим.

Валентин Вениаминович хмуро отвернулся, шагнул к другому мольберту.

С кистью в одной руке, с палитрой в другой, на щеке, как устрашающий синяк, посажено ультрамариновое пятно, подошел новый приятель Федора Лева Шлихман. Распустив озабоченно толстые губы, сосредоточенно посапывая, он оглядел начатую Федором работу, где на белом холсте не только чернела бутылка, но уже успели созреть и лимоны.

— Старик,— сипловато сказал Лева,— ты лучше сначала дай подмалевочкой общий фон. Рвешь по кускам — бутылка, лимоны... Так концы с концами не сведешь. Крышу-то, старик, не строят раньше фундамента... Найди самое темное пятно и сравнивай, что светлей, это тебе как бы тропинка, иначе пойдешь — заблудишься.

Федор понял: значит, плохи его дела, если Лева подоспел на выручку.

8

Три дня назад, прямо с поезда, Федор бросился к институту. Едва он протянул руку к двери, как дверь открылась и навстречу вышел человек. Федор в первую минуту принял его за маляра или штукатура, заканчивающего в институте ремонт: грязные, пузырящиеся на коленях штаны, заляпанная краской курточка, нечесаные жирные волосы, одутловатое лицо.

— Старик,— обратился он с ходу, как к старому знакомому,— дай трешник, жрать хочу, а хлеб выкупить не на что.

И Федор растерялся, достал из кармана три рубля, молча протянул.

— Ты не бойся, старик, я отдам,— незнакомец спрятал смятую бумажку, взглянул в лицо Федора и вдруг сам смутился.

А Федор увидел голубые, добрые глаза, понял, что странный незнакомец не соврал: действительно взял деньги на хлеб, искренне хочет их вернуть, но наверняка не вернет — забудет.

Через полтора часа Федор встал в короткую очередь к столу коменданта общежития за спиной какого-то плечистого парня.

— Фамилия? — спросил парня комендант.

— Мыш без мягкого знака,— пояснил парень.

Мыш Без Мягкого Знака повернулся с направлением в руках, и Федор увидел лицо, казалось, ладно пригнанное из разных плоскостей,— широкий, чистый, плоский лоб, плоские в здоровом румянце щеки, плоские крылья нижней челюсти, даже крепкая шея представлялась какой-то граненой. Только складки тонких губ не подходили к общей чеканке — было в них что-то увядшее, старушечье.

Все трое встретились в одной комнате.

— Здорово, старик! Рад, что будем вместе,— приветствовал Федора тот, кто взял взаймы три рубля.

Рослый привстал с койки, протянул широкую, как лопата, белую ладонь:

— Иван Мыш.

— Без мягкого знака... — подсказал Федор.

— Верно, неудобство, Мышь да без мягкого, каждый раз отстаивай право на мужской род. А тебя как?

— Матёрин Федор.

— Вот это по-человечески.

— А меня — Шлихман Лева,— подал потную руку должник Федора и без перехода с гордостью указал на Ивана Мыша: — Он, знаешь, из Киева. Возле Киево-Печерской лавры вырос.

— Ишь ты, сподобился. На святых местах.

— Ты, старик, не смейся. Я из Харькова, а Киево-Печерскую лавру видеть не привелось.

— Ну и что? Разве ты верующий? Православный?

— Я — верующий? Да еще православный?! Шлихманы, старик, было бы тебе известно,— местечковые евреи, выходцы из старинного городка Новгорода-Северского, князем Игорем основанного.

— Так зачем тебе Киево-Печерская лавра?

— Старик! Ты меня удивляешь! Киево-Печерская лавра! Сокровищница русской старины! Патриарх среди русских церквей! Да ты знаешь ли, бродяга, что значат в мировой архитектуре русские храмы?..

— Ты хотел сказать — значили?

Лева Шлихман, с красным лицом, со всклокоченными волосами, выскочил на середину комнаты, затряс неловко, по-женски, стиснутыми кулаками:

— Значили! Теперь не значат? Русский пейзаж без церквей! Без белых колоколен, без луковичных куполов!.. Колокола поснимали! Колокольный звон над русскими просторами, левитановский вечерний звон над золотыми плесами! Где он? Скажи, старик, где он?..

Появился хозяин четвертой койки, усмехнулся на ораторствовавшего Леву Шлихмана:

— Плач Ярославны по гибнущей кондовой Руси.

Лева Шлихман схватился руками за растрепанные космы:

— Поэзия гибнет! Красоту губим! Как можно быть равнодушным, остолопы! Русь линяет, рядится в безликий костюмчик! Национальный колорит, национальное лицо — где оно?

— Ладно, ладно, прервись на минутку, дай познакомиться с человеком... Вячеслав Чернышев.

Невысокий, крупноголовый, подстрижен, как боксер с папиросной пачки «Бокс», серые, широко расставленные глаза спокойны, излишне внимательны. Даже после того, как Чернышев отвернулся, Федор некоторое время продолжал еще ощущать его взгляд.

Федор, Иван Мыш, не говоря уже о Шлихмане, одеты в случайное — гимнастерки, сапоги. На Чернышеве пригнанный светлый костюм, отутюженные брюки, на койку бросил шляпу с узкой ленточкой — последняя мода, приходящая на смену пилоткам и суконным околышам.

И выправка у Чернышева под штатским костюмчиком военная, и голос спокойно властный, наверняка не тянул солдатскую лямку — из курсантов сразу в офицеры.

— У нас, выходит, полный комплект. А что, если мы отметим знакомство? Как знать, не придется ли тереться бок о бок все пять лет?

— Отметим,— охотно согласился Шлихман, но честно предупредил: — У меня, старик, в кармане торичеллиева пустота.

Мыш Без Мягкого Знака помялся:

— У меня — трошки...

— Ладно, ладно, пошли, братва.

В кафе с облупленными стенами, с невыветрившимися кислыми запахами столовой военного времени заказали водки, скромной закуски, несколько бутылок фруктовой воды.

Шлихман пил только фруктовую, от водки отворачивался с отвращением, тряс лохматой головой, объяснял незнакомым Федору словом:

— У меня идиосинкразия.

Пил фруктовую, но, как ни странно, пьянел вместе со всеми, горячился, кричал о погибшей старине, об исчезающей поэзии, читал со слезой Блока:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!..

Федор молчал, пил, завидовал уму Левы Шлихмана.

У Ивана Мыша лишь масленели ласково глаза да буйствовал широкий румянец. Серые глаза Чернышева темнели, лицо становилось мягким, розовым, нежным, как у девушки.

Шлихман Лева, как оказалось, жил в Харькове, а кончил художественное училище почему-то в Пензе. Иван Мыш училище не кончал, но не один год работал художником в армейском клубе, расписывал даже театральные декорации. У Вячеслава Чернышева отец был довольно известный художник-график, сам Вячеслав до войны поступил в художественный институт, но с первого курса ушел в армию, был, как и Федор, трижды ранен. Один Федор, если не считать доморощенного преподавания Саввы Ильича, призывавшего в помощь себе природу, нигде не учился, нигде не практиковался как художник.

На выходе из кафе не обошлось без происшествия. Двум перехватившим через край гулякам — один во флотском кителе, другой в заломленной на затылок шляпе — без причины не понравился рослый, важно выступавший Иван Мыш. Они стали на него наскакивать с двух сторон:

— Рожу отъел — лопнет!

— Дай ему по купецкой! Под фронтовика рядится.

Иван Мыш конфузливо отталкивал их:

— Да что вы, хлопцы?.. Да отцепитесь... Чего вы?.. Ударю...

— А ну, а ну! Испугал.

— По купецкой его! По купецкой смажь!

— Отойдите, хлопцы... Ударю же... Что вы?..

Федор и Чернышев пытались оттащить пьяных, те лезли к ним целоваться:

— Вы парни свои. Вы — фронтовики! Эт-тот, сука, в тылу сидел!

И наскакивали на конфузливого Ивана Мыша.

Тогда Мыш осторожно, казалось, боязливо взял в обе руки воротники флотского клеша и заломленной шляпы, свел лбами. Раздался глухой деревянный стук, оба бойца вяло сползли на тротуар, очумело качая головами. Иван Мыш стоял над ними и по-прежнему конфузливо говорил:

— Ну вот... Ведь предупреждал же... Ну вот, что же вы...

Чернышев закинул голову, весело расхохотался:

— Бр-раво! Удар!

Весь обратный путь Лева Шлихман шел со счастливым лицом, горделиво и независимо выпятив грудь,— берегись, идет дебошир.

В общежитии, прежде чем лечь спать, все по очереди щупали мускулы Ивана Мыша, как барышники лошадь, хлопали по его широкой спине.

— Ты терпелив, с такими бицепсами еще долго нянчился с ними,— восхищался Чернышев.

— Всяко бывает... Могли поколотить,— без энтузиазма возразил Иван Мыш, укладываясь спать.

Лева Шлихман после этого вечера получил прозвище Православный. У Федора появились товарищи.

9

Слышался стук плохо закрепленных на мольбертах подрамников, скрип половиц, сосредоточенное дыхание, шорох одежды — кругом работали. Федор себя чувствовал, как спортсмен на беговой дорожке,— скорей, скорей, к финишу!

И неожиданно для себя увидел, что кончил. На холсте нет ни одного кусочка, не покрытого краской. Есть бутылка, есть фон, есть стакан с бликами, есть лимоны — ничего больше не прибавишь.

А вокруг трудились. Краем глаза увидел — половина холста Ивана Мыша чиста, а Иван Мыш тоже не бездельничал.

Федор положил кисти, вытер руки и боком двинулся от мольберта к мольберту.

Странное дело, все смотрели на одну и ту же бутылку, на одни и те же лимоны, но ни на одном холсте не было одинаковых бутылок, одинаковых по цвету лимонов. Видели одно, показывали разное.

Иван Мыш — сильный парень, и, казалось, от него можно ждать размашистости — аккуратист: мелкими, осторожными мазочками тщательно выписывал грани стакана, горлышко бутылки, пузатенькие бока лимонов. И хотя холст у Ивана большой, бутылка, лимоны умещались на нем в натуральную величину, но почему-то они выглядели маленькими, игрушечными, ненастоящими.

У Левы Православного все дымчато, мягко, лимоны не режут глаз, бутылка проступает как сквозь туман, смотришь и словно слушаешь песню, напеваемую вполголоса, и хочется тронуть кистью бутылку, лимоны, тогда картина вскрикнет, голос прорвется, песня получит силу.

Рядом стоял другой Лева — Слободко, парень, не снявший еще форму летчика. У него по холсту пестрые, нервные мазки, лимоны словно букеты — розовое, желтое, коричневое, зеленое. Наверно, интересно вот так запутаться, а еще интересней из этой пестрой, смеющейся, беспорядочной путаницы сплести что-то целое, даже если оно и не будет похоже на настоящую бутылку, на настоящие лимоны.

Две девушки, две Нины. Нина Красавина и Нина Худякова. Господь бог попутал, каждую наделил не той фамилией. Красавина — некрасива, птичья голова ринулась

вперед с плеч, тянет за собой тонкую жилистую шею. У нее порывистые движения, по-мужски сильные и решительные мазки. Нина Худякова — вальяжна, белолица, в больших глазах покойная дрема, и на холсте у нее лиловые и розовые разводы, черная бутылка купается в райских облаках.

Вячеслав Чернышев сменил щеголеватый пиджак на линялый, застиранный халатик, в каких ходят уборщицы в учреждениях. Он пригнул боксерскую голову, угрожающе глядит исподлобья на холст, короткими пальцами крепко сжимает кисть, выбирает время и место, чтоб ударить.

Федор едва удержался, чтобы не ахнуть за спиной Вячеслава: до его бутылки можно дотронуться, и она издаст глухой звук толстого стекла, проткни его лимоны, и они брызнут свежим соком. Каждый предмет на холсте Вячеслава трезво и внушительно говорит: попробуй не поверить, я более вещь, чем на самом деле.

Федор ринулся к своей работе.

Но у его мольберта стоял Валентин Вениаминович. Федор видел только его спину со вздернутым плечом и затылок. Но и затылок, твердый, угрюмый, натянутый, осуждал работу Федора. А у Федора пол горел под ногами, он сам бы хотел новыми глазами взглянуть на холст, сам себя осудить. За эти несколько минут, пока ходил от мольберта к мольберту, он стал умнее, судить себя будет беспощадно. Но надо дождаться, когда Валентин Вениаминович уйдет.

Валентин Вениаминович отвернулся, на секунду Федор увидел его лицо, оно было равнодушно.

Федор занял его место, застыл с опущенными руками.

Бутылка есть, она похожа на бутылку, не назовешь ее горшком или чашкой. Но ведь и про радугу на картине Саввы Ильича любой и каждый мог сказать: «Да, это радуга, а не церковные ворота». Бутылка, лимоны... Видел желтое, добросовестно красил желтым, видел черное — чернил. Краска Вячеслава Чернышева, попав на холст, становилась веществом — стеклом бутылки, душистой и пористой кожей лимонов. У него, Федора, краска так и оставалась краской...

Что может быть проще пивной бутылки?.. Простые вещи окружают людей, простые события проходят мимо них...

Федор стоял с опущенными руками.

Пивная бутылка... Открой на нее людям глаза! Не можешь... Тогда оставайся в Матёре, води коней к обледенелой колоде — никто не попрекнет, что бог не наградил тебя особой способностью видеть раньше всех в простом сложное, в пивной бутылке — душу.

Федор стоял с опущенными руками, раздавленный своим ничтожеством.

Когда-то Валентин Вениаминович втолковывал Федору: будет постоянно мучить один простой вопрос — «что есть истина?». Вот оно — первое отчаянье, первое унижение, первая безысходность. А ведь он, Федор, еще не стал художником.

Не стал им и, видать, не станет...

Он схватил свой новенький мастихин и с ожесточением провел, сдирая с холста свежую краску.

Исчезать так исчезать совсем, не оставлять на память доказательство своей бездарности. Сдирай краску, чистый холст будет молчать! Конец.

Краски и этюдник подарит Савве Ильичу — спасибо тебе, добрый человек, но твой обман открылся. Федор Матёрин не талант, а бездарь, наверно, такая же, как и ты сам. Ты, Савва Ильич, живи в этом обмане до конца дней, а он, Федор, не хочет.

Федор сдирал краску...

Он не знал, что искусство капризно,— от отчаянья без перехода бросает к надежде.

Холст, освобожденный от жирного слоя краски, не стал чистым, остался след былой картины. Исчез кричащий цвет, стерлись резкие грани, бутылка и лимоны проступали неясно, чем-то напоминали ту дымку, которая была в работе Левы Православного.

Федор стоял с мастихином в руках и с удивлением разглядывал — ни черта не понять, что произошло?

Если сейчас чуть-чуть углубить тон бутылки... Чуть-чуть, нельзя пересаливать! Чуть-чуть! Бутылка просит этого, требует. Она вдруг заговорила. Он, Федор, понимает ее язык!

Федор, все еще не веря в удачу, робко взялся за кисть и палитру, начал смешивать краски.

Чуть-чуть... Надо помнить об этом. Чуть-чуть, в норму, в этом самое главное...

Осторожно тронул холст. Поморщился — нет, не то, недобрал, вяловато. Смелей, Федор!

Перехватил... Где мастихин? Снимем краску, начнем сначала. Помни — чуть-чуть...

Бутылка говорит с ним, он понимает ее язык. Четче вслушивайся...

Несколько резких мазков. Они прорвались сами собой, рука их сделала прежде, чем голова подумала...

Бутылка на холсте довольна. Попал!

Проверим, нельзя спешить. Федор со страхом отошел назад, вгляделся...

Лимоны рядом с глубоким, звучным пятном не терпят размытости, они требуют — тронь, не обижай, дай и нам жизнь. Федор бросил желтый мазок, он лег на холст, как ядовитая гусеница, он оскорбляет глаз, от него передернуло. К черту! Снять! Быстрей!.. Новый желтый цвет. Нет... Еще желтый, погуще... Нет... Федор пробовал и снимал. Желтые пятна, разных тонов, разной густоты, разных оттенков. Ни один не подходит. Как легко справился с бутылкой и какими капризными оказались лимоны!

И снова готов был отчаяться, от отчаянья решился на дерзость: что, если тронуть ярко-желтый бок лимона зеленым, самым светлым, зеленым на грани с желтым! Но это же не тот цвет, какой видит глаз, — против натуры, против природы, против истины. И все-таки Федор решился. От возбуждения задрожали руки. Тот мазок, который на палитре казался зеленым, на холсте стал желтым, лимонным, таким, каким и должен быть. Правда, какую искал!

Чья-то рука легко тронула его за плечо.

— Молодец.

Федор вздрогнул и оглянулся. Одно плечо вздернуто, другое опущено — уходит от него Валентин Вениаминович.

В другое бы время Федор попереживал похвалу, порадовался ей, но сейчас не до того. У него идет захватывающая беседа — он и холст, он и мертвые вещи — бутылка, стакан, лимоны, ставшие живыми, умеющие просить, требовать, капризничать. Он слушает, и повинуется им, и на его холсте одно маленькое чудо сменяется другим.

«Э-э, нет, Савва Ильич, ты, кажется, не получишь этюдник, он еще пригодится мне самому».

Раздался звонок.

Вслед за звонком раздался и голос Валентина Вениаминовича:

— Кончайте! Пора!

А работа еще далеко не кончена. Федор только-только вошел во вкус.

Подошли Лева Православный и Вячеслав Чернышев, постояли, оценивающе приглядываясь. Чернышев первый сказал:

— Не так уж плохо.

— Старик, ты не подменил холст? — спросил Православный.

Но когда Федор взглянул на их холсты, радость от победы улетучилась. Куда там ему до них...

Как знать, может, еще и придется подарить Савве Ильичу свой этюдник.

10

Вечерело. За окном общежития — тлеющие на закатном солнце ржавые крыши, иссиня-темные провалы между домов, на дне этих тенистых провалов муравьиная людская суета.

С глухой кирпичной стены соседнего здания рабочие снимали огромный фанерный плакат. Когда-то, во время невеселых сводок Совинформбюро, затемнений, комендантского часа, марширующих ополченцев, был вывешен этот плакат — суровая женщина в платке протягивает вперед руку: «Родина-мать зовет!»

Сейчас две лебедки подняли дощатую площадку с рабочими прямо к смытым бровям суровой женщины. Угловой фанерный лист медленно опускался на блоке вниз...

— Москва шинель снимает,— обронил Чернышев.

Он сидел на койке с гитарой (сегодня только привез ее), щипал струны, негромко, проникновенно напевал:

Динь-бом, динь-бом,
Слышен звон кандальный.
Динь-бом, динь-бом,
Путь нелегкий, дальний...

Иван Мыш, поставив между колен тумбочку, сутулился над ней. После экзаменов, по дороге в общежитие, он

нашел большую перламутровую пуговицу от дамского пальто, сейчас колдует над нею — ворочает ее в пальцах, страдальчески морщит лоб. На тумбочке лежит пузатый перочинный ножик, в толстой ручке — целый арсенал лезвий, пилочек, буравчиков.

— Зачем тебе пуговица? — спросил его Федор.

— Сделаю брошку — бабы в обморок попадают.

Федор позирует Православному, тот сопит, мычит, чмокает губами, гримасничает над бумагой, время от времени вскидывает на Федора осатанелый взгляд, замирает, впитывает, изучает. По его мнению, у Федора склад лица чисто новгородский, северный.

А Федор никак не может забыть натюрморт — бутылку с лимонами. Не так он его писал, теперь бы взялся иначе... Эх, если б можно снова встать к чистому холсту!

Динь-бом, динь-бом!
Слышно там и тут.
Нашего товарища
На каторгу ведут...

Чернышев уронил на струны руку, не сводя взгляда с рабочих за окном, спросил:

— Интересно, что повесят вместо нее?

— Ха! — отозвался Лева. — Будет парень с молотком в могучей руке. И надпись: «Отчизна зовет тебя к трудовым подвигам!»

— А ты, Православный, какую бы фигуру повесил на этом месте?

— Я бы к черту сломал этот дом — гроб кирпичный.

— И настроил бы поэтических изб с наличниками. Ясно?.. А ты, Федор? — повернулся к Федору Чернышев.

— Я?.. Я бы, пожалуй, повесил пейзаж с травой, с небом, с водой, чтоб глаз отдыхал.

— А ты, Мыш Без Мягкого?..

Иван Мыш оторвался от пуговицы, скептически поджал губы:

— Хиба ж не все одно, что висит?

— Ну, а все-таки, если б заставили — повесь, сообрази.

— Ежели б заставили, то повесил парня с молотком. Хоть похвалят за это.

Чернышев, перебирая струны гитары — «динь-бом, динь-бом...», — негромко признался:

— Я тоже — за парня с молотком, но не потому, что похвалят.

Лева Шлихман оторвался от альбома, откинулся назад, взглянул на Вячеслава Чернышева, как глядят на неоконченную картину — критически, оценивающе.

— Старик! — провозгласил он величаво. — Ты смешон в своем оригинальничанье.

— А я не оригинальничаю, я *так думаю.*

— Ты художник, я видел твои работы.

— Разве это мешает мне говорить то, что я думаю?

— Истинный художник не может искренне признавать банальность.

— Откуда ты знаешь, что я этого парня с молотком сделаю банальным?

— Сама тема! Сама тема!.. «И он пожал в тени завода ее мозолистую грудь...»

Вячеслав отложил в сторону гитару.

— Послушай ты, «на святой Руси петухи поют», запоздалый славянофил, да было бы тебе известно, что я хочу быть полезным людям. И мое глубокое убеждение, что плакат, зовущий к труду, нужней сусальных петухов и луковичных куполов, какими ты умиляешься.

— Утилитарист! — завопил Лева Православный, вскочил с места, взъерошенный, колючий, мясистое лицо свирепо, кулаки прижаты к груди — того и гляди, стукнет Вячеслава Чернышева по боксерской макушке... Но не бросился, встал в позу: — Не будем горячиться, старик!

— Вот именно. Сядь.

— Ты смеешься: колокольни, купола, расшитые петухами полотенца, кондовая Русь. Смейся, паяц!.. Твой прапрадед открыл в архитектуре шатровый купол, кто-то другой — купол луковичный, кирпичик по кирпичику копилось национальное искусство, самобытный дух народа. Века копили! Миллионы предков копили! Твоих предков, чудовище! И все для того, чтобы ты, высокоидейный варвар, их просвещенный потомок, отдал искусство на потребу плакату. Такие, как ты, пивнушку считают полезнее храма Христа Спасителя. От храма Спасителя — ни пива, ни раков,— значит, в щебенку его, в труху!..

— Стоп! — оборвал Чернышев. — От плаката тоже — ни пива, ни раков, а я стою за плакат, не за пивнушку.

— Не-ет, от плаката выгода! — закричал Православный. — Да, да, самая прямая, самая утилитарная. Твой

парень своим молотком, как гвозди, забивает в головы простаков идейки!..

— Вот тут-то ты и попался. Идейки?.. А твой храм Христа Спасителя создан для простого созерцания? Тоже для идей. Весь вопрос — чьи идеи лучше, значительнее. Ты за какие идеи, Христова душа? За старые, храмовые? Вряд ли, не поверю.

— К черту идеи храма! Он мне сам важен. Сам! Его форма!

— Переплет книги, а не сама книга?.. Вернись с небес, ангел милый, вспомни, о чем начался спор. За тему меня упрекал. Тема еще не форма...

И в это время, как глас божий, со стороны раздалось восклицание:

— Врешь, Вече! Тема — форма! Зародыш ее.

В дверях стоял Лева Слободко, в чаду баталии никто не заметил, как он вошел. Слободко сменил китель с лейтенантскими погонами на кофейного цвета костюмчик, жмущий под мышками, круглое, розовое, как только что вынутый из печи каравай ситного, лицо празднично,— видать, Лева приготовился веселиться, пришел подбирать компанию.

Лева Православный с воплем бросился к нему:

— Понимаешь — утилитарист! И гордится этим!

— Тема — эмбрион формы, Вече,— сказал Слободко.

Вячеслав Чернышев привстал с койки и раскланялся:

— Снайперский выстрел, убит наповал. Прикажете верить на слово?

— Тебе сегодня поставили бутылку, так сказать, задали...

— Тему,— подсказал Чернышев.

— Именно тему и... форму. Форму, друг настырный. Рисуй бутылку, а не корову на поле, не тигра в джунглях...

Православный выплясывал в тесном проходе между койками, натыкался на Федора, на тумбочку Ивана Мыша, вопил:

— Обожди, Левка! Не лезь, старик, со своими коровами!.. Этот демагог оторвался сейчас от главного, от своего убогого утилитаризма!..

Но Лева Слободко уже входил в раж, потрясал кулаком:

— Великий Ван-Гог в своих письмах сказал...

— Может, ты обопрешься на авторитет, который и я в достаточной степени уважаю?..

— Ты не уважаешь Ван-Гога?

Шум, гам, потные лица, толкотня, с разных сторон, как снаряды, слова: утилитаризм, реализм, модернизм, форма, экспрессия, Ван-Гог! Разгорался великий студенческий спор — один из тех, о существовании которых и не подозревал Федор.

В два часа ночи Лева Слободко снял тесный пиджачок, остался в одной рубахе, а Лева Православный начал громить подвернувшегося случайно под руку «Жан-Кристофа» за интеллигентность, за отрыв от народа.

Иван Мыш, человек уравновешенный, лежал на койке, накрывал голову подушкой, молил со стоном:

— Заткнитесь же наконец! Скоро светать начнет... Православный, сукин сын, чтоб тебя холера взяла — вопишь, башка раскалывается.

В три часа Чернышев ломал вдребезги искусство Модильяни, а Лева Слободко, бледный от ненависти, хватал Чернышева за грудки:

— Ты — консерватор! Ты — мещанин! Таких вешать на первом столбе!

— О господи! — слабо стонал Иван Мыш.

Федор молчал, но жадно слушал, не пропускал ни слова.

В четыре утра попытались лечь спать, но опять вспомнили о нуждах народа и о гнилой интеллигенции, которая их не понимает, и опять «Жан-Кристоф» вошел клином. И Лева Православный, стоя во весь рост на койке, разразился длиннейшей уничтожающей речью.

Чернышев, внимательно слушавший его, решился на неправдоподобно дерзкий вопрос:

— Слушай, а ты читал «Жан-Кристофа»?

Православный смущенно сопанул носом:

— Не читал, ну и что ж? Ведь о принципах спорим...

И тут взвился Иван Мыш, плаксиво взревел:

— Убью! Не читал!.. Он не читал!.. А уже четыре часа!.. До четырех часов мучает!

Он схватил Православного, в воздухе мелькнули заношенные кальсоны, взвизгнули пружины на койке — Иван Мыш вдавил Леву в тощий матрац.

Чернышев, Слободко, Федор долго стонали от смеха. Лева Православный сконфуженно притих.

А за окном голубел в торжественной утренней тишине город. Шумно завозились воробьи под карнизом крыши, бранчливо заспорили, тоже, видать, о своих высоких воробьиных материях.

Вячеслав Чернышев, укладывавший рядом с собой недавнего яростного врага Слободко, который жил где-то у Сокольнического парка, заглянул в окно и присвистнул:

— Глядите-ка!.. Зря спорили — все мы не правы!

На месте старого плаката висел новый: «Пейте Советское шампанское!» Гигантская, словно черная башня, бутылка и тучные гроздья винограда скоро будут дразнить проснувшихся жителей, сидящих все еще на хлебных карточках военного времени.

11

Члены приемной комиссии вокруг круглого стола. Среди них старый знакомый Федора — Валентин Вениаминович Лавров. Никакой торжественности — стол не покрыт сукном, члены высокой комиссии изнывают от августовской жары. А за дверью, холодея от страха, ждут своей очереди поступающие.

Несколько ни к чему не обязывающих вопросов.

— Вы приняты, Матёрин.

Поворот налево кругом, отчеканивая шаг, вышел.

— Ну как?

— Сказали, что принят.

А из-за двери:

— Иван Мыш, ваша очередь.

У Ивана Мыша — губы в ниточку, с твердых плоских щек сбежал румянец.

Лева Православный бежал своей раздерганной походочкой по институтскому коридору — голова втянута в плечи, прижимает к боку папку.

— Беда, старик. Из всей нашей комнаты один Мыш Без Мягкого нокаутирован. Нужно срочно спасать.

— А разве спасти можно?

— Попробуем ковать железо, пока горячо.

— Я с тобой. У меня вроде неплохие отношения с Лавровым.

— Этот однорукий и загрыз нашего бедного Мыша. Он — вандал, старик. Бездушный вандал!

Перед дверью, за которой сидел этот бездушный вандал, Православный затоптался, косясь в сторону, загородил дорогу Федору.

— Ты извини... У меня — хитрый план. При свидетелях, старик, мне будет трудновато.

— Валяй. Я подожду. Но если нужна выручка, позови.

За дверью Лева не пробыл и пяти минут, выскочил распаренный, смущенный еще больше.

— Что?

— Закинул удочку. Только бы клюнуло... — Замотал лохматой головой: — Эллинская Медуза, превращающая человека взглядом в камень. Бр-р-р, неприятно!

— Чего неприятного, за товарища хлопочешь.

— Ты веришь, старик, в провидцев, умеющих угадывать мысли?

— Не верю.

— А я вот поверил. Прочитал, негодяй, прочитал!.. Будем дежурить в институте. Или сейчас, или никогда! Мыш Без Мягкого где-то здесь ходит и, должно быть, твердит в душе: «Быть или не быть — вот в чем вопрос».

Но Мыш не декламировал из «Гамлета»,— он уныло слонялся от одной двери к другой, при виде знакомых останавливался, смотрел по-собачьи прямо в глаза, вздыхал.

Жаль его, трудно выносить собачий молящий взгляд, невольно без вины чувствуешь себя виноватым, но — слаб человек — не в силах справиться с собственной радостью. Ты-то принят, тебя-то миновала чаша сия. И на двери мастерских смотришь по-особому, не так, как смотрел утром. Они твои, эти двери, эти мольберты за дверями, твой коридор, твои стены, и с теми, кто пробегает мимо, у тебя — равные права. Только подумать, был никем, просто поступающим, временной фигурой, теперь — свой, законный студент первого курса. При этой радости тяжело

оставаться с глазу на глаз с молчащим, вздыхающим Иваном Мышем.

Ноги сами занесли Федора в мастерскую пятого курса. Он вспомнил о Нефертити. Он был эти дни все время рядом с ней и не видел ее, даже в суете, в тревогах — примут — не примут, сдаст — не сдаст — забыл о ней.

Надо найти ее и поклониться за все — именно сейчас, при этой победе.

Федор подставил стул к шкафу и принялся рыться — бумаги, пыльные холсты, пыльные слепки голов и рук. Он теперь хозяин, имеет право потревожить этот хлам.

Где-то здесь, сказал тогда Валентин Вениаминович. Где-то здесь, не исчезла за эти годы. Все перевернет, а отыщет.

Нефертити стояла у самой стены и, как все кругом, была густо покрыта пылью.

И упало сердце, и охватил страх. Нет прежнего Федора Матёрина, он исчез, из окопов вышел другой человек. Он теперь иными глазами взглянет на забытые черты. Забытые — видел ее всего двадцать минут, эти двадцать минут стали вехой. Вдруг да не понравится, вдруг да не та, рухнет богиня, исчезнет добрый гений!

Может, не сейчас, может, отложить — не в час победы, не портить радости потерей.

Но он уже сдул пыль, поставил бюст перед собой.

Вот она — мягко и смело описывают надбровья странные, удлиненные глаза. Она прежняя... Нежная линия скул стекает к маленькому подбородку...

Была царицей, жила в Египте, говорила на чужом языке... Не верится! Где-то ее встречал. Ждешь — вот-вот с губ сорвутся понятные слова, ждешь их, не веришь, что ей больше трех тысяч лет. Исчезла грань между мертвым и живым, между тысячелетиями и минутами — ждешь: оброни слово любящему тебя.

Но человек не камень, он не может застыть в тысячелетнем ожидании.

Федор взял в руки голову и стал гладить и ощупывать пальцами губы, брови, скулы, удивляясь — бесхитростна работа, увидел в живом — перенес на камень, только и всего. Видимо, Нефертити в самом деле была его добрым гением, при виде ее он начинал верить в себя: нет таинств, нет потусторонних хитростей, не может быть недоступного. Он, Федор, еще удивит мир.

Двери мастерской были чуть приоткрыты. Федор услышал из коридора голос Ивана Мыша:

— Будьте так ласковы, разберитесь. Моя ж работа не самая худшая.

— Те, кто был хуже вас, тоже не приняты,— возражал ему голос Валентина Вениаминовича.

— Не все, ей-богу, не все.

— А кто?

— Да хотя бы Матёрин. Разве ж его работа краше моей? Он и сам признавался, что прежде палитру в руках не держал. А вы его приняли, мне отказали.

— Слушайте! — голос Лаврова стал резок. — Во-первых, все-таки натюрморт Матёрина написан лучше вашего. Не обольщайтесь, это не только мое личное мнение. А во-вторых, если б даже этот натюрморт был чуть хуже, я бы все равно настаивал принять Матёрина, а не вас. Да, Матёрина!..

— Это почему?

— Объясню. Первый раз я подошел к его работе и ужаснулся беспомощности и безвкусице...

— Ну вот...

— Через полчаса в его работе был уже и вкус и какой-то голос. За тридцать минут он успел чему-то научиться. За тридцать минут! Значит, за шесть лет в институте он может научиться многому. Имею ли я право захлопывать перед ним дверь?

— Валентин Вениаминович...

Валентин Вениаминович перебил:

— Шлихман принес ваши новые рисунки. Они действительно ваши?

— Да...

— Гм... Что-то подозрительно. Разберемся. До свидания.

По коридору зазвучали резкие шаги.

Федор поставил на шкаф бюст Нефертити, вышел из мастерской.

Иван Мыш вздрогнул, по лицу Федора догадался — все слышал. Большой, тяжелый, размякший, давя грубыми сапогами скрипучий паркет, стоял перед Федором.

Федор ничего не сказал, прошел мимо к лестнице...

Иван Мыш шумно догнал его, забежал вперед:

— Послушай... Послушай... Ох, боже мой! Ты послушай — тону!.. Сам понимаешь — за соломинку хватаюсь.

— Понимаю — хоть другого утопи, а сам выплыви.

— Да ведь ты уж принят, тебя уже не утопишь. Прости...

— А я вроде и не попрекаю тебя.

— За соломинку... Дернуло меня за язык...

В лице Ивана, во всей широкой, сутулящейся фигуре было что-то искренне униженное, кающееся. Он старался заглянуть в глаза Федора и опять по-собачьи, опять моляще — вот-вот заскулит.

— Прос-ти... — И вдруг тихо, проникновенно, с каким-то пугающим ожесточением, не сводя собачьего взгляда с Федора, выдохнул: — Сволочь я...

И Федору стало не по себе. Он-то принят в институт, он еще переживает навеянную простотой и доступностью Нефертити всепобеждающую веру в себя, он обласкан, он удачлив и воротит нос в сторону. Перед ним лежачий, лежачего бьет.

— Ладно уж... Раскис — подберись.

Валентин Вениаминович наткнулся на Федора, взял за рукав, сказал:

— Зайдем на минуточку. Нужен.

Привел в комнату, погремев ключами, достал из застекленного шкафа папку, высыпал на стол листы твердой бумаги.

Средь других рисунков верхним лег портрет Федора с падающим боковым светом, лицо под старорусского молодца, какого-нибудь Ваську Буслая. Рисунок не окончен, так как работу оборвал неожиданно вспыхнувший спор о «парне с молотком».

— Это делал Иван Мыш? — спросил Валентин Вениаминович, остро заглядывая в самые зрачки.

Федор отвел глаза, ответил уклончиво:

— О всех не скажу...

— Ну, а это? — Валентин Вениаминович указал на портрет Федора.

— Это — Иван Мыш. — Федор выдержал пристальный взгляд.

— Ну что ж... — Взял в руки портрет, откинулся, прищурился: — Как вам кажется: для начинающего не плохо?

— Хотел бы я, чтоб у меня так получалось.

— Ну что ж... Вам верю. Однако как эта работа отличается от тех, какие он нам принес!

Федор молчал.

— Черт возьми, на этот раз, похоже, попались такие, что учатся на ходу... Ну что ж... Лучше ошибиться в другую сторону... Скажите этому Мышу: я похлопочу, чтобы приемная комиссия переменила свое решение.

Федора не смущало, что он соврал Валентину Вениаминовичу. А Лева Православный долгое время, встречаясь один на один с преподавателем живописи, пробегал мимо провинившимся кобельком, опустив голову, пряча глаза.

12

Их перевели в другую комнату — на нижнем этаже, окнами во двор. Комнаты общежития на верхних этажах, более светлые, более просторные и сухие, заняли студенты старших курсов.

Как в землянке на передовой, начинали сживаться теснее.

Чернышев навез книг, пристроил над своей койкой полку. На нее все книги не вошли — завалил подоконник, забил книгами тумбочки. Федор сразу кинулся к книгам: красочные монографии художников на иностранных языках, толстые книги по истории, разрозненные тома Маркса, Плеханова и Писарева, потрепанные томики стихов, даже пахнущая тленом старая Библия с иллюстрациями Доре.

— Старик,— обратился к нему Православный,— если ты все это прочитал, то я в тебе разочаровался — художник должен быть глуповат.

— Я другого мнения.

Чернышев в свободное время валялся на смятой койке, нещадно дымил, вонзая в разбитое блюдечко окурок за окурком, листал какой-нибудь распухший фолиант.

Иногда он брался за гитару.

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь — тяжелый труд...

Он пел только старые революционные песни о тюрьмах, о звенящих кандалах, о гневных угрозах разрушить старый мир. И Лева Православный пытался подкусывать:

— Проповедник нового, почему ты тоже старину-матушку на свет божий тянешь?

— Если это старина, то мне стыдно за современность!..

> Как дело измены, как совесть тира-а-ана
> Осе-енняя ночка темна...

Тот, кто первый это пропел, знал о будущем больше, чем мы с тобой, Православный.

Вече Чернышев умен, начитан. Вече Чернышев хороший товарищ, готов всегда выворотить свой карман перед другими, и его любовь к баррикадной романтике нравилась Федору. Но Вече чувствовал свое превосходство, не особенно обращал внимание на Федора — обычный парень, каких много: ни яркости характера, ни выдающегося таланта, ни ума, ни оригинальности суждений, ни даже вызывающей удивление физической силы, как у Ива́на Мыша,— ничего особого, молчун в спорах, покладист в жизни. Федору было трудно сблизиться с Чернышевым.

Зато с Левой Православным куда как просто. Тот жил словно птица божия,— вечно голодный, вечно без копейки денег в кармане, вечно обуреваемый воинственной любовью к поэзии минувших лет, всегда готовый разделить пайку хлеба — разумеется, чужую, так как свою съедал по дороге из магазина. Он принимал неудачу любого из друзей как свою собственную, он лез с самыми добросердечными советами даже тогда, когда его не просили...

— Старик, ты кретин,— кто же так холст натягивает?

И это подчас говорилось Ивану Мышу Без Мягкого Знака, у которого были удивительные, поистине золотые руки.

С помощью лишь одного своего карманного ножика он мог из пуговицы от дамского пальто и кусочка латунной проволоки сделать строгого вкуса брошку, две обычные канцелярские скрепки в его пальцах превращались в затейливую монограмму, лоскут грубого холста, два листа картона и еще отщепленный от дверцы старого шкафа кусок облицовочной фанеры — в богатую папку.

Иван Мыш подбирал все, что попадалось на глаза: граненая пробка от флакона из-под духов, ножка дивана, оказавшаяся дубовой, старинный медный пятак — все пряталось то в тумбочку, то под койку. Однажды притащил даже выуженный из помойной урны, которую не успели опростать мусорщики, разбитый вдребезги сапог. Не

обращая внимания на насмешки, обмыл голенища, протер маслом, стал раскраивать ножом. Получился внушительный бумажник, которым бы не побрезговал пользоваться сам Ротшильд.

Этот бумажник Иван Мыш подарил Православному за доброе отношение, за помощь и выручку. Православный три дня показывал его всем, восторгался.

— Старик! Это шедевр!

— А что внутри?

— Дивиденды.

На четвертый депь бумажник был утерян, что не вызвало особого горя — держать в нем печего, а показан всем.

После экзаменов Федор мечтал о новом натюрморте, гадал — каким он будет, нетерпеливо ждал первого дня учебы. Натюрморт даже снился по ночам — что-то неясное, серый строгий цвет с броским желтым. Снился только цвет, никаких предметов...

Был приготовлен новый холст, покрытый казеиновой грунтовкой. Нетронутый холст — будущая картина. И почему-то, глядя на него, сладко сжималось сердце: а вдруг создаст шедевр — серое с желтым.

Но вот на возвышение посреди мастерской, кряхтя, взобрался старик, уставился в пространство вылинявшими глазками. Никакого натюрморта — портрет, одна голова, ничего серого и желтого. У старика — дубленое лицо старорежимного дворника, белая рубаха, плесневелая, с прозеленью борода, на стену за его спиной падает тень — темный фон.

Федор стоял в унынии и растерянности — не нравился ему старик, сизый нос, линялые глаза.

Подошел Валентин Вениаминович, кивнул на старика, спросил:

— Красив дед?

— Не пойму, что-то не доходит до души.

— А вы поглядите на его лоб — шишковатый, так и просится, чтобы его вылепили. А эти глазницы... А эти маленькие глазки в них... Чувствуете — прочно вставлены. А мятые щеки — рыхлость, дряблость, но не бесформенность. Сравните со лбом, какая разница в фактуре.

Старик сидел близко от них, слышал, разумеется, каждое слово Валентина Вениаминовича о своих богатых

достоинствах, слушал безучастно, невозмутимо, видать, привык к славе шишковатого лба.

— Лепить надо. Пробуйте.

Федор же несколько дней внутренне готовился не лепить, а раскрывать таинства цвета — желтый, сияющий на сером.

— Начинайте жиденько, одним цветом.

Кисть с разведенной краской долго висела над холстом. С чего начать старика — со лба, с носа, с бороды? Старик крепко сколочен, какой-то цельный, не разберешь по частям — окружность, у которой нет ни начала, ни конца.

Наконец кисть коснулась холста и сама — Федор не успел за ней уследить — описала овал лица, грубо, приблизительно... Но холст утратил свою девственность, начало положено, неуверенность исчезла, работа началась.

Шишковатый лоб — твердый до медного звона... А ведь есть счастье в том, что он шишковатый. Но одной сиеной жженой его твердости, его медной звонкости не добьешься — лоб бледный, бледней стариковских пунцовых щек. Цвет лба, цвет щек — есть счастье в шишковатом лбу! К черту серое и желтое — забыть!

Федор отступил, чтобы полюбоваться на свою удачу...

Отступил... и счастье испарилось.

Вместо физиономии старика с холста глядело чудовище, составленное из двух неодинаковых частей — выдвинутого вперед лба с двумя твердыми шишками и мясистых щек, увенчанных бородой; там, где брови,— провал. Федор смятенно оглянулся — видит ли кто из соседей его позор?..

Но почти все стояли возле мольберта Вячеслава Чернышева. Стояли и молчали.

Федор, воровато оглядываясь, соскреб шишковатый лоб старика, тот лоб, который доставлял ему наслаждение своей крепкостью, твердостью до медного звона. Он соскреб и, положив кисти и палитру, направился к мольберту Вячеслава.

Вячеслав только начал, на холсте первый нашлепок, грубые, небрежные мазки, но в них какая-то победность, в грубости — сила. И уже проступает шишковатый лоб, под ним ввалившиеся глазницы, глаза еще не намечены, а глазницы уже источают взгляд. А сам старик как-то

удобно, свободно расположился на холсте. Вот оно настоящее... А ты?..

Вече Чернышев, насупленный, подобранный, суровый, не обращая внимания на почтительно столпившихся за его спиной ребят, работал — отступал, долго вглядывался, прицеливался, делал кистью выпад...

Федор дольше всех стоял у него за спиной.

С этого дня он начал погоню за Вячеславом Чернышевым. Быть, как он, работать, как он, походить на него, и только на него! Стоял ли он за мольбертом, играл ли по вечерам на гитаре — за ним следили преданные глаза Федора. А когда Чернышев небрежно нахлобучивал свою мягкую щегольскую шляпу, набрасывал на плечи плащ, исчезал где-то в городской путанице улиц и огней, Федор чувствовал вокруг себя пустоту и одиночество. На время пропадала из жизни опора.

Валентин Вениаминович был добросовестным учителем. Поддерживая протез правой рукой, он подолгу простаивал возле Федора, терпеливо объяснял: «Этот цвет приблизителен... Не выдержана тональность... Бороду перемылил... Темные места бери подмалевочкой, светлые лепи густо...» Валентин Вениаминович учил словом, щедрым советом, но каким словом можно научить дерзости? Нет таких слов в человеческом языке.

Спасибо товарищу, кто умней тебя, опытней. Спасибо за то, что он есть, живет рядом. Спасибо даже тогда, когда он не очень-то тебя замечает. Его приравняли к тебе — одна крыша над головой, одинаковая стипендия,— но он лучше тебя, выше тебя, тянись за ним, будь лучше, чем ты есть. Недостигнутый уровень — не самый ли лучший учитель в жизни?

Каждый день в мастерской влезал на возвышение старик со всеми своими живописными сокровищами — лбом в шишках, бородой с прозеленью, рыхлыми щеками в пунцовой сеточке жилок. Каждый день Федор упрямо воевал с ним.

И казалось, дни были однообразными, внешне похожими друг на друга, как дождевые капли на ржавой проволоке за окном. Утром кружка кипятка с куском хлеба, бегом до остановки троллейбуса, мастерская, старик, холст, время, отведенное для рисунка, занятия по пласти-

ческой анатомии, лекции по истории искусств, по марксизму-ленинизму, группа французского языка под надзором доброй Сарры Израильевны, звавшей своих великовозрастных небритых воспитанников «деточками», щедро ставившей пятерки и четверки за вологодское оканье с прононсом. В промежутках пропахшая щами подвальная столовка, где к студентам-художникам относились с придирчивым подозрением, так как было известно, что они великие мастера подделывать разовые талоны на обед. Потом Федор бежал в библиотеку и читал книги по истории, по искусству, просто те, о которых слышал похвальное слово. Читал, чтобы походить на Вече Чернышева, чтобы не молчать при спорах... Возвращался в общежитие уже ночью и торопливо ложился спать, так как не мог забыть, что в кармане пальто, завернутый в газету, лежит кусок хлеба. Его нельзя трогать, иначе утром побежишь натощак, весь день будет мутить от голода.

Утром опять в прежнем порядке, начиная с кружки кипятка и этого куска хлеба...

Дни, похожие друг на друга, но только внешне. Господином каждого дня был старик, застывший на своем стуле посреди мастерской. Иногда этот старик приводил в отчаянье, иногда благосклонно одаривал тихой радостью... Радости было меньше, чем отчаянья... Быть может, ее было бы и больше, если б постоянно не стоял перед глазами холст Вячеслава Чернышева, напоминавший: «Жидковат ты, Федор Матёрин...»

И мечтал о новой натуре, о том, чтоб снова стать перед чистым холстом. Новый холст — новые надежды. Вдруг да он поймает синюю птицу за хвост.

13

Как-то Федор пришел в общежитие раньше обычного. Никого в комнате не было. Лева Православный вообще приходил ночью. В городе у него было множество знакомых и достаточное количество каких-то теток, дядюшек — седьмая вода на киселе. Лева по очереди обходил всех — и хорошо знакомых неродственников и почти незнакомую родню, потчевал всех своей философией — искусство гибнет вместе с русской стариной,— за это его угощали чаем,

иногда и обедами, тем только и жил, так как стипендия у него исчезала в три дня.

Иван Мыш, обычно коротавший свое свободное время за тумбочкой, ковыряясь ножичком в лоскутках кожи, пуговицах, деревяшках, теперь тоже стал пропадать. Его зачислили в институт с условием, что первый семестр стипендию не получит,— приходилось промышлять. С его щек исчез румянец, наметились даже скулы, но деньжата у него, кажется, водились, голодным не сидел.

Вячеслав Чернышев мог валяться на койке с книгой, мог явиться за полночь навеселе. У него, как и у Православного, тоже было достаточно знакомых, он тоже не гнушался пользоваться гостеприимством, так как давно спустил привезенные из дому деньги, ждал перевода.

В этот же вечер никого не было, заправленные койки стояли нетронутыми, и Федор почувствовал тоску. У товарищей — свои заботы, им нет до него дела. Да и товарищи ли это? Просто живут бок о бок, связывает лишь одно соседство по койкам. Что он такое, чтобы они им дорожили? Он их ничему не сможет научить, сам глядит каждому в рот. Он может быть преданным, но кому нужна его преданность? Пока на людях, пока можешь переброситься словом — вроде не один, а ушли все — пустота. Иллюзия дружбы, иллюзия товарищества — обман.

Да и вообще были ли у него в жизни товарищи? Те, с кем лежал в одном окопе, ел из одного котелка, укрывался одной шинелью, были друзьями на время. Прошло время окопов, и они развеяны по свету — не знаешь, кто жив, а кто погиб. Вспоминают ли они тебя? Навряд ли.

Хотя один друг есть, один помнит наверняка — Савва Ильич. Он-то помнит, а Федор о нем забыл. В чемодане лежит неразвернутый пакет с акварельками Саввы Ильича. Просил — покажи, выслушай, что скажут, напиши... Наверное, каждый день вспоминает, каждый день ждет ответа. И наверное, не обижается, прощает, сам для себя находит отговорки — некогда человеку, занят.

А дело не в занятости. Федор стыдится своего друга, боится показать его работы, знает — плохи, о них непременно отзовутся с пренебрежением. Лежит в чемодане сверток с акварелями Саввы Ильича.

А Савва Ильич, не дожидаясь почтальона, каждое утро бежит на почту в сиротском пальтишке, выставив

потертые локти, не имея сил скрыть волнение, спрашивает в окошечко:

— Мне тут должно быть письмо...

Нет письма, нет ответа, забыли тебя, старик, жди, пока вспомнят.

Федор выдвинул из-под койки чемодан, достал спрятанный под низ сверток. И газета, в которую завернуты работы, районная, пестрят заголовки: «Повысим удои», «Правильный уход за молодняком», «Все силы на заготовку кормов!» — будничны интересы, далеки от высокого искусства.

Рассыпал по койке, присел, стал перебирать. Почему-то эти акварели кажутся древнее Нефертити, робкие цвета выглядят вылинявшими. А цвета-то — зеленая травка, голубое небо, желтые дорожки. И этим увлекается человек преклонных лет, не мальчишка, всю жизнь отдал скучной забаве, сейчас не ждет ничего иного, как похвалы.

Попалась в руки картинка — по голубому небу радуга. Эх!..

— Ты чего это колдуешь?

Федор вздрогнул. За его спиной стоял Чернышев. У него, как всегда после хорошего обеда со стопкой водки, лицо розовое, размякшее, в глазах благодушная доброта. Шляпа набекрень, воротник плаща поднят, в зубах сигарета — вид фатоватый.

— Откуда такое богатство?

Взял одну работу:

— Гм...

Взял другую:

— Гм...

Отложил, спросил постновато:

— Твое, что ли?

— Нет. Одного знакомого.

— Гм...

— Моего школьного учителя. Просил их показать знающим людям.

— Опрометчивая просьба. Доброго слова не услышит в свой адрес.

— Что ты посоветуешь ему написать?

— В вежливой форме: брось дурить, убивай лучше время на развлечения.

— Ну что ж... другого я и не ожидал. — Федор, не

выбирая, взял первую, какая подвернулась под руку, картинку — попалась радуга: — Вот возьми...

— На память, что ли?.. Не обессудь...

— Нет, возьми карандаш и по возможности отчетливей напиши: «Неплохо» или просто «Хорошо». Потом поставь свою подпись.

— Это для чего же?

— Для радости, Вече. Для тебя пустяк, а для человека — большая радость.

— Радость во лжи?.. Ну и ну, не хотел бы для себя такой.

— Что делать, он всю жизнь в этой лжи прожил.

— Может, все же лучше объяснить—оставь надежды...

— А стоит ли перевоспитывать? Ему сейчас под шестьдесят — старик.

— М-да... И ты ему будешь лгать?

— Буду. Самым бесстыдным образом. Сейчас сяду за письмо, напишу: «Твои акварели похвалили. Чернышев, имя которого через несколько лет узнает вся страна, будущий гений, гигант в живописи, удостоверил правдивость моих слов своей подписью на лучшей работе».

— Гм... Всю жизнь считал — ложь вредна, а правда, пусть самая злая,— благо...

— Как хочешь, как хочешь... Я не решусь отнимать у человека последнее. Он всю жизнь ждал этого счастья. Всю жизнь! Я солгу.

— Гм...

— Помнишь, Православный читал недавно: «Как трагик в провинции драму Шекспирову...»

— Так это из провинциальных трагиков? Сдаюсь.

...Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой...

Дай карандаш, брат! Погрузим в золотой сон не вкусившего святой правды... Но, может, не эту? Может, выберем получше работу?

— Они все одинаковы, Вече.

— Гм... Все как одна, прямо на удивление... Предаю свои принципы, благословляю пошлость... Бери, садись за письмо.

На следующий день, когда Федор стоял за мольбертом, прописывал надбровья, затеняющие стариковские глаза, подошел Вячеслав. Он долго смотрел на работу, не похвалил, только спросил:

— Он — твой учитель?

— Кто?

— Да этот трагик в провинции...

— Преподавал рисование и черчение.

— Другой школы ты не знал?

— Нет, откуда же.

— Гм...

С этой минуты началось их сближение.

14

Старик, торчавший на помосте, «приелся», как кислые щи в студенческой столовой. От одного вида его шишковатого лба охватывала цепенящая скука. Тысячу раз уже ощупывал кистью этот лоб, начинай тысячу первый. Тысячу первый раз — о господи!

Но вот, как сквозняк в душную, закупоренную комнату, врывается известие: приготовить холсты, завтра поставят новую натуру.

Новое утро, новые холсты...

На этот раз — натюрморт, но не примитивная бутылка с парой лимонов, с чем можно справиться за один сеанс... Медный пузатый самовар, на нем, как на гордом воине шлем,— чайник, матовая глиняная крынка, суровая скатерть, чашки на блюдцах, расшитое полотенце — пестрота, блики, рефлексы, и все в старорусском стиле,— радуйся, Православный.

Валентин Вениаминович, как всегда, в отутюженном костюме, в безупречно свежей сорочке, как всегда, при галстуке, но в нем сегодня есть что-то большее, чем всегда, какая-то торжественность, подчеркивающая исключительность момента.

Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. В свое время наверняка Валентин Вениаминович мечтал стать генералом от живописи, но стал одним из многих, про кого снисходительно говорят: «Имеет свой маленький голос». Свой голос маленький, его вряд ли услышат,— так не лучше ли настраивать чужие голоса?

Новые холсты на мольбертах для Валентина Вениаминовича — тоже новые надежды. А вдруг да на каком-нибудь холсте придушенно прорвется тот неокрепший голос, который может со временем прокатиться по земле?

Новые холсты, новые надежды... Валентин Вениаминович, вздернув плечо, ходит между мольбертами, приглядывается — кто как начал, дает советы:

— Слишком крупно взял. В картине не будет воздуха, самовар станет задыхаться.

Федору нравится новый натюрморт. Со многим будет трудновато справиться, но греет душу покойная уверенность в себе — не спеша расставляет чашки на поверхности стола, забегая мысленно вперед, радуется, что в соседстве матовой крынки и мутной меди самовара есть что-то вкусное. Впервые уверенный покой, а не судорожное нетерпение.

Чернышев, когда все пристраивались на новых местах, пригласил Федора:

— Вставай рядом.

Федор отказался.

— Видеть все время твой холст?.. Нет, боюсь. Лучше уж буду приходить к тебе в гости.

— Ну-ну, и я к тебе наведываться буду.

Они встали в разных концах мастерской.

В первый же час удивил Лева Слободко. Бросали свои холсты, шли смотреть на его самовар.

А самовар превратился в радугу, жирные косые мазки, красные, лиловые, коричневые, мазки крупные, мелкие, пестрота, страстность, фантазия.

За спиной Левы начали развлекаться:

— Картинка-загадка: куда пропал самовар?

— И где вор, укравший его?

— В огороде бузина, в Киеве дядька.

А Лева важно творил, на широком, румяном лице — вызывающее презрение.

Подошел Валентин Вениаминович, долго стоял. Лева с упрямо насупленным лбом продолжал разводить узоры, бровью не повел в сторону наставника.

Валентин Вениаминович вежливо спросил:

— Чем вы забавляетесь, Слободко?

— Пишу, как видите,— хмуроватый ответ в сторону.

— И разрешите поинтересоваться, что именно?

— Натюрморт, разумеется.

— Отнюдь не разумеется. Не вижу натюрморта.

— А я — так вижу.

— Не верю.

— Чем прикажете убедить?

— Разве вы психически ненормальны?

— Психически?.. Нет, я нормален.

— И не подвержены цветовым галлюцинациям?

— Я так хочу! Могу я выразить то, что мне больше по вкусу?

— Нет, не можете.

— Это что же, Валентин Вениаминович, палочная дисциплина в искусстве?

— Нет, дисциплина в учебе. Об искусстве говорить пока рано.

— Я хочу выразить свое, а не чужое отношение к цвету. Почему вы навязываете мне свой вкус?

— Потому что вы пришли ко мне учиться.

Слободко сердито хмыкнул.

— Если вы считаете, что я вас не смогу научить ничему новому,— продолжал спокойно Валентин Вениаминович,— считаете, что вы уже вполне сложившийся художник, извольте — отступлю. Но при этом придется попросить вас не занимать место в институте. Потому что найдется такой, которому будут полезны мой опыт, мои знания, мои советы.

Лева Слободко угрюмо молчал. Валентин Вениаминович повернулся к студентам.

— Хочу изложить вам свое кредо, даже если оно кой-кому и не понравится. Считаю, что, прежде чем творить новое, человек должен овладеть тем, что до него достигнуто другими. Истина банальная, но если ей не следовать, то всякая учеба теряет смысл. А вы пришли сюда учиться. Поэтому... — Валентин Вениаминович окинул взглядом мастерскую. — Поэтому буду требовать, чтобы вы постигали ремесло живописца в том виде, в каком оно уже существует много веков. Таланту я вас не научу, а ремеслу постараюсь. Опрокидывать старые каноны вы будете уже за пределами этих стен.

Кто-то насмешливо, не без услужливости, подкинул:

— Знай, сверчок, свой шесток!

— Слободко, если вам дорога эта... простите, игра в разноцветные мазочки, можете развлекаться ею сегодня. Но завтра вы принесете новый холст и начнете писать

уже не феерический натюрморт, а реальный, с тем прозаическим самоваром, какой видят ваши глаза.

Валентин Вениаминович вышел, унося косо поднятое плечо.

Лева Слободко глядел в пол.

Федор был на стороне Валентина Вениаминовича. Он, Федор, как и Лева Слободко, тоже хочет стать художником особенным, ни на кого не похожим, но прежде нужно постичь постигнутое — нехитрая логика. Нет, Левка не прав.

Однако не все так считали. Православный начал ораторствовать у своего мольберта:

— Это называется — стройся в шеренгу, я здесь командую. Раз, два! Подымите кисти! Раз, два! Привыкай с малолетства шагать в ногу! Из художников — солдатики, пишущие картины по уставу. Из искусства — ширпотреб!..

И это вконец расстроило Леву Слободко, он бросил запачканные кисти, вставил грязную палитру в этюдник.

— Пойду напьюсь!

— Приятного аппетита,— подкинул ему Вячеслав Чернышев.

И Лева Слободко стал грудь в грудь, лицо оскорбленно надуто, округленные, со стеклянным блеском глаза уничтожающе смотрят в лоб:

— Э-эх!

— И ты, Брут, с ними! Не так ли? — подсказал Вячеслав.

— Пошел знаешь куда?..

— А именно?..

— Сказал бы, да девчонки рядом.

Слободко отмаршировал из мастерской.

Вечером он ввалился в комнату общежития — офицерский плащ мокр от дождя, фуражка с голубым околышем надвинута на брови. Сел, не снимая плаща, на койку, напротив Вячеслава, который, по обыкновению, лежал в носках, жевал потухшую папиросу, листал книгу.

— Драться пришел.

— Давай,— согласился Вячеслав, продолжая жевать окурок.

— Значит, так... Да оторвись ты, сукин сын, от книги! Имей уважение!..

— Пардон. — Чернышев отложил книгу.

— Значит, так...

— Что ж мало выпил?
— Не берет ни черта.
— Ну, я бы не сказал...
— Удручен я...
— Мировой скорбью?
— Не мировой скорбью, а твоим гнусным поведением, ренегат!
— Так сильно?.. Теперь вижу — хлебнул изрядно.
— Ренегат! Хочешь знать почему?.. Слушай! Объясню! — Слободко вскочил, встал в позу трибуна. — Ты талантлив, хоть мне твой талант и чужд. Я не поклонник слепого копирования природы. Но в этом копировании ты мастер. Признаю, проникаюсь уважением. Как видишь, я шире тебя... К черту реализм с его узкими рамками — не отступи от натуры. Я человек, я бог, я сам себе владыка, наделенный душой. Да, душой, черт возьми, вы, пресловутые материалисты! Душой! Слышите? И моя душа богаче остальной природы со всеми ее сокровищами. Дай мне выразить свое богатство, дай мне выразить свою душу!
— Сгораю от нетерпения узнать — почему я ренегат?
— А, черт! Занесло... Так с чего я начал?
— С этого самого — с ренегата.
— Ты — ренегат!
— Это слышал.
— Ты — талантлив по-своему!
— И это было сказано.
— Как-никак ты человек искусства...
— Спасибо за комплимент. Дальше.
— И ты ренегат!
— Железная логика — все возвращается на круги своя. Ты выпил один не меньше пол-литра.
— Больше.
— Боюсь теперь сомневаться.
— Я пропил репродукцию Пикассо. Гениального Пикассо я перегнал на водку, чтоб обрести равновесие!
— Обрел, не спорю,— ты еще крепко держишься на ногах.
— Ты, Вече, сук-кин сын!
— И ты красноречив, как Цицерон в квадрате. За это я даже великодушно прощаю неуважение к себе.
— Подлый льстец, ты не увильнешь от суда. Ты поддерживаешь тех, кто вооружен садовыми ножницами...

Нет более страшного оружия для искусства, чем эти садовые ножницы. Ими подстригают всех под один уровень, под линеечку, чтоб не было шероховатостей, чтоб живая сила не выпирала из установленных рамок. Ты — человек искусства — поддерживаешь могильщиков искусства! Как это назвать, скажи? Как назвать?

— Серьезный упрек... Давай-ка уложу тебя на койку — отоспишься...

— Умереть? Уснуть? Уснуть и видеть сны?.. Все кругом спят, потому-то наше искусство плоско и невыразительно. В Европе давным-давно отшумели импрессионисты, в Европе Ван-Гог уже анахронизм, а мы стряпаем жалкие пародийки на классицизм, заменив библейские сюжеты на производственные. А тот же скучный колорит кофейного с сажей, та же тошнотворная гладкопись. Спит искусство! В летаргическом сне оно!

— Как жаль, что ты пьян, мы бы славно поспорили. Есть зуд.

— Я пьян не от водки. Моя водка сегодня настояна на Пикассо! Его гением я пьян — потому силен, потому должен тебя истолочь в крупу! Молчи и слушай!.. Кто я такой?.. Скажи: кто я такой?.. — Крепкие кулаки бывшего летчика гулко ударили в широкую грудь. — Я — Лев Степанович Слободко!

— Воистину так, кто же спорит.

— Другого такого на свете нет!

— Где уж...

— Есть лучше, есть хуже, но такого, точно такого Льва Слободко нет. Я — личность, я — индивидуальность! Проникни, жалкий реалист, в эту суть — личность! Ин-ди-ви-ду-альность!

В это время в комнате появилась другая личность — мокрый, иззябший, с прозрачной капелькой под красным носом Лев Православный. Он, как пчела, чующая за километры мед, прилетел вовремя.

Слободко, барабаня в грудь кулаком, гремел:

— Должен я выразить себя? Се-бя! Свою суть! Свою индивидуальность! Нет, меня душат, обстригают по образу и подобию некоего заданного наперед художника. Не-е хочу! Пр-ро-тес-тую!..

— Старик,— вступился Православный, не успев вылезти из своего замызганного, с облезшим мерлушковым

воротником узкого пальто,— старик, этот пьянчужка говорит умные вещи.

— Пр-равославный! Др-руг! Дай обниму тебя! Дай поцелую!

И Лева Слободко облапил шмыгающего простуженным носом Православного.

Вячеслав Чернышев кивнул Федору:

— Символическая картинка — ярый западник лобызает ярого славянофила. Это доказывает,— что ни поп, то батько, суть одинакова. Хочется плакать от умиления.

Федор, как всегда, молчал и жадно ловил каждое слово.

Лева Православный выкарабкался из жарких объятий своего друга Слободко.

— Сгинь, нечистый! Не мешай трезвым.

— Сгину, сгину, так как свято верю в твою честность. Дай еще раз поцелую...

— Федька, оттащи его к чертям собачьим.

Федор повернул спиной Слободко, легонько поддал коленкой, толкнул на койку Ивана Мыша.

— Я пьян, но я личность... Круши ортодоксов, Православный. Благословляю! Ты, Матёрин, тоже убогий ортодокс. Насквозь вижу. Деревня всегда была ортодоксальна...

— Пошел молоть,— возмутился Православный. — Но он прав, когда говорит о личности. Он прав, старик,— в искусстве личности должна быть предоставлена максимальная свобода.

— А как ты понимаешь свободу личности? — Чернышев сел на койке по-турецки, глаза его поблескивали сатанинской издевочкой.

— Очень просто. Личность должна по возможности наиболее ярко проявить себя, а для этого боже упаси хватать за шиворот и тыкать, словно кутенка в сотворенную им ароматную кучку.

— А не проще ли сказать: свобода есть осознанная необходимость?

— Банально, старик.

— Пятью пять — двадцать пять, тоже не оригинально. Каждая истина по-своему банальна.

— Разговор об искусстве, старик, об искусстве! Оно не терпит банальностей! В нем нет утвержденных законом истин — делай так, а не иначе.

— Вот как! А зачем тогда споришь?

Православный сопел простуженным носом. Вячеслав торжествовал:

— Споришь — ищешь истину, но ищешь в зеленой кроне древа, а она в корнях его.

— Ты хочешь сказать, что истина искусства — в жизни?

— Как ты догадлив!

— Но и в жизни, старик, тоже признают свободу личности, отстаивают ее, вводят особым пунктом в конституции. Ты же хочешь запретить ее в искусстве!

— В жизни больше ограничивают себя. Ты сейчас хочешь жрать, но не пойдешь на улицу, не отымешь у прохожего авоську с продуктами. И не только потому, что на перекрестке стоит милиционер.

— Но искусство... Перейдем к искусству, старик.

— Рано. Мне хочется потолковать о жизни. В жизни ты на каждом шагу постоянно требуешь ограничить свободу личности...

— Я? Требую ограничить свободу?..

— О да, ты демократичен, ты свободолюбив, и все же, когда буфетчица в столовой уходит на целых полчаса поболтать с судомойками, считая, что она свободна, ты стоишь в очереди, негодуешь, кричишь ей о ее обязанностях. Буфетчица, крестьянин, рабочий — не свободны перед тобой, перед обществом. Одна обязана отпускать тебе щи, другой выращивать для этих щей капусту...

В это время Лева Слободко, раскинувшись на койке Ивана Мыша, начал декламировать:

— Ум-ме-реть! Уснуть и видеть сны?..

— А такие вот,— Вячеслав кивнул на Слободко,— стучат себе в грудь: я — индивидуальность, я — неприкосновенен! Неподвластен! Не хочу! Протестую! И такие Православные умиляются, обижаются за него — свободу урезываете!

— И буду обижаться! Буду отстаивать свободу в искусстве! Одно дело — буфетчица, другое — художник. Буфетчица не ищет новых путей в своем деле. Чем точнее она будет исполнять то, что ей установлено заведующим столовой, тем лучше для нее и для общества. Художник перестает быть художником, если не ищет нового, своего, непохожего... Для поисков нужна полная самостоятельность, нужна, старик, свобода!

— Ага! Поисков!.. А для поисков нужна цель. Поиски ради поиска — бессмыслица. Не так ли?

— Кто с этим спорит...

— Ум-мереть?.. Уснуть?.. Уснуть и видеть сны?.. Что благородней духом — покориться... — снова раздался потусторонний глас с койки Ивана Мыша.

— Спроси этого благородного духом, какая у него цель, в чем, собственно, его поиски? Не морщи чело — ни ты не дашь ответа, ни он сам не ответит. Цели нет — ищет нечто. Ему нужна просто свобода. Он личность, он не хочет ни с кем считаться. Нет обязанностей, есть одни права! Он свободен, другие нет. Художник Слободко свободен от обязанностей пахаря, а пахарь,— шалишь, корми его,— пахарь — низшая раса, не равняйся со жрецом высокого искусства!

— Постой, постой!.. Но, старик, это чудовищно!

— Чудище обло, огромно, стозевно и лаяй!.. — продекламировал Лева Слободко.

— Это ужасно — то, что ты говоришь... Значит, я должен трудиться на потребу пахарю, потому что он трудится на меня?

— В общем, да, для него.

— На потребу!.. Рядовой пахарь не поймет Левитана, Серова. Лети в тартарары искусство, разбивай вдребезги Микеланджело, рви на куски холсты Левитана,— да здравствуют лебеди на лубке!

Лева Православный в ужасе схватил себя за лохматую голову. Чернышев сидел на койке, подвернув под себя ноги, торжественный, как султан на приеме.

А Федор ждал, что он ответит. Федор вспомнил Матёру... Как ни близка она, как ни дорога, но приходится признать, что там, в горницах, по избам, висят маки с конфетных коробок, кипарисы и русалки, пудрящиеся блондинки,— рекламы царских времен. Микеланджело, Левитан, Серов, Ван-Гог,— знать их не знают в Матёре. Жить искусству по вкусам Матёры? Нет!

Неужели Чернышев неправ? Он спокоен, он слушает...

Выждав, пока уймется Православный, Вячеслав произнес:

— Не подделывайся, а поставь себе цель — воспитать вкус этого пахаря. Возложи на себя эту трудную обязанность.

— Для того, чтобы воспитывать, нужно, чтоб тебя понимали. Бессмысленно приниматься за воспитание зулуса, если он не знает твоего языка.

— Учи своему языку!

— Учил поп еврейчика правильно говорить, да сам стал по-местечковому картавить.

— На то ты не поп, а художник. Тут-то и проявись как личность.

Православный сосредоточенно мигал и посапывал, выражение его лица было угнетенно-серьезным.

— За твои добропорядочные слова может спрятаться какой-нибудь держиморда от искусства,—сказал он хмуро.

— Может,— спокойно согласился Вячеслав. — И за более высокие слова пряталась разная сволочь. Ожиревший рантье во Франции, наверное, до сих пор с умилением твердит: «Свобода, равенство, братство», да еще «Марсельезу» со слезой поет.

Пришел Иван Мыш, откидывая мокрый воротник пальто, проворчал:

— Ну и погодка. Собаку добрый хозяин за ворота не выгонит.

Увидел лежащего поперек своей койки в плаще и фуражке Леву Слободко, совсем скис, загудел плаксиво:

— Хлопцы, что же это?.. Тут полночь, изгонялся как легавая, устал, в свой угол спешил,— на́ вот, занято... Пьян?.. Ну да, пьян... Изволь нянчиться.

— У него, старик, душевная драма, нужно снисходить.

— Какая, к ляху, драма?.. Возьму вот в охапку и выкину на улицу.

— Старик, ты непоследователен. Только что провозгласил: при такой погоде добрый человек собаку не выкинет за ворота. Собаку! А он — учти — творческая личность.

— Ну, а спать-то мне на полу, что ли, из-за этой, будь она неладна, личности?

— Он не меньше тебя нуждается в отдыхе.

— Га... — Растерянность, гнев, изумление Ивана Без Мягкого Знака достигли вершины.

Общими усилиями стали стаскивать «творческую личность» с койки. Она лягалась сапогами, произносила нечленораздельные ругательства. Иван Мыш, увернувшись от очередного пинка, подхватил под мышки, поднял в воздух дюжего Слободко, поставил на ноги в проходе. С минуту все в полном молчании с интересом наблюдали: свалится или нет? Слободко шатало, как тот камыш,

о котором любит петь подвыпивший русский человек, и все-таки он с честью вышел из испытания — открыл глаза, обрел устойчивость, спросил:

— Это где я?

Каждый по-своему удовлетворил его законное любопытство:

— В раю.

— На Парнасе.

— Иль в вытрезвиловке — одно и то же...

В поле зрения Слободко попал ухмыляющийся Вячеслав Чернышев, и Слободко стряхнул вместе с хмелем остатки сна, твердо шагнул на Вячеслава:

— Тебя-то мне и надо.

— Узрел, ишь ты!

— Давай хохмочки в сторону. Серьезно поговорим. Я считаю твою позицию чисто ренегатской...

Иван Мыш не на шутку забеспокоился:

— То ж он спор зачнет!.. Это в полночь-то. Уймите его — свету невзвидим.

Вячеслав трясся от смеха:

— Стоит кол, на колу мочало, начинай сначала.

— Ну, что вы все скалитесь?

— Старик, ты уже получил свою порцию, нечестно лезть за второй.

— Уже? — Слободко озадаченно почесал в затылке. — Убей, не помню.

— Еще бы...

— Ну и черт с вами. Укладывайте меня спать.

— Сегодня очередь Православного принимать гостей.

— У Православного от ног пахнет.

— Это аристократизм, старик.

— Вались ко мне,— пригласил Федор.

Иван Мыш, уже успевший залезть под одеяло, взбивая под головой подушку, по-домашнему успокоенно бубнил:

— Ну, так-то лучше... Спать будем... Утро вечера мудренее.

15

Слободко, повернувшись к стене, заполнял маленькую комнатушку богатырским храпом. Лампочка над подъездом во дворе бросала в незанавешенное окно робкий свет, он достигал смятой подушки Вячеслава,

освещал крутой лоб, по-мальчишески короткую, вздыбленную челку.

Федор не спал,— пристроившись на краю жесткой койки, лежал с открытыми глазами, думал.

Цель... Это слово несколько раз повторил в споре Вячеслав. Слово прискучившее, приевшееся, как нудные старческие сентенции. Сейчас это слово, словно солдат, снявший шинель, надевший штатский костюмчик, представало перед Федором в ином свете, в него стоило пристальней вглядеться.

На заре туманной юности, по ту сторону крутого и тяжелого перевала, называемого войной, Федор шагал по утреннему городу, был глуп, наивен, самоуверен, но имел твердую цель — стать художником. Искусство казалось ему легендарным островом сокровищ. Он, Федор, верил — достигнет заветных берегов, найдет спрятанный клад.

Война... Неизведанный берег, спрятанные сокровища... К чему сокровища, когда и без них славно можно прожить, без них в летний полдень будет хлестать в землю теплый дождь, без них станут лопаться в весенней истоме распухшие почки, капать с губ задумавшейся лошади розовые от заката капли воды. Что сокровища, когда под угрозой сама жизнь. Цель — выжить!

И он выжил, мало того, он ступил на заветный берег одной ногой, на самый край. Ступил и оглядывается — где сокровище? А остров велик — горы, скалы, леса, долины, ущелья. Где сокровище? Где цель? Недоступна!

Храпит, отвернувшись от Федора, Лева Слободко, у него крепкая, жаркая спина. Этот парень из тех бесшабашных флибустьеров, которых тянет не само сокровище, а приключения, с ним связанные, не цель, а поиски. Заметил первый камень, решил — здесь клад, стал ковыряться. Поковыряется, бросит, направится к другому валуну... Нет, этот не найдет, но не огорчится, так и проживет, думая, что клад у него в руках.

А Лева Православный?.. Время не повернешь назад, время несет вперед и самого Православного, но только тот сидит лицом к хвосту, умиляется — ах, хороши убегающие в прошлое пейзажи. Что за цель, которая остается позади?

Иван Мыш... Мастерит брошки, добросовестно пачкает холсты...

Один Вячеслав знает — или делает вид, что знает,— где спрятан клад. Если встать за его спиной, послушно следовать за каждым шагом, сделаться его двойником? Он придет к кладу, может, все не заберет, что-то оставит — жалкий расчет. Двойника, копию, слепого последователя в искусстве не чтят. Ищи сам...

Федор лежал с открытыми глазами, думал...

В мастерской он часами простаивал за спиной у Вячеслава, восхищался его широким, вбирающим в себя пространство мазком — каждый удар кисти или выдвигал вперед кусочек холста, или отталкивал назад, погружал в воздух.

Сам Вячеслав за мольбертом становился немного помешанным, что-то ворчал про себя, глядел голодными глазами на натуру, краски размешивал на палитре судорожно, отходя, всматриваясь в работу, гримасничал. Почти всегда после двух часов, отведенных на живопись, он был вял, неразговорчив, под глазами проступали синяки. Через несколько минут отходил, начинал балагурить.

Федор под впечатлением его работы старательно лепил — чтоб бок самовара был выпуклым, чтоб чайная чашка в глубине не лезла вперед, чтоб между ней и глиняной крынкой на переднем плане ощущался воздух. И вроде получалось, только мазки не такие широкие и точные, как у Вячеслава,— ватные. В самом начале, едва приступив к работе, Федор видел какие-то «вкусные» куски — глина крынки и бок самовара, голубовато-гладкая чашка и суровая скатерть. Он надеялся — то-то «полакомится», но вечный страх — как бы не утерять форму — заставил забыть обо всем. Натюрморт кончен, а Федор так и не испытал «вкуса».

Валентин Вениаминович на обходе сказал:

— Зайди сюда после второй лекции. Поговорим с глазу на глаз.

Сразу же после звонка с лекции Федор бросился в мастерскую.

Валентин Вениаминович ждал, сидел перед его мольбертом, перекинув ногу на ногу. Внизу прислонен первый холст Федора — бутылка с лимонами.

— Садись,— пригласил Валентин Вениаминович.

Долго молчали, вглядывались в обе работы. Бутылка с лимонами — она не так уж плохо написана, хотя форма не вылеплена, нет воздуха, плоскостность, лезут в глаза назойливые блики. Как-никак за это время Федор ушагал вперед, но что-то есть...

— Ну, видишь? — спросил Валентин Вениаминович.

— Что?

— То, что теряешь. Лавры Чернышева покою не дают. Обезьянничаешь, Матёрин.

— Чернышев опытнее меня. Учусь.

— Резонно. Но не забывай того, что есть и у тебя.

— Не понимаю.

— Вглядись, как ты написал нижнюю часть... — Валентин Вениаминович указал на первую работу: — Как взял лимоны к бутылке... Точно?.. Нет, помимо точности тут есть еще кое-что. Тут уж какой-то намек на поэзию...

Это был тот кусочек, когда брошенная на холст Федором зеленая краска стала цветом спелого лимона.

— А здесь?.. — Валентин Вениаминович кивнул на последнюю работу. — Все цвета приблизительны... Рисунок, форма соблюдены более или менее, а где живопись, где цвет? Раскрашено.

Федор молчал.

— Зависть съела, насилуешь себя. И вот результат — ни пава, ни ворона.

— Долго еще будет стоять эта натура? — спросил Федор.

— Послезавтра... снимаем.

— Послезавтра... Не успею переписать.

— Я как раз этого и не требую. Лишь бы намотал на ус.

Федор после ухода Валентина Вениаминовича задержался у своих работ. Бутылка и лимоны... Закрой лимоны, станет тусклой картина, заслони ладонью верх бутылки — вместо лимонов невыразительные зеленоватые пятна, а все вместе хранит и запах лимонов и свежесть их.

Через день — новая постановка.

Опять на помост взобрался человек,— желтолицый, скуластый, в черном костюме, в белой манишке, белые манжеты высовываются из рукавов. Белое, черное, сдержанно-желтое, ярко освещенная стена за спиной...

16

Из дому пришли письма, сразу два. Их в один день написали и в тот же день бросили в ящик, одним поездом они прибыли в Москву. От Саввы Ильича и от отца с матерью.

Савва Ильич писал мелким, плотным почерком, буква тесно липнет к букве, ненужные слова аккуратно вымараны:

«Дорогой мой Федя!

Я долго ждал этого дня. Очень долго — всю жизнь. Для меня на старости лет зажегся свет. Первый раз в жизни меня похвалили по-серьезному серьезные люди. Не стыжусь признаться — я плакал. Глядел на свою работу, на которой сзади стояла драгоценная для меня надпись, и не мог сдержать слез. Эту работу я окантую под стекло, повешу на самом видном месте. У меня теперь есть мерило, я буду равняться на эту работу...

Говорят: беда не приходит одна, я начинаю убеждаться, что и счастье сваливается кучей. Во-первых, *я ухожу из школы!* Ты знаешь, я никогда особо не любил преподавательской работы, на уроки шел как на пытку. Встану утром и представлю, что нужно идти в класс, что ученики на моих уроках будут ходить чуть ли не на головах, так и охватывает тоска. И жаловаться некому, сам виноват, директор, учителя выслушают и упрекнут: не умеете поставить дисциплину, не найдете контакт с классом. Меня не то чтобы не любили, а просто не ставили ни во что. Теперь мне на уроки ходить не надо. Но и это не все... *Мне будут выдавать пенсию!* Конечно, маленькую, но как-нибудь проживу. Что деньги по сравнению со свободой. С полной свободой! Я могу целиком отдать себя искусству, отдавать каждый свой час. Кажется, этого хватит, кажется, и так судьба избаловала меня подарками, но нет, не все...

Так как пенсия маловата, на станции прожить мне будет трудно, то я решил — счастливая мысль осенила меня ночью! — снять жилье в деревне. И я снял по соседству с домом твоего отца, так сказать арендовал, полизбы у известной тебе бабки Марфиды. Она одинока, ни стара, ей просто необходимо, чтоб кто-то жил

рядом с нею. У бабки Марфиды — усадьба; у меня пенсия и довольно еще крепкие руки. Наши интересы обоюдны.

Ты, Федя, удивишься: вот мол, старик радуется, а чему? Усадьбе, пристанищу, сытости, благополучию. Так нет же, угол в избе бабки Марфиды для меня — исполнение великой мечты. Ты, наверное, помнишь, я тебе когда-то давным-давно говорил о желании иметь дом среди полей и лугов, дом на берегу реки, чтоб в окна были видны закаты, чтоб вставать до восхода солнца, уходить с красками... Ты помнишь?.. Я уже, признаться, махнул рукой — что там, не сбудется, умру при своей мечте. Ан нет! Неважно, что изба принадлежит бабке Марфиде, а не мне. Разве обязательно — свой дом, обязательно собственность? Собственников я всегда глубоко презирал. А есть крыша над головой, есть луга и поля, река почти под окном, будут закаты на небе, есть свободное время, много времени, а если спать поменьше, вставать пораньше, его будет еще больше. Что еще нужно для счастья? Твой старый Савва Ильич стал свободным художником! Невероятно! Не опомнюсь! Хожу по улице, гляжу на людей и удивляюсь: почему они мне не завидуют, почему не замечают моего счастья? Ох, люди, люди! Они-то ко мне всегда были равнодушны — и в беде и в счастье. Они и не подозревают, что в этом их страшное несчастье. Они равнодушны к закату, к радуге после дождя, к осеннему ясному березнячку, равнодушны друг к другу, добрая половина человеческих радостей проходит мимо них, потому-то жизнь у многих скучна, потому у нас много пьют, чтоб как-то обмануть скуку. И жаль их, и стыдно перед ними за свое счастье. Быть может, потому, что я не привык быть счастливым. Нарядному человеку всегда не по себе среди бедно одетых. А тут еще, как с неба, твое письмо, похвальный отзыв о моей работе. Мне даже страшно становится — так много сразу! Мне одному! Как бы после жаркого ведра не ударила гроза. Страшно, хотя понимаю — бояться мне нечего. Кто отымет у меня то, что я наконец получил,— маленькую пенсию, стариковский отдых, крышу бабки Марфиды, закаты и радуги? Кто отымет? Не найдется таких.

Как я желаю тебе удачи! А они будут, не сомневаюсь. Если меня хвалят, то представляю, какие похвалы ты слышишь от своих товарищей.

Передай от меня привет с великой благодарностью Вячеславу (не знаю его отчества — ты не написал) Чернышеву. Как приятно жить среди умных, глубоких, понимающих людей, так же, как ты сам, любящих искусство. Я счастлив, а ты вдесятеро счастливее меня. Кажется, себя бы заклеил в конверт, перелетел к вам, чтоб минутку, одну минутку посидеть среди художников, поговорить с ними. Мне очень недостает тебя, Федор! Обнимаю тебя...»

Витиеватая, годами отработанная, знакомая Федору по акварелям подпись Саввы Ильича.

А ниже напыщенно важное: «P. S.».

И снова буква липнет к букве:

«Огорчает меня, что отец твой меня недолюбливает. Как-то бросил фразу: «С пустого цвета не завяжется огурец». То есть я, по его мнению,— пустоцвет. Знакомые слова, сколько мне их пришлось выслушать...

Не сочти за бахвальство, я показал ему твое письмо и пейзаж с радугой, где стоит надпись Чернышева...»

Второе письмо писано рукой отца. У него — буквы округлые, широкие, плохо связанные друг с другом, каждая — сама себе князь, прочно стоят по отдельности.

«Здравствуй, Федор!

Мать тебе бьет челом, и я тоже. Встретил я намедни Пашку Грачева — помнишь ли, с тобой учился? И он кланяться велел. Потом кланяется тебе тетка Марья и еще сестра Груня. От Дашки и Насти писем покуда не было. А Пашка Грачев работает теперь в сельпо, на фронте ногу отхватило, так что марширует на костылях.

Дела в нашей деревне идут плохо. Ржи гектар восемьдесят до сих пор лежит не убрано, а скоро снег. И овес не убран, и ячмень — все погнивает, а рук нету. Все ждали — война кончится, придут мужики. Кой-кто пришел, да в деревне особо не засиживается. И по всей Матёре, почитай, два мужика — я да Алексей Опенкин, обое седьмой десяток разменяли.

Крепко думал я, Федор, о чем мы с тобой толковали в твой приезд. И надумал — ты не прав. Может, и нужны

твои картинки каким-нибудь барышням, для которых урожай не урожай, а хлеб есть. А людей попроще прежде надо накормить, а то картинками на пустое брюхо любоваться негоже. Картинками можно жизнь украсить, а стоит она на хлебе. Хлеба не жди, коли здоровые парни, вроде тебя, пойдут искать легкое счастье на стороне. Прости за прямоту, не говорил бы, ежели б считал тебя плевым человеком. Пригляделся — нет, ты не плевый, в душе неспокойство носишь. Только неспокойная душа — тоже опасна. Смотри не спохватись, как отец спохватился: жизнь прожита, а толку — чуть.

В одном ты прав — помнишь ли разговор наш на повети? Скучно для себя одного жить. Но сдается мне — ты сам этими словами себя остегиваешь. Еще раз прости, коль обидное написал. Но таить от тебя не хочу — человеком тебя считаю.

А посему находимся в добром здоровье, что и тебе желаем.

Твой отец *Василий Матёрин.*

Мать просит написать: прислать ли тебе валенки? Коль нужны, то я их кожей обошью, можно будет ходить и в ростепель и в морозы».

А ниже вкривь и вкось с трудом выведено:

«Ты старого дурака не слушай. Все-то дни о тебе думаю, Фединька.

Матёрина Анна».

Федор, не снимая гимнастерки, валялся на койке, курил папиросу за папиросой. Вячеслав Чернышев, наморщив лоб, читал его письма. Отложил в сторону письмо Саввы Ильича, сказал:

— Да-а... Провинциальный трагик в своем амплуа — смеется от счастья, а мне хочется плакать.

— Каждому свое,— хмуро ответил Федор. — И не надо жалеть, а то песню испортишь.

— А я жалею и готов полюбить его.

Федор сел на койке.

— И я его люблю. Но отец-то прав: жить ради никому не нужных картинок! Это же преступление — разбазаривать без пользы целую человеческую жизнь!

— Вырви свой язык!.. Или лучше оставь его, чтобы каждый день повторять вслух по нескольку раз: я стану художником и этим обязан трагику из деревни Матёра.

— То-то и оно — стану!.. А если нет? Если я стану таким же Саввой Ильичом, пусть не в масштабе Матёры, а в масштабе Москвы. Человек-пустоцвет?

— Конкретно, как ты это представляешь?

— Очень просто. Сейчас я третьестепенная фигура па курсе, останусь третьестепенным до конца института, а там — отбор построже, придется меряться с более сильными талантами. Там я окажусь художником десятого разряда, а это в лучшем случае — серая посредственность. Но я-то при этом окончу институт, кой-чего понахватаюсь, святого неведения, каким живет сейчас Савва Ильич, у меня не будет. Значит, я стану зол и завистлив, значит, мне придется отстаивать право на место в жизни среди талантов... Ты понимаешь, воевать против талантов! Представь Савву Ильича не блаженненьким, а воинственным, озлобленным, считающим, что его не понимают, его душат.

— Ты таким не будешь.

— Это почему?.. Только не успокаивай, что я талантлив. Только не становись в позу того мифического безумца, который навевает золотой сон.

— Ты таким не будешь. И дело тут не в том, талантлив ты или нет. Тебя уже сейчас беспокоит совесть. А это значит — ты можешь трезво оценить себя со стороны. А это значит — в тебе закваска настоящего человека.

— Успокоил. Совестливая бездарь, пустоцвет, но безобидный, да здравствуют блаженные! А я не хочу, Вече! Ты тоже знаешь, что такое фронт. Я слишком долго ходил бок о бок со смертью, чтоб не ценить жизнь. Мне пять раз простреливали шинель — удача, остался жив. Я мог остаться в снегу под Ворапоновкой, а меня вытащили — удача. В нашу землянку попал снаряд, всех ребят на куски, а я в это время ходил на кухню — удача. И после этих невероятных удач прожить бесполезно, ненужно, безвредно, только безвредно! Зачем?.. Ты видишь — руки. Думаешь, они не смогут пахать? Смогут! А отец пишет — рук не хватает, хлеб гибнет, мы с тобой сидим на карточках, щелкаем зубами. Прав отец, презирая Савву Ильича. Прав, когда упрекает меня!

— Ну и что делать? — спросил Вячеслав серьезно.
— Вот те раз!.. Я же это как раз и хочу у тебя спросить.
— Бросай институт, Федька.
Федор глядел в серьезное, бесстрастное лицо Вячеслава.
— Рискни, брось к чертям собачьим... А Иван Мыш останется.
— Он мне не пример.
— Верно. Брось. В стране будет парой крестьянских рук больше.
— Уже кое-что.
— Крестьянином каждый может быть, а художником...
— Но кто-то должен быть крестьянином. Чем я чище других?
— Что ж поделаешь, талант не так часто встречается, как мускулистые руки. И не таращь сердито на меня свои очи, не считай, что я заражен позорным презрением к простому труду, к простым бесталанным людям. Именно эти-то простые люди и нуждаются в талантах. Таланта ради таланта не существует, как бессмысленно пахать поле ради процесса пахоты.
— Если б я был уверен, что талант есть...
— Ах, хочешь непременно стать золотом, боишься быть рудой, отбросом. Ничего не попишешь, все гениями не вырастают, кто-то должен оказаться и породой. Без породы нет золота.
— А я не хочу быть породой. Не хочу, и все!
— Ишь ты, оригинал. А кто хочет? Я? Иван Мыш? Лева Слободко? Все, как и ты, надеются стать самородками. И ты надеешься и никуда не уйдешь из института,— просто созрел для интеллигентских рефлексий.
— Тем более, что интеллигентность в моей крови...
— Ничего, вчерашние мужички, едва став интеллигентами, чему-чему, а рефлектированию учатся быстро. Это еще Чехов в свое время отметил. Брось институт... Что ж ты молчишь?
— Пошел к черту,— проворчал Федор, снова заваливаясь на койку.
Письма в надорванных конвертах лежали на тумбочке. Между запрокинутым лицом и потолком висел табачный туман, а со стороны доносился голос Вячеслава Чер-

нышева, бодрый, сильный, несущий счастливую веру в то, что, как бы ни сложилось будущее, все хорошо.

— Этот трагик бездарен,— говорил он о Савве Ильиче. — Да. Но ведь я и ценю его не за талант. Я ценю его за тягу к искусству. Тянуться к тому, к чему вокруг тебя все равнодушны. Тянуться всю жизнь, пренебрегать насмешками, презрением, выносить упреки — нет, что ни говори, а это подвижничество. Слышишь ты, рефлектирующий мужик, знаешь, кто он для тебя и для меня? Если мы с тобой станем сколько-нибудь стоящими художниками, то люди типа этого славного трагика — наша пешая разведка. Среди Матёры он первый заинтересуется нашим делом, первым станет пропагандировать наш труд. Счастье человечества, что в его среде есть такие фанатики, они-то и пробивают всеобщее равнодушие и косность. Эй ты, рефлектирующий, хочешь, порадую — мне долг отдали, не шути, двести монет. Вставай, пойдем выпьем за здоровье твоего Саввы Ильича, да пребудет он до конца дней в своем золотом сне, да не откроются у него глаза на горькую правду... А ну, долго я над тобой буду торчать? Приказываю: вставать!

— Я не пить, я жрать хочу.

— Ну, это роскошь, мой друг. На выпивку с грехом пополам хватит, а на еду, кроме легонькой закусочки, не рассчитывай. Шевелись!

Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет...

Они, подняв воротники, вышли на мокрую под унылым дождем мостовую. Этот же унылый, скучный дождь, который на днях должен смениться снегом, мочит полегший хлеб на полях деревни Матёры.

17

Жить в войну — значит ненавидеть сегодня, значит всей душой, каждой клеточкой тела любить завтра, верить в него, как в царствие небесное. В дни войны даже дряхлые старики произносили слова: «Вот будет мирное время...» — с той наивностью и надеждой, с какой дети говорят: «Вот вырасту большим...» Будет мирное время — будет счастье.

И мир наступил — с тощими авоськами, с жидким пшенным супом, выдаваемым по талонам в рабочей столовой, с барахолками на задворках городских базаров, где можно было купить и поношенные армейские галифе, и модное драповое пальто. Мир наступил, поезда забиты вербовочными артелями, едущими в разбитый Киев, и в Сибирь, где за войну не слыхали свиста снаряда. Вся страна в строительных лесах, а в деревнях заколачивали досками двери и окна изб. Мир наступил, но люди попрежнему с надеждой смотрят в завтра.

Подошла двадцать восьмая годовщина Великой Октябрьской революции.

Утро было серое, но без дождя. Студенты собирались возле института на демонстрацию, выстраивались в колонну. Над головами качались портреты, знамена, плакаты, нежной весенней расцветки бумажные цветы.

Федор — в своей старенькой шинели, во фронтовой ушанке, на которой еще остался след звезды, зато сапоги со сбитыми каблуками начищены до блеска. С Вячеслава хоть пиши картинку — темная шляпа, толстого велюра пальто. Лева Православный неизменен — тесный обдергайчик с облезлым каракулевым воротником застегнут на одну пуговицу, под носом уже висит застенчивая капля, притопывает рабочими ботинками, ораторствует:

— У нас еще мало ритуалов, мало торжеств в жизни. В старое время помимо рождества и пасхи были троицын день, масленица, у каждого села свой престольный праздник...

Иван Мыш Без Мягкого Знака до сих пор, как и Федор, ходил в замызганной шинелишке, в другом его никто и не видел. А сегодня он вытянул из недр своего объемистого чемодана пальто коричневой кожи — пространство на пять шагов в окружности заполнено солидным скрипом. Сам Иван, казалось, вырос на целую голову, глядит на всех сверху вниз с добродушной снисходительностью Гуливера. И даже Лева Православный над ним не подшучивает — славословит троицын день и масленицу.

Растревожена Москва. Тесны улицы. Под гром радио, в переплетении разноголосых песен медленно текут бесконечные людские реки — величавое человечье половодье,— только в праздники понимаешь, какой громадный и вместительный этот город.

А радио оглушающе кричит лозунги, а воздух заполнен ревом проносящихся самолетов, и флаги, флаги, флаги и портреты, портреты, портреты... Чаще всего человек с усами, при погонах, при орденах — генералиссимус Сталин. Радио и песни славят его имя, самолеты в воздухе строятся в ряды, выписывая в небе шесть букв — СТАЛИН, миллионные тесные лавины по улицам плывут туда, где он стоит. Со всех концов громадного города, через весь город, поток за потоком, застревая в тесноте, выжидая, двигаются и двигаются все ближе и ближе к площади. И по радио и из уст в уста возбужденно передается: «Он там, он не ушел, он все еще стоит...» Его можно видеть только по большим праздникам, в остальные дни он недоступен.

Федор привык все хорошее связывать с его именем. Он, как и другие, жадно прислушивался к голосам из репродукторов: стоит на трибуне или ушел, выпадет удача увидеть его или нет? Он стоит, он пока не ушел...

Не особенно многолюдная колонна Художественного института, стиснутая другими колоннами, влилась в Манежную площадь. Земля, заполненная людскими головами, напряженно кипит, шевелится. Поток пробивается навстречу музыке и несмолкающим раскатам «ура». В серое дышащее осенней сыростью небо устремлены массивные башни, растущие из кирпичных кремлевских стен. Море голов с флагами, портретами, плакатами, диаграммами обтекает потемневшее от времени здание Исторического музея.

— А нам, кажется, повезло,— произносит Вячеслав Чернышев,— пройдем близко от трибун.

— Ура-а!!! — взрывается впереди, совсем рядом.

Из поросли красных флагов, беспокойно качающихся диаграмм и портретов растет вверх многоголовый храм Василия Блаженного.

Федора несет вперед. Он никого не видит, но уже машет руками, кричит «ура», кричит самозабвенно, радостно.

— Ура-а великому Сталину! Великому Сталину — ура-а!

Он все еще там, он все еще стоит...

— Ура-а! Великому Сталину! Великому Сталину — ура-а!

Вокруг возбуждение, неистовость, торжество, а Мавзолей прост, естествен, скромен, словно гранит перенял характер того человека, чье тело покоится под его сводами.

Знакомые по портретам лица... А в самом центре — он! Он никуда не ушел, он стоит, за одно это бушующее море людей внизу благодарно ему, ликующий вопль вздымается к небу.

Этот человек был сейчас одет в свою знаменитую солдатскую шинель, без орденов, без украшений — солдатская шинель с погонами генералиссимуса. Его обычно представляешь высоким, плечистым, а он низкоросл. Со старческим дружелюбием он подымает руку. Ответный гул раздвигает небо...

И тут случилось не предусмотренное распорядком... Толстая женщина в зеленом пальто и вишневой шляпке вырвалась из колонны навстречу трибуне, с силой отбросила солдата — одного из тех, что стояли в монументальной неподвижности, оцепляя бушующий людской океан. Вишневая шляпка упала на камни, женщина, простоволосая, потрясая руками, кричала:

— Я вижу Сталина! Я вижу его! Да здравствует любимый Сталин! Да здравствует родной наш!..

И Сталин опять с тем же вялым старческим дружелюбием поднял руку.

Через несколько шагов все кончилось. Колонны еще сохраняли свою форму до храма Василия Блаженного, но, не доходя до набережной, стали ломаться, путаться, рассасываться...

Они не спеша шли вдоль набережной — Федор, Вячеслав, Православный. Мыш нес большой портрет и плакался, что на него одного свалили, что ему с этим тяжелым портретом придется тащиться пешком по забитой колоннами демонстрантов Москве... Наконец он отстал...

Шли молча. Как Федор, так и остальные еще не пришли в себя от восторженного бунтовства демонстрантов, от впечатления, оставленного невысоким человеком в шинели, подымавшим на уровень фуражки старчески немощную руку.

Вспомнились истории, связанные с именем этого человека.

Неподалеку от Киева полк, где служил Федор, поддерживал танковое подразделение. Танкистам был отдан приказ идти на прорыв. Но впереди минные поля, противотанковый ров и надолбы. Прорыв явно обречен на провал — это знали все, знали и сами танкисты. Командир их подразделения на обсуждении в штабе уперся: «Бессмысленный риск, на ненужную смерть не поведу! Можете расстрелять меня!..» И расстреляли бы, если бы был обычным командиром без особых заслуг,— приказ есть приказ, в армии его не обсуждают. Но танкистами командовал Герой Советского Союза, подвиги которого славословили все газеты, командующий фронтом считался его личным другом, имя его было известно в правительственных кругах, трудно на такого прикрикнуть: «Не рассуждать! Исполняйте приказ!»

И подмял его начальник штаба полка, не прославленный, не обласканный наградами, обычный службист, каких много. Он встал перед строем танкистов и сказал:

— Танкисты! Приказ о наступлении подписан Сталиным! Да, впереди опасность, да, впереди смерть, но этого требует Сталин! Мы решили — поведут танки только добровольцы. Кто боится, пусть выйдет из строя!

Никто не вышел.

И танкисты написали мелом на своих танках: «За Сталина!» Их упрямый командир занял место в головной машине.

В живых остался один экипаж.

Полусгоревший труп командира танкового подразделения хоронили с воинскими почестями — говорили речи, салютовали из винтовок и автоматов. Он умер героем.

И на этих торжественных похоронах Федор вместе со всеми ощущал уничижительное уважение — как, должно быть, велик человек, за которого люди так спокойно идут на смерть, как он недосягаемо велик!

Он, Федор, не погиб, ничего не смог сделать, чтоб доказать преданность, а вот теперь человек в солдатской шинели с погонами генералиссимуса всепрощающе приветствовал его своей старческой рукой. И Федор кричал: «Ура!» И он в эти минуты испытывал какое-то духовное родство со всеми — все разделяют его любовь, все живут и думают, как он. Он не одиночка, он — частица всех, он могуществен!

— Ур-ра-а! Да здравствует!..

И низкорослый старичок подымает к военной фуражке руку...

Теперь же Федор чувствовал себя опустошенным и где-то в глубине души неудовлетворенным. После восторга, какой он пережил, нужно брать крепости, бросаться в атаку. А он идет по набережной, гудят ноги, озабочен, как попасть в общежитие, к своей койке.

Первым оборвал молчание Лева Православный.

— Старик,— обратился он к Вячеславу,— кажется, в наши дни рождается новая религия...

— Я лично не хочу плюнуть в физиономию нашему времени.

— А я разве хочу? — ощетинился Православный. — Но, старик, факты за меня!

— Факты? Какие?

— Ты слышал, как кричали, как приветствовали?

— Слышал.

— И сам кричал?

— Ну, кричал.

— А кого приветствовали? Человека?

— Да, человека, вождя, героя, но не бога.

— Быть может, быть может, старик. Сейчас — да, он герой, он вождь, он человек. Но и Магомет был человеком... Пройдут года, десятилетия, и забудется, что он ел такой же хлеб, какой мы едим, так же по-человечески мог мерзнуть от холода. Суетная бытовщина забудется, старик, останется только вера, одна вера, голый идеал. Наши потомки приобретут Магомета.

Вячеслав Чернышев, похлопывая снятыми перчатками по карману пальто, шагал тяжело, вперевалку,— он тоже устал.

— Не клевещи на потомков,— недовольно сказал он. — Они излечатся от какой бы ни было слепой веры.

— Излечатся от веры? И ты думаешь, что это обернется к лучшему?

— Всегда к лучшему, когда избавляются от слепоты.

— Нет веры — нет идеалов, нет идеалов — нет нравственных законов. По твоей теории, старик, наши потомки должны погрязнуть в пороках. Убийство, лжесвидетельство, воровство перестанет у них считаться преступлением.

— Да ведь и ты не веришь, сын колена Израилева, в ветхозаветную заповедь — не убий, но от этого ты не

стал профессиональным убийцей. Неужели люди такие уж бешеные, что им непременно нужен духовный намордник — не попадешь в царствие небесное, да обрушится на тебя кара господня!

— Вече, кажется, загнал тебя в угол,— заметил Федор Православному.

— Загнал?.. А факты против него. Почему в наше прогрессивное время мы все заражены верой до мозга костей? Благородной верой! Я не считаю ее пороком!

— Кто «мы»? — спросил Вячеслав.

— Я, ты, он, тысячи других, которые шли с нами рядом. Выходит, все больны.

— Я, например, не признаю себя больным,— возразил Вячеслав.

— Ты не кричал, не ликовал, не испытывал в эти минуты чувства — скажи он слово, и ты бросишься в огонь, в воду, к черту в зубы?

— Кричал, ликовал, испытывал, но не потому, что слепо верю, а просто полностью разделяю...

— Великие идеи?!

— Вот именно. Я знаю, что он суров, временами беспощаден, что не останавливается ни перед кровью, ни перед потом, ни перед благополучием людей, потому что все это, как ты верно заметил, совершается ради великих идей. Пусть сейчас будет кровь, чтоб после она мирно текла у всех в жилах, а не хлестала из ран, пусть сейчас будет пот, чтоб со временем не пахло рабским потом, пусть сейчас нечего жрать — как-нибудь переживем,— зато дети наши, дети наших детей не станут думать о хлебе насущном. Я единомышленник этого человека. Признаю, он старше, он опытнее, он во сто крат умнее, пусть он будет моим вождем, но не богом. Нет во мне слепой веры! Нет болезни! И у многих так, не меряй по себе, Православный.

До сих пор Федор был на стороне Вячеслава — против слепой веры. Но сейчас Вече говорит Федору: забудь напрочь себя, живи для правнука. А у этого правнука будут свои правнуки. Неужели человек так и будет жить одними миражами будущего? В этом есть какая-то угнетающая несправедливость — ты удобрение! Глашатаи прекрасного будущего,— какое право имеют они с таким презрительным высокомерием относиться к тебе?

И вид Вячеслава не понравился вдруг Федору. Вышагивает по набережной — добротные ботинки на меху, мягкие кожаные перчатки, велюровое пальто. У него папа не Василий Матёрин, мужик из деревни, а признанный художник, он не забывает сына. А сын проповедует голод во имя сытости праправнуков. Кому? Православному, который в жизни больше питался сомнительными идеями, чем хлебом насущным.

Федор твердо сказал:

— Неувязочка, Вече.

Вече с любопытством скосил глаза:

— Ого! Мудрый сфинкс из деревни Матёра разомкнул уста.

— Лупи его с тылу, старик.

— Ты сказал: пусть сейчас будет кровь, чтоб потом эта кровь не хлестала?..

— Сказал и на том стою.

— Потом, за пределами моей жизни?

— Может быть, и за пределами... Твоей, моей...

— При этом ты хочешь, чтоб у меня не было слепой веры?

Вячеслав насторожился, суженным зрачком ловил взгляд Федора, а Федор продолжал:

— Для того чтобы у меня была твердая вера, нужно подтверждение. Пусть идея проявляет себя каждодневно, чтобы я начал убеждаться, что крови льется все меньше и меньше,— проявляет себя сейчас, а не после моей смерти. Почему я должен слепо верить?!

— И не допускать сомнений! — подхватил Лева Православный. — Старик, я снимаю перед тобой шляпу. Ты уложил наповал этого спесивого вояку. Эй, рыцарь! Подымись! Возьми в руки выбитую шпагу.

Вячеслав Чернышев молчал.

Лева Православный вскинул обтрепанные рукава к небу, и над черной водой Москвы-реки раздался вопль:

— Виктория! Виктория!

Вячеслав рассмеялся:

— Ты-то чего радуешься, брат во Христе? Сфинкс прокусил мне жилу, не ты!

Позади шагала шумная компания, все время, пока шел спор, за спинами раздавались взрывы смеха. Сейчас эта компания — мужчины в синих плащах и шляпах, женщины в пальто с наращенными плечами — поравня-

лась со студентами. Впереди важно выступала простоволосая женщина в зеленом пальто. У нее было полное мясисто-красное лицо, в топорных чертах какая-то величавая угроза, с такой дамой опасно затевать ссору возле кухонной плиты — все равно выйдет победительницей. Проплыла мимо, застывше и важно глядя прямо перед собой.

И все узнали в ней ту, что выскочила из колонны к Мавзолею, и всем почему-то стало стыдно. У Левы Православного во всей его расхлюстанной фигуре появилось знакомое выражение провинившегося кобелька. Он трусил рядом с Вячеславом и смущенно на него поглядывал. А Вячеслав, сжав губы, шагал, хмурился.

Только в переулке возле Музея изобразительных искусств он обронил:

— Неужели мы все верующие слепцы? А?..

18

Холст, натянутый на подрамник, и перед ним ты, студент первого курса. Холст, натянутый на подрамник, и скуластый, желтолицый человек в черном костюме на возвышении. Ты его пишешь, его скулы, его руки, его манишку переносишь на свой холст. Значит, он диктует тебе, значит, ты ему подчиняешься...

Подчиняться? Переносить бездумно и добросовестно все, что видишь, — желтое красить желтым, черное — черным? Нельзя быть фотографом, не смей копировать — эту нехитрую истину тебе уже накрепко вдолбили.

Тогда, может, ты свободен от скуластого? К черту его указания, твори что хочешь, можешь желтое превратить в розовое, черное в лиловое, красное в зеленое. Кто хозяин холста — он, скуластый, или ты?

Но зачем он сидит перед тобой? Зачем ты жадно вглядываешься в него? Не он ли направляет твою руку?

Свободен ты или нет? Господин ты или раб?

Стоит перед тобой натура, сидит на возвышении остроплечий, старомодно-чопорный человек, у него не очень здоровый цвет лица, тупые скулы, тонкие губы, белые манжеты оттеняют смуглые руки. На возвышении перед твоими глазами — частичка природы. А в природе нет хаоса, одно связано с другим, в природе — гармония.

И этот чопорный человек в черном костюме по-своему гармоничен. Попробуй что-то самовольно изменить в нем, попробуй при блеклом лице и тонкой, словно куриная лапа, шее представить плечи грузчика или черный пиджак заменить броско-лиловым, сохраняя характерную для скуластого глухую охристость щек.

Гармония, слаженность, взаимосвязь, свои непреложные законы... Этой-то гармонии ты и учишься у природы.

Ты бросил на холст пятно, рядом с ним чистый кусок, он требует цвета, он ждет твоей кисти. Вот краски, вот палитра — положи цвет, ты хозяин. Хозяин? Нет, не совсем! Ты не можешь взять краску, какую заблагорассудится, от тебя нетронутый кусок холста требует не *любого* цвета, а определенного. Но кто требует? Холст?.. Требует логика. И если ты недостаточно послушен ей, если ты бросил кистью неточный цвет, то положенное раньше пятно вопит, возмущается против незаконного соседства: не связывается, нет смысла, не цвет, а мазок грязной краски! И ты снимаешь неудачный мазок, ищешь, ищешь, ищешь гармонию.

Господин ты или раб? Ты — раб, ты повинуешься логике, а счастливое умение повиноваться ей вложено в тебя от природы, иначе отбрось в сторону кисти!

Господин или раб?.. Ты пока студент первого курса, и скуластый идол, восседающий на возвышении, еще преисполнен мелочной властью над тобой, еще ты робеешь перед ним, поклоняешься ему, копируешь, *его* копируешь, а не проникаешь в гармонию. Ты не столько учишься у природы, сколько обезьянничаешь, подражаешь ей. Ты всего-навсего студент первого курса и потому сам по себе — переходная форма от художника-обезьяны к художнику-человеку. Ты можешь так и остаться обезьяной, но если вырастешь в человека, то станешь свободно обращаться со скуластым идолом. Он может дать тебе толчок, направление, и ты сам начнешь создавать свою гармонию, не смущаясь тем, что она не будет совпадать с гармонией идола. Идол только подскажет законы, и, кто знает, быть может, они-то и заставят черное написать лиловым, желтое — розовым. Законы заставят, а не твоя рука-владыка ссамовольничает.

Свободен ты или нет?.. Как и все люди, художник-человек свободен пользоваться законами природы, не свободен переступать через них.

Холст, натянутый на подрамник, пространство меньше квадратного метра, вмещающее в себя и боль, и радость, и разочарования, и надежды. В нем, как необъятное солнце в капле воды, отражается вся сложность человеческого существования.

Первым работу Федора заметил Валентин Вениаминович. Он долго стоял за спиной, дышал в затылок и, после того как Федор обратился к Ивану Мышу: «Слушай, капни чуточку кармина...» — сказал, положив руку на плечо:

— Идем со мной.

— Куда?

— Не спрашивай.

Он привел в комнату, которая от пола до потолка была забита коробками, ящиками, штабелями старых холстов. По стенам развешаны пыльные тряпки, в углу стоит знакомый пузатый самовар, рядом с ним тяжелый рыцарский шлем, торчит эфес шпаги, на полках тусклые бокалы, муляжи фруктов. Узенький столик стиснут этим хламом, за ним женщина-лаборантка. Она пытливо поглядела на Федора, затем вопросительно на Валентина Вениаминовича.

Тот кивнул головой:

— Да.

И тогда женщина поднялась, откуда-то из-под рулонов нетронутого холста вытащила ящик, приветливо сказала:

— Вот, выбирайте, пожалуйста. В этом году — вы первый.

Федор оглянулся на Валентина Вениаминовича, тот покивал:

— Выбирай, выбирай.

Ящик был до половины набит длинными коробками с тюбиками красок. У Федора разбежались глаза.

С красками было туго. Институт скупо выдавал белила, сажу, охру, все студенты прикупали, но и в магазинах не было богатого выбора. Какой-то интеллигентного вида пенсионер с Верхней Масловки был знаменит среди художников, как начинающих, так и маститых, тем, что тайком продавал экспортные краски. Но, во-первых, он продавал избранным, своей постоянной клиентуре, во-вторых, драл втридорога — Федору не по карману. Федор

мучился, чувствовал в работе — бедна палитра, часто клянчил у соседей:

— Капни чуточку...

Отказывать не отказывали, но нельзя же попрошайничать все время.

— Выбирай, что ж ты?

— Да я... Я еще недостаточно хорошо знаю краски. А тут и этикетки на иностранных языках.

Валентин Вениаминович склонился вместе с ним:

— Вот тут — умбры... Марс... Советую взять эту охру, сам оценишь... Сиены, изумрудная... Словом, возьми из каждой коробки по тюбику.

— Спасибо. Откуда такое богатство?

— Что за вопрос? Клава, дайте ему кусок бумаги, пусть завернет.

За дверью Валентин Вениаминович взял Федора за локоть, заглянул в глаза:

— Одна непременная просьба — молчать. Многие, к сожалению, нуждаются в красках, а всех я обеспечить не могу. Не такая уж обширная зарплата у меня, чтоб содержать институт.

— Это ваши краски?

— Это краски тех, кому они действительно могут пойти на пользу.

— Значит, я попал в число избранных?

— В какой-то степени — да. Но не обольщайся, слишком часто такое счастье не будет случаться. Я скуп, и это всем известно.

— Спасибо еще раз.

— Будь здоров.

Вторым работу Федора заметил Вячеслав.

Окончилось время, отведенное для живописи, натурщик поспешно сполз с опостылевшего насеста, шаркая ботинками, косясь на холсты, ушел из мастерской. Федор начал снимать с палитры грязь. На палитре были щедро размазаны белила, на них попала густо-сиреневая краска, а рядом черный, как капля запекшейся крови, краплачный сгусток. И Федор залюбовался случайной праздничностью смелых тонов.

Подошел Вячеслав.

— Ты погляди,— протянул ему палитру Федор. — Попробуй нарочно такого добиться, лоб расшибешь — не выйдет.

Но Вячеслав смотрел на холст.

— Трагик из деревни Матёра, кажется, прожил содержательную жизнь.

— Что? — не понял Федор.

— Я говорю, что на блаженного Савву Ильича незачем возводить напраслину. Ежели он вытащил за уши к мольберту тебя, то его жизнь прожита не напрасно.

— Ну, ну, не сглазь. — Федор был смущен и польщен. Рядом вырос Лева Православный:

— Сматываемся... В столовой вырастут хвосты.

Вячеслав кивнул на работу Федора:

— Как тебе? А?

Лева Православный сперва близоруко пригнулся к холсту, потом отошел, распустив губы, склонив к плечу голову, постоял, наконец с величавой важностью обернулся к Вячеславу:

— Почка лопнула и дала зеленые побеги. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся!

Примаршировал, вытирая о тряпку руки, Лева Слободко.

— Недурственно.

Засопел над ухом Иван Мыш...

Федор от смущения тыкал всем в лицо палитру:

— Поглядите — вот бы так взять. Сильно, бьюще, а как скупо!

Лева Слободко взял из рук Федора палитру, прищелкнул восторженно.

— Блеск! Феноменально! — Обвел всех сияющими глазами. — Вот истина! Вот образец! Вот к чему мы должны танцевать!

— То есть танцевать не от печки, а назад, к печке. Уподобимся раку, пятящемуся назад,— возвестил Вячеслав.

И Лева Слободко сразу ощетинился:

— А тебе важна желтая испитая рожа,— он дернул головой в сторону возвышения, где недавно сидел натурщик. — Тусклый цветочек, выросший в грязной коммунальной квартире.

— Пахнет порохом! — радостно возвестил Лева Православный. — К барьеру, джентльмены! К барьеру! Не робеть!

Но Слободко не надо было подхлестывать.

— Ты — навозный жук! Да, да, можешь обижаться... Навозный жук мимо цветка пролетит равнодушно, а на кучу дерьма опустится...

— Без оскорблений, джентльмены! Без оскорблений! Помнить рыцарские правила! Итак, битва началась.

Вячеслав с холодной иронией сощурился:

— Сэр! Дозвольте и мне вас сравнить. Вы гибрид божьего мотылька и глупой птицы сороки.

— По принципу — сам дурак?

— Нет, по сути. Яркое пятно, красочный цветочек... Есть цветки, которые не имеют нектара, а бабочки на них охотно садятся только потому, что они ярки, броски. Глупая сорока тащит в гнездо начищенные серебряные ложки, клочки красной материи — ей это кажется красивым.

— Ну и что? Во мне живет это врожденное, природное чувство к красивому. Древнее чувство!

— Не чувство — инстинкт,— поправил Вячеслав.

— Поклонись этому инстинкту, храни его свято, как драгоценный дар природы, а не души его.

— И остановись на нем — ни шагу дальше. Да здравствуют вкусы мотылька или сороки-воровки! Назад к насекомым!

— Инстинкт материнства тоже появился раньше человека — по этой причине отбросим его. Зазорен!

— Сэр! Не преувеличивать! Я не говорил — отбросим. Я за то, чтобы хранить и лелеять как инстинкт материнства, так и инстинкт красоты. Но я против того, чтобы застрять на инстинктах, не двигаясь дальше. Мне это пятно, уверяю вас, сэр, очень нравится.

— Нравится, но предпочитаешь мутное пятно, которое выражает физиономию спившегося натурщика.

— Предпочитаю смысл бессмыслице. Если за не очень красочной физиономией натурщика вижу смысл, а за красочным пятном — случайность, бессмыслицу, то я отвернусь от пятна. Пятно для меня может быть только материалом...

— Строительным, вроде кирпича?

— Что ж, для меня цвет — тот же кирпич, из которого складываются осмысленные произведения.

— Ага! Вот твое кредо, навозный жук! Я предпочитаю быть мотыльком...

— А я предпочитаю оставаться человеком. Тем самым человеком, который из кирпича, даже из него, может создавать произведения искусства. Мне жаль тебя, мотылек.

Три цвета на палитре, они вызывают примерно такое же изумление, как первый подснежник среди окоченевшей, не тронутой еще весенним цветением земли. Пятно ничего не напоминает, оно бессмысленно, но чем-то тянет к себе, почему-то кажется, что в него вложен какой-то тайный смысл... Как было бы здорово, если б в таком вот белом, лиловом, краплачно-черном решить какую-нибудь картину!

Федор долго не осмеливался снять с палитры трехцветное пятно.

С этого дня у Федора появилась маленькая слава — она не выходила за порог мастерской первого курса. К Федору стали наведываться за советом, работы Федора упоминались в споре. И на Вячеслава Чернышева, Леву Православного, Леву Слободко Федор уже не смотрел снизу вверх.

19

Надвигалась беда, Федор с каждым днем ощущал ее приближение.

Армейская шинель служила ему верой и правдой, а сапоги разбились, при первых же морозах резиновая подметка лопнула пополам, кирзовые голенища протерлись у щиколоток. Но пока идет зима, можно носить валенки, которые прислала мать. А вот — брюки... Федор сам их штопал, подбивал заплаты, пустив на это старую гимнастерку. Гимнастерок было две новых да одна старая, а брюки единственные. Однако и брюки еще полбеды — нет денег. Скудные сбережения, оставшиеся с армии, разлетелись давно, порой не на что выкупить хлеб по карточкам. Федор задолжал всем: Вячеславу, Ивану Мышу, Леве Слободко, одному Православному не должен.

У всех ребят был побочный доход. Иван Мыш научился сбывать брошки и запонки, которые он мастерил, покупал где-то дополнительные талоны на обед и хлебные

карточки. Лева Православный, как птичка божия, летал от одной добросердной еврейской тетки к другой — жил. Вячеслава не забывал папа. Отец Федора слал лишь сурово-нравоучительные письма.

Наступит весна — на улицу можно будет выйти только босиком, еще раньше весны придется выбросить брюки, долгов — на три стипендии, а даже полной стипендии не хватает на хлеб и на дешевые обеды в столовой. Унизительно жить на иждивении друзей — беда нешуточная, надрывная, самая безвыходная, и что ни день, то ближе она.

Рабочие руки требовались везде. Все заборы были обклеены объявлениями о наборе на стройки, на заводы, с выездом и без выезда, с любой профессией и без всякой профессии. Но для этого надо бросать институт.

Однажды Федор нанялся на товарной станции разгружать вагоны с углем. Работал с шести вечера до часу ночи, кидал лопатами с платформы уголь в грузовики, на следующий день болели плечи, спина, пальцы не держали кисть. Но к этому, может быть, и привык бы, да остановило другое — одежда! Постоянным рабочим-грузчикам выдавали спецовки, рабочим временным, таким, как Федор, приходилось работать в своем. Единственная шинель за три вылазки превратится в угольную ветошь, от брюк останутся клочья, без того разбитые сапоги придется выбросить. Не подходит.

Попробовал на вокзале выдавать себя за носильщика, наскочил на старушку, обладательницу больших чемоданов и феноменальной подозрительности. Чемоданы словно набиты пулеметными дисками, пока нес их к стоянке трамвая, старушка семенила сзади, держалась за хлястик шинели, страховалась — как бы не улепетнул добрый молодец. А потом из потного кулачка она сунула ему в руку мятую бумажку, виновато спросила:

— Этого хватит?

Этого хватило только на то, чтобы купить с лотка один пирожок с повидлом. И когда Федор, желая продлить наслаждение, не спеша доедал этот пирожок, истекающий постным маслом, подошло четверо дюжих парней в фартуках из мешковины. Один из них стал держать речь:

— Слышь, голубь, не путайся под ногами. Нам неинтересно, чтоб ты хлеб отбивал у нас, да и по закону не положено. Что будет, коль всякая шантрапа начнет вещи разносить? Живо разнесете — ищи хвосты на Тишинском, а на нас станут косоротиться. Так что валяй, откуда пришел. Валяй, валяй, не то...

— Не то в милицию потащите?

— Зачем? Иль сами ума вложить не сумеем?

Федор оглядел их: четверо — вложат.

...На каком-то столбе увидел выгоревшее объявление: «Мастерской муляжей требуются: разнорабочие, уборщицы, художники...»

И Федор загорелся: найти приработок по специальности — об этом можно только мечтать. Мастерская находилась где-то у Марьиной Рощи.

— Художники?.. Нет, сейчас не требуются.

— Но объявление?..

— Какое объявление?.. Ах да... Но это было давно. И нужны были не художники, а всего один художник. Теперь полный комплект.

— Ну, а разнорабочие?

— Разнорабочие требуются.

— Могу я работать у вас по вечерам?

— У нас рабочий день с восьми утра до шести вечера.

После одной такой вылазки голодный, промерзший Федор заскочил в пивную. Наскреб денег на кружку пива.

В пивной было душно, шумно, табачный дым мешался с морозным паром, врывавшимся в ежеминутно хлопавшую дверь, холодом обдавало ноги.

За соседним столиком, боком к Федору, низенький человечек, упрятанный в черный нагольный полушубок, меланхолически расправлялся с третьей кружкой. У него было выражение надменного величия, глубокие, строгие морщины бороздили впавшие щеки. Федор опрокинул в себя кружку, вынул из кармана блокнот, принялся набрасывать профиль соседа.

Тот по-прежнему невозмутимо тянул пиво. Но когда Федор захлопнул блокнот и собирался сунуть его в карман, незнакомец проворно обернулся, потребовал:

— А ну покажь.

— Любопытно?

— А то нет.

Он придирчиво, долго, с важностью разглядывал набросок, наконец туманно изрек:

— Не скажу, чтобы точно, но в аккурат приблизительно... Ты что — художник?

— Еще нет.

— Это как так?

— Да так... Учусь.

— Студент, стало быть?

— Студент.

— То-то, у меня глаз наметанный па людей.

Незнакомец перенес свои кружки на стол Федора.

— Пей.

— Не хочу.

— Врешь, у меня глаз наметанный — хочешь, да денег нет.

— Держи-ка, друг, при себе свою наметанность.

— А ты, пупырь, не топорщи шерстку, когда к тебе с добрым словом идут. Пей давай да поддерживай беседу. Как звать-то?

— Федор.

— А фамилия?

— Матёрин.

— А меня — Матвей Иванович Штука... Мастер по колеру.

— Как это — по колеру?

— Грубо говоря — маляр. Спроси-ка на Семнадцатом строительном кто такой Штука? Или у старых московских маляров повыведывай... Все в один голос скажут: лучше во всей Москве никто колер не составит. Иль мне не веришь?

— Верю.

— То-то... Я наскрозь человека вижу. А чего это я раньше тебя не видал в этом заведении?

— Я далеко живу.

— Тогда каким ветром занесло?

— Работу ищу подходящую, да все срывается.

— Ты же студент?

— Вот именно. А разве студент чистым воздухом живет?

— Оно верно замечено — пить, есть всем нужно, даже академикам. Так в чем же дело? Работы кругом полно. У нас, учти, безработицы нету и быть не может, потому что... социализм!..

— Мне не всякая работа подходит.

— Хочешь почище?

— Не почище, а поудобней, чтоб в институте мог учиться. Вечером, ночью — готов, а днем не могу.

— Картина на данном отрезке ясная. А воскресенье?..

— Что — воскресенье?

— Воскресенье у тебя свободно?

— Свободно.

— Тогда иди ко мне в подручные. Сделаю из тебя маляра первейшего класса. Будем работать с субботы на воскресенье.

— На вашем строительстве?

— На строительстве? Нет. Времена-то трудные, а пить, есть, сам сказал, надо. Я прихватываю работенку на стороне. Условия такие: мне как главной фигуре — две трети, тебе — треть из заработанного. Потому как ты хоть и художник, но в малярном деле щенок сопливый, а я — величина, знаменитость.

— А как, знаменитость, та треть выглядит?

— Ишь ты, не прост... Да я это чуял, потому что с первого взгляда наскрозь вижу... По-всякому выглядит. Я по совести живу, не хапаю. Хватит тебе, ежели за воскресенье три сотни получишь?

— Три-и... Вполне.

— Тогда по рукам!

Федор медлил. Три сотни за воскресенье — вдвое больше, чем его месячная стипендия. Но маляр у студентов-художников самое бранное слово. Если б он, Федор, добывал хлеб грузчиком, все относились бы к нему с уважением — вот, мол, как пробивается в искусство. Но живописец, сменивший палитру на ведро с кистью...

— Иль не подходит? — голос маляра Штуки ехиден.— Работка-то копотная.

— По рукам!

— Заметано. Вырывай из книжицы листочек, пиши свой адрес.

Федор написал адрес общежития.

— Поспеши, друг-знаменитость, если можно, а то меня поджимает.

— Поспешила кошка, да слепых принесла. Не буду же я бросаться на первое, что подвернется. Надо прощупать, повыведать — с кондачка не живем.

Они допили пиво и вышли вместе.

— Ты — парень неплохой. У меня глаз наметанный, вглубь вижу...

Штука, маленький, собранный, в аккуратном черном полушубочке, в хромовых, начищенных до блеска сапожках, шагал, пошевеливая плечиками, похваливал себя.

20

Открылась дверь в мастерскую, и вошел человек. Все дружно подняли головы, многие положили кисти.

Человек вошел не один, но заметили только его. У него было широкое, плоское лицо с приплюснутым носом и толстыми губами, густые брови, маленькие глаза, в грубых, крупных чертах та отрешенная благородная суровость, какая, наверно, отличала вождей языческих племен.

Студенты первого курса видели его впервые, но каждый сразу же узнал — директор института!

Он отдал институту лишь свое громкое имя, всеми делами занимался его заместитель, высокий, вызывающе красивый мужчина с бледным лицом, красноречиво выражающим нейтральность. Никто не мог сказать, почему он является заместителем директора института живописи, так как к изобразительному искусству не имел прямого отношения. Но директор предоставлял ему полную свободу.

Директор, помимо директорства, был действительным членом Академии художеств, председателем комиссий и жюри, распределяющим блага среди художников, частым полпредом за границей по делам культуры.

Студенты, с бесцеремонной горячностью ниспровергавшие авторитеты, порой отзывались о нем весьма снисходительно. Но о многих ли художниках студенты отзывались похвально?! По их общему мнению — в искусстве упадок, жди очередного взлета, а взлет совершит нынешняя молодежь — они!

Федор рассчитывал, что и этот маститый, прославленный художник, их высокий директор, тоже ждет взлета и, наверное, от души будет радоваться успеху тех, кто только что взялся за палитру.

У Федора же как раз работа идет удачно. Федор со счастливым холодком на сердце следил за директором,

заранее рассчитывал на похвалу, заранее был благодарен...

Директор шагнул вперед и не спеша, молча пошел среди мольбертов.

Но Федор не знал сложной и противоречивой жизни этого человека.

Он трудно начинал, он испытал на себе презрение, знаком был с отчаяньем.

Он учился в голодное, неустроенное время, грузил дрова, малевал вывески нэпманам, получал осьмушку хлеба, щеголял в австрийских обмотках. Считают, что любить природу можно лишь тогда, когда живешь бок о бок с нею. Его детство прошло на большой железнодорожной станции, среди откосов, заваленных кучами шлака, среди бараков и обшарпанных теплушек, паровозной копоти и чахлых палисадников. Но, наверное, потому он с болезненной остротой чувствовал красоту тенистых опушек, лугов в брызгах ромашек, речных заводей, покрытых не машинным маслом, а плотами кувшиночных листьев. Первые его пейзажи поражали какой-то грозовой лиричностью, где солнце воевало с туманами, зелень была окружена испарениями.

А в то время многие считали — фабричная труба, чадящая в небо, красивее плакучей ивы. Громкоголосые поборники нового искусства в знак солидарности с рабочим классом облачались в рабочие блузы, какие никто никогда из рабочих не носил. Они безоговорочно определяли, что нужно для народа и что не нужно, призывали ломать все старое, возводить на руинах новое. Только как выглядит это новое, никто толком не знал.

И шли годы, мастерская заставлялась пейзажами, не хватало денег на хлеб и краски. Его, бывшего рабочего парня, глашатаи нового искусства в рабочих блузах не пускали на выставки, находили в его работах «старорежимный дух». И копилась бессильная ненависть... Нет, ненависть не ко времени, не к эпохе, не к людям — к новым течениям.

Он написал картину «Первый трактор». Тут была дань тому, что любил,— голубые дали, пожухлая стерня, взметнувшиеся в небо грачи,— но был и трактор — символ индустриализации, трактор, за которым бежит по полю высыпавшая с мала до велика деревня. Удалось выразить удивление и восторг, настороженность и

косное крестьянское недоверие: «Не-ет, керосином земля пропахнет... Не-ет, не будет родить...» Он не отступил от своей манеры, но на выставку пропустили. Недоброжелатели снова повторяли знакомые слова о вчерашнем дне в развитии искусства, об избитых канонах... Печать же похвалила работу.

Говорят, успех придает уверенности, укрепляет силу. Но успех порой порождает и страх. А вдруг да случайность, не наступит ли после пира похмелье, эти критики, вопящие о вчерашнем дне, не втопчут ли в землю по уши? Будь начеку, нельзя ошибаться, бей в яблочко!

Подошел съезд колхозников-ударников. Газеты писали о нем: «Открывает новые горизонты... Историческое событие...» Историческое?.. А что может быть благородней, чем увековечить саму историю? Но съезд — не очень-то благодарный объект для живописи. Однако писал же Репин заседание Государственного совета. Большое полотно «Колхозные делегаты приветствуют товарища Сталина» создавалось поспешно. Жизнь не ждет — собираются новые высокие совещания, их тоже именуют историческими, нельзя оставаться в хвосте. В нем жил страх, но страх ответственности перед временем и страх перед ошибками — никак не шкурный.

Он поспел вовремя, на выставке его картине отвели самое видное место, газеты усердно хвалили и — ни одного слова в осуждение. Недоброжелатели молчали...

Но прошли газетные статьи, исчезли с лотков журналы, печатавшие цветные репродукции «Колхозных делегатов». Нависла тишина, вкусившему славу грозило забвение. И он гнался за временем с палитрой в руках.

В стране развивалась авиация, по всей стране пели: «Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца — пламенный мотор...» Он создал большое полотно: «Товарищ Сталин на празднике авиации». В синем небе — парашюты, солнце заливает трибуны, улыбающийся вождь в белом кителе...

И снова успех, снова газеты писали о нем, снова журналы печатали его картину на цветных вкладках... Его выбрали академиком, его выдвигали в руководство...

Он уже по опыту знал, что газеты пошумят и смолкнут,— надо снова заявить о себе, надо спешить... Вечная

погоня. Временами приходила усталость, тянуло на забытые грозовые пейзажи, на безыдейные кущи, на болотца, подернутые туманом. И он знал, что за спиной шепчутся завистники: «Ни капли таланта, официозен, как газетная передовая...» В книге отзывов на выставке кто-то оставил по его адресу запись: «Понятен, как ладонь, протянутая за милостыней».

Нет, он пишет не для того, чтоб получить милостыню, он охотнее писал бы лирические пейзажики, но приходится «наступать на горло собственной песне», он поет, что нужно, он подвижник — и не любят, шипят трусливо за спиной, а в глаза-то хвалят! Прошла пора, когда он безропотно сносил презрение, теперь он силен, влиятелен — берегитесь!

Он не упускал возможности, чтоб при случае показать свою силу. Нет любви, нет уважения, так пусть хоть относятся с почтением. И он со всех сторон был окружен этой почтительностью, холодной, негреющей, постоянно напоминающей: не оступись — от почтительности не останется и следа, не ошибись — тебе не простят ошибки!

Жизнь сложилась отлично — прославлен, почитаем, по всем признакам баловень судьбы. Но почему-то постоянный страх и подозрительность росли год от году...

Обремененный грузом этой сложной жизни, он, молчаливый, спокойный, с сознанием собственного достоинства, шел между холстов молодых художников, самых молодых из всех, кто находился под крышей вверенного ему института.

Среди других ждал его у своего холста Федор Матёрин. Он в эти минуты верил в свою силу, нисколько не сомневался в том, что и директор с радостью поверит в нее.

Директор глядел на холсты, а не в глаза людей. Он не заметил взгляда Федора. Он просто остановился у его мольберта и углубился в работу.

Лицо директора, крупное, грубое, подкупающе простонародное, с языческой суровостью в складке плотно сжатых полных губ, было непроницаемо, и со стороны казалось — под этой непроницаемостью скрываются высокие, мудрые мысли, недоступные заурядным людям.

Он сразу же заметил — есть робость, есть дробленность от неопытности, но есть и какая-то весенность цвета, легкость, чистота, внутренняя слаженность, то особенное, что дается только «от бога». Он вглядывался и вспоминал, что когда-то давным-давно радовался такой же внутренней слаженности на своих холстах. Давным-давно, и ему стало больно, что это прошло, что вряд ли придется испытать такую наивную радость и гордость за самого себя. А этот парень сейчас радуется... И он подумал о том, о чем всегда думал в последнее время, когда видел более или менее талантливые работы: а как этот парень относится к нему? И кто знает, не такой ли вот самоуверенный юнец оставил запись в книге отзывов: «Понятен, как ладонь, протянутая за милостыней»? Что они знают, эти слепые котята? Какое имеют право судить его, прожившего долгую жизнь, все испытавшего, через все прошедшего, добившегося признания не просто трудом, а даже тем, что «наступал на горло собственной песне»?! Он придирчиво искал просчеты на холсте, находил их и получал удовольствие.

Он молча отвернулся и наткнулся взглядом на холст Ивана Мыша.

— Что это?.. Чему вы учитесь, молодой человек? Живописи или раскрашиванию картинок? — Голос у директора был сиплый, резкий, преувеличенно раздраженный.

Иван Мыш, с позеленевшим лицом, вытянутый в ниточку скопческими губами, стоял по-военному навытяжку, с высоты своего роста преданно ел директора глазами.

Возле Федора появился Валентин Вениаминович, взял осторожно за локоть:

— У вас хорошо идет... Очень хорошо...

Валентин Вениаминович еще никогда не бросался такой похвалой, самое большое в его оценке было: «Неплохо...» У Федора создалось впечатление: он искупает похвалой незаслуженное молчание директора.

21

Иван Мыш всегда жил особняком, не влезал в споры, не участвовал в выпивках. У него последнее время водились деньжата, но он прибеднялся. Приходил откуда-то со своих вылазок явно сытый, с маслянистым,

довольным блеском в глазах, прятал в чемодан какие-то свертки, глядел сочувственно на Федора — тот обычно валялся на койке, глушил голод табаком,— неискренне вздыхал:

— Тяжело живем, тя-же-ело-о... — Молчал, ждал ответа и, не дождавшись, добавлял: — Но ничего, переживе-ом.

А Федор бесцеремонно просил:

— Дай двадцатку взаймы.

— Ты уж брал...

— Брал.

— Ну и?..

— Ну и приплюсуй.

Иван Мыш, явно сожалея, что начал опасный разговор, лез в карман, доставал бумажник, точно такой, какой когда-то подарил Леве Православному:

— За тобой теперь — сто семьдесят три рубля.

Федор натягивал шинель, шел обедать.

Сейчас Иван Мыш почти силой потащил Федора в полуподвальный ресторанчик. Перед входом Федор счел нужным выяснить отношения.

— Первое: денег у меня нет.

— Да господи!..

— Второе: взаймы на выпивку у тебя брать не буду.

— Уж ладно, я тебя как друга...

— Третье: Вече имеет дурную привычку — ставить плохую закуску,— пример с него не брать.

— И за кого вы меня принимаете? Эх, Федька! Почему вы все меня не любите?

— Дальнейшее выясним за столом. Пошли.

Они заняли столик в углу. Иван Мыш был на удивление щедр — стол ломился от закусок.

— У тебя есть родные? — спросил Иван.

— Старики живы.

— А у меня никого. Отца-то я и не помню... Мать при немцах померла. Сестра где-то есть, намного меня старше, еще до войны замуж вышла. Где она?.. Поди узнай, война разбросала... Никого, Федька, никого. И друзей тоже нет... Да и не было... В четырнадцать лет мать послала меня работать, учиться на штукатура... Поработал и бросил, не по мне. Поступил в граверную мастерскую. Деньги завелись — приоделся, на дивчин уже

заглядывался... Только заглядывался... Я же вон какой видный, а робкий... Студию посещал... А тут война... В войну мне повезло, что скрывать, в армейском клубе сидел — не хлебнул... Вот теперь вышел... Жить-то я умею, деньги всегда заработаю, у меня сам знаешь какие руки. Туфли модельные шить могу, по серебру любой узор и по дереву. Деньги — что, я человеком хочу быть! Человеком! Давай выпьем...

— Давай.

Выпили.

— А как ты понимаешь — человеком? — спросил Федор.

— Как?.. Это мне трудно сказать в двух словах. Вот, к примеру, среди штукатуров я сразу выдвинулся, потому что не хуже мастеров дело усвоил. А вот ни мастера не любили, ни ребята. Не то чтобы пакости какие кто делал — нет, а вроде как вы... Все в куче, а я в стороне. Ушел в граверную, меня всегда тянуло к тонкому делу, штукатурство — грубость... В нашей граверной мастерской и всего-то было три человека, все трое старики, я их в первый же год перешиб... Я шкатулочку вытравил, ночи напролет сидел, рисуночек подобрал на крышку и по бокам узорчик, на вид простой, а кто понимает, сразу хватаются, оглаживают, да ощупывают. Шкатулку я подарил председателю правления — мастерская-то при артели была, а председатель — всему голова. Боялись меня задирать, а так — все в куче, а я в стороне... И в армии... Назови меня тыловой крысой, от тебя снесу. Но рядом-то со мной тогда такие же тыловики сидели, им передо мной чваниться нечем. А вот — все в куче, а я в стороне... Ты спрашивал, как понимать — человеком? А чтоб уважали, чтоб признавали, чтоб считались, из кучи в сторону не толкали. Вот что.

— Живи в куче с нами. Мы тебя не толкаем от себя,— сказал Федор.

Иван Мыш ответил не сразу, глаза блуждали по тарелкам.

— Не толкаете и не принимаете.

— Сам виноват.

Иван Мыш встрепенулся:

— В чем?

— Хочешь на откровенность? Скажу.

— Обожди. Давай выпьем.

— Давай.

Снова выпили и закусили. Федор поднял голову:

— Слушай...

— Ругать будешь? — робко спросил Иван.

— Не ругать, а говорить, что есть. Так вот, слушай...

— Давай выпьем.

— Не слишком ли часто?

— Ну, я выпью один.

— Пей.

Иван Мыш опрокинул в себя стопку, мученически сморщился, пожевал огурец и таким же, как лицо, обреченно мученическим голосом выдавил:

— Говори...

— Помнишь, ты на тумбочке хитрый замочек приспособил?

— Помню.

— Могло кому-нибудь из нас прийти в голову запереть свою тумбочку на замок? Почему ты это сделал?

— Я же сразу снял его. Я же понял — нехорошо.

— Руки, друг, моют перед обедом, а ты поел грязными руками, потом спохватился, мыть бросился. Иной раз ты и вовсе руки не моешь, не догадываешься, что они грязные.

— Это как так?

— Ты подарил Православному бумажник...

— А что тут такого?

— Правда, что тут такого? Даже смешно: Православному — и бумажник для денег. Но ведь ты подарил ему в благодарность за хлопоты перед Вениаминычем. А уж в этом тонкая подлинка... Да, да, ты слушай, не мотай башкой. За твой хлеб-соль и водку я наговорю тебе пакостей... Тонкая, невооруженным глазом не разглядишь. Православный по простоте души ее так и не понял, носился с бумажником как дурак с писаной торбой. А ты-то хоть понимаешь ее сейчас?

— Не понимаю,— уныло признался Иван. — Давай выпьем.

— Выпьем в свой черед, а теперь не перебивай... Православный делал для тебя без корысти, по-дружески, а ты не принял это как должное, ты, видишь ли, отблагодарил, как официанта. Выходит — дружбы не принял.

— Но это ж...

— Мелочь, хочешь сказать. Верно — мелочь. Дождь по капле с неба падает — да реки из берегов выходят. Бумажник, замочек, глядишь — замочек-то и защелкнулся, и ключик не подберешь... Все! Теперь выпьем... За то, чтоб без замочков!

— Выпьем.

Иван Мыш жадно опрокинул в себя водку, колупнул вилкой в тарелке, бросил со стуком вилку на стол, подался на Федора широкой грудью:

— Знаешь...

Глаза широко открыты, щеки бледны, губы вздрагивают.

— Знаешь... Я — сволочь. — Голос тихий, искренний, с глухой болью.

И, как в первый раз в коридоре института, Федору стало неловко, стыдно, даже немного страшно от такого признания.

И тем же голосом, с дрожью, с проникновением:

— Я — сволочь, Федя. Я сам себя ненавижу!

— Ну, ну... Я бы сам к себе добровольно такого слова не приставил... И другому бы не позволил.

— Давай выпьем... Ах, черт! Бутылка пуста... Официант! Официант!

Пока официант ходил за водкой, Иван Мыш сидел на стуле боком, напряженный, блуждал глазами по сторонам, время от времени морщился и вздрагивал. И Федор почувствовал, что он утерял свое превосходство над ним, почему-то стало неловко, почему-то испытывает какую-то смутную вину перед этим человеком, невольно жалеет его.

Официант обмахнул салфеткой без того чистую бутылку, поставил на стол. Иван Мыш пошевелился, провел вздрагивающей рукой по волосам:

— Меня, кажется, попрут из института.

— Не думаю.

— Я же условно принят, а сегодня директор на меня... Выпьем...

Федор не притронулся к пододвинутой стопке.

— Если ты позвал меня из расчета, чтоб я сходил и похлопотал перед Вениаминычем, то не рассчитывай. Откровенный по душам разговор и расчет — прости, это противно,— сказал он, глядя в лоб Мышу.

Тот с ужасом затряс головой:

— Что ты! Что ты! И не думал... Мне с кем-то нужно было слово сказать. Вот сегодня, сейчас!.. И спасибо тебе... Бей меня, не жалей! Спасибо, в ножки поклонюсь. Со мной не часто говорят в открытую-то... А институт... Может, и оставят, может, мимо пролетит. Знаю, что плохо пишу, хуже всех! Впервые в жизни не получается — не пойму даже почему. Я же умелый, я все равно возьму свое. Ты же знаешь мои руки...

В общежитии довольно-таки нагрузившегося Федора ждал гость. На койке вежливенько, на краешке, не теряя достоинства, сидел маляр Штука, вел чинный разговор с Вячеславом и Левой Православным.

— Ну, вот и он! Долгонько приходится ждать, долгонько. — Штука протянул руку лодочкой. — Будем здоровы. Ничего, веселенькие, а еще жалуемся, что живем туговато.

Федор хлопнул его по плечу:

— Вот так-то и перебиваемся. С новостями, вижу?

— Новостишки не из больших, так себе, среднего размеру. Коль не передумал, то будь как штык в субботу вечерком... по адресу... Да куда же он, к ляху, запропастился? Ах вот он, миляга...

— Буду как штык, не подведу.

— Ну, а теперь — бывайте здоровы. И так задержался... Спасибо за приятную беседу.

— Чем богаты, тем и рады,— ответил Вячеслав

Штука направился к двери, но так просто выйти ему не удалось, в дверях, покачиваясь, стоял Иван Мыш, высокий, широкий, как шкаф. Он печально положил свои громадные руки на плечи тщедушному маляру.

— Друг,— заговорил он проникновенно грустным голосом,— ты знаешь, что он... — Иван Мыш кивнул на Федора: — Он — великий человек. Здесь все — великой души... Один я сволочь. Презирай меня.

Маляр сначала растерялся, а потом осклабился, оглянулся.

— А?.. Шутник, право.

Лева Православный не без удивления заметил:

— Эти шуточки и для нас новость, старик.

Вячеслав спросил:

— Федор, как тебе удалось размочить Мыша? Маневр артиста.

— Я сволочь, друг.

— Не имею возможности согласиться. Разрешите пройти.

— Не держу, друг, не держу. Уходи, но помни — Федор Матёрин великой души человек! Он не пренебрег мной!

Освободившийся из лап Ивана Мыша, Штука вновь обрел достоинство, прежде чем скрыться за дверью, не без важности заявил:

— А я знаю, кого себе выбирать. Я наскрозь людей вижу!

— И ты великой души человек. Презирай меня...

— Шутник, право.

22

В тихом переулке — угрюмый дом, на четвертом этаже — тесная квартира из двух маленьких комнат, забитая вещами. Живут двое — мать и дочь, отец в отъезде, пользуются его отсутствием, чтобы сделать ремонт.

Мать, высокая, полная, в несвежем, обтягивающем необъятную грудь шелковом халате, кошачьи круглые и желтые глаза и юношеские усики над верхней губой. У нее величавые манеры и властный басок. Обметая полами халата кресла и дубовые ножки столов, она командует смиренно сопровождающему ее Штуке:

— Побелка потолка — раз. Окраска стен — два... В первой комнате, я думаю, цвет шоколада. Во второй — цвет морской волны... Сумеете?..

— Шоколада? — чешет в затылке Штука. — Можно. А не темновато будет?

— Посветлее, посветлее разведите. Эдак — кофе с молоком.

— Можно. А вот морскую волну, лях ее знает...

— Эдакую зелень в синеву...

— Можно. Только чистого цвета не добьемся.

— Постарайся, голубчик, постарайся. Грязных стен от вас не приму.

— Морскую волну?.. Выйдет с мутноватинкой...

— Не беда. А под потолком что-нибудь...

— Простая филеночка не пойдет?

— Хочется поживописней. Эдакие планки продают — под золото, для рамок...

— Багетики?

— Вот-вот, я куплю, вы прибьете.

— Можно.

Федор окидывает взглядом тяжелые столы, резной книжный шкаф, продавленные кушетки, истертые ковры — все давнее, десятилетиями вбиравшее в себя пыль. Теснота, захламленность, при больших окнах — скудность освещения. Цвет а-ля шоколад... Морская волна... В таких комнатушках стены должны быть покрыты чистым цветом, нельзя бояться яркости, а тут — морская волна... При тех красках, что есть, получится студень.

Взгляд Федора блуждает по потолку, по углам, по мебели и каждый раз возвращается к креслу у книжного шкафа. В нем, поджав ноги, угнездилась с книжкой дочь хозяйки. По тому, как она сидит, свернувшись, чувствуется в ее теле кошачья гибкость. Прямые короткие волосы закрывают лицо. Федору кажется, что он где-то видел ее. И чем чаще скользит его воровской взгляд, тем сильней крепнет уверенность — видел, встречал, но где, когда?.. Откинула рукой спадающие волосы, обнажился гладкий лоб... Гладкий лоб, точеный нос, черты лица чуть мелковатые. Нет, где-то видел ее!

В своей жизни Федор не так уж часто заглядывался на девичьи лица. В школе, в одном с ним классе, училась дочка начальника станции Римма Глушкова. У нее было белое подвижное лицо, черные волосы, падавшие челкой на лоб. Он долгое время не обращал на нее никакого внимания — девчонка и девчонка, много их, на переменах походя отпускал тычка — не попадайся под ноги человеку. В те годы страна только что отметила столетие со дня смерти Пушкина. Повсюду еще висели плакаты, на них — родня великого поэта, знакомые, вплоть до черного лика Ганнибала. Средь других дам в пышных платьях — жена Пушкина Наталья Гончарова. Федор как-то случайно вгляделся в нее попристальней. И вдруг подметил: Наталья-то Гончарова походит на Римку Глушкову, ну точь-в-точь, только прическа другая. Сначала это только забавляло — поди ж ты! Потом вспомнил, что жена Пушкина была светская красавица. Значит,

и Римка красива, вот не замечал... И стал внимательней приглядываться к Римке — тонкие брови, глаза в синеву, белая прозрачная кожа. А пожалуй... И на перемене, если шла навстречу, он уступал дорогу, глядел в спину.

Спустя четыре года, уже на пороге десятого класса, он решился признаться ей в любви. В тот день цвела черемуха, шли весенние экзамены, они вдвоем отстали от компании, которая шла к речке Уждалице. Цвела черемуха, и белые блестки облетевшего черемухового цвета запутались в ее темных волосах, и глаза ее блестели ожидающе. Она уже догадывалась, что именно он хочет сказать. Но когда он произнес уныло неуклюжую и глупую фразу: «Ты знаешь, я, кажется, люблю тебя...» — она рассмеялась и убежала. А потом рассказала подругам, при встрече с Федором те хихикали. Быть может, он еще раз когда-нибудь повторил бы ей эти слова, но помешала война...

В армии ему нравилась почти каждая женщина, какую приходилось видеть. Больше всех — военврач санроты, румяная блондинка с широкой талией, очень смешливая. Когда смеялась, дрожало белое горло... Все знали, она живет с капитаном Весловым — комбатом-два. Веслова убило при переправе через Днепр, южнее Киева.

Несколько минут он был влюблен в госпитале. Несколько минут, зато сильно. Он лежал на операционном столе, толстый, лысый хирург искал в ноге Федора перебитый нерв. Ему подавала инструмент сестра — капризно припухшая верхняя губа, изумленные серые глаза. Федор ее заметил еще до операции. Сшивали нерв, боль пронзала от пяток до макушки все тело, во рту стоял горький вкус, лоб покрывался потом, время от времени сестра утирала его лицо концом простыни. Хирург, плешивый грубиян, поминутно кричал на девушку: «Не то! Что вы подаете! Я вас просил щипцы, вы мне еще подсуньте столовую вилку!» Федор ненавидел хирурга, оскорблялся за девушку, радовался, что она видит, какой он мужественный,— больно, но не издает ни звука. Он не простонал даже тогда, когда на распухшую, как бревно, ногу накладывали швы — тринадцать швов, а анестезия кончила свою силу, шили по живому, сквозь мясо продергивали нитки. Сестра концом простыни вы-

тирала ему потное лицо, и где-то вверху плавали ее изумленно распахнутые глаза. Хирург скупо похвалил: «Терпеливый парень попался...» Он это произнес при девушке, и Федор простил ему хамоватость.

Женщину из деревни Волчок Федор не любил вспоминать. Ей было под сорок, она по-бабьи пожалела белобрысого старшего сержанта-постояльца, терпеливо сносила его неопытность в постели. Он даже не помнит ее лица, только осталось — от уставших глаз отходили морщины да ладони ее были жестки и шершавы, как изношенные подметки.

Эта ни на одну из тех, с кем сталкивался, не похожа. Но все равно, где-то видел...

Озабоченный Штука подошел к Федору:

— Ну, с богом, начнем помаленьку. Тащи вещи в ту комнату. Барышня, мы вас потревожим.

Она захлопнула книжку, проворно встала. Была она высока, по-девчоночьи худа, казалась плоской, какой-то бестелесной, как неприкаянные души обманутых девушек в иллюстрациях к старым романам с привидениями.

Маленькая точеная голова горделиво посажена на длинную шею. Шея — певучий изгиб, из тех, что поэты от бессилия сравнивают с лебединой. Мелкий подбородок, припухшие губы, в уголках губ намеком складочки...

И Федора ударило: так вот на кого она похожа — на Нефертити!

Она не обратила внимания на него, почитателя в загвазданной гимнастерке, в продранных на коленях брюках (единственных, других нет!). Проплыла мимо, не снизошла, по-царски.

— Ну, чего рот раскрыл! Берись! — прикрикнул Штука.

Они вдвоем подняли тяжелое кресло и понесли его вслед за юной царицей.

Белили потолок в первой комнате. Штука водил удочкой, Федор качал опрыскиватель. Пол, подоконник, тяжелый шкаф, который до поры до времени решили не шевелить, застланы старыми газетами. Пресновато-известковый запах разведенного мела; кажется, сам воздух

мутен от побелки. А Матвей Иванович Штука поскрипывает среди грязи начищенными сапожками, и, если на сапоги капает капля побелки, Штука преспокойно прерывает работу, вынимает из кармана замызганного халата чистую тряпочку, снимает белую кляксу. Ни на минуту не смолкает его назидательный тенорок:

— Вот говорят — маляр. Маляр да сапожник — что цыган да барышник, одна компания. Сапожник пьет в стельку, маляр — в лоск. Вы вот, художники-мазилки, жучки охристые, поди, туда же — маляр для вас вроде сатаны. Знаем. Это от темноты, не учат вас разбираться, что к чему. Маляр как солнышко — где ни показался, там весело...

— Оно и видно,— усмехнулся Федор. — Как мы с тобой заявились, здесь сразу повеселело.

— Пока нет, а уйдем — веселье после себя оставим. Маляр соберет кисти, и после него красота. Живи да радуйся... То-то, уважай. Полегше, полегше, не пожарный насос качаешь. Эк, вот опять обрызгал. Останови, почищусь...

Снова на свет божий появляется тряпочка, обтираются сапоги.

— Маляры-то добрые ныне вывелись. Мельчает маляр. Какая первая заповедь у маляра? Ай?.. Молчишь. То-то... А первая заповедь, брат,— аккуратность. Не махай кистью без толку. Обронил каплю ненароком, и все псу под хвост. Недаром говорится — капля дегтю бочку меда портит. Нынче маляр работает как последний скот — рыло в краске, зад в замазке, на одежде короста — тьфу, смотреть противно! А вторая, значит, заповедь: норовись, чтобы нравилось, заказчика слушай...

— Чужим умом живи,— подкинул Федор.

— Ум держи при себе, потому как не для себя работаешь. Ум хорош тогда, когда другому печенку не портит. Уважай человека. Ему жить средь твоей работы, не тебе, не порть ему радости своим норовом. Слушай и мотай на ус. Так-то...

— Ну, а если видишь, он сам себе портит радость — по глупости, по незнанию?

— Сам и в ответе, не мешайся. Сам пожелал. А желание — оно свято...

— Тебе приказывают — наведи морскую волну... Глупо?

— Не скажу, ума не много.

— А ведь человек не знает, что при наших красках из морской волны будет бурда. Он глуп в твоем деле, а ты потакаешь глупости. Ты вот только что напевал: маляр — особая профессия, он кисти соберет, после него — красота. А разве своим потаканием ты не губишь красоту? Сомневаться начинаю я, Иваныч, что ты себя уважаешь.

— Н-но, н-но! Ты молокосос, второй час всего в малярах, а уже поучаешь. Тебя на свете не было, как я за кисть взялся. Не яйцо учит старого петуха!

— Тридцать лет в малярах и до сих пор готов глупых советов слушаться. Ну, Иваныч, не говори никому больше этого — стыдно.

— Ах, сопляк, еще и стыдит... А за что, ежели спросить? За то, что людей не хочу обижать.

Штука сердито водил по потолку шипящей удочкой.

— Молодежь ныне зубастая — ты ему слово, а он тебе десять. Только уши разуй — наговорят с три короба, не унесешь...

23

Федор шел пешком к своему общежитию. Час поздний, прохожие редки, по улице гнали запозднившиеся машины.

Неясные размытые громады домов вобрали людей, час за часом они будут копить аккумулирующую силу, придет утро, и она вырвется — толпы хлынут на мостовые, автобусы, троллейбусы, грузовые, легковые машины заполнят улицы, станет тесно, шумно, суетливо. До следующей ночи, до нового покоя будет хлестать сила, кипеть жизнь. И тогда снова скажут — прошел день, оторвут листок календаря.

Прошел день, и ты не оглядываешься назад. Прожитым днем дорожил только на фронте: не убило, жив — порядок. А на войне не живут, войну, если повезет, переживают.

Ему двадцать три года — проходит молодость. Ее славят поэты, о ней с умилением вспоминают старики, и для всех молодость — это любовь, это открытие женщины. У него, Федора, не было молодости, он не любил — не до того.

Темный город, редкие фонари, редкие освещенные окна, падает пушистый снег. Успокаивающая бесконечность в его полете, что-то усыпляющее в том, как он бесшумно ложится на белые мостовые. Успокоенный город, ожидающий завтра...

А он, Федор, помнит пустынный утренний город, осчастливленный солнцем. Город, находившийся по ту сторону его жизни... Тогда в этом городе, красивом, как сон, как сказка, он узнал о *ее* существовании: губы, таящие улыбку, и три тысячи лет за спиной...

Он даже изменял ей, забывал временами, как живой живую. Да и как не изменить — виновата сама жизнь, слишком грубая, слишком жестокая, чтоб можно было верить — та есть, та существует. Раздувшийся на солнцепеке труп и *ее* губы — вместе, в одно время — нелепость, бессмыслица!

И тихий переулок, сумрачный дом, четвертый этаж... Нефертити двадцатого века живет не в царских покоях — в тесной квартирке с облупленными стенами, с потолком, который давно просит побелки. И ты перед ней предстал не в парчовых одеждах, не под звуки литавр — подручный маляра, латанные на коленях штаны. В двадцать три года не так страшны рубцы на теле, как неуклюжие заплаты на коленях. Латаные штаны — это почти уродство, это физический недостаток.

Снег лепится на карнизах слепых фасадов, снег усыпляюще кружится в воздухе. Похоронен под снегом еще один день жизни...

А день был особый — она пришла издалека, из тысячелетий, и он встретил ее. Особый день, но бесполезный — прошла мимо.

Латаные штаны — и Нефертити! Нет, чуда не жди, не случится.

Но чудо случилось, хотя и не такое, на какое рассчитывал Федор,— куда более скромное. Чудо свершилось незамедлительно.

У общежития, возле троллейбусной остановки, Федор увидел убеленную снегом одинокую фигуру, прячущую лицо в воротник пальто. Пробегая мимо, он узнал.

— Нина? Ты?

Печальный вздох:

— Я.

Нина Худякова — студентка одного курса с Федором.

— Где же ты так поздно засиделась?

— У Красавиной в общежитии. Девочки со второго курса задержали.

— Но прошел уже последний троллейбус.

Покорный вздох вместо ответа.

— Где ты живешь?

— У Зубовской.

— Придется пешком?..

Снова вздох.

— Боишься? Может, проводить?

— Проводи.

— Ну, тогда пошли.

И они двинулись вместе, плечо в плечо, через спящий город, сквозь вкрадчиво летящий снег.

Нина Худякова в мастерской подолгу преданно следила из-за спины Федора за его рукой. Когда-то она так же долго простаивала возле Вячеслава Чернышева, теперь на курсе — новый кумир. Нина Худякова, добрая, вяловатая, на розовом полном лице — дремотные глаза. Сама она писала слащаво, с готовностью слушалась любого совета, никогда не впадала в отчаяние от упреков... В ее обожании было что-то бескорыстное, что-то такое, что напоминало Федору Савву Ильича. Тот, наверное, точно так же бы стоял за спиной и млел от восторга, радуясь чужим успехам.

Подруга Нины Худяковой, Нина Красавина, длиннолицая, жесткие волосы взлохмачены, черные глаза колючи, говорила:

— Нинка, вот увидите, сто лет проживет и тому долгую жизнь устроит, кто с ней рядом будет. Не упускайте счастья, ребята.

И Худякова не возражала, лишь улыбалась дремотно...

Снег рождался где-то рядом, в темноте, в пустоте, над самыми головами. Он мягко окутывал, отделял их двоих от остального города. От его ровного, однообразного полета на душе становилось лениво и спокойно. Не хотелось спешить. Временами казалось, что не снег опускается сверху вниз, а они локоть к локтю подымаются медленно вверх вместе с припорошенной землей.

Нина молчала, и это нравилось ему. Она умела молчать не просто с невозмутимостью, а даже с какой-то величавостью. Ее плечи, воротник, меховая шапочка, волосы, выбившиеся из-под шапки, были белы. Плавно выступает она в невесомом наряде. Вблизи мокро лоснится тугая щека, выпуклый глаз блестит таинственно, как ее молчание. Таинственным казался и город, затканный снегом, загадочен неторопливый снежный полет.

Нефертити, латаные штаны, чувство собственной неполноценности — пусть завтра все это снова станет важным, а сейчас хорошо.

Но всему есть мера, даже покойному молчанию. Захотелось услышать ее голос:

— О чем думаешь?

Помедлила, мечтательно улыбнулась в плывущий снег.

— Сейчас мы придем ко мне домой...

— Положим.

— Мы подымемся на второй этаж... У меня свой ключ, и никому нет до нас дела, и нам ни до кого... Я щелкну выключателем, и вспыхнет люстра под потолком... Я надену туфли на гагачьем пуху, чтоб не пачкать ковер...

— А я от испуга перед этим ковром поверну оглобли обратно.

— Я тебе тоже дам туфли, и тоже гагачьи... Я усажу тебя в кресло и извинюсь. Мне нужно будет оставить тебя, ненадолго... Ты, конечно, посидишь без меня десять минут... Я пойду в ванную комнату... Я очень люблю свою ванную — там все бело, там всегда празднично, если даже на улице снег, слякоть, грязь... Я напущу полную, полную ванну... Знаешь, в белой ванне вода кажется зеленой, как в море... А потом я надену свой халат, он длинный, до полу, японского шелка, длинные с вырезами рукава. Ты увидишь, он очень идет мне... Я сварю тебе кофе... Ты какой больше любишь — со сливками или черный, по-турецки?.. Лучше по-турецки. Мы сядем на тахту возле низенького столика, будем пить кофе из маленьких чашечек саксонского фарфора... И беседовать...

Голос ее плавный и тихий, убежденно счастливый. Федор представил себя: в своей малярской гимнастерке,

в латаных штанах, в гагачьих туфлях на босу ногу среди ковров... Бог с ним, с кофе по-турецки, с беседой, с компанией Нины в длинном халате, который скрывает разрумяненное горячей ванной тело. «Доведу и раскланяюсь»,— решил он.

Старый особнячок в два этажа в нескольких местах осклабился облупленной штукатуркой. У него был доверительно-нищенский вид. Подъезд с широкой грязной лестницей скудно освещался пыльной лампочкой, пахло чердаком и кислым запахом городской бедности.

Нина действительно жила на втором этаже, у Нины действительно был свой ключ.

— Тише только, соседи ворчать будут.

Щелкнул выключатель, вспыхнула под потолком люстра, вернее, остатки ее, три голых потемневших бронзовых рога, и только в одном горела ничем не затененная лампочка. Комната большая, высокая, на сером от копоти потолке остались лепные украшения, вся она со своими мрачными стенами походила на пещеру. На самой середине стоял раскоряченный мольберт, как малярные козлы во время ремонта. В углу прислонена большая ржавая железная труба — должно быть, осталась от буржуйки, которой пользовались во время войны.

Федор повеселел:

— А где ковер? Где гагачьи туфли?

— Какие гагачьи туфли? — искренне удивилась Нина.

— Ты обещала.

— Вот уж нет, не обещала. Ты меня спросил: о чем я думаю? А я тогда думала об этом. О туфлях, о ванной... Могу я думать, о чем захочу?

— А кофе по-турецки в чашках саксонского фарфора? Я даже согласен со сливками.

— Я чай вскипячу. У меня сахар есть.

— Валяй.

— Одна чашка у меня саксонская...

— В мечтах?

— Нет, на самом деле. Старинная, мамина. И ты сейчас будешь из нее пить чай.

— Уже кое-что.

За шатким столиком они пили жидкий чай. У Нины было мокрое, разрумяненное морозом лицо, светлые глаза, полуприкрытые ресницами, глядели дремотно и

призывно, платье плотно обтягивало полные плечи и грудь.

Она поднялась из-за стола, начала передвигать чашки. Поднялся и он. Руки ее, опустив старинную — мамино наследство — чашку, застыли, краешек щеки разрумянился, спина напряглась. Она ждала, что он шагнет к ней. И он шагнул.

Она распрямилась, взглянула потемневшими глазами, покорно подалась к нему, теплая, содрогающаяся от робости и ожидания. Ее волосы были влажными, от них еще пахло морозной улицей...

Комната залита пещерной темнотой. Только тускло маячит широкое окно. За ним, должно быть, все еще опускается снег, отделяет город, весь мир от них.

Нина тихо дышит, уткнулась в плечо, но не спит, так как время от времени ее ресницы щекочут его кожу. У нее и в самом деле счастливый характер — не надоедает разговорами, не требует обещаний. Молчит себе и, верно, мечтает о ванной с зеленой водой или представляет, что рядом лежит принц из заморской страны. Она не обратила внимания на залатанные брюки своего принца...

Уходит чувство, что ты отверженный в жизни. Великое дело верить в себя. Спасибо тем, кто, не зная того, одаривает этой всемогущей верой. Спасибо согревшим...

Щекочут плечо ресницы. За туманным окном летит снег.

24

После ночного снегопада город казался умытым. На карнизах домов снег, как брови деда-мороза.

Общежитие спало — день-то воскресный. Православный поднял с подушки всклокоченную голову:

— Старик! Не говори, что работал всю ночь напролет. В такое время приходят только со свидания.

— А если так оно и есть? — ответил Федор.

— Тогда ты большой оригинал, старик. Свидание в гимнастерке, заляпанной мелом, не говоря уже об элегантных брюках...

Проснулся Вячеслав, зашевелился Иван Мыш.

Федор встал посреди комнаты.

— Ребята! Внимание!..

— Сорока что-то принесла на хвосте! — объявил Вячеслав.

— Принес задачку, которую должны решить сообща... Прежде всего дан человек, который считает, что его призвание — нести людям красоту.

— Он не одинок в своем желании...

— Но при этом он придерживается правила — потворствуй вкусам толпы, угождай, ибо красота в том, чтоб нравилось.

— Вариант убогой позиции — «о вкусах не спорят»,— сообщил Вячеслав.

— Старик! Что я слышу? В твоем голосе осуждение? — воскликнул Лева Православный.

— Ты не ошибся, мой чуткий друг.

— Ты не последователен, старик! Ты же — народник! Ты мечтаешь отдать свою палитру на службу народу.

— Мечтаю.

— Значит, ты должен приноравливаться к его вкусам.

— Вывод ошибочный.

— Но как же так? Служить кому-то и делать вопреки его вкусам, гладить против шерстки? Да такого слугу турнут под зад коленкой.

— Наивный мальчик, я не хочу просто прислуживать...

— А что хочешь?

— Учить.

— Чего-чего, а менторство у тебя из ноздрей лезет, старик.

— Да, учить, потому что я опытнее в своем деле любого и каждого. В своем! Во всяком другом пойду на обучение к рядовому члену общества, готов смиренно склонить перед ним немудреную голову...

— Не отвлекайтесь! Слушайте дальше! — оборвал Федор.

— Слушаем. Дан поборник искусства, и дана толпа в ее типичных представителях,— подсказал Вячеслав.

— Да, толпа в лице дамы с усиками, владеющей двухкомнатной квартирой, давным-давно требующей ремонта...

— И что же нравится толпе?

— Золотые багеты на стенах.

— Варварство!

— Ни в коем случае не допускать!

— Предлагаю составить петицию,— продолжал Федор,— в виде эскиза, дабы посрамить лакействующего поборника красоты...

— И спасти толпу с усиками от безвкусицы. Ясно! Заметано! За дело, ребята!

Вячеслав и Православный вскочили с коек. На тумбочку лег лист бумаги, Федор набросал расположение комнат, наметил окна, из которых падал свет. Началось бурное обсуждение малярных работ в двух комнатушках тесной московской квартиры.

— На Западе теперь стали окрашивать стены в разные цвета. Смело! Не нужно этого бояться,— предлагал Вячеслав.

— На Западе! Что нам Запад! — вопил Православный. — Просто белые стены с веселым орнаментом!

— Орнаментом из петухов?

— Почему только из петухов? Я сейчас набросаю вам простой и красивый орнамент. Не орнамент, а веселая геометрия!

— А помните, мы как-то разглядывали трехцветное пятно у меня на палитре? — спросил Федор. — Что, если решить в белом, лиловом и в черноту краплак?

— Белый потолок... — подсказал Вячеслав.

— Стены сиреневой...

— Все стены — уныло. Одну стену, между нею и потолком — красный в черноту бордюр!

— А остальные стены — белым, с петухами по Православному?

— Старик, ты профанируешь?

— Остальные стены — в серый нейтральный цвет!

В стороне, вытянувшись под одеялом на своей койке, слушал Иван Мыш. У него было унылo-сонное лицо — опять все в куче, он в стороне.

Эскиз был быстро закончен — взяла верх партия Вячеслава. Лева Православный остался при особом мнении.

За окном набирал силу поздний, мутно-синий дворовый рассвет.

Федор свернул эскиз трубкой.

— Ну, мне пора на работу. Мой шеф уже ждет... Нет ли чего-нибудь перехватить? Меня угощали в одном аристократическом доме кофе в саксонском фарфоре, но не догадались предложить кусок хлеба.

— Старик, у меня, увы...

— Догадывался. У тебя, Вече?

— И у меня, Федька, всюду пусто, в том числе и в карманах.

— Иван Мыш, ты не богат?

— Я в прошлый раз спустил все,— угрюмо напомнил Иван Мыш.

— Что ж делать,— смирился Федор.— Говорят, черный кофе поддерживает силы, особенно если его пьют из старинного саксонского фарфора. Оревуар!

На улице, над величавыми домами, разливалась робкая, освежающая зорька. Среди белоснежных скверов купались фигуры праздных прохожих. И воздух пропитан праздничной свободой воскресного утра. Не верилось, что вчера вечером небо казалось в рогожку...

Что-то делает сейчас Нина? Спасибо ей... Ей спасибо, а другой он несет подарок — свернутый в трубку эскиз. Ради ее матери он вряд ли стал бы особенно усердствовать: хочет золотые багеты — получи. Но царица, прославленная в искусстве, в окружении безвкусицы — явление вопиющее. Царице — плебейский подарок!

Нина Худякова и Нефертити... Одной — спасибо за себя, другой — за то, что она есть.

Штука долго жевал губами, морщил лоб под козырьком заляпанной побелкой кепчонки, разглядывал эскиз.

— Ты не рехнулся, жучок охристый,— стены красить разным? Это все одно, что штаны носить с разноцветными штанинами.

— Считаешь — плохо? — в упор спросил Федор.

— Не плохо, а чудно как-то.

— Порви, если не нравится. Ты здесь старший.

— Ну, так уж и порви. Больно горяч. А ты вглядеться дай, обмозговать, привыкнуть... Не говорю, что некрасиво. На бумаге всегда получается, хоть пальчики оближи. Но где видано — стены разным...

— Вот и увидят.

— Гм... То-то подивятся... Только ты думал, умная голова, где мы такой краски найдем! Тут колер нужен ясный.

— А где ты найдешь красок для морской волны? Сам же хотел прикупить плакатной гуаши. Купи фиолетовой, разведем с мелом.

— Гм... Дай обмозговать... Гм... А право, будет иметь вид. Котелок у вашего брата варит... Иметь вид будет... То-то слава пойдет... А ну обожди, матушке-начальнице покажу.

Матушка-начальница выплыла в своем несвежем халате — грудь вперед узорной подушкой, голова нечесана. Долго не понимала, глядела в эскиз, как сорока на оброненный гривенник, наконец уразумела и взметнула брови:

— Вы что — в насмешку?.. Дикая фантазия! Какая безвкусица!

Из соседней комнаты появилась *она*. В лыжном костюме, в громоздких лыжных ботинках; нежную шею закрывал шерстяной, в клетку, шарф. Легким, летящим шагом она пронесла к двери свое бесплотное тело.

— Доченька! — крикливо наставляла ее вслед мать. — Ты не задерживайся допоздна. Слышишь? Не задерживайся!

— Ладно,— раздалось из-за дверей.

Эскиз был небрежно сунут на грязный подоконник.

Наедине с Федором Штука вдруг неожиданно раскипятился:

— Ах, разорви тебя! Без-вку-си-ца!.. Тоже мне, наша фря за попа обедню служит. Без-вку-си-ца! Что ты понимаешь, толстомясая?.. Морскую волну тебе выдай! Да в морскую-то волну нужники нынче красят!..

Федор молчал. Он понимал: у мамы-фараонши вкус древнеегипетский — нравятся золотые багеты. Глупо обижаться.

25

В мастерскую явилась девица-старшекурсница — короткая стрижка, обтянутая джемпером грудь, резкий сипловатый голос — активистка с будущим.

Хлопнула в ладоши:

— Внимание! Внимание!.. Маленькое объявление! Я из профкома. На вашем курсе до сих пор нет проф-

групорга. Необходимо срочно наметить кандидатуру. Сами подскажите — кто будет.

— Православный, есть шанс выдвинуться,— подбросил Лева Слободко.

— Старик, я однажды в жизни был уже на руководящем посту — председателем пионерского отряда. Меня с треском сняли, теперь предпочитаю оставаться в тени.

Девица снова властно хлопнула в ладоши:

— Шутки в сторону! Прошу отнестись со всей серьезностью! Предлагайте кандидатуру!

Иван Мыш добросовестно сутулился у своего мольберта, не обращал внимания на настойчивую девицу. Как всегда — все в куче, он в стороне. И Федору пришла в голову мысль: «А почему бы и нет...»

— Выдвигаю! — объявил Федор. — Мыш Без Мягкого Знака!

— Я сказала — шутки в сторону!

— А он и не шутит,— подал голос Вячеслав. — Мыш, покажись кошечке.

— Старик, на авансцену!

— Тащи его!

Увидев мощного парня с покатыми плечами, профсоюзный деятель сменила гнев на милость.

— Возражений нет? — спросила деловито.

Возражений не было. Сам Мыш смущенно чесал концом кисти переносицу и тоже вроде не давал отвода.

— После лекций явитесь в тридцать седьмую комнату.

— Старик, с тебя магарыч. Перед тобой мы открыли новую дорогу.

А неделю спустя на общефакультетском собрании в конференц-зале, к некоторому удивлению Федора, Православного и Вячеслава, Иван Мыш решительно вылез на трибуну.

— Ордера-то, товарищи, любят все получать. А вот как членские взносы платить — охотников нету. По пятам ходишь, выканючиваешь: заплати, Христа ради, у тебя задолженность за четыре месяца. Отмахиваются... А профсоюз, товарищи, играет очень важную роль в нашей жизни...

Иван Мыш говорил длинно и обстоятельно. Лева Православный, сперва слушавший с предельным внимани-

ем — шутка ли, Мыш Без Мягкого в роли оратора,— мало-помалу дремотно сник, заметив Федору:

— Он, без сомнения, способен, старик. Неделя, как избран, а толкает речугу, как будто всю жизнь только этим и занимался, даже в сон сразу бросает...

Федор был доволен и горд. Он спросил Православного:

— Скажи: какая самая благородная профессия на свете?

— Художник,— ответил Православный. — Хорош я был бы, если б иначе думал.

— Нет, врач-исцелитель.

— А ты к чему это, старик?

— Себя сейчас чувствую исцелителем. Любуюсь на Мыша и радуюсь — на трибуне, а еще недавно жаловался: «Все в куче, а я в стороне».

— Радуйся, а я пока подремлю немного.

26

Маляр Штука отвел беду от Федора. Золотые багеты на радость маме-фараонше были прибиты на стены, Федор рассчитался с долгами, купил новые брюки. А новоявленная Нефертити так и ушла в прошлое...

Федор часто провожал Нину, возвращался от нее к утру. Нина жила одна — мать умерла в войну, отец, инженер-строитель, работал на Севере, присылал деньги. Кажется, там у него была новая жена.

Нина об отце не вспоминала, о матери говорила охотно. По ее словам, мать была знаменитой актрисой, в детстве они жили за городом, в старом особняке с запущенным парком, среди кустов малины росли одичавшие розы, дикие белки прыгали по дорожкам... Федор не возражал, особняк так особняк — девчонка любит путать жизнь со сказкой.

Маляр Штука отвел беду, и все стало на свои места — собственные холсты радовали, новые штаны еще не протерлись, долгов, считай, нет, правда, сыт не каждый день, но так ли уж это важно... Наверное, такое и называется счастьем.

Весной к майским праздникам Штука нашел работу за городом.

— Выпускать из рук жаль — пять комнат подновить, и хозяева сговорчивые. Только за три дня не справимся, освободись как-нибудь еще деньков на пяток.

Федор пошел к Валентину Вениаминовичу, объяснил то, что и не требовало объяснения: «Не свожу концы с концами, не подзаработаю — протяну ноги. Помощи из дому нет...»

Отпустили.

От станции шли нагруженные нехитрым скарбом — мешок с рабочей одеждой, с банками краски, бутылью олифы, пачками купороса и казеинового клея да насос-опрыскиватель, завернутый в тряпье. Темнело. Вместе со сгущающимися сумерками крепла пьяная горечь распускающихся почек, замирали звуки.

Стиснутые оградами улочки были пусты, где-то за кустами, за запертыми калитками теплились окна. Вечер — спать еще рано. Вечер, те часы, когда большинство людей на время перестают быть членами великого всечеловеческого общества, забывают о том, что днем они служили в учреждениях, работали на заводах, подбивали смету, управляли рычагами машин, делали совместное дело, чтобы все могли жить. Вечер отдан семье. Вечерами возрождаются первобытные законы кланов. Настольная лампа за чайным столом заменяет древний костер. Царствующий патриарх — отец и хранительница домашнего очага — мать владычествуют над подвластным потомством — Вовочками, Петями, Ирочками. Владыки обсуждают сугубо важный вопрос — почему кашляет Вовочка. Теплятся окна в пахучий предмайский вечер, семьи обособились от семей. И тоскливо становится человеку, идущему по улице, у которого нет семьи, кто оторван от отца и матери, и оторван, наверное, навсегда. Шумный спор над студенческими койками, решающий вселенские задачи, не заменит тихой, озабоченной беседы за чайным столом. Теплятся окна, и чувствуешь себя таким же неустроенным, как в окопе.

В темноте вызывающе громко стучат сапоги по утоптанной дороге. Штука оглядывается по сторонам — чем-то обеспокоен.

— Замешкались мы с тобой. Беда как замешкались... — В голосе его тревога.

— Иль в дом не пустят? — спросил Федор.

— В дом-то пустят, да до дому-то надо добраться. Он за пустырем.

— Ну и что?

— Все бы ничего, да...

— Что — да?.. И чего ты головой крутишь?

— Глянь ненароком через плечо.

Федор оглянулся; сзади, в нескольких шагах, маячили в темноте две фигуры.

— Не играй труса раньше времени. Может, такие, как мы с тобой.

— Ой, навряд ли... Давно за ними поглядываю. Балуют тут... После войны — не к ночи будь помянуто — развелось разной шпаны. Ишь, прижимаются...

— Ну и что? С нас много не возьмут.

— Откуда им знать, что идет голытьба перекатная. Видят — мешок несут. Остановят, надсмеются, сапоги поснимают.

— Свои сапоги я им с поклоном отдам, лишь бы на рожи их поглядеть.

— Поднажмем, сынок, может, оторвемся. Тут за пустырем и наша дача.

— Нет, шалишь, не дождутся, чтоб бегал. Подойдут — побеседуем.

А сзади слышен напористый стук каблуков.

— Бежим, Федька...

— Иди, как шел.

Уже слышно за спиной прерывистое дыхание. Федор пошел медленнее, Штука жался к нему острым плечом.

— Эй, погоди, браток, дай прикурить!

Федор остановился, опустил на землю тяжелый мешок, полез в карман, вынул спички. Черт возьми, под рукой, кроме мешка, ничего нет. А у них, наверно, ножи...

Выросли тесной парой — один долговязый, судя по одышке, уже немолод, второй невысок, плотен, плечист.

Федор чиркнул спичку, прикрывая огонек от себя ладонью, шагнул вперед:

— Прикуривай.

Невысокий выбил огонь из рук:

— Невежа, чего в рыло суешь? Обхождения не знаешь.

Но Федор успел уже осветить его лицо: широкая скуластая физиономия, маленькие дерзкие глаза, добродушно вздернутый нос. А ведь он где-то его видел... Давно, в

забытом времени, где-то... Выпирающий на стороны скулами округлый овал лица, бойкие глаза враскос, нос вздернутый, с открытыми ноздрями...

— Мешочники! Спекулянты!.. А ну, давай сюда мешок! Быстр-ра!

— Федор,— произнес рядом блеклый голос Штуки,— отдай им мешок. Пусть... С богом...

— А где-то я тебя видел,— сказал Федор.

— Может, расцелуемся? Нашел знакомых... Но-но! — Федор пошевелился. — А вот это ты нюхал?

Перед носом Федора тускло блеснуло лезвие ножа.

— Храбрый же ты, парень,— бросил Федор. И вдруг спросил: — Лейтенанта Пачкалова помнишь?

Рука с ножом опустилась. Долговязый недовольно просипел пропитым баском...

— Сымай часы, сука... Мишель, у него часы блестят.

— Так вот как встретились, Мишка Котелок!

— Дай-ка этому разговорчивому, Мишель,— сипел долговязый.

— Заткнись! — остановил Мишка. — Ты кто? Как звать?

— Память коротка... Тебе мешок? Бери. Только там не поживишься — пять банок красок да бутылка олифы. Сбудешь, своих прибавишь — на поллитровку хватит.

— У-у, су-ук-ка! — подался вперед долговязый.

Мишка молча ударил его в бок.

— Не разгляжу в темноте. Разве признаешь, сколько лет прошло!

— Командир отделения при Пачкалове кто был у тебя?

— Паренек какой-то... Это ты?..

— Ну, а звать забыл?

— Постой... Федька!.. Вспомнил! — Мишка Котелок повернулся к долговязому: — Что сучишь, Короста? Я с ним в одном окопе сидел. Не вздумай тронуть — кишки выпущу... А ты извини, всяко бывает... Помню, как ты воды принес, тебе Пачкалов под нос пистолет совал... Эх! Судьба — злодейка, жизнь — копейка! Кто с тобой?.. Папаша, извини, ради бога,— осечка вышла. Пойдем, Федька, выпьем за встречу. Пойдем, угощаю! Эх ты, свой на своего напал.

— Свои — были, теперь вряд ли.

— В одном окопе сидели, живыми встретились.

— Живыми встретились, да живем по-разному.

— Гляди, Мишель, учит уму-разуму,— снова засипел долговязый. — Он — беленький, ты — черненький, зазорно с тобой.

— Заткнись!.. Федька, или вправду зазорно?

— Вроде этого.

— Мишель, он легавый. Мишель, он, зараза, стоит и думает, как бы донести. Жалеет, сука,— мента поблизи нет.

— Федька, или вправду?

— Доносить не буду — уволь. И пить с тобой не хочу. Остаться в живых для этого?.. Эх!.. Тебе не зазорно, так мне зазорно.

— Ты! — В темноте блеснули оскаленные Мишкины зубы. — Не тыкай, что я живой. Мне, может, моя жизнь недорога. Хошь, ее на твой мешок сменяю? В легком осколок, в башке вмятина, а сунули пенсию и живи! Береги свою жизнь! Тяжелого не подымай! Живи!.. А я и живу, покуда можно, не подымаю тяжелого, чищу чистеньких! И тебя, сволочь, вычистил бы, да грязноват, не по мне!

— Мишель, у него часы.

— У-у, легавый! Думаешь, ты первый ткнул! Все тычут, все советуют! Иди, мол, в сапожники, в артель инвалидов. Догнивай в сапожниках, харкай остатками крови, что осталась. Не всю пролил!

— Мишель, ты зря треплешься... У него — часы.

— За такую б... жизнь да держаться! Держись ты, сволочуга, а советы не давай. Не то подвернешься — язык отхватят... Пошли, Короста!

— А часы?.. Мишель, часы!

— В душу мать с часами! Брезгую!.. Не трожь, Короста. Пусть поймет, гнида, что гонор не только у него есть... Пошли!

— Мишель, это благородно, но не умно.

— Заткнись!

Две тени утонули в темноте. Некоторое время слышался озлобленно сипящий голос Коросты, смолк и он.

— Быстрей, парень, быстрей... — обрел дар речи Штука. — Как бы не одумались и не вернулись.

Федор поднял мешок с земли, бросил угрюмо:

— Пошли.

— Ну-ка, вот чудеса-то, знакомого встретил... Удача... Только шевели ногами, ради всего святого, шевели. Одумаются...

Федор молчал.

За время войны таких, как Мишка, мимо Федора прошли сотни — в одном окопе, из одного котелка, под одной шинелью, и общая опасность быть похороненным в братской могиле. Мишка не самый близкий из них, были такие, с кем больше прожил, больше пережил, крепче сблизился. И все-таки пакостно на душе, словно встретил не давнего знакомого, а брата-бандита.

До сих пор Федор по своему адресу, по адресу других фронтовиков слышал лестное: «Прошли суровую школу». А это считай — война воспитывает, война очищает от скверны, война, словно ледяной душ, закаляет человека, она чуть ли не облагораживает общество. Но так можно считать облагораживающими чуму и повальную оспу. Война не эпидемия — несчастье вдвойне. И не только потому, что при чуме остаются хоть целыми города и села, а в войну они превращаются в пожарища. Несчастье войны еще и в том, что рождается пресловутая формула: «Война все спишет!»

Ходит по ночным дорогам вокруг подмосковной станции Мишка Котелок, старый товарищ, и, помнится, неплохой товарищ... Ходит прячась, носит в кармане финский нож. Он уверился — дешева же бывает человеческая жизнь, как своя, так и первого встречного.

— Здесь,— сказал Штука, останавливаясь возле одной калитки. — Ух, гора с плеч...

Из-за изгороди тянуло травянистой прелью и почему-то бражным запахом моченых яблок.

27

Дома в пригородных дачных поселках — по ним можно угадывать не только характер теперешних жильцов, но и историю многих поколений.

Большинство домов — новые. Они говорят о преуспевании их хозяев — работали ли они на Севере, получая высокую северную надбавку, выдвинулись ли они на научном поприще или, пользуясь военным временем, спекулировали картошкой, откладывая в заветные чулки

мятые рублевки и сотенные,— и вот вам шиферная крыша, дощечка у калитки, предостерегающая: «Во дворе злая собака», и хозяин-пенсионер пьет чай с ягодами из собственного сада.

Старые дома... Одни обросли надстройками, мансардами, времянками, семья, возведшая в кои-то годы крышу, разрослась, расплодилась, раскололась на много семей, каждая заводит свое хозяйство, теснит других, отвоевывая площадь, ссорится, судится, обносит заборчиками крошечные участки... Надстройки, мансарды, сараюшки...

Но есть старые дома, которые когда-то служили одной большой монолитной семье, и она не разрослась, не расплодилась, а, наоборот, разбрелась по свету, повымерла. В таких обычно запущенный сад, ветхая крыша, требующая ремонта, кладбищенская тишина, и среди всего этого многолетний абориген коротает последние дни с каким-нибудь юным отпрыском, который ждет не дождется, когда у него отрастут крылья, чтоб улететь из родового гнезда. В суетливый мир, подальше от кладбищенской тишины!

Дом, куда попали Федор со Штукой, как раз был старый и незаселенный. О его возрасте можно было судить по двум дубам, которые, верно, посадили по обе стороны крыльца в год строительства. Дубы вымахали, уже кладут на обветшавшую крышу свои ветви в ржавой шелухе прошлогодних листьев. Стволы дубов корявы и узловаты, корни оплели землю, вспучили каменные ступени крыльца. Эти каменные плиты стесаны ногами многих поколений. Сколько раз по ним выносили почивших в мире жильцов, их топтали ноги детей, которые вырастали, наливались силой, старились. Сам дом — большой, темный, но не угрюмый, старый, но еще не совсем ветхий, напоминающий о почтенном долголетии, но не о смерти.

А внутри, под крышей, на мозолистом от сучков скрипучем полу, дремлют вещи бабушек и дедушек — секретеры с бронзой, шкафы на львиных лапах, кресла с высокими резными спинками и — чопорный сумрак и седая пыль. Где-то шла война, горели города, самолеты сбрасывали бомбы, а секретер с бронзой уютно стоял в углу, и в его ящике, должно быть, лежала и лежит сейчас забытая связка писем — прабабушка писала своему жениху. И быть может, она сообщала о литературной новинке, «Севастопольских рассказах», написанных неизвестным

молодым офицером, носящим родовитую фамилию графов Толстых. Горели города, окопы рылись на берегу Волги, а секретер стоял... Стоял старый дом... Не раз снаружи неистовствовал грозовой дождь, а в комнатах сухо.

Хозяева дома — дед, дочь, внучка — эстафета поколений. Дед высокий, седая, в голубизну, голова, черные, густые, строгие брови. На желтом, измятом мелкими мягкими морщинами лице — тихая, предупредительная доброта. Глядя на его кроткие вылинявшие голубые глаза, на невнятную скорбинку в складке блеклых губ, становилось неловко за всю ту грубость, к какой ты прикасался в жизни. Тебе случалось сквернословить, видеть, как убивают людей, видеть кровь, трупы, спать в грязи, искать вшей в нательной рубахе. Казалось, этот человек ничего такого не знал, прожил святым. Но это только казалось. Что-что, а кровь и смерть, наверно, видел и он, и видел немало. Он был врачом, основал большую поликлинику в этом поселке, когда-то его имя пользовалось известностью, теперь на пенсии, обременен старческими недугами, не выходит за калитку, забыт всеми.

Дочери его — лет сорок, она тоже врач в отцовской поликлинике, у нее пугающие суровостью брови, носит короткую прическу, одевается неряшливо, говорит резко и решительно, напоминает делегаток-общественниц двадцатых годов. Вечерами она приходит усталая, с запавшими глазами, молчит... Штука робел перед нею, пожалуй, не меньше, чем перед Мишкой Котелком, прячущим в кармане финку.

Третий член семьи — внучка, девчонка лет тринадцати,— круглое румяное лицо, льняные волосы, как у матери, острижены коротко, по-мальчишески, чистые голубые глаза... Для нее появление рабочих-маляров — событие.

Федор и Штука, почти не сговариваясь, решили не затевать никаких новшеств:

— Умоем дом, омолодим — и дело с концом.

Работали не спеша, проникновенно, не заботясь о времени, невольно подчиняясь покойному ритму старого дома, для которого день или месяц — одинаково малые величины в вековой жизни.

И была какая-то успокаивающая прелесть в том, чтобы за трещинами, копотью, пятнами, за грубой побелкой, сделанной каким-то случайным маляром-халтурщиком, за

всеми старческими морщинами угадать молодое лицо дома, осилить время, повернуть вспять.

Лепное украшение на потолке все покрошилось, но Федор по жалким остаткам лепки понял рисунок и долго торчал на стремянке, возился с алебастром — восстановил.

Штука сказал одобрительно:

— Ты — парень с соображением.

А старик хозяин грустно сменился в лице:

— Я его по детству помню, только по детству... Давно забыл, и прочно. Как вы догадались, что оно именно так выглядело? Вы чудодей.

Федор был горд.

Возле них постоянно вертелась внучка старика, следила, как во дворе разводили купорос, как сдвигали с места многими десятилетиями не тревоженную мебель, как Штука на плите варил вонючий клей. У нее под светлыми ресницами мягко лучились глаза, в изгибе тонкой шеи — что-то хватающее за душу, доверчиво-ласковое, в пухлых губах — перешедшая от деда добрая складочка. Девочка ходила за Федором как собачонка, поминутно заглядывала в глаза, ждала чудес. Федор наслаждался этой привязанностью.

За книжным шкафом он нашел лист твердой и желтой, как слоновая кость, бумаги — она, кажется, так и называлась в свое время — «слоновая», приколотил ее драночными гвоздями к двери, которую обрабатывал для шпаклевки.

— Садись,— сказал он девочке,— нарисую тебя.

— А вы умеете?

— Умею.

Штука охотно бросил работу, пристроился рядом.

Девочка уселась, натянула на колени подол юбки, насмешливо фыркнула и застыла, пугливо мигая ресницами.

У Федора под рукой был огрызок плотницкого карандаша, который оставлял на бумаге туманно-мягкие, широкие штрихи и почти невидимые ломкие линии. На глаза под ресницами легла тень, щеки, волосы чуть намечены, губы сдерживают рвущуюся наружу улыбку...

Шаркая сваливающимися с сухих ног тапочками, вошел старик. Постоял, кашлянул смущенно и тоже присел рядом со Штукой. Штука хвастливо объяснил:

— Талант... Все может... На улице парня нашел. У меня глаз наскрозь видит.

Старик не ответил. Слышно было лишь, как нервно шуршит по бумаге карандаш. Девочка, пораженная вниманием взрослых, посерьезнела, перестала кривить губы в улыбку, но на бумаге так и осталось — губы сдерживают смешливость.

— Да, талант,— согласился старик.

— На улице себе помощника подцепил...

Набросок был мягок, скуп, пластичен, но в нем не хватало чего-то ударного — слишком гладок и ровен, как прописная буква, написанная без нажима.

Федор сунул в карман плотницкий карандаш, из бумаги скрутил жгутик, набрал на кончик сажи из тюбика, досуха вытер, тронул глаза под ресницами — и глаза стали темными, лучистыми, глубокими.

— Ах ты жучок охристый! — восторженно стукнул Штука кулаком по тощему колену.

— Да, талант,— снова повторил старик.

Внучка, сорвавшаяся со стула, стояла перед своим портретом, пунцовая от гордости. Удачу портрета она принимала как свою собственную.

— Вы не подарите его нам? — попросил старик.

— Это ее собственность,— кивнул Федор на девочку.

— Теперь в моей коллекции — последний портрет. Наверняка последний...

Старик привел всех в свой кабинет, уютный и еще более старомодный, чем любая из комнат этого дома. Чуть ли не треть его занимал письменный стол, тяжелый, как саркофаг,— вещь, преодолевшая время.

На вытертом сукне этого стола старик рассыпал старинные миниатюры, рисунки, не менее старые фотографии на паспарту с вытисненными изображениями фирменных медалей — всё портреты, солидные мужчины с бородами, с бакенбардами, в вицмундирах, сюртуках, женщины с оголенными плечами, с кокетливо-зазывными взглядами.

— Так сказать, генеалогическое древо в разобранном виде,— сообщил старик,— но не дворянской семьи, а семьи русских интеллигентов. — Он задумчиво перебирал портреты, лицо его стало потусторонне отрешенным — ушел в прошлое, на минуту забыл о гостях. — Меня

не интересует генеалогия в чистом виде, выкапывать признаки родовитости — глупое занятие... Мне любопытно, как развивалась одна из маленьких веточек рода человеческого и какие она давала побеги. На одних росли плоды, другие оставались пустоцветами... Вот...

Старик взял в сморщенные руки миниатюру в овальной рамке, на ней — широколицый человек в вицмундире со светлыми пуговицами.

— Вот — корень. Мой прапрадед. Он был крепостным парнем, плотничал, уже в зрелые годы барин-либерал заставил его учиться на архитектора, и он преуспел, построил несколько церквей, вышел на волю, наплодил детей и дал начало династии интеллигентов... Один его сын стал известным горным инженером, второй — врачом, третий — пьяницей по профессии, пьяницей и босяком, позором и несчастьем для всей семьи... А вначале он подавал большие надежды, профессора восхищались его математическими способностями, предрекали — быть ученым. А он стал ходить по трактирам, за рюмку водки издевался над теми, кто подносил, почему-то людям это нравилось... Мне кажется, у него первого из семьи проснулась воспаленная совесть — не захотел жить в достатке, когда кругом нищета. Математикой воспаленную совесть не выскажешь, а он не был литератором, не стал, увы, Достоевским. Больная совесть — несчастье и достоинство русского интеллигента. Лучшие из моих предков болели совестью. Моего двоюродного дедушку сгноили в Александровском централе — был народником, связан с террористами, пытавшимися убить царя, чуть ли не лично знал Желябова. Он тоже мог бы спокойно и обеспеченно жить, тоже подавал большие надежды как медик. Больная совесть... А вот поглядите на этот портрет... Вам, наверное, интересно знать — работа известного художника Кустодиева...

Федор ухватился за портрет — да, работа мастера, скупая, точная, шишкастый лоб, борода Короленко, широкий плебейский нос и печальные глаза стареющего Христа.

— Мой отец... Он не собирался бросать бомбы под царские кареты, не ходил в народ, не участвовал в боях на Красной Пресне... Он всю жизнь был простым земским врачом, пользовался уважением таких профессоров, как Бехтерев... Не чеховский Ионыч — всю жизнь с боль-

ной совестью, всю жизнь воевал с паршой, чесоткой, косностью. Воевал без всякой надежды победить — его больница была крошечным островком среди океана грязи и невежества. Кустодиев был его другом, он нарисовал отца незадолго до смерти. Отец уехал на эпидемию дизентерии, заразился и умер. Умер от нечистоплотной, унизительной болезни. Люди, погибшие такой негероической смертью, скоро забываются. Никто не помнит теперь моего отца... А вот человек пришел в нашу семью со стороны — мой зять, муж моей дочери, отец Оленьки, которую вы только что нарисовали. Он был вирусологом, он уж замахивался на рак, быть может, стал бы одним из тех, кому в конце концов удастся свалить эту страшную болезнь. Но началась война, он одним из первых записался в ополчение, записался, хотя был освобожден по близорукости, хотя в жизни не держал в руках винтовки. Впрочем, винтовку, он, кажется, не держал до самой смерти, умер с лопатой, когда рыл окопы... Рядом с ним в землянке жил какой-то художник-дилетант, увы, не Кустодиев. И этот художник погиб, а портрет нам переслали незнакомые люди... Больная совесть... И у дочери моей та же фамильная болезнь. Она везет на себе поликлинику, работает с утра до ночи, ей нет и сорока, но поглядите — старуха. Девочка, заболевшая неизлечимым нефритом, злокачественная опухоль мозга у рабочего парня — вся жизнь из трагедий, постоянное напоминание о собственном бессилии. Мне кажется, непробиваемо здоровая совесть — не что иное, как отсутствие ее...

Старик взял в руки портрет, нарисованный Федором, долго, долго вглядывался в него, распустив свои мягкие морщины.

— Я скоро умру... — сказал он. — Мою человеческую коллекцию выбросят в помойку... Умру, а жизнь не остановится. Вот и она, наверно, будет мучиться совестью за людей. Как?.. Чем?.. Я уже не узна́ю. Я скоро умру, но мне не безразлична судьба тех, кто будет жить после нас. Ох, как не безразлична!

Вошла мать девочки, как всегда по вечерам утомленная, с бледным в зелень лицом, обрамленным темными волосами, с глазами, горячо поблескивающими из-под суровых бровей. Тяжелой, деревянной походкой она подошла к столу, безучастно взглянула на разбросанные портреты своих предков, сказала глухо:

— А эта, из пятой палаты... женщина с циррозом... скончалась.

И вдруг Штука, стеснительно сидевший на краешке стула, вскочил, взволнованно влез пятерней в волосы.

— А я, как скот, всю жизнь ради рублишка...

И смутился, отвернулся, насупившись.

Старик вздохнул, а женщина обронила устало:

— Давайте пить чай.

Пили чай и слушали радио, передававшее последние известия.

На юге страны закончен сев зерновых...

Коллектив тракторного завода досрочно сдал в эксплуатацию сборочный цех...

Зверства гоминдановцев в Китае...

Из Хиросимы продолжают поступать сведения о последствиях взрыва атомной бомбы: больницы переполнены, смертность не уменьшается, ряд ученых высказывается о влиянии радиоактивного распада на наследственность...

А за окнами, над крышей, шелестели сухой неопавшей листвой дубы. А на письменном столе, сдвинутые в угол, лежали портреты людей — маленькая ветвь в пышной кроне человечества. Давно уже нет на свете этих людей. Сверху — портрет девочки, которая только еще начала жить.

Старик негромко сказал:

— Война кончилась, но война не сходит у всех с языка.

— Не кончилась,— возразила дочь.

И старик вздохнул:

— Что-то будет?..

Нет, не безразлична судьба тех, кто станет жить после нас. Лежит портрет девочки с круглыми щеками и мягким сиянием под ресницами.

Испытания атомной бомбы... Ходят слухи о какой-то новой, еще более чудовищной бомбе... Ходят слухи о том, что женщины в Хиросиме рожают уродов... Влияние радиоактивного распада на наследственность. Что-то будет? Завтрашний день обещает быть сложным.

А он, Федор, живет лишь этим завтра. Ради него он торчит перед мольбертом, во славу его радуется своим успехам, ради него белит потолки со Штукой, чтобы дотянуть, сохранить силы, встать на ноги... А пригодятся ли

его силы, его способности?.. Готовится расписывать на холсте солнечные блики, глубокое небо, сочную зелень, а отец из деревни Матёра жалуется — нет хлеба. Собирается создавать полотна, воспевающие величавость планеты и благородство людей, а где-то на секретных заводах даровитые люди начиняют бомбы ужасной смертью. И запасов этой смерти копится все больше и больше.

Часы на стене неторопливо качают медный маятник, отсчитывают секунду за секундой — крохотные шажки вперед, в неизвестность. Шевелят листвой дубы за ночным окном, они так же шевелили ею и забытыми зимами прошлого века. Портрет девочки лежит на столе. Сама девочка спит в соседней комнате, спит крепко, счастливая своим неведением. Где-то неподалеку ходит Мишка Котелок, ожесточившись против людей...

Радио деловито сообщает новости со всего земного шара.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Памятник Пушкину напомнил вдруг Федору окоп, пропеченный солнцем, кирпичную школу, двор, исковырянный снарядами, усеянный белыми листами бумаги, катающийся от взрывов глобус — макет голубой планеты — и дядю Ваню из книги, заброшенной на бруствер. Бывают же странные ассоциации.

В холодной, нетающей сетке падающего снега горели теплые фонари. Снег покрывал бронзовые кудри поэта, его крылатку, землю — близкую, но недоступную с высоты гранитного постамента. Близкая — три метра от бронзовых туфель. Недоступная — три метра и вечность.

Поэт должен завидовать Федору — Федор на земле, живой среди живых.

А ведь был когда-то окоп, осыпающийся песок, неприкаянно мечущийся глобус и растерзанный дядя Ваня, ужасающийся, что ему еще много лет осталось до смерти. Федор свирепо завидовал ему, не знающему, что́ такое вой снарядов. Завидовал тем, кто после него будет жить. Счастливцы из счастливцев. После него...

Окоп во дворе школы — он теперь далек и неправдоподобен. И ходят вокруг те счастливцы, которым завидовал.

Бронзовому поэту невдомек, что вот уже два года прошло, как отменили карточки,— входи в булочную, вынимай деньги и покупай хлеб сколько нужно, ешь досыта...

А из деревни пишут — умер Алексей Опенкин, на всю Матёру теперь остался только один мужик, отец Федора...

Разрушенные войной города, давно уже прибрали со своих улиц битый кирпич, сровняли воронки, залили их гладким асфальтом. Руины обрастают стеклом и бетоном. И, наверно, та разбитая, сожженная школа, возле которой был вырыт окоп Федора, сияет обновленными окнами, где-то внутри стоит новый глобус и на новых полках хранятся новые издания чеховского «Дяди Вани» рядом с томиками Пушкина.

Бронзовый поэт, твое имя чтут, вот и сегодня, среди зимы, кто-то положил у твоего заиндевелого пьедестала скромный букетик живых цветов. Книги твои держат миллионы рук, стихи сейчас доступны каждому.

Идут люди мимо бронзового Пушкина, большинство из них сыты и тепло одеты, они уже забыли такие слова, как «похоронная» и «комендантский час».

Окоп и неприкаянный глобус в прошлом, а дядя Ваня стал чуточку понятнее.

Мельтешат частые снежинки, и горят фонари. Пробирает холод, и кричит мороженщица:

— Мороженое! Мороженое! Горячее мороженое!

Вырос как из-под земли Лева Православный:

— Ты один?

Лохматая собачья шапка с опущенными ушами, запотевшие стекла очков, под носом мокро, плечи подняты, руки без перчаток глубоко засунуты в дырявые карманы, на месте стоять не может — с ходу начинает приплясывать солдатскими ботинками с загнутыми носами: «Жил Чарли безработный, ходил всегда голодный...»

— Опаздывают, черти... Скучал?

— На памятник любовался.

— Старик! Ты мне напомнил!.. Сейчас в одном доме видел фотографию проекта памятника Юрию Долгорукому, основателю Москвы-матушки...

— Ну и как?

— Князю по-княжески — и жеребца, и сбрую, и латы...

— Почему это считают, что основать что-либо можно только верхом на жеребце да в латах?

— Вот именно, старик, вот именно! Основал-то Москву какой-нибудь мужичок-лапотник, не мечом, а топориком. Я посмотрел и даже расстроился...

— Обиделся за мужичка с топором?

— Старик, тому древнему мужичку плевать. За себя обиделся!

— Ты-то в чем виноват?

— Говорят — потомки рассудят. Потомки — высший критерий справедливости. А мы как рассудили — мужичка в шею, князя на жеребца. Я же тоже вроде потомок... Обидно... Ну, где же все?

Сговорились идти в гости к одному любителю живописи — Эрнесту Борисовичу Милге. Вече Чернышев провожал на вокзал армейского друга, Лева Слободко ехал из дому от Сокольников, Иван Мыш задерживался на каком-то заседании. У всех причины, но уже все сроки вышли. Холодно.

— Мороженое! Мороженое! Горячее мороженое!

«Жил Чарли безработный...»

Первым наскочил на Эрнеста Борисовича Милгу Лева Православный, а на следующий день он потащил к нему всю компанию — Федора, Вячеслава, Слободко и Мыша.

Это случилось недели три назад. С тех пор частенько заглядывали в гости.

Милга — ученый с громким именем, член-корреспондент Академии наук, в каком-то институте руководит лабораторией биохимии. У него — самая большая в Москве из частных коллекция современной западной живописи. Он эрудит в этой области, не так давно высокие специалисты ездили за консультацией к нему. Теперь ездят неохотно — западная живопись, да еще современная, не в ходу. Эрнест Борисович с высокими специалистами обходится довольно холодно, любит молодежь — чем богемистей она, тем больше может рассчитывать на гостеприимство.

В первый раз Федор шел, как в храм, ждал — обступят его со всех сторон чинные полотна, тяжелые рамы

в тусклом золоте, мудрые лики с портретов. Шел, как в храм, с молитвенным настроением. Одно то, что его, паренька из глухой деревни, вчерашнего солдата, принимает у себя в доме известный ученый, настраивало на серьезный лад. А кроме того, этот ученый разбирается и в искусстве, а перед людьми искусства Федор — перенял от Саввы Ильича — готов рабски преклоняться.

И он был оглушен, ошарашен...

Да, по всем стенам картины. Да, многие из них под стеклом, в тяжелых позолоченных рамах. Но какие картины!..

Полотно. На нем зигзаги, кровавые восклицательные знаки, круги, кубы, линии — мешанина, хаос до сотворения мира или, наоборот, хаос после всемирного крушения, после Страшного суда.

Полотно. В углу глаз, в другом углу нос и ухо, руки, искривленные, как от проказы, губы, зубы, дым!.. Оказывается, всего-навсего портрет.

И еще полотно... Написано гладко, добросовестно. На спеченной, потрескавшейся земле — дохлая лошадь с раздутым брюхом и поднятым копытом. На копыте сидит нарядный мотылек. И цвет паточный, желто-розовый, сладкий, трупный. Кажется, в комнате спертый воздух — ну и ну, любуйся до блевотины. Ничего не поделаешь — сюрреализм,— есть и такое направление в искусстве.

Хозяин тогда на минуту задержался в другой комнате, не сразу вышел.

Федор с нетерпением и робостью ждал его. Что это за человек, который может наслаждаться дохлой лошадью, из часа в час, изо дня в день глядеть и вспоминать запах падали? Нормален ли он? Верно, появится какой-нибудь издерганный сумасшедший — глаза налиты кровью, рот перекошен, слюна пузырится на губах. Может, сумасшедший, а может, шутник, явится с ухмылочкой — каково, мол, вас пугнул, хе-хе, храм, молитвенное настроение...

А появился приземистый лысый мужчина — из-под пижамы выступает брюшко, в разрезе ворота густоволосатая грудь, маленькие женственные руки на тыльной стороне и на запястьях тоже волосаты, выбритый до морозной синевы подбородок суровой лепки и пристальные, покойные, навыкате глаза.

Протянул каждому руку, сказал просто:

— Здравствуйте! Здравствуйте!

При цепком пожатии пытливо заглядывал в зрачки, словно прицениваясь: кто ты есть, сколько стоишь по человеческой расценке? Поздоровавшись, спокойно уселся под поднятое копыто дохлой лошади, увенчанное нарядным мотыльком.

А Федор испытывал болезненный разлад в душе: нормальный, по всему видать — умный, член-корреспондент академии, не шути... Как понять? Чем объяснить, почему он серьезно относится к своим диким картинам? Легче бы себя чувствовал, если б смог отмахнуться,— туп, ограничен, манерничает. Нормальный, а всерьез принимает сумасшествие,— где логика? Федор страдал, а вместе со страданием росло звериное любопытство.

Высшей похвалой Эрнеста Борисовича была фраза: «Свежинкой попахивает». Те из молодых художников, чьи работы удостаивались этой похвалы, сразу же испытывали на себе горячую благосклонность любителя ультрановых направлений. Их картины Эрнест Борисович покупал, вешал на видное место рядом с холстами прославившихся на Западе мастеров. Правда, эта благосклонность не отличалась постоянством. Через какое-то время Эрнест Борисович открывал нового гения. «Свежинкой попахивает...» И расхваленные недавно шедевры перевешивались куда-нибудь в угол, покрывались пылью, а потом исчезали совсем.

Лева Слободко написал недавно широкое полотно — «Гибель аса». От края до края все пространство занято кубиками, означавшими город с высоты птичьего полета, а над ними — белая спираль падающего самолета. Форма новая, подоплека реальная — «свежинкой попахивает». И Леве Слободко раскрыты объятия, его друзья всегда желанные гости в доме Эрнеста Борисовича, для них — накрытый стол, водка на столе, книжный шкаф, забитый монографиями о художниках всех времен и народов.

Здесь в комнатах, покрытых коврами, можно не смущаться разбитых ботинок, под которыми остаются лужицы растаявшего снега. Разбитые ботинки, залатанные штаны, обтерханные карманы — неизбежная принадлежность созревающего таланта. Лева Православный пользовался бо́льшим уважением хозяина, чем Вячеслав Чернышев, на котором костюм всегда сидит щеголевато.

И конечно, здесь — полная свобода слова. Считается — почетно сокрушать авторитеты. Можно, если сочтешь нужным, обложить и самого хозяина. Но хозяин и сам зубаст, говорит негромко, вежливо, взвешивая и оттачивая каждую фразу.

Сейчас он вышел, сияя розовой лысиной, торжественно выставив свой сурово-сизый подбородок, кривя сочные губы в улыбке:

— Милости прошу. У меня есть новинка... Сборник самых последних работ, выпущенный в Лондоне. Очень любопытно...

Конечно, очень... Тесно уселись вокруг низкого журнального столика, Лева Слободко на правах признанного гения — в свободной позе, перекинув ногу на ногу, выставив на обозрение громоздкую меховую пиму. Лева Православный все норовит зарыться носом и очками в книгу. Федор ревниво оттесняет его плечом:

— Ну-ка, сдай назад. Ты не один.

Прямо в затылок Федору дышит Вячеслав. Он провожал на вокзал фронтового дружка, от него тянет спиртным. Иван Мыш чинно сложил на коленях руки, теснит ноги в сторонку, но все-таки занимает много места. Эрнест Борисович с невольным почтением разглядывает его широченную спину и налитый кровью загривок.

Эрнест Борисович терпеливо ждет...

В книге, в красных и черных тонах,— человек с распоротым животом, оскаленное лицо, вывалившиеся внутренности. Что там лошадь с поднятым копытом!

Болезненный разлад в душе Федора. Такие картины печатают. Значит, они кому-то нравятся, доставляют наслаждение. Что-то дурное происходит в мире. Что?.. В искусствоведческих статьях об этом говорят походя, словно огрызаются: «Растленное искусство». Но почему растленное? В чем причина? Расскажите! Раскройте! Нельзя жить в неведении! А ученые-искусствоведы наставляют: учитесь у классиков, вот Шишкин, вот Васнецов,— полюбуйтесь, как хорошо: заросшие пруды, лесные опушечки, былинные богатыри... Романтизм в рамках приличия, реализм, понятный и уютный, как хорошо разношенный ботинок. И вопит человек с распоротым брюхом... Это не у нас вопит, это там, за границей,— для нас

не страшно. У нас полное благополучие и покой... Вопит человек, вывалились внутренности... Тот, кто может любоваться этим, непонятен, как житель Марса. А любуются, восхищаются, раскупают дорогие книги... Вопит оскаленная рожа... Судя по их картинам, там, за кордонами, по улицам бегают толпами помешанные, кусают друг друга, заражают бешенством. Но ведь этого нет — и там нормальные люди. Нормальные люди и ненормальное искусство! А почему? В чем причина?

Федор оттесняет плечом подслеповатого Леву Православного. В затылок сурово дышит Вячеслав Чернышев — он тоже взволнован, тоже расстроен.

А под поднятым копытом раздутой лошади, в окружении странных, неистовствующих, не земных, а каких-то чудовищно марсианских картин сидит Эрнест Борисович Милга, щурится, позевывает, скребет волосатую грудь. Он спокоен, он ждет терпеливо первого слова. Первое слово — сигнал к спору. Тут уж Эрнест Борисович займет свое место в компании.

2

Первым подает голос Лева Слободко. Даже ему, видать, стало не по себе.

— Все-таки слишком... Вот оно — вырождение реализма. Скатились к воспеванию распоротых животов. Лишнее доказательство, что будущее за абстракционизмом.

— Тех же щей, да пожиже влей,— подбрасывает Вячеслав. — Что абстракционизм, что вот это, как его, сюр — одинаково несваримо.

Эрнест Борисович зашевелился, вместе с креслом отодвинулся от стены, поближе к компании.

— Пора бы знать, что человеческий желудок изменился, не принимает сырого мяса,— авторитетно обрезал Слободко.

— Сырого не принимает, зато падаль с ароматами — пожалуйста,— Вячеслав кивнул на дохлую лошадь.

— Мой милый питекантроп, твой каменный век кончился,— объявил Слободко. — Если раньше наивного человека умиляло тщательно изображенное перышко или пуговичка, то теперь он знает, что точнее, лучше художника

его изобразит объектив фотоаппарата. К черту конкретность! Нужна мысль в чистом виде.

— Хотел бы я видеть, как выглядит портрет маслом, скажем, такой мысли: «Я человек, и все человеческое мне не чуждо».

— Блин! — обронил Эрнест Борисович.

По его терминологии слово «блин» означало упрощенно-грубый ответ. Вячеслав круто повернулся к нему:

— Разумеется, хозяин драгоценной монографии, с которой мы только что ознакомились, не согласен.

— Разумеется.

— И на основании?..

— Основание простое — нельзя забывать, что человек проник уже в атом.

— Мне это тоже известно.

— Проник в то, что не только нельзя увидеть и ущупать, а даже вообразить. Попробуйте-ка вообразить, например, такое нелепое чудовище: оно вещественное тело и в то же время и нечто вещественно неощутимое — волна. И то и другое, учтите, в одном лице. Вообразили? Невозможно! А это чудовище существует, оно — световой квант. Даже самая пылкая фантазия бессильна там, где всесильна абстрактная мысль.

— Любопытно. Пасую перед вашей эрудицией, но не вижу связи с искусством.

— Связь прямая. Вы абстрактно мыслящим людям, тем, кто оседлал квантовую механику, преподносите конкретное, как ватрушка, искусство.

— Съел? — восторжествовал Лева Слободко.

Эрнест Борисович продолжал:

— Шахматному гроссмейстеру тупая игра в поддавки не доставит удовольствия. Современному человеку скучно от наглядных пособий, какими его пичкают...

— ...неандертальцы от искусства, называющие себя реалистами,— подхватил Лева Слободко.

— А реалисты ли они? — усомнился Эрнест Борисович. — Обстановки-то реальной не понимают: живут не современностью, а ушедшим прошлым.

— Браво! — Слободко торжествовал.

— А по-моему — блин,— спокойно возразил Вячеслав.

— Докажите обратное,— Эрнест Борисович откинулся в кресле.

— Попробую... Вот вы мне обрисовали невоображаемый портрет светового кванта, а я в знак признательности хотел бы преподнести, так сказать, массовую картинку. Представьте себе: прошлый век, засуха, хлеба выгорают, жди голода. Представьте... Это не квант — доступно воображению... Чтоб умилостивить господа бога, выносят какую-то чудотворную икону. Со всех сел и деревень сходится народ. Теперь представьте в толпе барыньку, почтительно, до обмирания несущую икону. При этом спесь, надутость и сбоку — монстр в армяке, телохранитель, отпускающий зуботычины, чтоб не напирали на барыньку. Тут и мужики, которые сподобились тащить аналой,— дремучие бороды, низкие лбы, тупая озабоченность, чтоб не оступиться. И среди них парень придурковатый — челка на глаза, рукава свисают. Тут и две бабы с обмиранием, с почтением, с подобострастием кликуш несущие футляр от иконы. И батюшка в золотой ризе, борода веником — бабник, сердцеед. И толпа людей — баранье стадо,— толкающаяся, бранящаяся, пахнущая пóтом. А над ней, как над баранами, занесенные кнуты. И нищая братия — странники по святым местам — во главе с горбуном, опирающимся на костылик...

Лева Православный не выдержал, умилился:

— Старик, ты поэт.

Лева Слободко поморщился:

— Репин! Козырной туз современной рутины.

— Да, Репин! «Крестный ход»! Русь выползла под солнышко! «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная», вшивая и золоченая, кроткая и бунтующая. Каждый образ толкает на размышления, а все вместе — целая философия. Гляди, вникай и разрабатывай учение, как поднять общество от животного состояния. Погляди, переболей,— вот они, конкретны, наглядны, пóтом воняют,— переболей, а уж там абстрагируй, обобщай, выводи общественные формулы... Эрнест Борисович, сколько времени висит у вас эта, с позволения сказать, картина? — Вячеслав указал на картину: зигзаги, кровавые восклицательные пятна, круги, квадраты — хаос.

— Месяца три.

— Три месяца... А признайтесь по совести: появилась ли за эти три месяца под впечатлением такой картины хоть одна абстрактная мысль, пусть даже не общественно полезная, пусть для домашнего обихода?

— Картина вызывала у меня определенные настроения, как-то тревожила меня.

— И только-то?

— Но не всякое реалистическое произведение вызывает мысль. Вы любите Левитана?..

— Да.

— Вспомните «Стога» Левитана. Какую они вызывают мысль? Самое бóльшее: «Хорош, черт возьми, вечер!» Настроения — вагон и маленькая тележка, а мысль не стоит и выеденного яйца.

— У Левитана есть и «Над вечным покоем». От этой картины уходишь, согнувшись от мыслей.

— Так что ж, «Над вечным покоем» — искусство, а «Стога» — нет?

— Не знаю. Но назовите меня рутинером, а я за искусство, будящее мысль, то, что надо современному абстрактно мыслящему человеку. Мысль, вызывающая к жизни великие идеи, социально преобразующая общество. Или вы против этого?

— Я — за,— ответил Эрнест Борисович.

3

Как-то Федору в детстве попала в руки книга — популярное изложение по астрономии, на черной обложке — красный шар неведомой звезды.

Знал до сих пор — окуневые заводи на речке Уждалице, рыжики в ельнике за мостом, с самим солнцем был запанибрата.

И вдруг узнал... Каждая звезда — солнце. Рассыпано солнц по Вселенной больше, чем песчинок на речной косе.

Солнце — песчинка? А земля? А деревня Матёра? Чем ее измерить? А он, Федор, живущий в этой Матёре? Совсем, считай,— пустота?

Свершилось великое событие — парнишка из деревни Матёры с ободранными коленями столкнулся с мирозданием. Для мироздания это прошло бесследно, для парнишки — нет. Он заболел, его мучил навязчивый кошмар.

Красный шар наползал на него, красный шар в беспросветно-черной, загадочной ночи, сам загадка — тайна

из тайн. И казалось — вот-вот немного, и Федор поймет. Чуть-чуть, нечеловеческое усилие, и огненный шар станет ручным... Федор просыпался в липком поту...

Сейчас шел спор о знакомом и не до конца разгаданном мире — шел спор об искусстве. На протяжении многотысячной истории человечества, начиная с первобытного охотника, который на стене темной пещеры при свете костра изобразил недавно убитого бизона, кончая Федором, искали и ищут ответ на тайну: что есть истина? Миллионы людей разных эпох, не заурядных, а самых талантливых, пытались ответить на вопрос — что есть истина в искусстве?

Сейчас Федор слушает спор замирая, словно заглядывает в пропасть. Чуть-чуть, еще усилие — и упрямая Вселенная ляжет у ног...

Ах, Вече! Ах, золото!..

Барынька, чванливо несущая икону... Вот-вот, кажется, хватает за хвост!

Вглядись в эту барыньку, вникни, и она выбьет искру в мозгу. Искру! Мысль! Ради этой искры и живет искусство. Искра — вот она, истина!

Ах, Вече! Ах, молодец! Еще чуть-чуть! Еще чего-то не хватает...

Барынька, монстры в армяках, батюшка в золотой ризе, кнуты — искорка за искоркой, и уже пламя, уже философия. Как просто, как ясно — все стало на свои места. Нет путаницы.

Ах, Вече! Варит котелок!

Но «Стога»?.. Нет барыньки, нет монстров — стога, луна, мокрая трава... Запахи, а не мысли.

И Федор спросил:

— Мысль, Вече? А может, что-то другое?

Вячеслав насторожился — Федор не часто нарушал молчание.

— И ты, Брут?.. Но ты-то хоть признаешь, что живопись не духи́ — нюхнул, насладился, забыл. Должно же искусство как-то совершенствовать человека?

— Должно.

— А чем можно еще совершенствовать мыслящее животное, как не развитием его мыслительного аппарата? Только через совершенствование человека искусство и участвует в истории, только так оно помогает социальным преобразованиям.

— Блин! — снова возразил Эрнест Борисович. — Послушай вас — и перестанешь различать паровую машину Уатта от шедевров Делакруа.

— Верно, Вече,— согласился Федор. — Машина Уатта заставила поумнеть как рабочего, так и фабриканта. И, наверное, больше, чем работы Делакруа.

— Куда ты гнешь, Брут?

— К простой мысли: человек совершенствует не только свой мыслительный аппарат, но и какие-то другие качества...

— А именно?

— Ну чуткость, ну честность, ну то, что обычно называется человечностью. Мало ли встречается людей — умны, но сволочи,— пробы ставить негде.

— И как же, по-твоему, искусство лечит от сволочизма?

— Скажем, по принципу — удивись и вздрогни.

— Это еще что за принцип?

— Я — зритель. Я в жизни тысячу раз видел лунными вечерами стога сена. Видел, но как-то не так, не по-левитановски. Проходили мимо без следа. И вот картина — вздрогни и удивись, сколько ты пропустил мимо, как много не заметил. На меня, зрителя, как бы находит, прости за высокопарность, озарение. Я после этого и в жизни начинаю замечать больше, становлюсь более чутким...

— К стогам в сумерках, к вечеру, к луне?..

— К стогам, к вечеру, к природе... Эта чуткость западает, становится привычкой, моей натурой, переносится с природы на людей, мое поведение в жизни меняется...

— Армия Спасения на мою бедную голову,— произнес Эрнест Борисович.

Все обернулись к нему.

— Один заподозрил меня в скудности мышления, другой силой навязывает нравственность,— продолжал Эрнест Борисович. — Я, быть может, недостаточно умен и не совсем нравствен, но ум я как-нибудь приобрету, читая научные книги, нравственность прививается законами морали. Кстати, моим нравственным багажом я обязан не великим художникам, а моей доброй маме, которая, увы, не была сопричастна ни к какому виду искусства.

— Вам хочется просто нюхать духи? — спросил Вячеслав.

— Когда я покупаю билет в консерваторию на концерт Чайковского, то меньше всего думаю, чтобы получить за свои десять рублей пуд лишней нравственности или килограмм общественно полезного ума. Я иду, чтоб насладиться. Моя жизнь становится красивой, приятной, заполненной. А если это произойдет со всеми, то можно ли сомневаться, что композитор и исполнители совершили общественно полезное дело? Тот, кто способен доставить наслаждение народу — не низменное наслаждение, а высокое,— такая же социально полезная фигура, как прогрессивный философ.

— А это вы повесили тоже для наслаждения? — спросил Вячеслав, указывая на картину — дохлая лошадь с поднятым копытом.

— Она по-своему действует па меня,— спокойно ответил Эрнест Борисович.

— И как? Приятно?

— А разве только приятное заставляет наслаждаться? В ваши годы я уходил из МХАТа в слезах, перестрадавший, измученный и благодарный за эти мучения. Перед следующим спектаклем я снова стоял в очереди за билетами. Есть наслаждение в бою.

— В бою, в действии, в жизни! Но если человек наслаждается видом падали, то я неизбежно начинаю подозревать в нем наличие патологического извращения.

— А скажите, чем приятны кровавые злодеяния леди Макбет? Всякий нормальный человек в жизни старался бы избегать такого, а на сцене смотрит, деньги платит, и не потому, что рассчитывает поумнеть или возвыситься нравственно. Ему интересно, доставляет удовольствие. Назовите это извращением.

— Мне интересны действия леди Макбет — действия, жизнь, а не распухающие в могиле трупы ее жертв.

— Все дело в привычке. Когда-то ценителей искусства мутило от вида босоногого мужика на картине. Здесь... — Эрнест Борисович обвел рукой стены,— разные направления, и вы все их отметаете?

— В общем, все,— согласился Вячеслав.

— Не считаясь с тем, что многим это доставляет неподдельное наслаждение?

— То-то меня и поражает.

— Это потому, что вы, мой молодой друг,— ровесник моему отцу, петербургскому присяжному поверенному Борису Моисеевичу Милге.

— Снесу,— согласился Вячеслав. — Меня называли и ровесником питекантропа.

— Я, например,— продолжал Эрнест Борисович,— не могу пользоваться душевным комфортом моего отца. Для меня — сумерки, стожки, овечки, деревеньки, вся эта дедовская аркадия — анекдот с бородой. Скучно! Я живу в век с сумасшединкой, а потому и мой душевный комфорт должен быть с бесноватинкой. Видите ту картину? Не большую, поменьше...

— Вижу. Бесноватинка умеренная,— ответил Вячеслав.

— И она вам не нравится?

— Сначала скажите, что это?

— «Испанский танец».

— Почему? Откуда это видно?

— Не задумывался. Сочетание черных, красных, желтых пятен напоминает вихрь одежд испанок.

— Почему именно испанский, а не цыганский, не алжирский? Почему именно танец, а не пожар в кустарнике? Тоже ведь похоже. Впечатляет просто бесформенное сочетание цветов. Да, да, и меня впечатляет, и мне нравится. С удовольствием бы голосовал, чтоб наш ширпотреб выпускал такой расцветки галстуки и драпировки на окна.

— Ага!

— Но тогда ваше искусство потеряет право глубокомысленно называться абстрактным, а примет свое законное название прикладного конкретного искусства.

Лева Слободко взвился с места:

— О! Чушь! Баста!

— Доставлять наслаждение похвально, но этого мало, Эрнест Борисович!

— Вече, ты профанируешь!

— Вот, вот,— торжествовал Вячеслав. — Слышите, Эрнест Борисович! Этому прогрессивному деятелю мало доставлять одни лишь услаждения. Хочется большего. Только не знает — чего?

— Свести абстракционизм к драпировочным коврикам — мещанская башка способна такое придумать!

— Старик, чиновник остался без места,— провозгласил Православный.

— Ты-то что подпеваешь? — накинулся на него Слободко.

И Православный ощетинился:

— Спасибо говори, старик, в ножки кланяйся, что твой абстракционизм к делу пристроили.

— А музыка? — Слободко потрясал дюжими кулаками. — Музыка, черти, тоже абстрактна! Абстракт-на!

Эрнест Борисович попытался пробиться:

— Дайте мне сказать... Минуточку...

Какая там минуточка — над спутанной шевелюрой Православного качаются кулаки Левы Слободко.

— Музыку не только как подкладку приштопывают по ходу действия к кинофильмам, к словам песен! Музыка, остолопы, существует и в чистом виде!

— Изобразительное, старичок, изобразительное. Изображать можно не звук, не стон, не содроганье, а что-то вещественное.

— Нас-тро-ение! Самое неуловимое — настроение изображается!

Остро блестят очки Православного, зудяще отзываются оконные стекла на негодующий рев Левы Слободко, рассекают воздух увесистые кулаки. Эрнест Борисович без надежды просит:

— Минуточку...

Иван Мыш все время возвышался, как шкаф, как буддийский бог, только глаза бегают с одного лица на другое. Сейчас он, не меняя серьезной мины, деловито поднялся, шагнул к Православному, взял под мышки, поднял в воздух. Православный извивался и кричал:

— Музыку, старик, не подтасовывай. У каждого искусства своя специфика!..

— Остынь, не рыпайся. Человек спросить хочет.

Но в это время из-за дверей раздался голос жены Эрнеста Борисовича:

— Молодые люди, стол накрыт! Можно и за столом продолжать ваши милые диспуты.

...Чуть осоловевшие от выпивки и плотной закуски, шли вперевалочку по темным и уже опустевшим улицам. Погромыхивали в тишине ботинки Православного.

Слободко дулся на Вячеслава, выставив грудь из расстегнутого пальто, выступал индюком.

— Рассудить по совести, мы изрядные сволочи,— философствовал Православный,— напились, наелись, ковры истоптали, книжки посмотрели и мимоходом обложили хозяина — некумека ты, паршивый любителишка. Старик, ты не чувствуешь угрызений совести?

— Ничуть.

Вячеслав — шляпа набекрень, пальто застегнуто до подбородка, поступь враскачку — и ростом не вышел, и в плечах узковат, а встретишь — дорогу уступишь. Федор позавидовал: никогда не сомневается в себе, ни в чем не раскаивается, прет вперед, не стой на пути — прошибет лбом.

У остановки троллейбуса, под окоченевшей липой, Лева Слободко повернулся грудью на Вячеслава:

— Шабаш! Не возьму тебя больше к Эрнесту.

— Ай, ай, запла́чу.

— Порог не переступишь, сукин сын.

Слободко навис над Вячеславом — выше на полголовы, массивнее, но Федору почему-то жаль его.

— Эх, простота святая,— Вячеслав широко улыбнулся в лицо Слободко. — Все еще ходишь в гениях? А ведь, пожалуй, теперь мой черед с Эрнестом на брудершафт пить.

Слободко стоял, распахнув пальто, смотрел круглыми, остекленевшими глазами.

— Знаешь что?

— Пока нет.

— Давно меня подмывает в морду тебе съездить.

И резко повернулся, толчками пошел прочь, полы пальто летели над подмороженной мостовой.

— Самый веский аргумент,— произнес Вячеслав, глядя вслед убегающему Слободко. — Иван Мыш, перейми опыт, у тебя большие данные.

Православный, ковыряя притоптанный снег носком ботинка, сказал:

— Эх, старик! Не хватает тебе чего-то. Мягкости, что ли.

И Вячеслав не сразу ответил, оглянулся на Федора:

— Ты тоже так думаешь?

— Есть, Вече, в тебе что-то от рельса.

Подошел троллейбус, ярко освещенный, заиндевелый, внутри по-ночному пусто и как-то грустно. Укутанная по глаза кондукторша с неохотой очнулась, выдала билеты.

Отъехали остановки три, прежде чем Вячеслав заговорил:

— Разве вы не чувствуете — мы раскалываемся? Один на одну сторону, другие на другую. В искусстве всегда стоят баррикады. Кто не с нами, тот наш враг.

— Голос рельса, старик, голос рельса, даже Федька признал.

— Считайте как хотите. Нельзя торчать между баррикадами. Кончилось у нас со Слободко корешкование.

4

Уже четыре года Федор стоял у мольберта, много холстов покрыто красками. Исполнилось двадцать шесть лет, лоб пробороздили морщины.

Каждое лето заглядывал в родную Матёру.

Мать, казалось, время не брало, по-прежнему распевала:

Березыньки-то заку́ржавели,
Елочки-то замо́зжевели...

Отец седел и темнел лицом, у него появилось какое-то неподвижно-кремневое выражение, по целым дням молчал.

Он бригадирствовал. Утром обходил деревню от избы до избы, стучал под окнами:

— Настасья, собирайся... Кочкарев луг докашивать.

Бабы его боялись, председатель колхоза тоже побаивался.

Председателем был поставлен из района некий Великанов, тощий, невзрачный, на юношески хрупких плечиках громадная голова, рыжие глазки, рыжие брови, рыжие ресницы, рыжая щетина на одутловатых щеках,— светится, словно мартовское солнышко, безобиден, если и отчитывает, то тонким обиженным голоском. Вчуже становилось почему-то жаль его.

Как-то Федор подслушал — отец угрюмо говорил председателю:

— Ты для нас — зверь хищный.

И председатель, вместо того чтобы обидеться, стал слезливо оправдываться:

— А разве ж я хочу зверовать?.. Рад бы навострить лыжи, да не пускают.

— Все одно беги, пока колхоз не съел.

— Рад бы в рай, да грехи не пускают. Сам не хуже моего знаешь.

Великанов прежде работал на лесопункте, получал оклад тысячу сто рублей. Перебросили в колхоз на укрепление, но чтоб не был в обиде, оклад оставили за ним, только выплачивать обязали из колхозной кассы. А в кассе хоть шаром покати — одни долговые расписки, год от году забирали кредиты. Каждый месяц выводили из скотного корову, забивали, везли продавать, чтоб выплатить председателю положенную зарплату. Тощий, застенчивый Великанов «съел» едва ли не треть стада. Одна надежда, что сам норовит навострить лыжи, долго не удержится...

Матёра слепла. Половина изб стояла с заколоченными окнами. Парни, уходившие в армию, не возвращались обратно. Мужики работали на сплаве. Девчата, подрастая, норовили поступить в ремесленное училище.

Деревня Матёра — избы, ставленные в прошлом веке, мхом позеленевшие крыши. По-прежнему летает над ней тополиный пух, в речке под родниково-прозрачной водой — золотое песчаное дно, и пышный ивняк бросает влажную тень, и горят кувшинки звездочками, и за полями, за ромашковыми лугами в мутноватом мареве голубеют леса... Куда ни глянь — все просится на холст, в руках зуд. «Это русское приволье, это Родина моя...»

Но едва схватишься за этюдник, чувствуешь взгляд отца, молчаливое, угрюмое, медвежье недоброжелательство: «Баб да старух на поле гонишь, мужичью работу ворочают, надрываются, а тут сынок — косая сажень в плечах, загривок бычий — красочками забавляется...» Добро бы отец один так смотрел, а то сядешь под кустом, откроешь этюдник, идут с покосов женщины, начинают похохатывать: «Приноровился в холодке...»

День за днем убывает лето — святое время, когда ты из ученика становишься свободным художником,— твори как хочешь и что хочешь. Каждый студент возвращается с каникул более зрелым, с багажом новых работ.

Лето убывало, а Федор ходил с косой на лесные, зарастающие кустарником покосы, метал на стога сено, гонял жатку в парной упряжке. Работал с ожесточением, порой его даже одергивали бабы:

— Не надрывайся шибко-то, миленький. Не жди, не озолотят.

Отец молча ставит «палки» против его фамилии — трудодни, которые оплатят или нет — бабка еще надвое гадала.

Только рано по утрам, совсем рано, или вечером после работы, чтоб ухватить сбывающий закат, торопливо стучал во врастающее в землю оконце избы старой Марфиды. Высовывался Савва Ильич, бросал радостно:

— С-час.

Выскакивал мгновенно, одной рукой засовывал в карман горбушку хлеба, в другой держал фанерный ящичек с красками, собственноручно сколоченный на манер этюдника Федора.

Бабка Марфида разменяла восьмой десяток в закутке за печью, лишь изредка вылезала греться на солнышко под бревенчатую стену. Прокопченные мощи, всегда пахнущие кислыми щами и дымом, из неподвижного сплетения мудреных, как древняя арабская вязь, морщинок торчал острый нос и не менее острый подбородок. Савву Ильича она звала сыночком, Федора каждый раз с любопытством разглядывала удивительно ясными, не слинявшими глазами, спрашивала:

— А это чей такой молодец?

Спрашивала, если даже видела его вчера.

Савва Ильич год от году ссыхался, глаза и рот ввалились, скулы выпирали в стороны, но по-прежнему проворен, все ощутимей казалось, что от его сухого беспокойного тела идет бесплотный шелест. В колхозе он не работал, на пенсию кормил себя и бабку Марфиду, испытывал всегда острый недостаток в бумаге, изводил ее пудами, в окружающих деревнях почти в каждой избе висел подаренный им пейзажик — неизменные елочки да березки на голубом небе. Иначе где бы хранить ему такую прорву работ?

Как-то он прочитал письма Ван-Гога. О них упомянул мимоходом в письме Федор, а уж где Савва Ильич раздобыл этот двухтомник, который и в Москве-то разыскать трудновато,—один бог знает. Но разыскал, сам рассказывал, что плакал над каждой страницей, наиболее трогательные места выписал в ученическую тетрадку, портрет Ван-Гога срисовал, повесил на стену. Ван-Гог на этом портрете смахивал на покойного Алексея Никифоровича Опенкина, соседа, жестоко болевшего последнее время язвой желудка.

— Вот человек! А? — восхищался Савва Ильич. — Что моя жизнь? Курорт! Не признавали, в шею гнали, гнушались, а не сгибался, пока в сумасшедший дом не упрятали...

Он считал, что его судьба и судьба Ван-Гога чем-то схожи. И однажды даже стыдливо обмолвился Федору:

— А ведь может случиться... И мои работы, которые сейчас навалом лежат в кладовке, будут расхватывать... за большие деньги...

Ввалившиеся глаза в эту минуту сияли робким счастьем.

Федор не разубеждал его.

Федора Савва Ильич считал великим, по-собачьи преданно смотрел в рот, но некоторые этюды Федора, написанные резко размашисто, пугали его. Пугала кажущаяся небрежность, которую Савва Ильич, написавший за свою жизнь многие тысячи аккуратных пейзажиков, не мог выносить. И он, страдая за Федора, боясь за его судьбу, начинал с робостью остерегать:

— Одного бойся — самого себя потерять, стиль свой... Труд-то вроде бы легкий, долго ли избаловаться... Мол, мне все можно — шлеп, шлеп и в дамки. А там спохватишься, да поздно.

Федор подарил ему один из этюдов — темный склон пологой горки в клочковатом кустарнике, на нежно-зеленом закатном разливе — осевшая банька,— все написано пастозно, в корявых замесах краски. Савва Ильич повесил его на стенку, но в угол, подальше от портрета Ван-Гога, походившего на рыжего матёринского мужика Алексея Опенкина. Работ Ван-Гога Савва Ильич не видал не только в оригиналах, а даже в цветных репродукциях, если не считать плохоньких в двухтомнике.

Отец Федора по-прежнему не любил Савву Ильича — не человек, а пустое место. Не любил и не замечал, глядел как сквозь воздух. Мать Федора его привечала — безобидный, блаженный, подобие деревенского дурачка, которого как не пожалеть бабьим сердцем.

То, что Федор работал в колхозе без отказа, смягчало отцовское сердце. По вечерам он присаживался к постели сына, но никогда не заводил разговора о деле, которому Федор собирался отдать свою жизнь,— что с него взять, пришиблен. Отец снисходил лишь до прощения.

Как запев, каждый раз у него были одни и те же слова:

— Что бы ни было — духом не падаю. В плохом — что смысл искать? Смысл-то должен быть в хорошем... — И уж после такого вступления заводил глухие жалобы: — Семена каждый год забирают в счет поставок — добро это? Худо! Обратно везут по грязи, рассыпают по дороге, сколько потерь, а труда лишнего сколько?.. Бабы работают, работают, а домой несут крохи — по триста граммов на трудодень еле вытянули. Добро это?.. Худо! — И кончал опять: — Духом не падаю. В плохом-то смыслу мало, в хорошем ищи...

И было видно, как ему трудно. Не тем, что щи в доме пустые, что в хлебе недостача,— другим трудно — не разглядит хорошее в жизни. Так и умрет, не разглядев... Подбадривал себя— духом не падаю...

А где-то внизу под поветью слышалось:

Березыньки-то заку́ржавели,
Елочки-то замо́зжевели...

Матери всё — трын-трава.

Осенью открылась очередная Всесоюзная выставка графики и живописи. Так что из Матёры — сразу в Третьяковку.

Что ни зал, то обступают размашистые полотна, словно художники задались целью одними лишь размерами холста прославить величие эпохи.

Наткнулся на картину директора своего института. Ему, известному и старому художнику, отведено видное место. Полотно тоже от пола до потолка, нисколько не уступает другим — эпопея: «Колхозная свадьба».

Длинные столы под открытым небом, бутылки, жареные гуси, горки яблок, цветы, бороды почтенных стариков, галстуки молодых, расшитые косоворотки, какие уже давно никто не носит, девичьи платья городского покроя, часы на запястьях, боевые ордена на лацканах, вдохновенные лица, поднятые с тостом стаканы, еще раз жареные гуси, еще раз горки яблок, каравай хлеба на вышитом рушнике, сноп пшеницы в загорелых руках, а в перспективе — улица села, столбы электролиний, окна с узорными наличниками, и ни одно не заколочено.

Какой труд, чтобы выписать все это! Даже серьги в ушах черноокой девицы схвачены так, что, кажется, вот-вот сорвутся, со звоном упадут на паркет.

Зрители, взглянув, проходили мимо — еще один праздник, еще один поднятый тост. Федор стоял — какой труд!

Он вспомнил отца. Что, если б Федор написал такую картину и отец бы увидел ее? Жареные гуси, косоворотки мужиков — виноват, нет мужиков, есть мужчины! — мужчин больше, чем женщин, едят, пьют, блестят орденами, ведать не ведают, что по деревням все еще поют послевоенную частушку:

Вот и кончилась война,
И осталась я одна —
Сама лошадь, сама бык,
Сама баба и мужик.

Что было бы, если б отец увидел?.. А матери, наверное, понравилось бы.

Березыньки-то закуржавели,
Елочки-то замо́зжевели...

Трын-трава...

Зрители проходят мимо чужого праздника.

Вече Чернышев сказал: «В искусстве — баррикады. Кто не с нами — тот наш враг». Лева Слободко не реалист — по ту сторону баррикад. А директор института, того самого, в котором учатся и Федор, и Слободко, и сам Вячеслав?.. Как написана сережка со стеклышками в розовой мочке девичьего уха! Как написана! Ждешь: сорвется — нагнись и подбери с пола.

А с директором по одну сторону баррикад?..

Кто враг и кто друг? И что есть истина?

5

Помнится, спор начался давно...

Помнится, из окна общежития было видно — рабочие снимали со стены соседнего здания военный плакат: «Родина-мать зовет!» Вячеслав сказал тогда: «Москва шинель снимает», а у Федора на гимнастерке еще виднелись невыгоревшие следы от погон.

Тогда-то впервые и заспорили — Чернышев и Слободко не сошлись мнениями. Спор продолжается вот уже четыре года. Федор всегда был на стороне Чернышева.

Нравилось, что Вече хранит в чемодане под койкой комплект журналов «Былое». Нравилось, когда он время от времени снимал с гвоздя гитару и пел:

Слезами залит мир безбрежный.
Что наша жизнь? Тяжелый труд!..

У Вече была какая-то серьезная человеческая основа.

И курсовую работу по композиции он представил: «Кибальчич в тюрьме». Темная мрачная одиночка, сальная плошка освещает кусок каменной стены, на которой углем набросан чертеж летательного аппарата. И бородатый человек в грязном тюремном халате перед чертежом в глубоком оцепенении. Человек, приговоренный к смертной казни за террор, изобретает машину, которая вознесет людей над землей.

Вячеслав сказал: «Кончилось у нас со Слободко корешкование». Его словам можно бы и не придавать особого значения. Не первый раз они ругались, но всегда мирились, всей компанией делали налеты на пивнушки и, конечно, снова спорили, снова не соглашались, но по утрам как ни в чем не бывало здоровались, становились плечом к плечу за свои холсты — один подражал Модильяни, другой — Серову.

И, наверно, снова пошло бы так, как было, если б на следующий день не разразился скандал...

Работали в мастерской. На возвышении уже много дней торчала девица с анемично-бескровным лицом, распущенными волосами, в голубом платье. Она насквозь изучена, приелась — все уже мечтали о новой постановке.

Стояла рабочая тишина, слышался скрип выщербленного паркета под ногами, скребущие звуки мастихина; как всегда, стучал чей-то плохо прикрепленный к мольберту подрамник. Натурщица осоловело мигала, преодолевая дремоту.

Рабочая тишина, добросовестность и еще раз добросовестность. Создавались картины, которые не будут висеть на выставках, о них не станут с пеной у рта спорить критики, ни одной из них не суждено прославиться в веках. Их все свалят в пыльные институтские кладовые — братские могилы многочисленных ученических работ.

Федор писал вяло. Что-то не ладилось у него. Он все сделал, что мог,— где надо, брал подмалевочкой, где надо, лепил пастозно, и тональность соблюдена, и форма

вылеплена, и цвет к цвету как будто подобран верно. Все сделано, но опускаются руки, пишешь, словно читаешь знакомый, много раз читанный и перечитанный роман. Пахнет холст свежими красками, глядит с холста девица с невыразительно-бледным лицом, с претенциозно распущенными волосами. А натурщица преодолевает дремоту...

И не от кого ждать помощи. Валентин Вениаминович? Ей-ей, он знает теперь не больше Федора — за четыре года все секреты успел выложить.

За последнее время Валентин Вениаминович что-то сдал. Жидкие волосы еще больше поредели, приобрели какой-то сухой сажевый оттенок, щеки втянулись, нос выдался, казалось, стал крупней, нижняя губа отвисает больше, и уже протез свой носит он устало и наставляет брюзгливо:

— Не бойтесь повторять природу, учитесь у классиков. Шишкина не признаете, а он был великим мастером.

Федору возле картин Шишкина почему-то всегда лез в голову назойливый стишок: «В лесу родилась елочка...» А за словами: «Не бойтесь повторять природу» — вспоминается давний, унылый призыв Саввы Ильича: «Нужно учиться у природы...» Слов нет, нужно, но... «Лошади кушают овес и сено, Волга впадает в Каспийское море».

Кто-то встал за спиной Федора. Оглянулся — Лева Слободко. Поверх старого офицерского кителя накинут вылинявший застиранный халатик, лобастое, широкое лицо преисполнено угрюмой значительности — ноль сносим, два — в уме, как говорит в таких случаях Вячеслав Чернышев.

Никогда не привыкнешь к тому, что из-за спины глядят на твою работу, которая самому не нравится.

Федор сказал:

— Жую жвачку, дожевать не могу.

— А не пора ли ее выхаркнуть? — спросил Лева.

Он это сказал не слишком громко, но с таким вызовом, что все обернулись от своих мольбертов.

— В каком смысле? — не понял Федор.

— Всех нас пичкают жвачкой, старой, заплесневелой... Одни ее едят потому, что не способны представить — существует нормальная пища. Другие, как верблюды, надеются жирок отложить на загорбок. Жирок на жвачке — капиталец на будущее.

Кое-кто охотно положил кисть и палитру, подошел поближе, предчувствуя — будет спор, заварится каша.

— Опять проповеди к вере праведной. А не надоело? — отмахнулся Федор.

— А ты погляди, кто за веру Чернышева держится? Патентованные жвачные, вроде вот него — Ивана Мыша. Им легко, тебе трудно — не тот человек, чтоб сидеть над жвачкой...

Мягким шагом подошел Вячеслав с палитрой в руке:

— «Приди, пророк, и виждь и внемли...» А нельзя ли от пророка попросить вежливости?

Слободко не двинул в его сторону и бровью, только по скулам поплыл румянец.

— Чернышевым это на руку,— продолжал он. — Ты все еще не можешь раскусить этих высокопринципиальных типов?.. Принципиальны потому, что их принципы разрешены уставом, охраняются начальством...

— Ты зарываешься, пророк!

— И так будет всегда у них — дорожка от принципа к принципу под высокой охраной. И такие далеко пойдут, до кресел Академии художеств. Это они потом станут на старой закваске сочинять новую жвачку. Тебе страдать от нее несварением желудка...

Вячеслав шагнул вплотную к Слободко. Федор никогда прежде не видел, чтоб Вячеслав бледнел. Лицо у него стало серым, каким-то старческим. На сером лице колючие глаза, подбородок вздернут, шея вытянута — мальчишеская стройная шея.

— Слушай, ты! — клокотнул горлом. — В старые добрые времена за такие слова становились к барьеру!

Карман старенького халата у Левы Слободко вздулся от сжатого кулака.

— Твое счастье, что теперь этого нет. Влепил бы в твой медный лоб... с наслаждением...

— Слушай! То, что ты сказал,— гадость! Злобная, гнусная гадость без повода.

— Уж не попросить ли мне у тебя прощения?

— Именно!

— А если нет, что тогда?

— Ты сказал гадость. Будь добр извиниться за нее при всех!

— Съел и катись...

— Что ж...

Вячеслав дернулся, никто не успел сообразить,— раздался мокрый звук пощечины. У Слободко на помидорно-

спелом лице льдисто плавились выкаченные глаза. Вячеслав с брезгливостью вытирал о грудь пиджака ладонь.

— Что ж... если слов не понимает...

Слободко с усилием качнулся, пригнул голову, раздул ноздри, медленно двинулся на Вячеслава — застывшие без мысли, без жизни белесые глаза, приподнятые к ушам круглые плечи, напружиненные руки со сведенными кулаками. А Вячеслав брезгливо вытирал ладонь, тщедушный по сравнению со Слободко, беззащитный...

И тут раздался сдавленный возглас:

— Директор!

В мастерской началась легкая суматоха. Все бросились к своим холстам.

Открылась дверь, вошел директор, за ним, сутулясь, Валентин Вениаминович.

Пряча лицо, задевая мольберты, Лева Слободко двинулся к своему месту. На щеке пламенел след пощечины.

Директор на секунду задержался у двери. По-прежнему язычески суров, по-прежнему горделиво вскинута кудлатая крупная голова на вздернутых узких плечах. Знакомый скупой кивок всем вообще и... очередной директорский осмотр начался.

Три шага отступя, следует за директором Валентин Вениаминович. Он — его привычная тень.

Только два дела в своей жизни знал Валентин Вениаминович, только два: войну и живопись. Рассказывают — он был отчаянным командиром пехотного батальона, не боялся лезть в огонь, принес с войны набор орденов и медалей, которые никогда не носил,— принес ордена и оставил руку. Он был неплохим командиром и посредственным живописцем. И все-таки любил живопись — любовь без взаимности, самая чистая, самая бескорыстная, самая преданная. О своем именитом шефе, директоре института, Валентин Вениаминович никогда ничего не говорил — ни плохого, ни хорошего, ни о нем самом, ни о его работах. Молчал и много лет покорно сопровождал при обходах...

Директор остановился у мольберта Федора; чуть поодаль — сутулясь, Валентин Вениаминович.

Широкий нос, крупные губы, топорные черты человека из простонародья — ни одна складка не дрогнула на директорском лице, в глазах, устремленных на холст,

лишь холодное, тяжелое внимание. Нравится или нет? Осуждает или прощает промахи?

— Здесь переморозили... — директорский палец обвел пространство на холсте где-то под подбородком девицы.

Это случалось: скупое замечание, мимолетный совет — и всегда удивительно точный, тонкий, не всякий-то заметит. Но это не значит, что не понравилось, даже наоборот — совет, какая-то благосклонность.

Директор двинулся дальше с величием языческого вождя. Следом за ним качнулся Валентин Вениаминович.

Остановились возле Слободко. Тот, с розовым пятном во всю щеку, стоял, опустив к полу голову, широко расставив ноги, заложив руки за спину. Он не пошевелился при приближении директора, не взглянул на него, не посторонился, чтоб высокому начальству было удобнее лицезреть его произведение.

Директор долго молчал, и уже всем казалось — постоит и отвернется, двинется дальше. Никто и никогда не мог разгадать, что творится под директорским черепом, какие мысли рождаются у него в мозгу, когда он стоит у мольберта. Все ожидали — постоит и уйдет, никем не разгаданный, таинственный.

Но директор, не оборачиваясь, позвал:

— Валентин Вениаминович!

— Да?

— Что это?

— Парень способный, но с загибами.

— Слушайте, как вас... Слободко... Где у этой дамы лицо?

Слободко молчал, смотрел в пол.

— Я вас спрашиваю! Очнитесь!.. Где лицо?

— На такие вопросы не отвечают,— глухо выдавил из себя Слободко.

Директор испытующе взглянул на него из-под шапки волос:

— Это почему?

Слободко смотрел в пол.

— Учтите: институт нанимает для вас натурщиков, оплачивает их из государственного кармана не для того, чтобы вы ими не пользовались, а писали по фантазии. Валентин Вениаминович!

— Да?

— Почему у студента четвертого курса такая модернистская мазня? Почему он вместо девицы пишет какого-то синего вурдалака?

— Уверяю вас, не от бездарности.

— Тем хуже, тем хуже... Мы считаем преступниками тех, кого ловим на пропаганде буржуазной идеологии. А здесь... Эти жалкие потуги на западное кривляние — не проявление ли враждебной нам идеологии, не идеализм ли в живописи?.. Соизвольте следовать за мной, господин абстракционист... как там вас величают?.. За мной, за мной, смелее!

Все притихли. Каждый думал, что директор уводит Слободко в недра директорских апартаментов — случай из ряда вон выходящий,— кто знает, не свершится ли там короткий суд и быстрая расправа?

Слободко, не выпуская заложенных за спину рук,— одна щека мертвенно-бледна, другая пылает,— со склоненной головой, словно готовился прободать стену, двинулся к двери. Но директор властно остановил его:

— Подойдите сюда!.. Сюда!.. Ближе!

Он указывал на место возле мольберта Федора.

— Встаньте вот так... Вам хорошо видно?.. Теперь смотрите и учитесь... Видите: вот нос, вот лоб, вот губы — все на месте. Человеческий облик, схвачено сходство, передан характер, и цвета — не взбесившийся ландрин, и форма вылеплена... А полюбуйтесь, как легко прописана эта затененная часть платья. Учитесь!.. Подымите-ка глаза, не глядите в пол...

Никогда Федор не чувствовал себя так неловко, никакая ругань не заставила бы так краснеть. Провалиться бы в тартарары!

— Вот это — честный талант, не подделка... Вы не помните, что сказал Антон Павлович Чехов по поводу декадентов?.. Нет?.. «Декадентов не было и нет, жулики — гнилым товаром торгуют». Так вот ваш товар, господин Пикассо, с дурным душком.

Федор боялся взглянуть на Слободко. Не глядел он и на свой холст, не глядел, но знал его наизусть, как зазубренный параграф из устава караульной службы. Он все время недоволен был своей работой, от нее тянуло тоской.

— Мы не допустим в стенах института низкопоклонства перед деградирующим искусством Запада... Вы, наверное, догадываетесь, что мы в случае крайней необхо-

димости можем не ограничиться одними нотациями. Лучше отсечь гнилой аппендикс, чем допустить воспаление всего организма. Вот так-то...

Директор кивнул холодно Слободко, не доглядев остальных работ, со вскинутой высоко головой и расправленными плечами, как человек, выполнивший свой долг, прошествовал к выходу. У Валентина Вениаминовича, следовавшего за ним, протез безжизненно свисал вдоль тела.

Перед молчаливыми испытующими взглядами пожелтевший, казалось, осунувшийся за эти минуты Слободко побрел к своему мольберту. Никто не брался за кисти.

Слободко взял из этюдника мастихин, сначала тупо уставился на холст, поднял руку и с ожесточением провел — раз, другой, сдирая краску... Снова уставился...

Стояла тишина. И Слободко не выдержал, рывком обернулся:

— Ну что вы все глаза вылупили?! Что?! — И, не стесняясь присутствия девчат, площадно выругался.

Иван Мыш, стоявший неподалеку от Федора, аккуратно, чтоб не запачкаться, положил на стул грязную палитру, вытер тряпкой руки, степенно направился к Слободко, поскрипывая сапогами, оправляя под туго стянутым ремнем гимнастерку.

— Ты где это находишься? — строго спросил он.

Слободко недоуменно глядел ему в переносицу.

— Сам виноват. Получил... Давно пора покончить с дешевыми выкрутасами!

И Слободко оскалил стиснутые зубы, шагнул на дюжего Мыша, сам дюжий, плечистый, на расстоянии чувствуется — трясущийся от бешенства. В руках его был большой, как столовый нож, мастихин.

— На десять шагов от моей работы. На десять шагов, сволочь!

Иван Мыш попятился.

6

Иван Мыш давно уже не тот неприкаянный студент, который жаловался четыре года назад: «Все в куче, я в стороне».

С легкой руки Федора он стал профгруппоргом. Оказалось, он не лишен способностей — умел выстаивать в кабинете заместителя директора до тех пор, пока тот не

подмахивал нужную бумагу. Внушительная наружность совмещалась у него со скромностью, никому и в голову не приходило уличить его в назойливости, накричать, выгнать из кабинета. Все нагрузки он выполнял добросовестно, без громких слов, без жалоб. Иногда он жаловался, но не начальству, а, так сказать, в лицо обществу, на собраниях.

— Товарищи! Назову следующие фамилии задолжников...

И называл. За это не обижались.

Он часто оказывал мелкие услуги — доставал разовые талоны на обеды, хлопотал перед кассой взаимопомощи. Его услуги принимались всеми как должное. Лева Православный щеголял в новых брюках, купленных на ордер, выхлопотанный Иваном Мышом. Щеголял, забыв сказать спасибо.

Однажды Иван Мыш завел разговор с Федором и Вячеславом:

— Хлопцы, вы хорошо меня знаете?

— Как облупленного.

— Вы же ничего плохого обо мне сказать не можете?

— Можем.

— Что?

— Храпишь по ночам громко.

— Я, хлопцы, серьезно... Хочу у вас просить рекомендацию в партию...

И Федор и Вячеслав написали эти рекомендации.

А через несколько дней они уже слушали на собрании, как Иван Мыш рассказывал свою автобиографию. Год рождения — 1922-й, учился в ремесленном, работал, служил в армии, родители погибли во время оккупации, в семье репрессированных нет... Обычная жизнь, не из очень легких, но и не из самых трудных — нельзя за нее ни похвалить, ни осудить. Приняли единогласно в кандидаты...

А года через полтора Иван Мыш был уже членом институтского партбюро, стал ездить на совещания в райком партии.

Увидев однажды его рослую, представительную фигуру, его лицо, крепкое, мужественно красивое,— лицо славянина, сразу запоминали. Запоминалась и его короткая странная фамилия.

На торжественную встречу с зарубежными работника-

ми культуры приглашалось ограниченное число лиц. Инструктор горкома, которому была поручена организация встречи, вспоминал Ивана Мыша: студент, из низов — следует внести в рекомендательный список. И Иван Мыш на торжественной встрече сидел за столом бок о бок, как равный, с директором института. А заместитель директора не удостоился чести.

Иван Мыш любил работать маленькими кистями, зализывая мазочки, трудился не разгибая спины, от звонка до звонка — ювелирничал на холсте. На курсе ходил термин: «Мышиный стиль».

По-прежнему он занимался выпиливанием и вытачиванием — золотые руки! Поломанную массивную авторучку они превращали в зажигалку, алюминиевый кухонный половник — в настольную лампочку-ночник. Золотые руки, ни на минуту не остающиеся без дела! Но в них никто и никогда не видал книги, кроме разве как учебника перед сессиями.

Еще в начале второго курса между Иваном Мышом и Вячеславом произошел разговор:

— Вот вы все говорите — Декаданс, Декаданс... А в каких годах жил этот Декаданс?

Вячеслав, вскинув взгляд на простодушную физиономию Ивана Мыша, ответил не дрогнув:

— Родился приблизительно в тысяча восемьсот шестидесятом году.

— И жив до сих пор?

— Жив курилка.

— Девяносто лет? Ну и ну! Песок, верно, сыплется.

— Нас с тобой переживет.

— Вот ведь фигура, только о ней и слышишь... Что же он сделал такого?

— Занимался растлением малолетних.

Теперь — четвертый курс, Иван Мыш вырос, уже представляет себе, что этот декаданс — не похотливый старик с бородой, на собраниях, к случаю, внушительно громит порочное течение, предостерегает от его дурного влияния, чем всегда чуть не до слез умиляет Вече Чернышева:

— Спец, ничего не скажешь.

К Слободко Иван до сих пор относился с опасливой настороженностью — кто его знает, может, безобидный юродивый, а может, гений, любое коленце жди — выкинет.

7

Комната общежития. Тумбочка-столик Ивана Мыша с крохотной лампочкой, освещающей только руки. Кучи книг на столе рядом с прокопченным чайником. Штанина грязных кальсон с завязками из-под койки Православного... Комната общежития — почи в остервенелых спорах. Комната общежития — гостеприимный дом, заходи любой, если ты голоден — хлеб пополам, если ты опоздал на метро — уступят часть койки, не обессудь, в тесноте — не в обиде, не комфортабельная гостиница. И не пансион благородных девиц — могут облаять не за будь здоров.

В комнате общежития обычно горячая атмосфера сегодня падает к нулю. Вячеслав лежит с упрямым и сердитым лицом. Федор тоже лежит и, заломив руки за голову, смотрит в потолок. Лева Православный то встает, то садится на койку. Нет шума, но нет и согласия — неуютность. Только Иван Мыш привычно сутулится над своей тумбочкой, и его широкая спина с выпирающими массивными лопатками, как всегда, невозмутима.

Православный уныло бубнит:

— Я понимаю тебя, старик. Левка не прав. Но ведь его едят, а тебя... Что скрывать, тебя да Федьку по головке гладят. Вы оба — надежда института...

Вячеслав молчит. Православный косится на него с осуждением, вздыхает:

— Не-хо-ро-шо-о. У меня вот пакостно на душе, а у тебя? Или тебе все равно?

Вячеслав молчит.

Федор потянулся на койке, хрустнул суставами:

— Эх, баррикады! Бои петушиные...

И Вячеслав окрысился:

— Не строй из себя святошу. Ты бы тоже не снес — влепил. Непротивленцы толстовские...

Федор скинул ноги на пол:

— У меня есть двадцать пять рублей!

Православный оживился:

— Дело! Только у меня, старик, карманы заполнены межпланетной пустотой.

— Пошли, Вече,— приказал Федор.

— Куда?

— Отыщем Левку, выпьем с ним. Ему плохо, да и тебе не медок.

— Не пойду.

— Гордость не позволяет?

— Хотя бы.

— Ну, а мы пойдем.

— Эврика! — завопил Православный. — Идем к Милге! Левка может быть только там! Там и выпьем, там и поговорим! И деньги твои, Федька, при тебе останутся.

— В благородный дом с семейными дрязгами? Что ты, отче?

— Ну тогда вытащим от Милги! Он там! Мамой родной клянусь! Вытащим и заменим благородный дом дешевой забегаловкой!

Федор и Православный ушли. Вячеслав и Иван Мыш остались.

На звонок открыла дверь жена Эрнеста Борисовича.

— Ах, это вы! — И отступила в сторону. — Что же, входите.

Глядит пристально, как-то смятенно, зябко кутается в пуховый платок — полная немолодая женщина; наверно, ей изрядно досаждают причуды мужа, крикливые споры с подозрительными молодцами — кандидатами в гении.

Спотыкающиеся быстрые шаги. Кто-то чужой в доме. Нет, вышел Эрнест Борисович. Остановился в дверях прихожей, и у него вырвалось, как у жены:

— Ах, это вы...

Постоял, странно глядя, и вдруг непривычно засуетился:

— Рад вам. Рад... Раздевайтесь. Проходите...

Знакомые комнаты плохо освещены, из полутьмы проступают картины. Совсем уже в темноте, в углу, лошадь подымает копыто.

— Извините... Мы на минутку.

— Да нет, присаживайтесь...

Эрнест Борисович щелкнул выключателем. Картины на стенах словно выскочили из засады, заняли угрожающую позицию.

На Эрнесте Борисовиче строгий, темный костюм, белая сорочка, галстук... И почему-то в костюме он выглядит ниже ростом, лысая голова сейчас какая-то оголен-

но-беззащитная. И почему-то небрит, и суетится, и взгляд утерял покойную твердость.

— Мы ищем Слободко... И вот рассчитывали...

— Да, да... Ах нет... Слободко?.. Нет, не появлялся.

— Тогда извините.

— Да, да... Ах нет... Прошу вас... Присядьте, побудьте минуточку. Только минуточку...

— Я чай на стол соберу,— как-то тревожно подхватила жена.

Федор и Православный в смятении переглянулись, попятились к двери.

— Нам нужно срочно отыскать Слободко... Может, он звонил?

— Да, да... Ах нет... Никто не звонил... Да, да... Молчит... Телефон молчит... Прошу вас, вот стулья...

— Спасибо, но мы спешим. Нам позарез нужен Слободко.

Эрнест Борисович, явно расстроенный, двинулся следом к двери.

Федор уже взялся за ручку, как Эрнест Борисович решительно произнес:

— Молодые люди, что, если я обращусь к вам с просьбой...

— Все, что сможем.

Эрнест Борисович переминался — в отглаженном костюме и все же помятый, сникший, темной щетиной покрыт суровый подбородок, и взгляд заячий.

— Я, кажется, должен скоро уехать...

— Эрик! Зачем об этом? — перебила жена.

— Да, да, возможно, уеду... Возможно, надолго.

— Ну, зачем же ты!

— Не сможет ли кто взять на хранение мои картины?.. Здесь очень ценные оригиналы.

— Эрнест! — Жена сжимала под платком руки. — Какие картины! До них ли тебе!

— Лев Ефремович... — Заячий взгляд Эрнеста Борисовича уперся в Православного.— Вы же не относитесь к ним как к ненужному хламу?

— Мы возьмем. — Православный оглянулся на Федора. — Все не сможем, но часть... Мы в общежитии живем...

— В общежитии?! Нет, нет!

— Эрнест! К чему этот разговор?

Федора осенило.

— А если их переслать? — спросил он.

— Смотря куда, смотря куда...

— В деревню.

— А что — идея!

— До картин ли тебе, Эрнест!

— А не скажете ли адрес? Быть может, вы на себя возьмете труд переслать?

— С удовольствием... Запакуйте, я перешлю. На всякий случай — адрес запишите: Вологодская область, Энский район, деревня Матёра, Кочневу Савве Ильичу...

— Эрнест! Это неразумно! Зачем тебе впутывать других?

Эрнест Борисович вдруг обмяк:

— Пожалуй, ты права... Неразумно... Бог с ними, с этими картинами. Извините...

На улице Православный и Федор остановились, поглядели друг на друга:

— Старик, предчувствую — мы были в последний раз в этом гостеприимном доме.

— Может, нам вернуться и забрать себе все картины? Он очень ими дорожит. Отправим...

И Федор вдруг рассмеялся.

— Ты чего? — удивился Православный.

— Представил себе Савву Ильича... Получит посылку, откроет, а там — лошадь с копытом... С ума сойдет старик, удар хватит...

Рассмеялся и Православный. Что такое Савва Ильич, представлял и он. Тревога как-то сама собой исчезла. Леву Слободко в этот вечер разыскать не удалось.

8

Федору часто снился один и тот же сон.

Низкая, с тяжелым бревенчатым накатом землянка, коптилка из патрона, еле дышащий огонек. Федор и огонек... Федор со страхом ждет — сейчас пойдет дождь. Только бы не пошел, только бы миновал, иначе случится что-то ужасное. Федор прислушивается сквозь толстые бревна, сквозь землю, насыпанную на них, изнемогает от напряжения, надеется — а вдруг обойдется. Но вот он явственно слышит — дождь начинается, тихий дождь,

вкрадчивый. И сразу же с пронзительной отчетливостью представляется мир над землянкой — поле без конца, поле в гнилой стерне и вдали одинокая обгоревшая печная труба. Во всем мире, на всей планете нет никого — ни дерева, ни птицы, ни зверя, ни человека,— только труба да он, Федор, единственный, кто остался в живых на земле. Он ждал конца войны, и вот она кончилась — никого, ни птицы, ни зверя, труба да огонек перед ним. Дождь мочит никем не занятую бессмысленную землю — никого, ничего, нет жизни, нет смерти, пустота, пустота... А землянка стоит, и он пока жив, и натужно тлеет крохотный огонек. Тлеет. Зачем?.. Остались секунды, не избежать — погаснет, секунды, а там — будет лежать поле, будет идти тихий дождь, века, века, тысячелетия, без конца. Нет смысла, и вопреки смыслу упрямо тлеет огонек. Зачем? И Федор решается — хватит! Протянуть руку и накрыть: пусть мрак, пусть безликий дождь — пустота на века. Протянуть руку — как просто... Но рука непослушна. И вдруг мысль, как ожог: «А жив ли он?»

Каждый раз он просыпался на этом месте. И слышалось дыхание спящих ребят, и ручные часы на тумбочке плели суетливо едва уловимую ниточку вслед за убегающей ночью.

Проснулся и на этот раз. Из коридора сквозь неплотно прикрытую дверь сочился в комнату слабый свет. Смутно отблескивал колпачок лампы на тумбочке Ивана Мыша. Иван Мыш уютно похрапывал, словно в хорошем настроении мурлыкал благодушную песню. Православный подергивался во сне и чесался.

Но в комнате было что-то пугающее, благодушно мурлыкающий храп Ивана Мыша казался фальшивым.

Проход между койками чем-то заполнен, чем-то громоздким, живым. Явственный скрип, шевеление...

— Кто тут? — с хрипотцой, непослушным слежавшимся голосом.

— Не шуми,— глухой шепот в ответ.

— Кто?

— Разбуди Православного, сам оденься... Только не шуми...

— Левка? Слободко?.. Ты?

— Побыстрей. Я вас в коридоре подожду.

Расплывчатый, неясный, как грозовой сгусток, гость подался назад. Скрипнула дверь, из скудно освещенного коридора упал свет, обрисовал сутуловатую фигуру в мешковатом пальто, шапку, утонувшую в поднятом воротнике.

Федор полез из-под нагретого одеяла.

— Отче... Православный... Православный... Да проснись же, сукин сын!

Слободко ждал их под самой дверью. У него было бледное лицо с натянутым выражением, как у голодного, который попал к обедающим и старается сделать вид, что сыт.

Он разлепил плотно сжатые губы:

— Пошли.

Федор понял — что-то серьезное, не стал расспрашивать, послушно двинулся следом.

У Православного собачья шапка, надетая впопыхах, сидит на макушке залихватски, очки в темноте он так и не сумел отыскать, жмурится всей физиономией, словно морщится от боли, сослепу и спросонья натыкается плечом на косяки и никак не сладит с тяжелыми ботинками — они оглушительно грохочут по спящему коридору. Слободко нервно оглядывается, сильней сутулится и спешит...

Коридор, лестница, вестибюль, вахтерша, обрывающая воркотню сладким зевком:

— Полуношники...

Улица.

Федор запахивается поплотней, поднимает воротник — черт-те что, сорвал с постели.

— Эй, убавь галоп! Да сообщи, куда гонишь?

Слободко от подъезда наискось пересек мостовую, остановился у фонарного столба, повернулся грудью на Федора. У него по-прежнему на лице усилие голодного человека. И Федор понял — пришли. Просто Слободко боялся стен, сейчас стоит, переводит дух.

Еще не поднялись дворники, еще нет машин. В неживом городе горят ненужные фонари. Глухой час — захолустье суток. И мороз воровато ползет сквозь пальто к телу, еще хранящему постельное тепло. У Православ-

ного всегда зябнут ноги, и по привычке он начинает легонечко отплясывать «Жил Чарли безработный...».

— Ну? — не выдержал Федор.

— Милга... — Слободко не может справиться с непослушными губами. — Милга... — Выдавил с силой, злобясь на себя: — Арестован!

Тесно обступают дома — этаж над этажом, каждое окно замуровано ночной темнотой, подъезды заперты, наглухо заперта дверь каждой квартиры. В этот час люди спят, они беззащитны.

Православный на секунду оборвал приплясывание. Федор опомнился и сказал сердито:

— Не ерунди... Мы вечером у него были.

— Ночью пришли.

Православный хлебнул воздух:

— Он ждал, старик.

Заплясал несмело: «Жил Чарли безработный...»

— Ночью пришли...

«Жил Чарли безработный...»

— Пришли! Может, ко мне придут... Боюсь!.. Здесь сколько времени торчал, войти боялся. Вас боюсь! Себя! Всех! К черту такую жизнь!

Слободко приткнулся шапкой к заиндевелому чугунному столбу, и под ватным толстым пальто затряслись обмякшие плечи.

«Жил Чарли безработный...»

Федор неожиданно почувствовал, что и он боится. Зачем-то оглянулся назад через плечо.

Глухой час — захолустье суток, ненужные фонари, незрячие окна... И ощущение — кто-то стоит за спиной. Нет, это сон, не проснулся... Проснется — и храпит Иван Мыш, часы на тумбочке...

Слободко плакал, а Православный с беспомощно подслеповатым и расстроенным лицом легонько отбивал ботинками: «Жил Чарли безработный, ходил всегда голодный...»

Не бывает такого — сон, бред.

Слободко плакал, а Православный отплясывал... А кругом отчужденно стояли высокие дома, от подъездов до крыш набитые людьми, дома с запертыми подъездами, темными окнами.

Остаток ночи не спали. Православный ворочался и вздыхал, один раз спросил:

— Как ты думаешь, старик, сколько сейчас на улице градусов?

Лева Слободко отказался идти ночевать, устало побрел куда-то в морозную пустоту города, под дремотный свет уличных фонарей. Перед расставанием не глядел в глаза, отворачивался. Казалось, унес враждебность к Федору и Православному.

Сколько градусов?.. Жалко парня.

Он плакал... Но по ком? По Милге же!

Где сейчас Милга?.. Знакомый строгий костюм, лысая голова, небрит — до того ли... Где он?.. Спрятали от людей — опасен! «Я, кажется, скоро должен уехать...» Ждал часа, не чиста совесть. «Лошадь с поднятым копытом» — не спас, а хотелось. Прежде невдомек, а теперь ясно — странный человек, непохожий, чужой... И лез в добрые знакомые. И ведь пролез. Ощущение — надули беспардонно, в доверии обворовали.

А Левка Слободко изводится. Мороз на улице, окно в инее. Плохо одному под фонарями.

Вместе спали на одной койке, вместе ели, бок о бок стояли в мастерской... Ум за разум заходит.

Храпит Иван Мыш, ровно дышит Вячеслав, ворочается и вздыхает Православный. Вздыхает, а спроста ли это?.. Ум за разум, даже Православному перестаешь верить.

И нельзя отделаться от непонятной жалости, и всплывает из памяти давний случай...

В седьмом классе за одной партой с Федором сидел Игорь Гольцев. Отец его был секретарем райкома партии — большое начальство, ездил на «газике», единственной в районе легковой машине, высокий, полный, нос горбатинкой, сам за рулем, а шофер, как гость, рядом. Игорь любил прихвастнуть: отец полком командовал в гражданскую, отца в Москве знают, орден обещали... Обещали... Однажды утром слух — арестован, а на другой день в полдень в школе — собрание. Сама директриса выступала: «Мы должны показать, что общественность нашей школы категорически осуждает презренного врага народа Гольцева. Мы будем требовать высшей меры наказания!» Раз враг народа — какой разговор... Федор вместе со всеми поднял руку. Игорь сидел рядом, через человека — поднял руку и он. И его еще заставили выступить, вытащили на трибуну, стоял, смотрел в пол, зеленый, под

глазами тени, пробубнил что-то про себя. А со всех сторон кричали: «Громче! Не слышно!» И наконец набрался сил, сказал, чтоб все слышали: «Отрекаюсь». А потом Федор нашел его в школьном сарае: забился за дрова, плакал. Стало жаль, пробовал успокоить: «Ты за сволочь эту, за отца, не ответчик...»

Другой человек стал ездить на «газике», но только сидел не за рулем, а рядом с шофером.

Игорь бросил школу, поступил слесарем в железнодорожную мастерскую, ходил в промасленном ватнике, в полувоенном отцовском картузе, и на него показывали пальцами:

— Эвон, был князь, да попал в грязь.

А Игорь стал рано пить и однажды пьяным раскричался:

— Ежов-то — падло! Его самого запрятали! Отец мой безвинен! Он в гражданку полком командовал.

Милиционер Кузя Сморчок, толкая в шею, утащил Игоря. Продержали с неделю, выпустили. Ходили слухи: «Ежов-то, железный нарком, того... ошибался крупно». И Федор тогда отнесся к этому равнодушно — ошибки, так ошибки, случается...

Стала видна косматая голова Православного на подушке. Кисельный сумрачный свет вяло вползал в комнату. Начинался затканный снежком серенький февральский день.

Когда проснулись Вячеслав и Иван Мыш, Федор и Православный прятали от них глаза. Молчали. Прятали глаза от них и друг от друга...

А Слободко-то все-таки плакал по Милге — спроста ли это?

9

Лева Слободко не пришел в мастерскую.

Среди других сиротливо стоял его мольберт, и на нем — холст с содранной краской, он словно вопил о бесчинстве.

После работы Федор в умывальнике «чистил шерстку» — мыл кисти и руки. Возвращаясь обратно в мастерскую, он наткнулся в коридоре на Православного. Тот сидел как на вокзале, подперев кулаками голову, глядел в пол.

— Кого ждешь?

И Православный с трудом, как старичок-ревматик, поднялся.

— Мыш — большая сволочь,— сообщил он.

— Это почему?

— Он — сволочь, а я — паршивый трус.

— В чем дело?

— Левку Слободко, старик, исключают из института.

— За что? За Милгу?

Православный уныло покачал головой:

— В воздухе летают невидимые мухи цеце...

— Что плетешь? Какие цеце? Рехнулся?

— Ядовитые мухи. На любого могут сесть и укусить.

— Ты мне шарады не загадывай! За что исключают Левку?

— Загнивание, старик.

— При чем тут Мыш?

— Он — сволочь.

— Уже слышал.

— Он мне предложил выступить на собрании.

— Тебя? В ораторы?

— Меня, именно меня. К тебе бы он, пожалуй, не подкатился.

— Ну и что же?

— Выступи против Слободко, дай фактики, сообщи, что он говорил, раскрой его вражеские планы... Иначе не поздоровится.

— Ну и скажи... Что особенного ты мог слышать от Левки?

— Все равно что. Всему поверят, старик. Лишь бы погрязней. Требуется доносик.

— Ну уж...

— Иван Мыш — большая сволочь. И самое страшное, старик,— я мямлил. Презирай меня — я мямлил! Я не плюнул в его гнусную физиономию!

— Стоило.

— Я боюсь мухи цеце! — Православный схватился за лохматую голову. — Боюсь! Буду молчать! А это ложь! Это подлость, старик! Надо спасать Левку!

— Пошли, позовем Вече, обмозгуем вместе.

— Не надо, Вече, старик! Он не любит Левку. Он может все испортить. Не надо впутывать Вече!

Православный вдруг обмяк, поспешно уставился в ботинки, руки слепо нашаривали карманы. Вытирая тряпкой руки и кисти, твердой походочкой подошел Вячеслав, остановился, остро взглянул на Православного. Тот продолжал сосредоточенно искать карманы.

— Мне косточки перемываете? — суховато спросил Вячеслав. В мелких чертах, в точеном носе появилось затравленное, хищное выражение, как у диковатого котенка перед дворнягой. — Что же за спиной-то? Лупите в глаза. Честнее.

Православный возмущенно дернул головой, хотел что-то возразить, но встретил враждебно остекленевший взгляд, огорченно махнул рукой, сорвался с места. Тяжелые ботинки загрохотали по изношенному паркету.

— Никто тебе косточек не перемывает,— сердито ответил Федор.

— И мое имя всуе не упоминалось?.. — И вдруг голос Вячеслава надломился: — Федор, скажи, почему в ваших глазах Свободко более прав, чем я?

— Слободко выпирают из института.

Короткая челка на выпуклом лбу, сведенные губы и широко открытые, с разлившимися зрачками глаза, в которых Федор видел свое отражение.

— Это правда? — спросил Вячеслав ватным голосом.

Иван Мыш, самый добросовестный из студентов, всегда последним кончал работу. Сейчас он чистил палитру, снимал мастихином масляную грязь. Что бы ни делал этот человек, все выглядело священнодействием.

— Православный передает тебе привет,— сказал Вячеслав.

— Ну?.. — Мыш не поднял головы.

— Просит поблагодарить за доверие...

— Ну?..

— И считает, что с выступлением на собрании лучше справишься ты.

— Я само собой. А вот другие по углам прячутся.

— Выступишь в защиту Слободко.

Иван Мыш распрямился, и Вячеславу сразу же пришлось задрать подбородок. В подернутых сонной поволокой глазах Ивана замерцало насмешливое любопытство.

— Смешочки все. Сойдетесь — как два кобеля... А тут — за Слободко... Ха!

— Никаких смешочков. Ты должен выступить в защиту Слободко.

— Это почему же — я должен?

— Потому, ваша милость, что вы — деятель, авторитет, к вашему слову прислушается наша уважаемая администрация.

Иван Мыш поджал губы, и сразу его чеканная, составленная из плоскостей физиономия стала скопчески постной.

— Цацкаетесь. Подведет вас Слободко под монастырь. Запутаетесь по уши.

— И все же смилуйся.

— Сам говорил — баррикады в искусстве... Баррикады, а теперь на вот — не тронь Слободко.

— Баррикады, было бы тебе известно, я понимаю как острую борьбу мнений, а не нож из-за угла. Бороться — пожалуйста, а быть убийцей — нет! И тебе не советую.

Федор напомнил Ивану:

— Ты что-то прежде не лез на баррикады. Откуда теперь такая прыть?

— Хлопцы, сами знаете, не вас учить — время сложное, на каждом шагу враг. А разные свистуны, вроде Слободко, врагам подсвистывают... Я вот тут об одном деле узнал — волосы встали дыбом. Может, мы с вами за одним столом с врагами чаи распивали.

Вячеслав не знал о Милге, но Федор сразу насторожился.

— Ты о каких чаях говоришь?

— Мало ли о каких. Не всякое-то можно сказать.

Губы Ивана Мыша были постно сжаты.

— А все же?

— Голову снимут.

— Пусть твоя осведомленная голова останется на своем месте,— нетерпеливо перебил Вячеслав. — Но за Слободко придется заступиться.

— Ну уж нет. Укрывать не собираюсь. Выступай ты, коли он тебе так люб.

Вячеслав, холодно прищурившись, похлопывая пучком кистей по ноге, бросил, словно укусил:

— Выступлю.

— Вот и добре.
— Выступлю и скажу, что выбрасываем способных...
— На здоровьечко.
— Способных выбрасываем, а балласт оставляем. Выступлю и задам всему институту один вопрос...
— Это уж твое дело, меня не касается.
— Вряд ли. Вопрос: почему Слободко должен вылететь, а Иван Мыш, человек с сомнительными способностями, остается?.. Ты же знаешь, что я красноречив и... не слишком стеснителен в выражениях.
— И чего ты?.. Ну чего он на меня накинулся? — Иван Мыш повернул красное, растерянное лицо к Федору.
— И я выступлю,— подкинул Федор. — Не сомневайся.
— Ну и выступайте! Напугали кошку большой крысой.
— Ах, не боишься, что тебя вслед за Слободко из института попрут?..
— Не боюсь. Сами знаете — сижу крепко. Не какой-нибудь гнилой декадент.
— Что верно, то верно — не декадент и сидишь крепко, ужился. Пожалуй, и не попрут, но шум да звон поднимется. Шум тебе, как сухопутной курице море, противопоказан. Учти — ты не водоплавающий. Будь здоров, деятель. Обдумай наши слова. Пошли, Федор.

В дверях они наткнулись на Православного.
— Старик! Я слышал!
— Ну и что скажешь?
— Скажу — ты порядочный человек, старик! Преклоняюсь!
— Слободко другого мнения.
— Слободко — кретин! Слободко — идиот! Слободко надо бить по субботам, чтоб поумнел.
— Я удовлетворен этим заявлением, джентльмены.
А вечером в комнате общежития уже при участии Православного снова насели на Ивана Мыша. Никто не сомневался, что он сдаст позиции.

10

Общее институтское собрание состоялось через три дня. С докладом выступал доцент Белявкин.

Сколько трибунов прославились на века тем, что объясняли людям — во имя чего нужно поступать так, а не иначе. Во имя чего? Тот, кто решался бросить эти слова толпе, не должен быть серенькой личностью, он равен пророку.

Но странно, как только в институте появлялась необходимость объяснять, во имя чего нужно действовать так-то, вылезал доцент Белявкин.

Под побитым молью стареньким пиджачком — тощее тело, кажется, что при движении рук суставы должны скрипеть деревянным несмазанным скрипом, лицо без морщин, а стариковское, потертое, голос ровный, утомляющий... Он читал курс по истории искусства, не излагал, не рассказывал, а именно читал из толстых тетрадей, которые студенты прозвали «гроссбухами».

Доклад длился два часа и двадцать минут. Сюрреализм, абстракционизм, имажинизм, субъективизм, экзистенциализм — к мудреным названиям немудреные эпитеты: гнилой, пресловутый, вырождающийся... А под конец:

— В здоровой среде нашего института замечаются единичные нездоровые явления. Студент четвертого курса Слободко...

Белявкин указал на жертву.

Объявили перерыв.

Федор и Вячеслав курили. Подошел Иван Мыш — очи опущены долу, губы поджаты по-старушечьи, громко сопит... Из-под локтя Мыша вынырнул Православный, жадно уставился Мышу в лоб.

— Ты вот что... — посопев, обратился к Вячеславу. — Ты не лезь, я все устрою... Ладно уж, хай живе тай здравствует ваш Слободко!

— Браво, старик! — крикнул Православный.

Иван Мыш обдал его отсутствующим затуманенным взором, повернулся и отчалил. Плыл по запруженному кучками курящих и болтающих студентов коридору, как баржа сквозь затопленный кустарник.

— Раскололся.

— Не водоплавающий.

Федор высказал догадку:

— Кажется, он уже с кем-то посоветовался, растоптал площадку. Не примерится — не ступит. Не из тех, чтоб рисковал.

А в стороне стоял Лева Слободко. Он похудел за эти дни, крылья челюсти выступали углами, но лицо какое-то выглаженное, ничего не выражающее. На него пытливо оглядывались...

Массивная фигура Ивана Мыша на трибуне — примелькавшаяся в институте картина.

— Товарищи! — внушительно, веско, значительно, словно сейчас прозвучит великое открытие — слепой мир станет зрячим.

Зал приготовился к дремоте.

— Товарищи! Я недавно попал в гости...

Уже интересно, не успевшие задремать возвели очи...

— Попал в гости вместе со студентами нашего курса. Считаю нужным назвать их. Значит, был я, был Вячеслав Чернышев, был Матёрин, был Шлихман и был Слободко. Нас приняли честь честью, не скрою, усадили за стол — лососинка, рюмочки, разговорчики... Да, разговорчики! Дело в том, что хозяин дома собирал картины. Какие картины, товарищи!..

Затылки, затылки, затылки... Каждого студента и каждую студентку Федор может узнать по затылку. Стол президиума под зеленым сукном, лица за столом, почти дежурные, не меняющиеся от собрания к собранию. За спиной президиума — гипсовый бюст Сталина, по стенам картины, оставшиеся от прошлого года с выставки дипломных работ: «Смерть партизанки», «Счастливое детство», индустриальный пейзаж, вовсе недурной... И возвышается на трибуне Иван Мыш. Все знакомо, все намозолило глаза и — новое ощущение... С таким ощущением на фронте Федор глядел на заминированные поля — рытвины, овражки, кусты полыни,— привычные до скуки, но не доверяй — каждый полынный кустик прячет смерть...

Иван Мыш говорит — заученные значительные интонации:

— Был спор, товарищи. Прямо скажу, бой. Должен заявить: достойных людей выращивает наш институт. Правильных! Не собьешь с позиции! Лососинка, рюмочки, ласковое обхождение, но не собьешь. Чернышев Вя-

чеслав — гордость нашего института. Он грудью защищал нашу честь. Общипал, прямо скажу, хозяина, как гусака. А недавно раскрылось...

Иван Мыш выдержал значительную паузу.

Затылки, затылки...

У Вячеслава заострившееся, как у хорька, лицо.

— Товарищи! Раскрылось! Гусак этот не совсем простой!..

Иван Мыш всей своей массивной фигурой, подавшейся через трибуну на слушателей, изображает ужас. И много ли надо — действует, в зале тишина. Затылки, затылки, каждый выражает внимание...

— Гусак этот с заморской начинкой. Он недавно арестован как враг!..

Вячеслав дергается, растерянно оглядывается на Федора.

— Но кто поддерживал этого врага? Слободко поддерживал! Чернышев нападал, Чернышев защищал нашу общую позицию. Нашу с вами, товарищи! А Слободко бил в спину. Да, в спину! Дошло до того, что Слободко заявил, что хочет дать в морду Чернышеву. Вот до чего дошло, товарищи. И уж после этого Чернышев бросил правильные слова, товарищи: «В искусстве стоят баррикады. Кто не с нами, тот наш враг!» Баррикады... Слободко по ту сторону баррикад...

Вячеслав лязгнул зубами:

— Гад!

— Я был искренне убежден — гнать надо в шею таких Слободко, гнать из института!.. Убежден! Но недавно Вячеслав Чернышев спросил меня: «А так ли виноват Слободко?» Признаюсь, товарищи, я сначала опешил. Чернышев заступается за Слободко! Чернышев! Наша гордость... Непримиримый... И он заступается... Не верю своим ушам...

Голос Ивана Мыша ласково обволакивался вокруг имени Чернышева, а Вячеслав обернулся к Федору, стискивая зубы, сдерживая дрожь, выдавил:

— Эта горилла не так глупа, как мы думали... Эта горилла смеется над нами...

— Я задумался, товарищи. Крепко задумался! И у меня раскрылись глаза. А ведь Чернышев-то прав... Слободко, как на ладони, со всех сторон виден. Настоящий враг напролом не полезет. Он прячется, он толкает

вперед простачков вроде Слободко. Чернышев открыл мне глаза, и я вспомнил... Слободко не сам познакомился с этим гусаком, его кто-то привел к нему за руку... Его привел и вместе с ним и нас! И мне стало ясно, товарищи... Ясно! Я понял, кто он!..

У Вячеслава словно пылью припорошено лицо, колючий, злой взгляд, сидит вытянувшись, мнет рукой горло.

— Кто он? Я назову... Пусть не удивляются — он тих, неприметен, он — рубаха-парень... Это Шлихман привел Слободко за ручку к врагу, Шлихман, товарищи...

Федор почувствовал, что деревенеет.

Федору было лет тринадцать. Бригадир попросил привезти с маслозавода пустую тару — несложное поручение для деревенского мальчишки.

Был знойный полдень, тень пряталась под колеса двуколки. Косматая от пыли трава на обочине. Большое поле начавшего белеть овса. Вдали — старый, неопрятный, как унылый нищий, ветряк без крыльев. Он заброшен с тех пор, как над ссыпкой во время раскулачивания повесился хозяин. Не бился в воздухе жаворонок, не гудели шмели, молчали даже неистовые кузнечики, метелки овса висели в воздухе не шелохнувшись. Тихо так, что слышно, как течет кровь в ушах. Тихо — колеса смазаны. Тихо — копыта старой брюхастой кобылы утопают в горячей пыли. Яркий день, и нет жизни. Яркий день и знакомая дорога, каждый вершок которой истоптан Федором босыми ногами. Но все кажется ненастоящим, выдумкой. Ждешь — вот-вот яркий день лопнет, как радужная пленка мыльного пузыря. И что-то будет! Что-то страшное!.. А ветряк, растрепанный, неряшливый, упрямо шагает сбоку, не отстает. И глохнешь от тишины, и страх растет...

И вдруг... Ничего не случилось, просто он увидел рядом с дорогой перепелку, утопившую голову в серые перья. Бусинки глаз остро смотрели на Федора. Странно — она не двигалась, не боялась, только пронзительно смотрела. И это показалось чудовищным, ударило по нервам.

Федор закричал, хлестнул лошадь. И лошадь, словно давно ждала выкрика, рванулась вперед, обычно ленивая, равнодушная к кнуту — не раскачаешь.

Заражая друг друга ужасом, они мчались от чего-то неведомого. Бескрылый, сутулый ветряк некоторое вре-

мя шагал сбоку, потом стал отставать. Опомнились только в селе. Лошадь была в пене.

Федор рассказал это Пашке Матёрину, парню на три года старше. Тот выслушал, подумал и авторитетно заявил:

— Такого не бывает.

А сейчас кругом молчащие люди...

А сегодня вечером Иван Мыш придет в комнату общежития:

— Почаевать, хлопцы, недурно бы...

И все улягутся спать, и будет раздаваться храп Ивана Мыша. Все как всегда...

«Такого не бывает!»

Но затылки, затылки... Мороз по коже, и деревенеют члены. А кроме Вячеслава, все кругом как будто спокойны.

Вячеслав сорвался с места, наступая на ноги, натыкаясь на колени,— натянутый, высоко подстриженный затылок, пламенеющие уши. Бросился к столу президиума, потрясая выброшенной вперед рукой:

— Слово! Дайте мне слово!

Председатель — пятикурсник Гоша Сокольский, деловитый, степенный, розоволицый мальчик. Он пятнадцати лет окончил школу, был безумно влюблен в живопись, не выделялся способностями, учился заочно еще в двух институтах, где поражал профессоров эрудицией. За ним держалась слава — честный, принципиальный, прямой.

Он остановил сейчас Вячеслава звонким, чистым, непререкаемым голосом:

— Товарищ Чернышев! Что за фокусы?

— Прошу слова!

— Вы в первый раз на собраниях? Существует общепринятый порядок!

— Я настаиваю!

— В списке выступающих уже записано...

— Я настаиваю!!

— В списке выступающих — пятнадцать человек. Извольте, я запишу вас шестнадцатым... Слово предоставляется студенту первого курса Чижову.

Чижов, известный всему институту по прозвищу «Свистуня», уже был наготове. Он занял трибуну.

— Товарищи! Можно ли подумать...

Он поражен открытием, он считал себя добрым товарищем Шлихмана Левы, никак не может опомниться...

Вячеслав повернулся и, понурившись, побрел обратно.

Собрание затянулось, и на двенадцатом ораторе после Ивана Мыша Гоша Сокольский поставил на голосование — подвести черту.

— Я требую слова! — снова поднялся Вячеслав.

Гоша Сокольский — человек строгих правил: каждый имеет право требовать, и если собрание разрешит... Он поставил на голосование — дать слово или отказать?

Все были утомлены, все рвались домой, но велика сила любопытства: Чернышев рвется в бой, значит, держит камень за пазухой, значит, ударит... Большинство проголосовало дать слово и подвести черту.

11

Чеканя по паркету шаги, с напряженно заострившимся лицом Вячеслав пробежал по залу, взлетел на трибуну.

— Безобидная птица попугай... — начал он. — Но когда попугай выступает в облике человека — он страшен. Двенадцать ораторов выступили после Ивана Мыша, двенадцать человек, как попугаи, повторили за ним его ложь. Не задумываясь, не оглядываясь, не понимая, что втаптывают в грязь человека — пусть тонет, пускает пузыри...

Затылки, затылки... Но Федор верит в Вячеслава — Вече умеет доказывать, редкий боец в студенческих спорах не падал под его ударами на обе лопатки. Давай, Вече, давай, друг! Вот где понадобилось твое мастерство спорщика — докажи всем!

— Милга арестован,— продолжает Вячеслав,— значит, он враг! Предположим на минуту, что Лев Шлихман знал об этом. Предположим, что он намеренно, с вражеским расчетом решил втянуть всех нас, в том числе и Слободко, в расставленные сети. Намеренно, сознательно! Обвинение чудовищное, за такое полагается наказание, как и Милге. Может, к этому и призывает Мыш — под конвой Шлихмана, в тюрьму его! А Иван Мыш жил со Шлихманом в одной комнате без малого четыре года, спал бок о бок, спорил, работал — всё

вместе. До сих пор Иван Мыш и Шлихман были добрыми приятелями, у них не было секретов друг от друга. Иван Мыш знал и такую, казалось бы, незначительную деталь, что Шлихман познакомился впервые с Милгой за день, всего за один день до того, как все мы с ним познакомились. Пусть Иван Мыш ответит, что это не так, тогда можно провести расследование и его ложь станет очевидной. За один день стать вражеским сообщником? Смешно! Нелепо! Кто этому поверит? А если Шлихман не сообщник — намеренный и расчетливый, то его вина полностью равна моей вине, вине Слободко, Матёрина, вине самого Ивана Мыша. Иван Мыш тоже встречался с Милгой, знал о нем ровно столько, сколько знал Шлихман. До того, как словно гром с ясного неба не свалилось известие, что Милга арестован, ни Шлихману, ни Ивану Мышу и в голову не пришло бы назвать этого видного ученого врагом народа. В чем Шлихман виновнее Мыша?..

Затылки, затылки... Федор чувствует — все верят Вячеславу, уж слишком нелеп поклеп на Православного. Затылки, затылки, но они бесстрастно молчаливы.

Глаза раскрыть нетрудно, не надо для этого обладать даже особым талантом, но кому охота лезть на рожон! Вячеслав Чернышев говорит сам от себя, а Иван Мыш вряд ли... Кто-то поручил ему, кто-то заинтересован, а этот таинственный Милга под арестом — темна вода в облаках.

И уже принят закон — подвести черту. Можно высечь искру, можно обжечь кого-то, но огонь не займется — поздно.

Однако за столом президиума сидел человек, который имел право переступать законы.

Едва Вячеслав сошел с трибуны, как Гоша Сокольский чеканно объявил:

— Слово предоставляется директору института...

Директор, как и Вячеслав, был невысок ростом, так же утопал в трибуне. Говорить он начал спокойно, вдумчиво, с нотками суровой искренности.

— Нам всем свойственно ошибаться. Всем, в том числе и мне. Не скрою, товарищи, что я как директор для себя окончательно решил: распахнуть перед Сло-

бодко дверь и указать — вот бог, вот порог! Слышите вы, Слободко? Вы можете оценить человеческое отношение к вашей не столь достойной персоне? Целый ряд ваших товарищей оказались людьми чуткими, они не рассудили с кондачка — худую траву с поля вон! Студент Чернышев открыл глаза Ивану Мышу, а Иван Мыш, как член партбюро, пришел ко мне. Я лично тронут таким человеческим отношением. Человеческому отношению я готов идти навстречу. Человеческому! Но не бесхребетному всепрощению! Вы меня слышите, Чернышев? Как понять ваш выпад с трибуны? Миловать и правого и виноватого? Простим под сурдинку?..

— А кто виноват? Вам ясно? — крикнул с места Вячеслав.

— Мне неясно только одно — ваше поведение, — с непоколебимым спокойствием ответил директор. — Обозвать огульно всех выступавших попугаями! Подстричь Шлихмана и Ивана Мыша под один уровень! Снивелировать вину на том основании, что никто не знал, не мог предусмотреть! Как это назвать? Мне думается, название этому — гнилой, преступный либерализм! Вот вы заявили: Шлихман не был прямым помощником той вражеской личности, которая, к счастью, сейчас обезврежена. Верю, представьте, верю — не был, не помогал сбывать секретные сведения за границу. Если б я думал иначе, то вряд ли понадобилось бы так много обсуждать поведение Шлихмана. Его вина в другом — он разносчик заразы, он не диверсант-отравитель, а энцефалитный клещ. Но и клещ весьма вреден, хотя и творит свое черное дело несознательно. Вы задумались, почему Шлихман, едва познакомившись с этим растленным типом, поспешил незамедлительно познакомить вас, своих товарищей? С каждым, с кем он встречается случайно, знакомит вас? А?.. Что вы молчите, Чернышев?.. Уверен, не с каждым. А с этим сразу познакомил, потому что близок по духу, потому что тянется к таким, испытывает внутреннее желание тянуть других. И, конечно, среди этих других найдутся неустойчивые вроде Слободко. И, конечно, такие Слободко дальше понесут заразу. И если мы не примем мер, то захлебнемся в диком смраде западных влияний. Дорогой доморощенный либерал Чернышев, вам изменило святое чувство бдительности. Зато нам — нет, не изменило! Мы не собираемся косить под-

ряд всех заблуждающихся. Мы вдумчиво выберем самый опасный сорняк. Вдумчиво!.. А уж тогда — вон с нашего здорового поля!.. Мы подвели черту. Я понимаю — время позднее, все утомились. Но нельзя торопиться. Нужно выслушать еще одного человека, который прячется, который не подает признаков жизни. Попросим на трибуну Шлихмана и выслушаем его, терпеливо, не отмахиваясь... А там решим сообща. Я во всем полагаюсь на вас, товарищи, на вашу бдительность. Я не хочу решать самолично.

Директор кончил, снова занял свое место в президиуме.

И звучный, ясный председательствующий голос Гоши Сокольского объявил:

— Товарищи, докладчик Белявкин отказывается от заключительного слова. Поступило предложение — выслушать студента Шлихмана. Если возражений нет, то я попрошу Шлихмана занять место на трибуне.

И через весь зал, спотыкаясь на ходу, слепо уставясь перед собой очками, сгибая спину, медленно прошел Православный — штаны свисали с худого зада, громоздкие ботинки гулко стучали по ковровой дорожке. Через весь зал, стыдясь самого себя.

На лесенке, ведущей к трибуне, он снова споткнулся, ударился коленом, захромал.

Он долго не начинал, водил недоуменно по залу очками и молчал, а зал в нетерпении ерзал и кашлял.

— Время дорого, Шлихман,— суховато напомнил Гоша.

— Товарищи... Я... я не знаю... не знаю, в чем виноват...

И опять тяжкое молчание.

Федор сейчас чувствовал за Православного — чувствовал близорукость, жалкую бледность, стягивающий плечи мятый пиджачок, красные, вылезающие из рукавов руки. В такие минуты так стыдно за самого себя, что веришь — ты виноват, сомнений нет. Только в чем, вот беда?..

Нужно говорить. Он занял место, где нельзя молчать. А он молчит.

Сотни глаз ощупывают, оценивают, сотни глаз — не спрячешься — требовательно ждут. Как оправдываться, когда тебе уже знают цену?

— Время дорого.

Время дорого, а он тянет — одно это непростительная вина.

— Я не знаю, в чем...

Директор пришел на помощь:

— Вы первый познакомились с неким гражданином Милгой, недавно арестованным органами безопасности?

— Да. Случайно.

— Это вы привели к нему Слободко и всех остальных?

— Да.

— И все-таки вы не ведаете, в чем вы виноваты? Не притворяйтесь дурачком, Шлихман.

Он виноват, он готов со всем согласиться, отпустите его — будь что будет, лишь бы не трибуна...

И когда Православный спустился в зал, Федор вместе с ним почувствовал изнеможенную усталость.

Вячеслав словно проглотил аршин — спина натянута, голова вскинута, лицо зеленое, воспаленно блестят глаза.

— Итак... Кто за то, чтобы ходатайствовать перед дирекцией — исключить студента четвертого курса Шлихмана из института за тесную связь с вражескими элементами, за распространение чуждой нашему духу идеологии?

Гоша Сокольский, чтоб считать голоса, вышел из-за стола на авансцену — костюм, словно из журнала мод, ботинки на толстой подошве, ворот свитера подпирает подбородок,— начавший уже полнеть мальчик из хорошей семьи, у него узкие плечи и широкие бедра.

— Кто — за, прошу поднять...

Затылки, затылки впереди Федора, над ними вырастают руки.

Когда-то Игорь Гольцев поднял руку против родного отца — крупно ошибался Ежов. Поднял тогда и Федор. Сейчас он не шевелился... Затылки, затылки, руки, руки... До чего он чувствовал себя одиноким.

— Кто воздержался?

Тишина в зале.

— Кто против?

Тишина.

Но Гоша Сокольский неожиданно объявляет:

— Один голос против!

Федор вытянул шею: затылки, затылки — руки не видно. И вдруг, словно кто толкнул, обернулся — рядом, сплющив губы в жесткую складку, тянул вверх руку Вячеслав.

Федор дернулся...

Но Гоша Сокольский уже отчеканивал:

— Подавляющим большинством голосов общее собрание студенческого и преподавательского состава...

Игорь Гольцев, где твоя наука?

12

Теснясь выходили из конференц-зала. На всех лицах одно и то же оскорбляющее Федора нетерпение — скорей в раздевалку, скорей на улицу, к троллейбусу, домой, наконец-то все кончилось.

Вячеслав судорожно вертел головой направо и налево, искал Православного.

— Оденемся. Выйдем. У входа подождем,— слабо попросил он.

На улице падал мокрый снежок. Вячеслав, натянув на лоб шляпу, подняв воротник, постукивал зубами, отбивал по мокрому асфальту ботинками. Федор уловил: «Жил Чарли безработный...» А Православный все не выходил. Пачками выскакивали студенты, громко говорили, слышался девичий смех. Исчезали в темноте.

Наконец показались трое — в середине патлатая шапка, собачий мех. С одного боку Слободко, с другого — Нина Худякова выступает вальяжно. Федор знал: Нина любит или героев, или несчастненьких, неудивительно — сейчас опекает Православного.

Слободко первый заметил Вячеслава, подался вперед, плечом загородил Православного.

— Ждешь? — бросил он. — Погляди, Православный, он ждет. Хочет услышать похвалу — герой, не жалея сил защищал, один из всех руку поднял. Один из всех приметен.

Потеснив Вячеслава, Слободко потащил Православного. Собачья шапка удалялась. Рядом смутно колыхались плечи Нины Худяковой.

Вячеслав стоял, облепленный снегом, покорно смотрел вслед.

Хлопнула дверь, выплыло монументальное пальто, увенчанное пыжиковой шапкой,— Гоша Сокольский, с честью справившийся со своими председательскими обязанностями. Остановился, подтягивая кожаные перчатки, сурово сказал Вячеславу:

— Ты вел себя сегодня глупо и оскорбительно... Узколобое донкихотство!

Вячеслав глубже втянул голову в воротник, ничего не ответил, двинулся шляпой вперед навстречу вяло кружащимся крупным хлопьям.

Ни Слободко, ни Гоша Сокольский не упрекнули Федора. Никто не заметил, что он не поднял руки — ни «за», ни «против», ни «воздержался». Ничем не выделился, в глазах других вел себя как все, а все не могут выглядеть глупо. Ни «за», ни «против», ни «воздержался» — отсутствовал.

Вячеслав, порывисто подавшись вперед всем телом, шел дергающейся походкой, Федор едва поспевал за ним. Снег ложился на мокрый смолисто-черный асфальт и таял.

Неожиданно Вячеслав обернулся:

— Горилла перехитрила!.. Она далеко не глупа!..

Федор ничего не ответил.

Они идут в общежитие. Ночью будет раздаваться привычный храп Ивана Мыша.

А завтра комендантша общежития, дама с кремневым характером, пачкающая накрашенными губами мундштуки папирос, попросит Православного:

— Милый мой, вы теперь не студент.

И в обшарпанный чемодан будет втиснуто заношенное белье, и Федор поможет увязать пыльные этюды.

— Не так глупа эта горилла!..

Комната общежития — родной дом. Старая куртка Православного висит на стуле, и торчит из-под его койки штанина кальсон с завязками. Комната общежития — все по-прежнему.

Едва успели скинуть пальто, опуститься на койки, как за дверью в коридоре послышались размеренные, тяжелые шаги.

Федор и Вячеслав переглянулись — к ним шагал Иван Мыш.

13

Неужели он войдет, как всегда: «Почаевать, хлопцы, недурно бы...» Или станет прятать блудливо глаза?

Грузные шаги на секунду смолкли под дверью, на одну секунду.

Слышно — рука нащупала ручку...

Федор всего ждал, но только не того, что увидел.

Дверь осторожно открылась...

Граненое лицо Ивана Мыша было пепельным, каким-то квадратно-угловатым. В немигающих глазах стыла тоска.

И с ходу:

— Хлопцы...

Голос осевший, сиплый.

— Хлопцы...

Большой человек с могучим разворотом плеч под кожаным регланом, у него дрожат подобранные тонкие губы и глаза пугающе неподвижны, тусклы. Такие глаза Федор видел в госпиталях, у тяжелораненых, для которых страдание стало привычкой.

— Хлопцы... Я не хотел этого... Выслушайте.

Федор и Вячеслав очнулись от оцепенения.

— Это интересно,— горловым голосом произнес Вячеслав.

— Говори,— приказал Федор.

Но вместо того чтобы рассказать, Иван Мыш стал торопливо, казалось даже радостно, стаскивать с себя пальто. Шуршала кожа, слышалось сопение, и Федора взорвало:

— Ты, может, спать ляжешь, гад?

Иван Мыш вздрогнул. Большой, плечистый, дернул локтем по лицу, как ребенок, над которым взмахнули кулаком.

— Я не хотел этого, хлопцы...

— Слышали! Дальше!

— Я Слободко не люблю! Я Православного люблю... Честное слово.

— Заткнись в лирике! К делу!

— Так я ж к делу... — Лицо Ивана Мыша порозовело, лоб залоснился испариной, глаза ожили, покрылись влагой, они по-собачьи преданно останавливались то на

Федоре, то на Вячеславе. — Я к тому — вы ж просили защитить Слободко. Просили же...

— Держись, Федор! Горилла опять смеется над нами!

— Выслушайте, выслушайте! Какой тут смех... Беда случилась. Кто мне теперь поверит? Кто?

— Ты, гнида, плакаться будешь или рассказывать?!

— Не хотел я... Что мне Православный дурного сделал? Что? Я Слободко не люблю... А этот меня толкнул...

— Кто толкнул? Слободко?

— Да нет же, директор.

— Директор? На Православного? Сам?

— Я же к нему пошел выручать Слободко... Будь он трижды проклят, этот Слободко! Все из-за него...

— Ну?!

— Стал говорить: Слободко не виновен... А на Слободко-то уже приказ был... Не ждал я, что так... Если б знал, от порога шарахнулся... Все обо мне думают — детина великая, кулаки что гири. А какой толк мне в больших кулаках? Я же боюсь кулаком на курицу замахнуться... И все-то меня бездарью считают. Все — и вы и директор. Самое страшное, что никак не пойму — почему я бездарь? Погляжу на свой холст — мне нравится, кажется, что лучше-то и не сделаешь. А кто ни поглядит — нос воротит, словно сговорились... Самое страшное — не могу понять почему?..

— Зубы не заговаривай!

— Кто я для директора — козявка! Раздавит и не поморщится. А тут он осатанел... Право слово, осатанел, когда услышал, что я Слободко защищаю. Приказ же написан... Пошел меня чесать: «Дружка спасаешь! Приятельские отношения!..» Это Слободко-то мне приятель? За кого терпеть должен?.. Вот как обернулось...

— Обернулось, что ты Православного в пасть сунул?

— Сволочь я! Душа у меня заячья! — Собачий преданный взгляд. Заглядывает не в глаза, а в рот.

Федор почувствовал уже знакомую ему брезгливую неловкость, процедил:

— Я не в первый раз слышу это. Хватит!

— Кляните, хлопцы, бейте, ругайте — сам морду подставлю... Не хотел я Православного! Не хотел! Случайно вырвалось.

— Что вырвалось?

— Директор-то упомянул: Слободко с Милгой связан, с этим элементом...

— Ну?

— Сволочь я! Дурак последний! Дернуло меня за язык... Хлопцы, дайте мне в морду! Сорвалось, честное слово, сорвалось... Ляпнул я не подумавши, что это Шлихман первым Милгу нащупал и нас со Слободко привел к нему...

— Та-ак. — Вячеслав с Федором переглянулись.

В глубине серых глаз Вячеслава — что-то тоскливое, скулящее, осунувшееся лицо заморожено, он, должно быть, испытывал такую же тоскливую неловкость, как и Федор. Он, Вячеслав, боится Ивана Мыша. Еще немного, и придется простить, Мыш выйдет победителем.

А Мыш униженно, просяще ласкает влажным взглядом:

— Хлопцы... Я ж не думал, что он вцепится в мои слова. А слово-то не воробей — вылетело... Я было туды-сюды, а он жмет, юшка из меня течет... Не хотел же, не хотел! Против воли случилось. Сам себе не хозяин... А уж сказал — верую, скажи и — господи.

Влажно-обволакивающе глядит Иван Мыш, обычно граненое лицо его размякло, порозовело, на лбу, на крыльях носа — испарина. И Федор чувствует тошноту от влажного взгляда. Собака легла на спину, подняла лапы, рука не подымается ударить. Да и как ударить? Ни Федор, ни Вячеслав — не власть для Мыша. Могут лишь плюнуть в физиономию, а на физиономии готовность — утрусь, не извольте беспокоиться. И чувствуется, что Иван Мыш угадывает их беспомощность, и где-то в уголках его ласковых глаз чудится насмешка.

— Держись, Федор! Хитра горилла!

Федор поднялся с койки, одернул пиджак, тихо сказал:

— Вот что — проваливай.

Иван Мыш преданно мигал и не отвечал.

— Проваливай отсюда. И сейчас.

— Куда?

— Куда хочешь. На все четыре...

— Как же это, хлопцы?

— Больше на «сволочь» не купишь. Не выйдет.

Иван Мыш продолжал недоверчиво мигать. Федор придвинул к себе стул, сбросил с него куртку Православного, повторил так же тихо:

— Ну!

Невозможно слушать его храп по ночам, его привычную фразу: «Почаевать, хлопцы, не дурно бы...» Или Иван Мыш — или самому придется уйти. Драться будет?.. Ну, поглядим. Федор вцепился в стул.

— Да кто вы такие, чтоб гнать? — В глазах еще не высохла влага, но губы скопчески поджались. — Кто вы такие?

— Собирай манатки!

— Ты не пугай... Я по-хорошему...

— Вот именно по-хорошему. Проваливай!

Минуту назад ласковые, преданные глаза округлились, из мутноватой роговицы — буравящий зрачок, нижняя губа поползла вперед лодочкой.

— Да я ж вас... — Шипящий шепот: — Я ж вас обоих в крупу, вместе со стулом... Вы ж меня знаете — обоих в крупу!

— Ну вот,— Вячеслав вздохнул облегченно,— наконец-то обезьяна показала свое лицо.

И этот облегченный вздох и спокойный голос оглушили Ивана — глаза по-прежнему округлены, рот раскрыт, немота на физиономии.

— Федор, оставь стул,— сказал Вячеслав. — Пусть ляжет... Ложись, голубчик, но помни, что спать опасно. Возле тебя не ангелы-хранители.

Иван Мыш обмяк:

— Хотя бы эту ночь переночую.

— Попробуй, если не боишься.

— Ну, куда мне сейчас?

— Адрес точный — на все четыре стороны.

— Сволочи вы!

Молчание. Стояли и глядели в упор друг на друга. Федор держал на весу стул. Наконец Иван Мыш не выдержал, пошевелился, сопя, пряча глаза, стал натягивать пальто. Шуршала кожа. Федор не опускал стул, следил за каждым движением. Вячеслав опустился на койку, закурил, перебросил ногу на ногу. Впервые в этот вечер его лицо выразило удовольствие.

Выдвинут объемистый чемодан, из тумбочки полетели в него отвертки, коробочки, мотки проволоки, точильные бруски. Иван Мыш взял в руки лампу с тумбочки, стал вертеть в руках, разглядывать.

— Ребята, может, подобру... Подобру-то бы лучше...

Никто ему не ответил.

Федор поймал себя на том, что он вместе с Мышом любуется его лампой — подставка из небрежно обрубленного, отполированного куска дерева, легкий изгиб ручки, крытый черным лаком колпачок — и все это из обычного кухонного половника. Золотые руки...

Вдруг Иван Мыш с силой бросил лампу на пол:

— Сволочи! Вы — сволочи! Не лучше меня!.. Жалеть я должен! А меня жалеют? Вы же все на меня как на стенку глядите! Что я вам? Стенка! Вещь!.. А каким мне быть? Добреньким? Меня с детства никто не жалел. Даже мать... Брата жалела. Он — хиляк, я — здоровило, ему — пряник, мне — кусок хлеба! — Иван Мыш в ярости повернулся к Вячеславу: — Ты — первая сволочь, тебя я больше всех ненавижу! Красивым хочешь выглядеть! Ух, ненавижу!.. Дай, мол, спасу Слободко, пусть поглядит, какой я благородный... Чужими руками. Пусть себе эта дубина синяки да шишки получит, а тебе — добрая слава. Я ведь слышал, как Православный-то сказал... Слышал! «Порядочный человек!» Ты — порядочный, а Иван Мыш — мразь, вонючая тряпка, подтирай им чужое дерьмо, не стесняйся... На вот — сам утрись! И Православного вашего нисколечко не жалко! Утрись!

— Ты бы не ораторствовал лишка, а шевелился,— перебил его Федор.

— Успеешь. Ты тоже сволочь особая. Откуда в тебе-то спесь? Не умнее ж меня. Деревенщина! Лапотник! И везет же таким. Потычет кистью — все ах да ах! А чего? Тьфу!.. Стул взял. Огреть бы тебя этим стулом! Огрел бы — красная лужа осталась. Только страдать за дерьмо не хочется... Уйду, но вы вспомните еще Ивана Мыша. Еще, бог даст, оступитесь как-нибудь. Оступитесь, а там я уж вас подтолкну, легонечко, незаметно — косточки хрустнут...

Иван Мыш подхватил свой чемодан, отбросил носком сапога покалеченную лампу, в дверях обернулся:

— Я памятливый. Я не забываю!..

Через полчаса он вернулся — без пальто, без шапки, гимнастерка по-домашнему распояской. В какой-то комнате для него нашлась свободная койка.

— Хлопцы, раз не люб, чего уж... Только зря мы сволочили друг друга. И тут черт-те что наговорил я. Не верьте, вгорячах это... Право, совестно...

Вячеслав и Федор молчали, не обернулись в его сторону.

— Говорить не желаете?.. Ладно уж, снесу. Только я на вас зла не имею.

Он поднял разбитую лампу, оценивающе оглядел ее со всех сторон.

— Я ведь прост. Зла долго не держу. Вгорячах-то чего не случается...

Вышел, бережно прикрыв дверь, унес лампу.

— Хитрость гориллы,— проворчал Вячеслав.

Они долго не спали, ждали Православного, а он так и не пришел в эту ночь.

14

День, как всегда, начался с того, что на возвышение взобралась (в который уже раз!) натурщица с распущенными льняными волосами.

На улице ночью выпал свежий снег, и все мостовые города белы, и загроможденная мольбертами мастерская заполнена чистым, покойным праздничным сиянием. Такое ощущение, что выпал не сотый в эту отходящую зиму снег, а лишь первый... Первый снег, умывающий землю! Первый снег, прячущий осеннюю усталость! Первый снег — тихое счастье, бывающее раз в году. Но, увы, подделка, фальшь — февраль за широким окном, первый снег в прошлом, как забытое детство.

Вячеслав, словно после похмелья, тупо уставился в свою работу, на палитре выдавлены свежие краски, а кисти чисты.

Православного нет, а еще стоит его холст с почти законченным портретом — натурщица с накрашенными губами чем-то напоминает монашку. Снимут холст, ничто не станет напоминать Православного — умер для института.

Не явился опять и Слободко. И по-прежнему его работа с ободранной краской вопит о бесчинстве.

А Иван Мыш богомазничает: мазочек к мазочку — складочки, пуговки, расчесывает волосы, чертит губки. Федору виден его холст, и у Федора чешутся руки: взять бы широкий флейц, набрать бы на него побольше краски и, ляпая, пройтись, стирая мазочки и складочки,— хватит сюсюкать, нагруби!

А своя работа?..

Почти две недели изо дня в день взбиралась на возвышение девица, две недели вглядывался в нее Федор, трудился...

Сегодня в первый раз задумался — что за человек сидит перед ним? Кому-то верила — ее обманывали, и еще верит — молодость не прошла; хочет выглядеть умной, а ее ловят на манерности; хочет быть доброй, а получается сентиментально... И эти распущенные волосы, и эти девственно-голубые тона, и это помятое, истасканное лицо. Люди, посочувствуйте ей, она так мало видела сочувствия в жизни!

И пойман свет, упавший на волосы, и вылеплены скулы, и рука на голубом платье прописана не без изящества — а для чего? Нет биографии на портрете, нет человека, ничего не сказано — живописная бессмыслица. Ничего уже нельзя переделать, толстым слоем краски покрыт холст, как-никак трудился над этой бессмыслицей две недели. Начать бы сначала, а зачем? Опять получится то же, нет желания, да и завтра последний день позирует эта девица.

Мастерская залита чистым светом, сияют белые мостовые за окном — фальшивое впечатление первого снега, праздничности в природе.

...А к вечеру опять развезло. Хлюпала под ногами грязная жижа, с крыш падали на лицо холодные, крупные, липкие капли — от них брезгливая дрожь по всему телу. Прохожие, спрятав лица в поднятые воротники, спешили убраться из-под унылого неба.

Плохо на улице, а в общежитии стоят две койки с содранными матрацами — нежилой вид, разгром, запустение. Вячеслав наверняка куда-нибудь сбежал. И очень хочется увидеть Православного, услышать

хотя бы: «Старик, дай трешник в долг...» Лишь бы его голосом.

Плохо на улице, а в общежитии сейчас еще хуже.

Федор остановился перед подъездом.

На стене соседнего здания, с которого четыре года назад сняли плакат «Родина-мать зовет!», все еще висела реклама, уже вылинявшая, примелькавшаяся, но по-прежнему необъятная по размерам: «Пейте Советское шампанское!» Черная бутылка с этикеткой кажется величиной с кремлевскую башню.

А напротив магазин... В его витрине недавно появился плакат: устрашающего вида космополит держит перед лицом умильно улыбающуюся маску. Под витриной у плаката топчется тощий, промерзший насквозь человечек в поношенном пальто, у него лилово-красный от мороза нос и брюзгливо-скорбная складка губ. Он торгует с лотка брошюрами — Сталин о языкознании.

Как был понятен и прост для Федора мир, когда висел плакат «Родина-мать зовет!». Как он стал запутан и сложен, когда повесили — «Пейте Советское шампанское!». На плече автомат: «Родина-мать зовет!» — и было все ясно.

И в мастерской остался холст — бессмысленное изображение. Сколько за последнее время Федор выписал лбов, глаз, бород, локонов, сколько тарелок, драпировок, букетов цветов, а во имя чего?..

Иван Мыш бездарен, Федор способен, он лучше Мыша выпишет яблоко на тарелке, точнее передаст насыщенность цвета. Ну и что? Так ли уж велика разница между ними?.. Не все ли равно — на дне водоема вода под мельницей или же она доходит до половины плотины. Ни та, ни другая не достают до лотка. Сух лоток, не вертятся жернова, стоит мельница, нет пользы от разницы уровня. Только полный водоем бросает воду на лопасти колеса, только тогда жернова начнут перетирать зерно, только тогда люди ощутят пользу.

Во имя чего он взял в руки кисть? Во имя какой цели, какой пользы? Чего он обязан достигнуть? Нет ответа — бессмыслица на холсте, сух лоток, неподвижны жернова.

Но раз так, то зачем жить? Слушать лекции, изводить краски, есть хлеб, который добыли из земли руки

таких людей, как твой отец? Нет пользы — видимость! Зачем жить, к чему учиться?

В общежитии — четыре стены и воспоминания, раздирающие совесть. Федор побрел бесцельно по мокрому тротуару. Бежали мимо прохожие, забаррикадировав лица поднятыми воротниками пальто, обгоняли друг друга — непрекращающийся человеческий кросс, финиш которого четыре стены и потолок, футляр, отделяющий от неуютного мира.

Бегут, и никому нет дела, что среди них идет потерянный, отчаявшийся человек. Помогите, подскажите, как жить! Нет дела, и упрекать людей не за что. Один ли Федор среди них потерянный да отчаявшийся, редкое ли это явление?

Небо лежало на крышах домов, липкий воздух пах перегаром бензина...

Федор свернул в ближайшую пивнушку-погребок. И тот встретил его прокисшим теплом и шумом голосов.

15

Пластмассы и пластикаты еще не вошли тогда в быт. Светлые кафе в стиле модерн еще не появились. Вместе с сырыми и темными «забегаловками» как-то исчезает мало-помалу самая доступная свобода тех лет — пить водку на свои трудовые деньги. «Пейте Советское шампанское!» Шампанское?.. Шалишь, не тот градус.

Не раздеваясь, становись в очередь к стойке, а затем с кружкой пива в одной руке, с тарелкой в другой ищи место среди грязных мраморных столиков.

На тарелке в граненом стакане нервно мерцает влага, лежат кусок хлеба и сосиски. Место всегда найдется — потеснятся.

Здесь легко сходятся, легко расстаются, целуются и скандалят, жалуются и философствуют, матерятся и читают стихи.

И всегда можно услышать, как какой-нибудь хмельной баритон за соседним столиком вещает о светопреставлении:

— Сто самолетов налет — эка, сиживали и не под такими бомбежками! А нынче не сто, а десять самолетов с атомными бомбами — пыль да пепел, вся страна —

могилка. Вот мы беседуем, а быть может, кто-то сейчас нажмет кнопку — вылетай! И шабаш — были, да изошли паром. Штучно не занимаемся, оптом торгуем... Так-то...

— Федька!

Из табачной мглы, окутавшей склоненные над пивными кружками головы, вынырнула щуплая фигура, сияя щербатинкой в зубах, раскрыла объятия.

— Что таращишься, сучий сын? Не признаешь, что ли?

— Вот те раз! Матвей Иваныч! Штука!

— Голубчик ты мой! Собака! Истинно собака! Забыл начисто! Дай я тебя поцелую!

От Штуки густо тянуло перегаром, сразу и не признаешь — где былая стариковская подтянутость, рабочий форс? Одет в старый ватник, на голове заляпанный краской картузик, лицо сморщилось — не лицо, а кукиш в щетине. И эта щербатина в зубах... А на глазах слезы, не понять только — от нахлынувших ли чувств или от выпитой водки, скорей всего и от того и от другого.

— Ах, Федька! Туды твою растуды! Ах, злодей!.. Ну-ка, для встречи — шевелись! Ты ведь, гордыня, верно, богатым стал?

— Ротшильд.

— Давненько мы с тобой не виделись. Давненько. Считай, года два, ежели не более.

Через пять минут они разговаривали через початую бутылку.

— Рад тебя видеть, старик,— улыбался Федор. — Рад... — И осторожно спросил: — Как житье?

Штука помедлил, помигал куда-то в сторону, ответил веско, солидно, не без гордости:

— Пропадаю.

— Что так?

— Спиваюсь.

— Беда какая случилась?

— Ты испортил меня, занудь ученая.

— Я? Тебя? Опомнись!

— До тебя я беды не знал. Делал, что приказывали. Делал, и довольны были. Ты ведь знаешь, какой я мастер. Лучший в Москве по колеру — нюхом доходил, где другие умом взять не могли. Писаных рецептов не признавал... Да-а, было времечко, было, да прошло... Федька! Сучий сын, веришь мне — не жалею об этом! Я —

пьяница, я — босяк, дети презирают, старуха из дому гонит, а я не жалею. Я теперь гордость имею... И берегу эту гордость... Свято!

— Толком — что стряслось?

— Да я ж тебе, дураку, вбиваю: стряслось — с тобой встретился! С тобой, подлецом!

— При чем тут я?

— А кто мне все время долбил: уважай себя, пиши свою малярскую профессию с большой буквы, не потакай глупости. Накатец просят, морскую волну — презри и втолкуй: глупцы вы. Кто мне говорил, что я умней всех в своем деле? Ты говорил, божья ты тварь! И спасибо тебе большое за твои слова! Кто говорил, что люди портят себе жизнь, потому что не понимают доброго? Кто говорил: втолкуй, научи, заставь принять это доброе? Ты, раздери тебя пополам! И золотые твои слова! Внутро они мне вошли, в самое сердце!

— Так какая же это беда?

— Ты, мазилка, забыл — мой характер не знаешь? Раз вошло внутрь, то прочно. Перестал я потакать людям! Они мне — сделай под шелк, а я им — пошлость, в шелка теперь не расписывают. Пош-лость! Твое слово, вспомни-ка! И скажу, великое слово — сам проверил, корежатся от его люди. Недавно я его влепил одному архитектору, толстый такой, ученый из ученых... Тоже позеленел... А тут еще бригадир меня стал подбивать,— мол, олифу и краску схорони. Чтоб я! Я! При моей-то гордости — воровать!.. Отовсюду меня теперь гонят, Федька, дурная слава идет... И пусть! А я уважаю себя — не собьешь! Прежде думалось: кто я — маляришка. Ан, пиши с большой буквы... И вот спиваюсь... Да, спиваюсь! Пусть люди об этом жалеют. Они по своей глупости наилучшего из маляров лишаются. А без маляров что за жизнь — в сараях, среди серых стен, как скоты. Лишаются, Федька, пусть им плохо будет!.. Ну, чего уставился, словно у меня на лбу икона писана?

— Вот не знаю — прав ли ты?

— Это ты-то сомневаешься?! — В подернутых слезой глазах Штуки плеснул ужас. — Федька! Прохвост ты эдакий! Заткни свою пасть! Ведь ежели ты меня осудишь, то мне одна дорожка — на чердак и в петлю! Не-ет, не собьешь, я свято верю в гордость. Великое это дело — гордость в душе иметь... Выпьем за гордых! Ну!

— Выпьем...

— Нет, прежде ты скажи, прежде ты успокой меня — ведь я прав? Говори, жучок охристый, прав я или нет?

— Ты прав, старик.

— То-то... Ну, будь здоров, золотко.

Штука перекосился, понюхал корочку, не закусил, отдышавшись, спросил:

— Ты-то о себе скажи — как живешь? Высоко, видать, взлететь собираешься?

— Плохо живу.

— Да ну? А что?

— Я, Матвей Иванович, недавно за товарища руку не поднял.

— Били, что ли, парня?

— Били.

— И боялся, что тебя изобьют?

— Да и не боялся вроде, а как-то не сумел.

— Что-то не похоже на тебя... А человек-то стоящий?

— Товарищ.

— Ясно. Не-ет, что-то не похоже... Ты ведь не трус. Помнишь, как к нам за городом, ночью на пустыре двое подкатили. Я-то тогда трясся, как овечий хвост, а ты — нет, не испугался... Били товарища, и руку за него не поднял. Не верю... Давай-ка выпьем... За твое здоровье, браток.

— За твое, старик.

А у соседнего столика продолжал самозабвенно, похмельному куковать баритон:

— Все не вечно. Солнце не вечно. Земля не вечна. А человек что? Человеку тоже свой век отмерен. Придет время — все вымрут. Может, вот оно, это время. Может, завтра все сообща от своей же глупости загнемся — моря будут пустые, земли пустые...

Матвей Штука презрительно скривился, показывая щербатину:

— Развелось тут...

— Что — развелось?

— Да этих — молельщиков. На смерть молятся, болваны. Что толку о могиле думать? Будет конец, нет ли — там видно, а пока живешь, думай, как жизнь устроить. Нет, смерть, видишь ли, щекотливее для беседы. Пустобрехи... Ну, по новой, за твою жизнь, охристый...

Еще стопка, и язык Штуки стал заплетаться:

— Накатец под шелк, морскую волну, а я им святое словцо — пошлость, выкусите...

— Морскую волну... Слышь, Штука, ты не бывал у них?

— У кого?.. Накатец... Не-ет, выкусите!

— Помнишь, у кого мы первый раз работали? Там дочка и мать. Дочка высокая, а мать толстая с усиками, золоченые багеты еще заставила нас прибить.

— Не помню... Мало ли у кого работал.

— В морскую волну настаивала стены выкрасить.

— Морскую волну... Не-ет, святое слово — пошлость... Пошлость, разлюбезные...

Дюжий буфетчик с гневливо-багровым лицом тащил за шиворот к дверям вконец окосевшего пьянчужку.

— Морскую волну... Уж не-ет, выкусите...

На улице Штука чуть протрезвел. Федор усадил его в полупустой трамвай. И когда увидел его с улицы через освещенное окно, маленького, растрепанного, заросшего, от которого брезгливо сторонились пассажиры, стало до боли жалко этого пропащего человека, и снова появилась крамольная мысль: «А прав ли? Плохой маляр лучше, чем хороший, но вконец спившийся».

16

Сыпал мелкий дождь и тут же застывал. Такое впечатление, будто мостовые покрыты рыбьей слизью.

И по-прежнему бежали прохожие — мимо, мимо, к себе, к своим стенам.

У Федора нет ни стен, ни семьи, он в последние годы только и делал, что рвал с людьми. Была мать, был отец, была родная Матёра... Вся война — цепь сроднений и безвозвратных разрывов. А Савва Ильич?.. Он и до сих пор предан. Но Федор для него — что облачная планета Венера для астронома: видна, но непонятна.

И думалось — в институте обрел новый дом, новую родню. Видимость! Не дом, а купе поезда дальнего следования, не родня, а временные попутчики. Православного высадили на полустанке, остался Вячеслав. Но скоро конечная остановка, взмах руки — будь здоров, вспоминай... и со своим багажом по разным дорожкам.

Прохожие, прохожие — тесно в вечернем городе. Бегут и не могут разбежаться, кажется, цепляются друг за друга.

Спросил у Штуки про дом, где под золочеными багетами царствует мамаша-фараонша, спросил ради той, смахивающей на Нефертити. Для чего спросил?.. Ничего не было и быть не могло— дым, выдумка, запах, отуманивший на минуту. К несбыточному тянет, чтоб на старости лет вспоминать легенду: «Как хороши, как свежи были розы...»

Да и может ли быть у него что-нибудь, кроме несбыточной легенды? Ему некогда оглянуться в жизни, он несет оковы. Первая постановка на экзаменах, бутылка с лимонами,— первый страх: кто он, на что способен? А сейчас, четыре года спустя, все тот же страх, прежний, непритупившийся: кто он, на что способен? Оковы, которые нельзя сбросить, все силы уходят на то, чтобы нести их, все силы, вся душа без остатка.

Встречались женщины и отходили в сторону — легко ли любить человека в оковах! Нина Худякова первая почувствовала — не до нее, недостаточно внимателен. Если б Федор оставался героем, она, быть может, снесла бы равнодушие; если б он оказался несчастным, нуждался в ней,— осталась бы, поддержала как могла. Но быть постоянно героем невозможно, а несчастным не позволяет гордость— нес оковы, не жаловался... И после лекций Нину стал поджидать высокий парень в спортивном костюме с самоуверенной физиономией бретера.

А наверно, только через женщину можно стать близким к людям. Женщина, дом, дети, ответственность за них, незримая связь с будущим — привычная колея, по которой катится род человеческий.

И для этого не обязательно нужна Нефертити...

Уже намечаются залысины, уже морщины у глаз, и «годы проходят, все лучшие годы...» Кончается молодость, и сух лоток, и стоят жернова... На минуту хоть сбросить оковы, пойти к Нине, сказать не скрывая: «Одинок. Прими обратно, не отталкивай, не найдешь более нежного, более верного, более нуждающегося в тебе...» А почему бы нет? Стыдно показать себя слабым, сказать правду?..

Полузабытой дорогой к древнему особнячку с облупленной штукатуркой, по скользким мостовым, под лип-

ким холодным дождем... Мокрый, промерзший, он подымался по темной широкой каменной лестнице с кислым запахом, который не могли истребить года.

Прежде чем нажать на звонок, замялся.

Сумасшедший, ты же забыт в этих стенах. И свято место не бывает пусто,— наверно, сидит там сейчас какой-нибудь парень в спортивном костюме... Проваливай, ты лишний, ищи другого пристанища. Зачем тебе идти на унижение?

Но он стоял перед тяжелой дверью, когда-то обитой толстым ковровым материалом. Обивка облезла, торчит пакля в прорехах, кой-где тускло поблескивают крупные шляпки медных гвоздей. Если сейчас повернуться и уйти, будешь казнить себя за малодушие, будет тянуть тебя сюда, рано ли, поздно — придешь, снова станешь перед этой дверью. Так лучше пережить недоумение, неловкость, косые взгляды, чтоб раз и навсегда стало ясно.

Федор позвонил.

Прошло минуты две, прежде чем за ободранной дверью послышались шаги, щелкнула задвижка и выросла женщина с повязанной щекой и мученическим выражение лица.

— Не скажете ли, Нина Худякова дома?

Женщина ничего не ответила, равнодушно отошла, оставив дверь открытой,— нелюбезное приглашение: входи, если хочешь. Значит, Нина дома.

Знакомый, как чердак, заваленный пыльным хламом, коридор. Густое, потное тепло перенаселенного жилья.

В байковом халатике до пола, небрежно причесанная, с обычным выражением сонливого покоя на лице, Нина предстала в дверях своей комнаты. Свое удивление она выразила лишь тем, что с минуту стояла молча, с величавым спокойствием разглядывала Федора.

— Как ты поздно! Он уже спать ложится,— сказала она так, словно Федор заходил каждый день.

Он!.. За спиной Нины кто-то зашевелился.

— Извини... Я на одну минутку. Вот шел мимо...

— Да нет, заходи, заходи, будем рады.

— Пожалуй, я лучше пойду... Право, поздно.

И вдруг знакомый голос из глубины:

— Старик, я сейчас оденусь!

Вот те раз!.. Нина отступила в сторону, давая Федору пройти.

В чистой нижней рубахе, в наспех натянутых брюках, босой, сидел на койке Православный, сконфуженно жмурил близорукие глаза.

Нина удалилась на кухню, чтоб поставить чайник.

Комната не изменилась, по-прежнему она походила на просторную пещеру — серый, давно не беленный потолок с пыльными лепными украшениями, раскоряченный, смахивающий на малярские козлы мольберт, исчезла только железная труба, да в старой, в три бронзовых рога люстре горела не одна, а все три лампочки, на каждую из них надеты самодельные колпачки из разноцветной гофрированной бумаги — красный, желтый, синий. Красные и синие размытые пятна падают на стены, в углах по-прежнему полутьма.

Православный водрузил на нос очки, но в глаза Федору глядеть боялся — смущенно улыбался, шмыгал носом, прятал босые ноги под койку. Но выглядел он непривычно: чистая рубаха, сам чистый, выпаренный, даже вихры не торчат — улыбается... Несчастный? Нет, не скажешь.

— Старик! Она — святая,— сглотнув от волнения, произнес Православный.

— Рад, что ты так думаешь.

— Старик, мир полон прекрасных людей. Мы только их не замечаем.

— Не будем преувеличивать.

— Я говорю о людях, старик, о людях! Иван Мыш — ублюдок среди людей. Берегись его.

— Спасибо за совет. Жаль, что он запоздал.

— И не будем о нем вспоминать. В этих стенах запрещено произносить его имя.

— Поговорим о тебе.

— Обо мне?.. Не надо соболезнований. Я легко все перенес. Мне помогли, старик!

— Кто? Она?

— Она.

— И еще?

— Левка Слободко.

— Во то-то и оно. Тебе помогли — кто-то, а не мы, которые четыре года жили вместе.

— Вы славные ребята!

— И только-то. Славные, но в вашей помощи не нуждаюсь. Мы ждали тебя у дверей — ты прошел мимо. Мы ждали ночью — ты не явился.

— Я не мог явиться туда, старик. Там бы я встретился с ним.

— Мы его выгнали.

Православный серьезно и удовлетворенно кивнул головой: «Понятно».

— Ты что-то не договариваешь,— сказал Федор. — Говори!

— Старик, мне нечего от тебя скрывать.

— И все-таки не договариваешь чего-то.

— Мне с тобой легко, а вот с Вече теперь было бы трудновато.

— Почему?

— Он честный, он умный, он готов сломя голову идти на помощь — не продаст... Но понимаешь, считает, что его взгляды самые правильные, даже единственно правильные, его вкус безупречный и уж решение, что созрело в его просвещенной башке,— самое наилучшее, род человеческий должен пользоваться только им. Пророк! И я бы готов, старик, идти за пророком. Готов! Сам Америк не открою. Но за этим пророком бегут вприпрыжечку Иваны Мыши. Вспомни, как Мыш смаковал его «баррикады»! Вот в этой компании не хочу быть. Я лучше, старик, пойду за Слободко.

— Но Иван Мыш, поднатужившись, может процитировать Маркса или Гегеля. Ты что же, после этого заявишь — к черту всю классическую философию, если ее такой Мыш смакует?

— Сравнил.

— Поганый червь всегда норовил влезть в съедобный гриб.

— Старик, а так ли уж съедобно то, чем пичкает нас и себя Вячеслав? Мне не по вкусу его баррикады. Баррикады — вражда! Вражда, а не содружество.

— Тогда води дружбу и с Иваном Мышом. Он ведь тоже скоро влезет в искусство, даже больше — станет командовать! И — да здравствует содружество! Он тебя в уста расцелует за такой лозунг.

— Но пока, старик, Иван Мыш с Вече по одну сторону баррикад, а я и Слободко — по другую!

Федора взорвало:

— А кто выступал против Мыша? Кто поднял руку за тебя? Один из всех! Твой Слободко кричал потом — красуется! Ложь! Слободко оправдывает свою трусость. Презираю его! Презираю, как самого себя! Я тоже не поднял руку — ни «за», ни «против», ни «воздержался». Но я хоть не оправдываюсь, мне стыдно за это!

Вошла Нина с чайником. Православный сказал:

— Замнем, старик. Считай, что я неправ.

На шатком столике появились чашки. Одна из них была хорошо знакома Федору — саксонский фарфор, наследство Нининой матери, на донышке марка — синие перекрещенные мечи. Сейчас эта чашка была передвинута Православному.

Нина священнодействовала — в тени под ресницами манящая влага глаз, высокая грудь, белые руки плавают над столом, по-домашнему позванивает посуда. Заводить при Нине разговор об Иване Мыше, ворошить грязную полову — кощунство.

Православный глядит на Нинины руки, и глуповатая улыбка растягивает рот — тает парень. Он даже стал красивее — крепче лицо, не заметно обычной мешковатости, и плечи развернуты, и грудь вперед по-петушиному, хотя и блуждает глуповатая улыбка, но не скажешь — гадкий утенок. А Нина чувствует его восхищение, гордится собой, гордится им, плавают руки над чашками.

— У меня есть один знакомый,— не спеша, с убежденностью заводит она разговор,— главный редактор в издательстве. Я поговорю с ним, и он примет Леву на постоянную работу — художником-оформителем...

— И все врет! Все врет! — восторженно перебивает ее Православный. — Никакого знакомого у нее нет.

— Есть,— голос Нины загадочен и мечтателен.

— Если и есть, то там нашего брата — что мух вокруг меда. Все врет!

— И первое, что мы купим с тобой,— ковер на пол. Большой такой, мохнатый, чтоб ноги тонули.

— Все врет! Ну, все врет, старик! Никакого ковра не купим.

Федору бы хотелось, чтоб не Православному, а ему пододвинули чашку саксонского фарфора. Жаль себя и почему-то жаль счастливого Православного, грустно... И уютно от этой грусти.

С каким-то смирением он вышел снова в сырую ночь.

17

Он дернул дверь в свою комнату.

Рядом с Вячеславом поднялся сухонький длинноволосый человек в куцем пиджаке, в застегнутой до подбородка рубахе в полоску, в сапогах с широкими голенищами.

— Ты?..

Федор прирос к полу. Перед ним стоял Савва Ильич, морщил лицо в несмелую улыбочку, виновато и растроганно помаргивал. В деревне он все-таки казался шире, плотней, здесь же совсем ребенок с лицом старичка. И выстиранная, наверно в поезде надетая, рубаха в полоску, и этот древний неловкий пиджачок, и эти громоздкие, старые, с рыжими голенищами сапоги. Сам себе в Матёре он казался франтом. У Федора сжалось сердце при виде старости, бедности и откровенной беззащитности.

Жидкие седые волосы старательно расчесаны, и морщинки, морщинки, знакомые, изученные, полузабытые.

— Ты?.. Здравствуй... Как же так? Каким ветром?

— Да вот взял да приехал... — Руки смущенно разошлись в стороны, словно попросил: прости, если можешь.

— Мы уж давно тебя ждем,— с упреком произнес Вячеслав. — Наконец-то!

— Вот решился... Может, умру скоро, так хоть настоящих людей увижу.

— Савва Ильич извелся весь. Каждую минуту на дверь оглядывался.

Не часто видел Федор на лице Вячеслава ничем не прикрытую доброту и жалость. Он даже поглядывал на Савву Ильича с какой-то размягченной, робкой нежностью.

— Извини, но кто знал, кто знал?

— Да что ты, что ты! Я тут так душой угрелся, что и не заметил, как время пролетело. Мы с Вячеславом Алексеевичем беседовали... Ох ты господи! За такую радость еще извинения выслушивать... Меня извините, что упал как снег на голову. Жил себе, жил да испугался: а вдруг умру и ни разу вас всех не увижу? вот...

— Ну, еще раз...

Обнялись. Под руками Федора — острые, по-старчески хрупкие плечи. Савва Ильич поспешно отвернулся, высморкался в платочек, скомканный узелком.

— Сядем, старик. Даже угостить тебя не могу.

— Обожди, обожди, у меня целый чемодан гостинцев... От матери тебе. — И Савва Ильич суетливо стал выкладывать на стол пироги из серой, грубого помола муки — пряженики, коржи, загибуши. — Оно конешно, не городская снедь, где уж — не красно живем. Но родное... Мать старалась.

Вячеслав опять с непривычной услужливостью вскочил:

— Кипятку принесу... Федор, если задержусь, не начинайте без меня.

Но он не задержался, где-то раздобыл бутылку, разлил себе, Федору, Савве Ильичу самую малость на дно кружки, так как тот отмахивался обеими руками.

После глотка водки у Саввы Ильича в глубине морщинок стал копиться румянец. Он туманно-радостными глазами поглядывал то на Федора, то на Вячеслава, казалось, не верил, что все это с ним происходит наяву — сидит в Москве, в хорошей компании, с ним предупредительно вежливы, подсовывают лучшие куски, даже водки достали ради встречи.

— А я, Федюшка, водку-то̀, поди, второй раз в жизни пью,— недоумевая, сообщил он. — Первый раз лет сорок назад, когда еще парнем был, по глупому делу хватил. Тоже ведь хотелось казаться ухарем.

— И это, когда вокруг озера самогону выпивают,— пояснил Федор Вячеславу.

— Не пил водки, не курил вовеки табаку, да что скрывать, и от женского пола, считай, всегда в сторонке. Так и не женился... И разносолов не едал, и мягко не спал, и одевался кой-как... Вы скажете: никудышняя жизнь, не позавидуешь. Ан нет, не пожалуюсь... Слышь, Федюшка, умер Платон Муха.

— Это тот, который вывески писал?

— Он самый — плотник, маляр, на все руки мастак. Умер на крещенье... Грех вспоминать недобрым словом, а все-таки скушно жил, для копейки. Всю жизнь норовил урвать длинный рубль — и пил запоем и гулял. Не жизнь, а угар, так в угаре-то ничего и не увидел. Не было у него настоящих радостей, а на белом свете пятьдесят

семь лет проторчал, и бела-то света не заметил, и умер пьяным. Как подумаешь — страх берет... А моя жизнь — не-ет, не похожа. Я каждый день был пьян-пьянешенек не от вина, от радости. Утречком, как проснешься, как вспомнишь — день впереди, целый день, и без ума счастлив, что этот день-то не почат. Выскакиваешь на крыльцо да в поле, а там — на траве, ее словно морозец прижег, роса никем не тронутая, сбереженная для тебя, шагаешь по ней, а за тобой след мокрый такой, зеленый-презеленый, кажись, течет эта зелень ручьем. А тут еще в небе, высоко, у самого солнышка за пазушкой, жаворонок кипит... И аж зашатаешься, аж заплачешь от радости. Стыдно сказать, стоишь дурак дураком, и слезы текут... Вот ведь какое. Разве Платон Муха знал это? А потом сядешь перед березкой, положишь на колени бумагу, краски вынешь... Ты и березка — никого больше, никто тебя не обидит, дурным словом не обзовет. Ты и березка, а меж нами беседа неслышная, по душам. У нее ветка коленом идет, и она говорит мне: «Вглядись, неспроста это, смысл есть». Говорит, а я ее понимаю... Понимаю ведь, смысл улавливаю, великий смысл. Тут уж я сам себе царь Соломон, мудрей меня нет никого на свете. Стыдно сказать, гордость душит... Каждый день такое счастье, каждый день, шутка ли...

Вячеслав в самом начале разговора поднес ко рту кусок пирога, поднес и не донес — застыла рука в воздухе, широко раскрытые глаза уставились в мечтательные морщинки Саввы Ильича. А у Федора все перевернулось в душе: Иван Мыш, одинокий и жалкий пьяненький Штука, суматошные прохожие, цепляющиеся друг за друга, бегущие по неуютному, тонущему в сырости городу,— ах, все ерунда, суета сует. Забыл о росе, морозно подернувшей траву, забыл о кипящих где-то «у солнца за пазушкой» жаворонках, забыл о том, что еще много, много непочатых дней впереди, забыл что жизнь — это радость. Ах, родной Савва Ильич, по-прежнему твой Федька-дошколенок перед тобой. Ему суета сует стала важной, растравила жизнь... А ведь презирал тебя тайком, старый мудрец,— бесталанен, простоват, до́рог только старой дружбой... И Вече сидит оглушенный, не донесет пирог до рта.

А журчащая речь Саввы Ильича текла дальше:

— Каждый день... Но ведь в жизни еще и удачи бывали, да еще какие! Бы-ва-ли! Разве не удача, Федюшка, что ты мне попался? Мог и не встретить тебя, мог запросто не приметить — столкнулся бы да мимо прошел. Всяко случается. Ан нет... Удача... Я слаб, я стар, да и, поди, не шибко-то талантлив. Ты молод, в тебе силушки на пятерых, и в тебе бес сидит, демон, нечеловеческое. Верю в тебя! Верую! Великим живописцем будешь! Слепые глаза распахнут, Платона Муху прошибешь!..

При слове «верую» у Федора шевельнулась тоска, стала расти, тягучая и удушливая. «Верую», а в мастерской сейчас стоит бессмысленный, никому не нужный холст. «Верую», а он, Федор, завяз, словно паук в смоле, не знает, как выкарабкаться.

— Великий живописец! А кто его подтолкнул? Я!.. Иль не так, иль кто-то был другой, не Савва Ильич Кочнев? Я — не отымешь! Значит, и на мое имя кусочек спасиба приходится. Крохотный кусочек большого спасиба. Разве не удача? Разве не подарок? В бога бы верил, сказал — благословение господне!.. А плох стал... болею... И находит временами — не мил свет, да и только. А как вспомню, что ты на свете живешь,— ты — молодой, здоровый, талантливый, ты — моя веточка зеленая, отросток от сухого пня,— так и светло станет. Дожить бы до того времени, когда ты в силу войдешь. Эх, дожить бы!.. — Савва Ильич, погасив блеск в глазах, погрустнел: — А плох стал — рука к кисти не тянется...

И Вячеслав выдохнул сквозь стиснутые зубы.

«Рука к кисти не тянется...» — и невольно содрогаешься от несчастья, сваливающегося на человека. Нечему радоваться, отнимается то, чем жил, рука к кисти не тянется — бессилие! И пусть это бессилие мешает немногому — не станут появляться на свет прилизанные пейзажики с елочками и березками, ватными облачками,— но все равно — непоправимое несчастье!

Савва Ильич пригорюнился, замолчал.

Вячеслав встал, прошелся по комнате, остановился возле стены, продекламировал в стену:

...Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой...

Повернулся, расстроенный, с остановившимся, устремленным внутрь себя взглядом, спросил:

— А что такое святая правда? Как бы ее пощупать?.. Может, золотой сон и святая правда — одно и то же? Не ущупаешь. — Помолчал, сердито ответил сам себе: — Золотой сон... Сон и правда?.. Враки!

18

Спать легли под утро. Федор не мог уснуть. Припомнилась пастораль Саввы Ильича, которую слышал в детстве.

Долго, долго бродить по свету, найти бы себе дом. Нет, не богатый, но на богатом месте. Дом на высоком берегу, окнами к реке. А за рекой луга, деревеньки, колокольни церквей, синие леса — Русь на ладони! А над дремлющими деревеньками — бунтующие закаты. И тихо вздрагивает мир от первых лучей солнца. Лови этот первый луч, выходи на росу, плачь от счастья, успевай взять бумагу и кисти. Росе ведь суждено высохнуть, солнце рано или поздно затянут осенние угрюмые тучи, а на листе бумаги останется непросыхающая роса, неувядающая свежесть, неомраченное солнце. И люди, поглядев, станут плакать твоими слезами, удивленные жизнью...

Художническая Аркадия, в ней нет места бессилию и бесплодию!

Золотой сон! А наяву — утром встанешь перед холстом, от которого тянет трудовым потом, не приносящим радости. Много таких испачканных холстов, твой не лучше и не хуже других, кой-кому может даже понравиться — ставил же его в пример Леве Слободко директор.

Не шел сон, ворочался Федор с боку на бок.

Перед закрытыми глазами стояла натура — отцветшая девица с распущенными волосами. Она проста, без секретов, вся на виду, пройдет мимо по улице, никому не придет в голову обернуться вслед. Но и береза — ветка коленом,— о которой говорил Савва Ильич, разве что-то особенное, и мимо нее проходят с полнейшим равнодушием. Стоит перед закрытыми глазами натура... Голубой наивный фон, голубое платье, увядающее бледное лицо, непорочность рядом с мелкими житейскими пороками.

А губы, густо крашенные помадой,— кровоточащая рана на бескровном лице...

Сегодня последний сеанс будет сидеть девица, завтра — новая постановка. А ведь он бы, пожалуй, ее сейчас написал... То-то умные мысли приходят на лестнице. Последний сеанс, заставь себя спать — время упущено.

Но сон не шел... Стояла натура перед глазами...

И Федор решился.

Стараясь не шуметь, он встал, натянул брюки. Ровно дышал Вячеслав, на койке Ивана Мыша, подсунув под голову старое пальто, спал, скрючившись, Савва Ильич. Рядом стояли тяжелые сапоги, настороженно вслушивались в тишину широкими голенищами.

Под койкой Федора, как у всякого студента-художника, был целый склад — пыльные картоны с этюдами, старые холсты, натянутые на подрамники, холсты, свернутые в трубку, ящик, набитый пакетами сухого козеинового клея, красками, мелом, бутылками с растворителем... Федор вытащил холст на подрамнике, ящик...

Савва Ильич поднял голову:

— Федюшка, ты чего?

— Спи, спи, Ильич.

— Куда там. Сплю, что птичка божия. А ты-то чего?

— Хочу холст прогрунтовать.

— Время-то вроде не рабочее — ночное?

— К утру нужно.

— Безалаберный ты парень, вижу. К утру нужно, а не готов.

Савва Ильич стал подыматься.

— Да спи же!

— Помогу... Безалаберный, огорчаешь меня. Серьезно к делу не относишься.

Через двадцать минут они вдвоем хлопотали в низкой подвальной комнате, носившей у студентов ресторанное название «Савойя». Здесь стояли массивный титан и две газовые плиты. Здесь по вечерам рядом с коллективными «швайками» — супом, куда бросалось все, что было съедобного под рукой,— варились не слишком аппетитно пахнущие клеевые растворы. Здесь часто по ночам, забаррикадировав дверь, девчата устраивали «постирушечки», а днем владычествовала «царица Тамара», суровая нянька с лицом гоголевского Держиморды, рев-

ниво следившая за титаном и без особой ревности — за чистотой.

Федор поколдовал над старой кастрюлей, где еще оставалась засохшая грунтовка, поставил на огонь. Закипело адское варево, оно имело зловеще-синий цвет. Савва Ильич почтительно взирал на зелье, не переставая вздыхал:

— Безалаберный... Помешает это тебе в жизни. Успеха-то добиваются собранные — учти.

Федор любил матово-белые холсты, они его всегда тревожили, звали к себе. Сейчас холст должен быть синий, а начало новой песни необычным.

Савва Ильич не одобрял:

— Чудишь, беда с тобой.

Холст просох, когда в окнах, наполовину опущенных в землю, в мутном ростепельном рассвете замелькали ноги первых прохожих. Холст просох, небольшой кусок предгрозовой синевы — он охотно примет светлые тона, приглушит, растворит в себе темные.

— Ну, пора собираться,— сказал Федор, гася окурок.

Савва Ильич попросил, глядя умоляюще и виновато в глаза:

— Возьми меня в институт... Всю жизнь хотел заглянуть... Одним глазком... Перед смертью бы, хоть раз... Больше-то не выпадет случай, плох стал.

Федору сегодня не до него, но как тут откажешь?

19

Савва Ильич робко жался к стене. Он был оглушен, растерян и расстроен. Он попал в неудачное время в мастерскую — в последний день старой натуры, самый последний. У всех работы закончены, всем давно уже осточертела девица с распущенными волосами. Никто не собирается приниматься за работу — толкаются между мольбертами, сходятся в тесные кучки, беседуют о новой оперной постановке, о новых декорациях Федоровского, судят, рядят, у кого как получилось, ведут отвлеченные споры о колорите, о тональности, о компоновке.

Савва Ильич всю жизнь считал, что серьезно относиться к искусству — значит трудиться не покладая рук.

В мастерской идет массовая болтовня, попал к бездельникам. Усердствует один — Иван Мыш не оторвется от холста до тех пор, пока не прозвучит звонок. Ради него взбирается на возвышение девица, привычно впадает в оцепенение. Савва Ильич оглушен и расстроен...

В нелепом пиджачишке, в порыжелых сапогах, он, боясь далеко оторваться от стены, боязливо переходит с места на место, вглядывается в холсты. И законченные портреты его не радуют, он не может сосредоточиться, а потому лицо по-прежнему встревоженное, неодобряющее.

Большинство студентов приняло его за нового натурщика, который пришел наниматься и из любопытства залез в мастерскую — глазеет.

Нина Красавина, подружка Нины Худяковой, бесцеремонно, как купчиха товар, оглядела Савву Ильича с ног до головы, презрительно выпятила губу, не смущаясь тем, что старик слышит, сообщила:

— Выдержан в теплых тонах, только волосы — в холодных... Ничего поновей не откопали.

Явился Валентин Вениаминович, заметил Савву Ильича, начальственно спросил:

— А вы кто такой? Что вам здесь нужно?

Савва Ильич обомлел. Федор пришел на выручку:

— Мой школьный учитель рисования. Хочет хоть раз в жизни увидеть мастерскую художников.

И Валентин Вениаминович сразу обмяк:

— Ваш школьный учитель?.. Учитель рисования... Извините. Да, да, пожалуйста, смотрите.

Савва Ильич, испустив вздох облегчения, восхищенно сказал вслед преподавателю живописи:

— Справедливейший, видать, человек.

Федор снял свою старую работу, сунул в угол, установил на мольберте синий холст.

Последний день постановки. Трудится Иван Мыш. Сцепив челюсти, сведя крашеные губы, скучает натурщица, у нее тусклый взгляд.

Среди бездельничающих студентов — оживление. Синий холст Федора вызвал сенсацию. Потянулись к нему, выстроились за спиной — делать нечего, так хоть поглазеть, что учудит Матёрин. А он порой может — любопытно.

Федор долго готовился, протер холст маслом, выдавил краски, все время жадно вглядываясь в осоловелую девицу.

Ребята, глазеющие за спиной, мешали — чувствовал их, думал о них, черт бы всех побрал!

Тонкой кистью с жидко разведенной краской обежал по холсту, намечая контур,— голова в наклоне, плечо, спадающие волосы... А за спиной торчат, мешают...

— Ну, чего вызарились? Цирковой номер ждете?

— Не лайся, валяй себе. Полюбуемся.

Федор взял широкий флейц, долго набирал на него краску, прикидывал на палитре, наконец резко бросил пятно на холст — самое светлое место, скула. На синем грозовом холсте — кричащее пятно, чуть кремоватое, в теплоту...

И Федор забыл обо всем. Забыл, что за спиной его толкутся, что за каждым движением его руки следят десятки глаз.

«Есть упоение в бою...» Бой рассчитанный! Ночью, когда ворочался без сна, до этой ночи, когда глядел на опостылевший холст, под утро, когда разводил грунтовку,— он думал об этом человеке, что сидит перед ним. Ее лицо с бледной кожей, ее ненатурально светлые волосы, густо крашенные губы, угловатый овал худосочного лица, робкие скулы, подчеркнутые впадающими щеками,— в эту минуту он любит ее, она заставила забыть все, она затмила мир!

...Всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Репетировал ее, знает назубок, трудно ошибиться — скула и падающие волосы, невысокий, невместительный лоб и светлая полоса носа. Бой, рассчитанный наперед, но не трезвый. За все мученья, за все бессилие, за отчаянье — мазок за мазком!

Но только выдержка, только не пори горячку, Федор. Тебе даже некогда вытереть кисть, вытирай тщательней, чтоб старая краска не путалась, не мутила чистоту. Не жалей времени, вдумывайся, колдуй над палитрой. «Есть упоение в бою!..»

Незримая, нежданная, случайная, как подарок, приходит самозабвенная смелость. В другой раз он бы не

ляпнул эту варварскую желтизну под веками, сейчас бросил и не заметил, и она вошла в плоть. А губы! А губы!.. Тяжелой, губительной краснотой. И затененные глаза. Набрал грязи с палитры, той маслянистой грязи, которую потом счищают...

Теперь отойдем, вглядимся со стороны. Вглядимся, но не любовным взглядом, а чужим, почти враждебным... Ага! «Всю тебя, от гребенок до ног...» Под приспущенными веками, плотски анемичными, словно сквозь них просвечивает синева холста — синева холста или голубая негорячая кровь девицы,— безнадежно утомленные глаза, глаза, удерживающие влагу.

Зреет на холсте человек! Нет, не человек, а трагедия! Кто сказал, что искусство — ложь? Кажется, Пикассо сказал! Кто еще? Неправда! Искусство — хирургия! Без жалости распорол, показал больное, отравленное, то, что оскорбляет природу. Из всех лекарей хирурги — самые непримиримые правдолюбцы!

А у нее, оказывается, красивая шея, тонкая, длинная, голубая... И дешевый кружевной воротничок... И острое худое плечо под платьем.

Хирурги — самые непримиримые правдолюбцы.

И вдруг сзади, за спиной Федора, раздался изумленный выкрик:

— Батюшки светы!

Никто не рассмеялся.

Савва Ильич, стеснительно ходивший вдоль стен мастерской, созерцавший уже законченные работы, торчавшие на мольбертах, оглушенный новизною, раздерганный противоречивыми чувствами, заметил наконец, что все студенты сбились вокруг Федора. Он подошел и заглянул через головы...

Он недавно видел синий холст, чистый и безликий. Прошло каких-нибудь полчаса — холста нет, есть с тощим лицом девушка, ощущение голода в смутно мерцающих под прозрачными веками глазах, голода не обычного, не по куску хлеба, может быть, по любви, о которой она знает понаслышке, по ласке... И желтые подглазницы, и неприятные губы, и выбеленные перекисью волосы, и хватающая за горло жалость, и грозовой густоты фон...

Савва Ильич вскрикнул, все молчали.

Федор отошел от работы, долго, долго стоял, разглядывая.

Все молчали...

И Федору стало не по себе. Неужели это он сделал? Убийственно точные, решительные мазки. Это он? Его рука? Думал, репетировал, готовился и — не то, что ждал,— неожиданность, невероятное! Представлял и цвет и форму, но только не то, что получилось.

«Есть упоение в бою...» Мужество Федора иссякло. Он смотрел на работу и не верил ее появлению. Удивлялся, быть может, больше, чем простодушный Савва Ильич. Надо бы кончать, многое еще не дописано, но Федор боялся поднять кисть — тронет, начнет портить. Нет упоения, нет веры в себя — иссяк.

Федор вытер тряпкой кисти, сказал сердито:

— Шабаш!

На все ушло каких-нибудь полчаса — звонка на перерыв еще не было.

В стороне от всех, припикнув вплотную к холсту, что-то подмазывал Иван Мыш, он не отошел от своей работы.

Все зашевелились, каждый с усилием отрывал взгляд от портрета, переводил на Федора. Вячеслав тоже стоял в куче, он первый подал голос:

— Ребята, кто он? Кто он, этот бесноватый?

Слободко недоверчиво приблизился к холсту, словно обнюхал его, покачал головой:

— Фокус какой-то...

А на возвышении нетерпеливо ерзала натурщица. Она со своего насеста видела, как в молчании стояли студенты, слышала выкрик Саввы Ильича. Ее разбирало любопытство.

Раздался звонок на перерыв. Иван Мыш оторвался от своего мольберта, деловито вытер кисти, бросил в раскрытый этюдник.

Натурщица спрыгнула на пол, оправила платье, кокетливо пошевеливая бедрами, подошла с готовностью на лице умилиться подвигу. Но при взгляде на холст ее лицо вытянулось, щеки словно припорошило пылью, и — болезненный прищур, как на резкий свет.

Все молчали.

Она постояла, помялась и пошла к двери, уже не играя бедрами. Все проводили ее взглядом.

Федор подумал, что дома, оставшись одна, она вспомнит свой портрет и, наверное, будет плакать.

Подошел Савва Ильич. Чуточку бледней, чем всегда, каждая морщинка неподвижна, четко врезана, определенна и загадочна. Над макушкой торчит ребячливый хохолок, руки с усилием вытянуты вдоль тела, спина пряма. Собран и решителен, словно приготовился сообщить какую-то катастрофическую новость — кто-то умер, началась война или же открыт преступный заговор.

— Спасибо за все, Феденька.

— Ты что, уходишь?

— Уезжаю. Сейчас на вокзал.

— Как так? Сейчас?.. Ты что?.. Собирались вместе в Третьяковку. Москву покажу...

— Ничего не хочу.

— Убей, не понимаю.

— Ничего не хочу, ничего больше не надо.

— Да что с тобой?

— Лучшего-то я ничего не увижу. Третьяковка, музеи, Москва — забью голову, замусорю. А это нужно увезти чистеньким. Чудо видел... Буду помнить, покуда жив. Ты уж не обижайся и не упрашивай... Я понимаю — тебе уйти сейчас нельзя, так я один... Сейчас — к вокзалу, куплю билет и домой... Не беспокойся... До конца дней, покуда жив... Ох, Феденька...

— Обожди. Я отпрошусь. Хоть провожу тебя, сумасшедший.

Кто-то успел уже вынести новость за двери мастерской. Валентин Вениаминович стоял перед мольбертом Федора, чуть подавшись вперед, придерживая здоровой рукой протез, оцепеневший.

А кругом — громкий, возбужденный говор, студенты толкутся кучками во всех концах мастерской, заново переживают то, что видели:

— Никакого строгого рисунка, наметил лишь слегка.

— Нашлепок. Нельзя считать законченной работой.

— Не нравится — иди к Мышу, у него закончено до козули в носу.

А у Валентина Вениаминовича — застывший ястребиный профиль, выпячена нижняя губа. Каких-нибудь сорок пять минут назад он был в этой мастерской, даже видел, как водружается на мольберт синий холст. Сорок пять минут — слишком короткое время, чтоб свершилось событие. За это время он, Валентин Вениаминович, должно быть, успел пройти из мастерской в мастерскую, на-

верное, уже сообщил какому-нибудь первокурснику немудреный совет — находи самое светлое место в натуре и самое темное.

Самое светлое и самое темное — маяки тональности. Первокурсник над натюрмортом с яблоками... Будни... А сейчас — оцепенение. А он-то видал виды.

Федор почтительно выжидал в стороне.

Наконец Валентин Вениаминович разогнулся, вздохнул, секунду, другую еще вглядывался в работу и оторвался, забегал глазами по взбудораженной мастерской, отыскивая Федора.

Федор шагнул к нему:

— Валентин Вениаминович, мне нужно проводить своего знакомого...

Валентин Вениаминович положил руку на плечо Федора.

— А правда ли это? — спросил он, кивая на работу. Сам себе ответил: — Правда, но не по мне.

— Это как понимать — не по вас? — насторожился Федор. А он-то ждал похвалы.

— Смотрел сейчас и ловил себя на том, что боюсь тебе верить. Боюсь... И даже чем-то оскорбляет меня твоя работа.

— Но почему?

Валентин Вениаминович помолчал, глядя в сторону.

— Наверное, потому, почему степной пастух, привыкший видеть землю плоской, боится верить, что она круглая.

— Странно... Это похвала или упрек?

— А разве тебя так уж волнуют хвала и упреки из моих уст?

— Странно.

— Я тот пастух из бронзового века... Отсюда вывод — больше я тебе не учитель, оценок не ставлю. Ты перерос меня. Прими это как поздравление.

— Так, может, мне уйти из института?

— В наш канцелярский век тебе, наверное, пригодится бумажка — диплом об окончании. Ради нее благоразумнее побыть в этих стенах. Но я для тебя бесполезен — ничему уже не научу.

Валентин Вениаминович повернулся и хотел уйти.

— У меня к вам просьба,— остановил его Федор.

— Слушаю.
— Разрешите сегодня отлучиться.
— Охотно, но что за причина?
— Нужно проводить на вокзал знакомого.
— Кого это?
— Вы уже видели его. Мой школьный учитель рисования.
— Учитель рисования? Твой?.. Да, да, видел... — Взгляд Валентина Вениаминовича неожиданно стал напряженным. Он негромко спросил: — Когда он приехал?
— Только вчера.
— Вчера... Это он тебя как-то подтолкнул?
— Может быть, чем-то подтолкнул.
— Да, да, ты до его приезда даже чуть-чуть закисал... Слушай, познакомь меня с ним.
— Он будет счастлив.

Савва Ильич в своей рубахе, наглухо застегнутой до подбородка, в пиджачке, жмущем под мышками, в потертых брюках, заправленных в рыжие голенища, до тоски одинокий, затерянный, жался у дверей. При виде приближающегося Валентина Вениаминовича он совсем съежился, стал в смятении прятать руки. Идет к нему справедливый человек — в этом он, Савва Ильич, вроде убедился,— но все же начальство. А начальства-то отставной учитель рисования, компаньон бабки Марфиды, боялся больше всего на свете.

А на носатом, с сурово отвисшей губой лице Валентина Вениаминовича удивление и почтительность.

— Разрешите пожать вашу руку.

Савва Ильич метнул затравленный взгляд на Федора — спасай, друг!

— Валентин Вениаминович хочет познакомиться с тобой.
— Я рад... я... извините... я... — и, раздавленный конфузом, умолк.

Валентин Вениаминович ласково взял своей большой рукой сморщенную, сухонькую руку старика.

— Вы можете гордиться своим учеником. Вы понимаете, что это самая большая похвала учителю.
— Я?.. Да что же это вы?.. Какой я учитель! Вот вы ему...
— Я сегодня убедился, что не стою вас.

— Меня?.. — Савва Ильич с ужасом поднял глаза на Федора, спросил сдавленно: — Смеются?.. Зачем?.. Я же ничего такого... Я только посмотреть пришел...

— Валентин Вениаминович говорит серьезно.

Федора и забавляло, и ему хотелось плакать от родственной жалости к старику.

— Серьезно?.. — почти беззвучно прошептал Савва Ильич.

— Неужели вы думаете, что я позволю себе смеяться? Вы сами не знаете, кто вы. Могу только сказать — и поверьте моим словам — уважаю вас. Глубоко уважаю! Через него... — Валентин Вениаминович кивнул на Федора.

— И вы это всерьез?..

— Поверьте — серьезно.

И Савва Ильич обеими руками схватил широкую ладонь институтского преподавателя живописи, затряс ее, и из глаз, выцветших, стариковских, по изрытым щекам, застревая в морщинах, покатились слезы.

— Спасибо!.. Спасибо!.. Да что же это такое?.. О господи! Большое спасибо!

У Валентина Вениаминовича задрожала упавшая губа.

— Помилуйте — за что?

— Я никогда не слышал таких слов... Таких... Нет, где уж... Ни от кого... Вы первый сказали — уважаете. Надо мной-то больше смеялись...

Валентин Вениаминович, растерянный и расстроенный, повернулся к Федору:

— Федор,— он, кажется, впервые назвал его по имени, а не по фамилии,— это почему такое?..

— Матёра,— пояснил коротко Федор.

— Что?

— В деревне Матёре — двадцать пять дворов, и во всех думают больше о навозе, о зяби, но не о живописи. Кто думает о живописи, тот юродивый.

— О-о!..

Валентин Вениаминович проводил Савву Ильича и Федора до раздевалки. И Савва Ильич освоился настолько, что мужественно вынес, когда Валентин Вениаминович одной рукой довольно ловко помог натянуть ему на плечи ветхое пальтишко.

— До свидания. Если будете в Москве, приходите снова, всегда буду рад вас видеть.

— Нет уж, чего там... Не придется. С молодых лет собирался, а вот когда посчастливилось. Теперь мне одна дорожка — в могилу. Спасибо вам за доброту вашу. Большое спасибо. Так бы и умер, не увидев хорошего человека, не услышав доброго слова.

Все еще стояла гнилая погода. Днем прохожие, казалось, не так спешили, как вечером. Оттесненные потоком машин к стенам домов, люди упрямо шли, шли, шли. А над ними нависал каменный город, мглистый и задумчивый.

Как Федор, так и Савва Ильич должны быть счастливы. Как тот, так и другой пережили по событию, каких еще не случалось в жизни обоих. Федор ни разу не одерживал такой победы. Он знал — она войдет в институтские легенды, ее из года в год будут рассказывать первокурсникам. Савва Ильич никогда пе испытывал к себе подобного уважения — победу Федора признали его победой. Единственное в жизни!

Но в добрых морщинах Саввы Ильича — тихая грусть, время от времени он вздыхает.

— Федя... — Голос его слаб, еле слышен в уличном шуме, выцветшие глаза направлены вдаль, сквозь встречных, вырастающих на пути. — Я тебе вчера сказал, что хорошо прожил жизнь. Верил ведь в это. А вот понял сейчас — кто я и что я. Щепка в луже. Кто меня всерьез принимал?.. А здесь руку жмут, разговаривают с уважением. Ежели б в молодости решиться сесть в поезд... Что держало? Жена? Дети?.. Что тебя держало, бобыль паршивый? Какой жизни лишился! В сказках не услышишь, во сне не приснится. Э-э, да что там — после обеда ложки прòсты. Проплыло мимо, не воротишь... — И вдруг сколовшимся на петушиный крик голосом: — Есть ли, Федюшка, счастливее тебя человек на свете! Наверно, нету!

Счастлив ли?.. Почему сомнение?

«Есть упоение в бою...» Пережил, знает вкус. А вдруг это случайность? Было упоение. Будет ли? Что впереди?

Семь лет назад мальчишка в солдатской гимнастерке лежал с пустыми котелками у спеченного солнцем оврага. Лежал и думал: что впереди? Или время потечет дальше или оборвется оно? Или тополиный пух над деревней Матёрой, смех и слезы, встречи и разлуки, творчество,

большие города и дальние страны, или — ничто, не ночь, не мрак, даже не пустота, просто ничто. Что впереди? Тогда это был страшный вопрос.

А сейчас — не кощунствуй. Идешь по городу, висит влажная мгла ростепели, а не дым пожарищ, стены прочно вросли в надежную землю, нет опасности, не сторожит ствол автомата. Не оборвется без срока твое время, будешь жить!

А на обочине тротуара зябнет голая липа. Если б на минуту она смогла стать птицей или зверем с горячей кровью, познала бы, что можно летать или бегать, видеть пестроту, ощущать запахи, испытывать страх и любовную страсть, то возвращение обратно в древесный паралич, наверное, было бы подобно смерти. Зябнет липа, мертвы ее обнаженные ветви, ждет весны, чтоб распустить почки, дать побеги, завязать цвет,— и ей не чужды свои скудные радости, но кто им позавидует?

Смерть не грозит, не висит над тобой ствол автомата, а вопрос — что впереди? — волнует и пугает. Познал: есть упоение! Но повторится ли? А вдруг впереди — древесный паралич? Жутковато.

Идут люди, молодые и старые, флегматично вялые и нервно напористые, хорошо одетые и дурно одетые... Городские тротуары — человеческая коллекция! Средь них шагают двое. У обоих — удача, у каждого своя, какой еще не ведали со дня рождения. За спиной — свежее, не затертое, как рубль после денежной реформы, счастье. Должны бы радоваться, смеяться. Что может быть естественнее? Ан нет.

Робость это или ненасытность? Скудость души или благородная жадность к жизни, не дающая покоя? Заторможенность или сила, движущая вперед?

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Май 1952 года перевалил за половину. Весна то умирала, то возрождалась. Она умирала днем, когда палило солнце и прохожие теснились к стенам домов, прятались в тень. Она возрождалась по вечерам в призрачных

сумерках, до того, как зажигались первые фонари. В эти часы среди скованных камнем московских переулков начинало тянуть влажной землей и горечью клейких, недавно распустившихся листьев.

И в такие минуты охватывала тоска по деревне, по закатам, сникающим над темными, зазубренными лесами, по закатам, которые не загорожены от взгляда тяжелыми стенами домов. И невольно смотришь под ноги, надеешься встретить клочок живой, не задушенной серым камнем травы.

Только что прошел утомительный и бесполезный день — с утра мотался по организациям, искал, где бы подработать,— волка ноги кормят. В одном из центральных магазинов предложили художественно оформить витрину — распиши колбасы и окорока; изобрази изобилие. Студентом охотно соглашался и на такое, но теперь-то он художник с дипломом. Выношенные великие революционные замыслы и бутафорские окорока! Утомительный день, он целиком ушел на то, чтобы как-то просуществовать завтра. А завтра — опять такой же день для такого же послезавтра...

Федор шел по тихому переулку, глядел в асфальт под ноги, мечтал о яркой весенней траве.

Он случайно поднял голову...

Рядом с ним — из распахнутого подъезда — на вынесенном из дома стуле сидел больной старик — заботливые родственники устроили ему сидячую прогулку. Несмотря на парную вечернюю духоту, старик был облачен в зимнее пальто, только зябкая лысина была открыта воздуху, источенное морщинами лицо выражало величавую отрешенность от мира сего, который уже не может ничем удивить отходящего на покой старожила.

Сидел на стуле старик, и торопливо шла мимо случайная прохожая. Закинутые за спину волосы, вздернутый вверх маленький подбородок, в изгибе шеи что-то оленье, гордое, красная накидочка, красная юбка, очень узкая, стреноживающая. Дробный стук весело срывался из-под ее каблуков, уносился вверх к немым этажам.

И Федора встряхнуло, испарина выступила на лбу...

Она!

Уже не угловатая девчонка, нет уж прежней легкой бесплотности, сильные, упругие ноги несут стройную, узкобедрую женщину. Нефертити не в камне, живая,—

значит, и ее изменяет время. Даже та, первая Нефертити — подчинилась времени — росла, расцветала, стала матерью шестерых детей, потом состарилась...

Она прошла мимо так близко, что Федор почувствовал веянье воздуха и легкий запах духов.

Говорят, параллельные прямые все-таки пересекаются в бесконечности. Но жизнь не бесконечна, точка пересечения двух людей может оказаться за могильным холмом. И то, что их пути пересеклись, то, что он встретил ее сейчас,— редчайшая удача, она могла и не случиться.

Случилась... Но что из того?

Больной старик у подъезда, кутающийся на своем стуле в пальто, веселый стук каблуков... Все буднично, все обычно, город не удивлен, только одному Федору известна тайна, что возрожденная из веков Нефертити удаляется сейчас по переулку.

Случилась встреча. И она уходит, не заметив этого...

Федор двинулся следом...

Не робость охватила его, а бессилие. Она близко — десять шагов, секунда времени. Как легко проскочить эти десять шагов! Секунда времени — а он искал, он гнался за нею годами. Так догони же, другого случая не представится, догони, заставь обернуться, скажи ей в лицо правду из правд: «Ждал, искал много лет, если не всю жизнь!» Правда из правд, откровение из откровений!

А она не поверит, она возмутится: «Что за наглость? Что вам нужно? Я вас не знаю!»

Десять шагов, и — непролазные годы человеческих обычаев, запретов, щепетильных законов приличия.

Уносят бьющиеся в юбки ноги царственно запрокинутую, гордую голову. Федор идет, сдерживая шаг, не отставая и не нагоняя...

Остановись! Выслушай!.. Нет, он для нее встречный. А веками складывалась среди людей привычка — берегись встречного. Берегись на всякий случай, он может оказаться врагом! Жалок род человеческий, если веками жил в таком недоверии.

Она неожиданно свернула под арку.

Федор постоял, помедлил, обводя отсутствующим взглядом подъезды, освещенные окна, и, сам не зная зачем, без всякой надежды медленно вошел во двор.

Переулок был тих и пуст, а двор, стиснутый стенами, тесный московский двор с жалким подобием сквериka в центре,— оживлен и шумен. Носились ребятишки со смехом, у подъездов кумовали женщины, в сквериke, за длинным дощатым столом, белея рубахами, сидели мужчины, раздавался треск костяшек — забивали козла.

А кругом окна, окна, окна, от самой земли и до неба, открытые и глухие, оранжевые от абажуров, яркие и светлые, без занавесок, просто темные. Ломаные линии крыш подпирают чуть тронутое угрюмой смуглотой небо. В нем увядала одинокая бледная звезда, никому не нужная в этом монументальном людском гнезде.

Над густонаселенной землей, над детским галчачьим криком, над басовитыми всплесками мужских голосов и стреляющим стуком костяшек, откуда-то сверху, из одного из бесчисленных распахнутых окон, плыли звуки скрипки, а от другой стены неслась побеждающе властная речь включенного во всю силу радио.

Война в Корее... «Холодная война»... Безумие... Ядерное вооружение... Опасность радиоактивности... Опасность для человечества... Взаимная опасность... Опасность! Опасность! Опасность!.. Слова, как чугунные ядра, метались в тесном дворе, сталкивались, отскакивали, гнали друг друга, а их застенчиво переплетал горестный звук скрипки.

И давно похороненное пробилось в памяти. Фронтовая дорога по унылой степи. Опрокинутые в кюветы повозки. Вялый, кисельный рассвет. Спина, обтянутая шинелью... И голос скрипки, сжимающий горло, выворачивающий душу... Голос скрипки, стонущий в грязных окопных руках солдата-румына. И смерть, и голод, и даже ненадежное будущее — все на минуту отступило куда-то далеко...

И сейчас — хрупкий плач скрипки и чугунные слова...

Иногда громыхающие осколки слов погребали под собой замирающий в изумлении нежный голос. И тогда тело каменело от ожидания: ну! ну!.. Ну же!.. И скрипка пробивалась — не негодующая, не гневная, а по-прежнему победоносно-нежная заполняла воздух. А тяжелые слова продолжали метаться в этом залитом нежностью и грустью воздухе: война! безумие! опасность!

А дети смеялись, а костяшки домино с треском обрушивались на тесовые доски... Люди живут, и смех детей не замирает.

А где-то здесь исчезла ожившая Нефертити — узкобедрая женщина в костюме из красной шерсти.

Никто не обратил внимания на появление Федора, никто не заметил, как он ушел.

2

Одиннадцать с лишним лет тому назад разбитые сандалии прошлепали по асфальту: «Здравствуй! Ты — Москва! Я — Федор Матёрин!»

Свыкся с этим городом, знает его, обязан ему, нет на земле такого места, которое бы стало для Федора бòльшей школой, не отнимешь Москвы — биография.

В детстве счетовод колхоза, живший через два дома от Федора, добрый, тихий Трофим Никодимович, время от времени трогался умом,— как теперь понимает Федор, переживал острые приступы шизофрении. Федор всего раз видел его больным. Трофим сидел дома (в больницу его обычно не клали, боялись — залечат), нога на ногу, взгляд беспокойно бегающий, спина напряженно выпрямлена, по-детски капризной скороговоркой требует:

— Дайте спичек! Дайте спичек! Ну, сколько раз просить: дайте спичек!

Спички от него прятали— может поджечь дом.

Знакомое лицо с бородавкой на щеке, знакомая косоворотка, вышитая блеклыми васильками, знаком до последней пуговицы, а человек-то другой...

Знакомы площади Москвы, ее бульвары, ее улицы, лицо города прежнее, а сам он другой.

С тех пор как Федор окончил институт, привычная, обжитая Москва стала чужбиной. Выдали диплом, поздравили и... иди куда хочешь,— ты свободный художник. А идти некуда, нет квартиры, нет мастерской, работы много, но не для свободного художника, занимающегося станковой живописью,— некуда приклонить голову, не уверен — будешь ли сыт завтра. Свободный художник — свободны по отношению к тебе.

В самую первую встречу с московской Нефертити, когда со Штукой ремонтировали квартиру, спасительницей оказалась Нина Худякова. И сейчас он, выйдя из незнакомого двора, сразу подумал о ней.

Нина разошлась с Православным. Это никого не удивило, меньше всех — Федора. Несчастным, как и героем, нельзя оставаться вечно. В институт Православного не приняли, причины, когда-то делавшие его достойным жалости, остались, но... тело заплывчиво, дело забывчиво — ковер не куплен, главный редактор издательства не помог. Православный через знакомых устроился при ихтиологическом институте, рисовал рыб в разрезе.

Умиление Нины перед собственным самопожертвованием приелось ей самой.

Как-то Федор, не зная, куда девать себя, поднялся по темной лестнице старенького особняка. Открыла Нина....

Был чай, Федор пил из чашки саксонского фарфора...

Эта неизменная чашка снова поставлена перед Федором.

— Дай мне кусок бумаги,— попросил он у Нины.

Все еще в голове скрипка боролась с чугунно тяжелыми словами, звучал смех детей...

И разбужена память...

Посреди войны, оборвав на минутку утомительный поход, поет такая же скрипка...

Румын в каторжной щетине — солдат в шинели врага...

И боль не за себя. И благодарность до слез...

Вот если б повторить голос скрипки на холсте! Повторить так, чтобы каждого потрясло простое, как само слово «любовь», открытие: на свете есть не только кровь, трупы, пожарища...

Федор склонился над листом бумаги. Толстый карандаш набросал высокую обочину дороги, вверху — узкая полоска неба, на фоне неба ноги в сапогах и обмотках размешивают фронтовую дорогу. Внизу, под скатом обочины,— два солдата, два недавних врага. Один, молодой, прижимает к себе винтовку, другой, пожилой, сидит растрепанным вороном, склонился над скрипкой. Скрипка, шагающие ноги создают особый ритм. Мучительное напряжение на лице молодого, отрешенная поза скрипача, а остальное должен решить цвет: небо с робкой утренней зарей, отблеск на каске, глянцевитый блеск скрипки,

Можно добиться — на холсте зазвучит музыка...

Нина, подперев рукой подбородок, следит за карандашом. Полную грудь и покатые плечи облегает цветистый халат. Нина раздобрела за последнее время, раздалась вширь, от нее на расстоянии тянет зазывным теплом, по-прежнему невозмутима и величава, как и в былые времена,— немой восторг на лице перед творением Федора, хотя на листе бумаги лишь грубый набросок, не картина, а ее иероглиф, ничего не говорящий непосвященному.

Федор повертел его, оценивающе разглядывая со стороны:

— А можно добиться. Можно, черт возьми, взять за горло!.. Эх! Забыть бы о том, что нужно жрать, одеваться, спрятаться бы, утонуть в большой работе, ничего не зная, ничего не слыша! Завтра мне придется писать окорока для витрины...

Нина привалилась плечом, заглянула в глаза:

— Федя...

— Что? — очнулся, отрываясь от наброска.

— Федя, как ты ни кружишь, а всегда возвращаешься ко мне... Федя, подумай...

— О чем?

— О том, чтобы остаться здесь... навсегда...

— Проблема сытости, увы, нашим сближением решена не будет.

— Федя, я заброшу свою живопись... Ну ее. Я бездарна. Я буду добывать и для тебя и для себя хлеб. Я буду работать как каторжная. Хоть воровать готова... Ты ни в чем не станешь нуждаться. Эту комнату мы превратим в прекрасную мастерскую. Ты будешь у меня на глазах создавать шедевры, о тебе скоро заговорят. И я тобой стану гордиться... Федя, оставайся навсегда... Сейчас, сию минуту. — Нина заглядывала в глаза, а он молчал. — Зачем кружить, Федя? Возвращаешься же, возвращаешься!.. Подумай — не я ли твоя судьба?.. И я о тебе много раз думала... А Православный... Я же к нему бросилась, потому что тебя забыть хотела. Я тоже кружусь вокруг тебя. Оставайся.

Федор молчал. Он верит в то, что она говорит искренне. Да, она в первые дни отважно бросится искать работу, быть может, даже найдет, устроит, станет оберегать, но в первые дни... А потом пройдет угар, надоест ждать

славы, начнутся будни. Федор еще раньше поймет, что не имеет права он, сильный, здоровый, сидеть на шее женщины. Нина любит или героев или несчастных. Нет, он не хочет повторять судьбу Левы Православного.

— Ну, Федя, что же ты молчишь?

И он ответил:

— Мой путь к вершинам искусства лежит через твою постель?

Плечи Нины обмякли, складки на лице оплыли вниз.

— Ты не любишь... Тогда зачем делать круги, зачем возвращаться к этому порогу?

Федор не ответил. Любит ли?.. Кивни та, что он случайно встретил в переулке,— забыв Нину, пойдет следом, не спрашивая куда. Да и не только Нину. Один кивок — и он забудет ненаписанные картины, забудет самого себя, провались в тартарары великое искусство!

— Прости, мне надо идти,— сказал он.

— Бежишь? Боишься прямо сказать?..

— Нина, ты права, мне, наверно, не нужно приходить сюда больше. Когда очень одинок, я вспоминаю тебя. И мне тогда с тобой хорошо.

— А когда не одинок, ты меня не вспоминаешь?

— В том-то и дело, Нина. Прости, мне нужно идти...

Она уронила на руки голову и заплакала. А вокруг нее на стенах висели на подрамниках холсты, ее последние работы — опушки леса, вьющиеся тропинки, крыши Тарусы, где Нина отдыхала летом. Все написано в слащаво-розовых тонах, расчетливо широкими мазками — наивные потуги на хлесткость. Она не способна, она менее приспособлена к жизни, чем он, Федор. И такая уверяет — вытяну тебя. Уверяет искренне, доверчиво, но преступно этим пользоваться.

— Извини, Нина, не хотел тебя обидеть...

Он взялся за ручку двери, и она вскочила. Сияющие от слез глаза в покрасневших веках, спутанные локоны, в вырезе халата — белая душистая кожа.

— Федя... Пусть будет по-прежнему... Ты же уходишь не совсем? Ты же вернешься?

И у него не хватило мужества сказать — «не вернусь».

— Да, да, я приду... Ты только успокойся.

— Забудем, что я говорила. Ты только приходи... Ты одинок, и я ведь тоже... Я себя выдумываю не одинокой.

— Приду, Нина,— сказал он на этот раз искренне.

Они не так уж избалованы вниманием людей, чтоб совсем отказаться друг от друга. Обоим будет тяжело, если между ними окажется наглухо захлопнутая дверь.

— Приду...

Он ушел.

Он ушел к чужим людям, к случайным, неуютным стенам. У Нины ему лучше, теплее, но он не хочет этим пользоваться.

3

В конце Арбата в сторону уходит Денежный переулок. На самых задворках строящегося высотного здания на Смоленской площади — дом. Собственно, под одним номером — четыре дома. Фасадом служит двухэтажный особнячок с высокими окнами нижнего этажа — с виду сытый, благополучный, чопорно старомодный, украшенный затейливой лепкой по карнизам. За ним во дворе — корпус в четыре этажа, старый и неряшливый плебей с оскаленной штукатуркой. В глубине двора кирпичное пятиэтажное здание. Есть еще флигелек — обшитая тесом стена вспучилась наружу, от чего флигелек кажется беременным.

Федор, простившись с институтом, снял в четырехэтажном корпусе узкую комнатушку с койкой, шатким столиком и стулом. Его хозяйка — Вера Гавриловна, у нее отдельная квартира из трех комнат, трое детей и нет мужа. Впрочем, муж жив, но где он — неизвестно.

В мире, наверно, никогда не переведутся странники. Прежде бежали из семьи к святым местам, меряли посохом бесконечные российские дороги от Троице-Сергиевой лавры до Печерской, от Печерской до Нового Афона или же через всю Европу с юга к Белому морю, к Соловецкому монастырю: «Подайте божьему страннику на пропитание...»

Теперь странник иной. Муж Веры Гавриловны до сорока пяти лет добросовестно служил в почтовом отделении, в восемь уходил на работу, в шесть вечера возвращался, пьян бывал только по большим праздникам, да и то умеренно, с женой скандалил не чаще других. И ничего не случилось — не было неприятностей ни на служ-

бе, ни дома, не связывался, кажется, на стороне с юбкой,— просто в один майский день взял на работе расчет, не прощаясь сел в поезд, с дороги написал: «Не вернусь...»

Вера Гавриловна бегала в милицию, подала заявление в суд — за детей-то должен отвечать или нет? И вместе со скудными денежными переводами приходили еще более скудные сведения — сначала работал где-то на стройке под Новосибирском, переехал в Читу, завербовался на Сахалин... Неприкаянный странник без посоха, паломничающий не по святым местам, а по таежным стройкам,— жив дух бродяжничества!

А в его старом гнезде в Денежном переулке, близ шумного Арбата, бродила бесцельно из одной неприбранной комнаты в другую нечесаная, неряшливо одетая женщина и, натыкаясь на детей, кричала:

— Чем я вас, дармоедов, кормить буду? На какие шиши? Приспал, стервец, да бросил мне на шею! Висите? А вот возьму да стряхну. Живите как хотите!

Это единственное, в чем проявлялась Вера Гавриловна. Остальное время она, полуодетая, валялась на кровати, сосредоточенно листала какую-нибудь случайно занесенную книжонку. Иногда, накинув замусоленный халат, с нечесаной головой спускалась во двор, часами точила лясы с соседками — не жаловалась, не возмущалась, а просто занимала себя разговорами о погоде, о ценах на базаре, о дворнике Шарапе, который спутался с буфетчицей Любкой из тринадцатой квартиры.

Другая бы на ее месте высохла от забот, извелась бы до белой горячки,— Вера Гавриловна была из бесшабашных натур. Прошло первое ошеломление после бегства мужа, первый испуг. Вера Гавриловна палец о палец не ударила — все устраивалось само собой. Сам собою нашелся жилец, сам собою сын Виктор стал учеником электромонтера, да дочь — она самая старшая — давала кое-что из заработка в семью,— жили. Вера Гавриловна тоже собиралась поступить на работу, но, видать, ждала, что и это устроится само собою.

— Федор Васильевич,— обращалась она к Федору,— вроде есть свободное место в поликлинике, больничными карточками заведовать. Как вы думаете, согласиться мне?

Это звучало не менее убедительно, чем у Манилова: «А не построить ли мост до Петербурга?»

Младшему сыну Сашке — девять лет. Он тощ и хил, на зеленоватой физиономии вечно каверзная ухмылочка, словно ждет, что с кем-то должна случиться смешная неприятность, глаза лукавы. Дома он в одиночестве всегда что-то мастерит кухонным ножом и при этом уютно мурлычет «Катюшу» или же неожиданно старое, забытое — «Ты гори, гори, моя лучина...». У него есть слух, есть голос, чистый и сильный не по возрасту.

Во дворе за ним слава отпетого. Часто на пороге появляется фигура участкового, сумрачно извещающего Веру Гавриловну:

— В пятую квартиру в открытое окно ваш сын бросил камень, разбил зеркало. Вот акт. Извольте оплатить стоимость зеркала и к тому же штраф.

Вера Гавриловна кричит на Сашку:

— В могилу сведешь мать родную! — Потом решительно объявляет: — Денег нет. Описывайте.

Но описывать нечего — старые одеяла, тощие свалявшиеся подушки и застиранный, рваный под мышками халат.

Сашка глядит на хмурого уполномоченного и под виновато-постной миной прячет тонкую-тонкую ухмылочку. Его не слишком-то пугает милицейский мундир.

Виктору — пятнадцать. Долговяз, хрупок, в тонких сжатых губах таится злая горечь. Он часто грубо кричит на мать, та вздыхает:

— Переломный возраст.

В первый же вечер, как только Федор устроился на новом месте, явился Виктор, тая в глубине зрачков враждебность, спросил небрежно:

— Зачем вы приехали сюда?

— Где-то надо жить.

— Какая здесь жизнь!

— Чем плохо?

— Тут кругом одни сволочи.

— И ты в том числе?

— И я, наверное. Может, я вас ночью зарезать хочу.

Губы дернулись, в глазах лиловый отблеск, Федор подумал: «Чего доброго, с дурака хватит».

Однажды Федор поднял оброненную Виктором фотокарточку — рыхловатый мужчина с прилизанными волосами.

— Твоя, что ли?

Виктор грубо выхватил, залился густой краской.

— Моя! А вам какое дело!

Это был отец, которого следовало ненавидеть, а он любит.

Мать Виктор презирал — вечно растрепанная, ленивая, не смущающаяся своего грязного халата перед соседями,— не удивительно, что сбежал отец, все смеются, показывают пальцами, а ей хоть бы что. Но свою маленькую зарплату он до копейки отдавал матери, не мог купить новую рубашку, галстук, щеголял в обтрепанных брюках, стоптанных, с отцовской ноги, ботинках и, наверно, чувствовал себя поэтому отверженным, сторонился девчат. А мать на полученные от сына деньги разом накупала дорогой колбасы, сладостей, все это подчищалось за один присест, а на другой день не было хлеба. Парень ходил по неуютной земле, весь как натянутая до предела струна, опасно коснуться — лопнет со звоном.

Дочери Ане шел двадцать первый год. Она удачно устроилась в каком-то учреждении, получала девятьсот пятьдесят рублей, в иной месяц и тысячу. Со стремительно-острым личиком, с замороженным взглядом, с застенчивой походочкой, тиха как тень,— появляется и исчезает или же сидит неслышно в своей комнатке, куда не разрешается заглядывать Сашке. По утрам она идет на работу — туфли почти модные, чулки капрон, юбка колоколом — не хуже других, а дома одета, как мать, в старенькое платьице, порванное на плече; оно служило ей, когда была девочкой,— тощие груди, кажется, вот-вот прорвут ветхий ситчик. Аня — чужая в семье, ее не любит даже мать. Аню это нисколько не смущает. Кажется, даже довольна — может давать в семью меньше денег.

Сашка сообщил:

— У нее сберкнижка есть. Вот мужа найдет — поделится.

К Ане изредка приходит подруга Алла из пятнадцатой квартиры. Алла броско красива: точеная шея, молочный цвет лица, курчавые волосы, черные брови и

влажные черные глаза. Во всей ее полнобедрой статной фигуре разлита манящая лень, и ходит она враскачку, лениво, соблазнительно, со спокойной надменностью выносит мужские взгляды. Не верится, что ей всего восемнадцать лет.

И опять всеведущий Сашка пояснил:

— Сучка она.

За что получил назидательную затрещину от Виктора:

— Не тебе судить, щенок паршивый!

Весь двор знал — Алла любит только одного Лешку, которого по двору зовут Лемешевым или Лемешем, никого другого к себе не подпускает, да и неизвестно еще, подпускает ли Лешку. Но раз связана с ним, значит, «сучка»,— порядочная девчонка с таким парнем не снюхается.

Лешка Лемеш признан как милицией, так и жильцами во дворе «блатнягой-атаманом». Рассказывали, что он был под судом «по мокрому», да вывернулся, дали только год. Добропорядочные жильцы опасливо обходят его стороной. Вокруг него всегда толкутся мальчики в кепочках-«бобочках». По вечерам он выходит к воротам в переулок с гитарой в руках, с заломленной папироской в зубах, поет жестокие романсы:

А ты стоять буд-дишь
У ног пак-койничка,
Платком батистовым
Слиезу смахнешь...

Черномазый, смазливый парнишка лет двадцати двух — двадцати трех — лирический тенор. И это из-за него почтенные отцы семейств, выскакивая из своего подъезда, старались по возможности быстрее пересечь двор. От подъезда до переулка — царство Лешки.

Но материальные ценности во дворе (разумеется, помимо самих зданий) принадлежали не Лешке, а одному ничем не выделяющемуся жильцу — Арсению Ивановичу Заштатному. Он имел «Победу», а к «Победе» крытый железной крышей гараж, а возле гаража пристроечку под тяжелым замком. Кроме этого, есть еще дощатая, крашенная темным железным суриком будка: помойка для мусора. Она для всех. Других материальных ценностей во дворе нет.

Примерно близко к полуночи двор оглашается криками дворничихи. Невысокая, широкая, расставив короткие слоновые ноги, задрав вверх растрепанную голову, она начинала взывать:

— Жеребец! Кобелина! Выйди ко мне! Я вырву зенки-то, бесстыжий! Люди добрые, он сейчас с толстомясой спит! Эй ты! Толстомясая! Покажись, стерва паршивая! Ба-аишься!.. Б... ты последняя!.. Люди добрые! Слышите! Мой-то кобель при живой жене с толстомясой!..

Люди добрые слышали, ворочались в своих постелях, не могли уснуть, но молчали — охота ли связываться.

Уже в первые дни своего поселения Федор понял — не то место, где можно переживать порывы творческого вдохновения, которые должны исторгнуть слезы благодарности у ценителей искусства. Но Вера Гавриловна под разными предлогами забрала за комнату чуть ли не за год вперед. А денег нет, Федор с грехом пополам кормился случайными приработками. Нет денег, нет и времени, чтобы поставить холст на мольберт,— все дни уходят на поиски — волка ноги кормят.

Начинающий свободный художник, ты зависим даже от безобидной и покладистой Веры Гавриловны, которую никто ни во что не ставит. Не угоди ей — выбросит на улицу, ее право.

4

Месяц тому назад Федор, вернувшись вечером домой, увидел, что дверь в комнату Веры Гавриловны распахнута настежь, свет зажжен во всей квартире.

Сашка с причесанными мокрыми волосами, в чистой рубахе вышел навстречу Федору.

— А у нас гость,— сообщил он и ядовито хихикнул: — Жених...

— Федор Васильевич! Идите сюда, познакомьтесь,— пропела из комнаты Вера Гавриловна.

Молодой человек, голова без шеи приставлена прямо к широким плечам — от плотного телосложения кажется горбатеньким,— стрельнул черным глазом в зрачки, с девичьим смущением опустил короткие ресницы, протянул крепенькую ладонь:

— Миша.

Аня в самой нарядной сиреневой кофте, тщательно раскинув по койке юбку-плиссе, составив тесно ноги, туфелька к туфельке, сидела с замороженным взглядом и острым равнодушным личиком, словно спала с открытыми глазами.

И Вера Гавриловна принаряжена, облачена в ветхое, но чистое платье.

Виктора не было.

После появления Федора наступило неловкое молчание, оно, наверное, тянулось и до его прихода.

— Чтой-то погода никак не установится,— заметила Вера Гавриловна.

— Да, не установится,— согласился гость.

— По радио обещают прояснение.

— Да, всего можно ждать.

— А в прошлом году в эту пору, кажись, теплынь была.

— Да, кажется, была.

Поговорив так с полчаса, гость поднялся:

— Спасибо за приятную беседу. Извините, уже поздно.

Подошел с ручкой к Вере Гавриловне, к Федору, не миновал Сашки, каждого наградил сверлящим испытующим взглядом, двинулся раскачечкой к двери, неся покоющуюся в плечах расчесанную глянцевито-черную голову.

Аня встрепенулась, бросилась провожать.

— Ну как вам, Федор Васильевич? — кивнула Вера Гавриловна на хлопок дверей.

Федор пожал плечами.

— Глаз у него какой-то... К нам жить собирается переехать. Намекал — две комнаты занять, Анину и вашу.

— Вот как. Мне искать другую квартиру?

— Ни-ни, не дам! А на что я жить буду? Вы платите, а они ведь ни копейки мне не дадут. Ни-ни, живите. Глаз у него какой-то... Ох, господи!

Месяц подряд Миша наведывался, проходил мимо комнаты Федора, запускал изучающий взгляд, вежливо здоровался, склонив голову,— мягкий, бесшумный, ловкий в своей медвежеватой неповоротливости.

Виктор вздрагивал при его появлении, сухо здоровался. Как-то неожиданно он спросил Федора:

— А скажите: есть в жизни эта любовь или она только в книжках?

Сашка объяснил Федору:

— Витька завидует, сам хочет жениться. Он Алку любит, даже говорил с ней: брось Лемеша. Алка ответила: «Куда тебе, сопливому!..»

Было за полночь, когда он вернулся от Нины. Но в квартире не спали. Стучала швейная машина — что-то новое, в хозяйстве Веры Гавриловны машины не было.

Вера Гавриловна просунула в коридор нечесаную голову, радостно сообщила:

— А у нас завтра свадьба. Миша-то с Аней расписались!.. Мы тут прямо запарились, обновы шьем, старое на новое вывертываем... Вы уж завтра вечерком никуда не уходите. Очень просим. Вечерком-то с нами погуляете... Ах, вот что, мы тут столик из вашей комнаты на время взяли. Завтра, как кончится, вернем.

В комнате на полу лежали снятые со стола книги и бумаги. Без стола было непривычно просторно и неуютно. За стеной стучала швейная машина.

Федор вспомнил, что ему завтра утром надо набросать эскиз, как украсить витрину магазина. А стола нет, не на коленях же работать?

Витрина, колбасы, окорока, головы сыра, а у Нины остался эскиз новой картины. Он смог бы заставить петь холст голосом скрипки... Вот по тому эскизу, карандашному, завтра утречком набросает новый эскиз в красках.

В этом году обещают открыть выставку молодых художников. Вячеслав заканчивает свою картину, есть слух, что даже Иван Мыш что-то стряпает по этому случаю.

А он, Федор, много уже месяцев не стоял за мольбертом, неизвестно когда встанет, да и встанет ли вообще...

Завтра он будет сочинять, как удобнее раскомпоновать в витрине чудеса гастрономии. А если плюнуть, взяться за эскиз, плюнуть на все? Но к концу недели в карманах не окажется и гривенника...

И стол вынесли из комнаты. И стучит за тонкой стеной швейная машина...

Составленные столы накрыли простынями.

Жених Миша в черном новеньком костюме, в петлице бумажная роза, узел галстука не дает опуститься подбородку, отчего вид у жениха комично величавый.

Приехала из деревни мать Миши, широкая в кости старуха с азиатчинкой в горбоносом лице. Она уселась в уголок и задремала, но время от времени веко приоткрывалось и проглядывал круглый зеленый глаз — всепонимающий, трезвый, цепкий, вовсе не сонный. Секунда — и снова дремотно опускается сморщенное веко.

Неожиданным гостем оказался не кто иной, как Лешка Лемеш. Алла не захотела приходить на свадьбу без него.

Лешка наряден — в темно-синем бостоне, белоснежная сорочка оттеняет ровную смуглоту щек, чуть просвечивающую застенчивым румянцем. Держался он сдержанно, с достоинством, за столом ухаживал по-джентльменски на два фронта — подкладывал в тарелку Вере Гавриловне и разрумянившейся Алле, красивой до того, что все чувствовали неловкость и какую-то смутную жалость к себе.

С другого бока Аллы сидел Виктор в новом галстуке и пиджачишке с подметанными рукавами. Он почти ничего не ел, боялся дышать, не смел глядеть в сторону соседки. В самом начале он хватил водки, закашлялся, покраснел до слез.

Лешка Лемеш ласково заметил:

— Не привыкай к этой отраве, мой мальчик.

И, всплеснув гибкой рукой в воздухе, требовательно взывал:

— Горько!

Аня неуклюже клевала носом в жениха.

На Лешку Лемеша чаще других стреляла оком сквозь дремотно приоткрытое веко мать жениха.

— Горько!

Лешка пил, розовел, сдержанность его исчезала:

— Дорогие граждане, собравшиеся на это торжество! Дорогие граждане! Разрешите мне речь!

Ему никто не разрешил, но он встал, ладный, собранный, только под смуглотой пьяненько пылают щеки, поблескивают в снисходительной улыбочке мелкие, тесные зубы. У Аллы ласковой влагой подернуты большие глаза.

— Кто вы? — Лешка взмахом руки обвел всех за столом. — Кто? Не в обиду будь сказано — обычные люди. Вас таких много. А можете вы оценить талант, редкую способность?.. Не тот уровень. Среди вас находятся таланты, может, гении... Не замечаете, доблестные работяги? Сейчас я их продемонстрирую. Сашка! Эй, сынок!.. Утрем нос цивильному населению! Встань, лапушка, и подойди, когда старшие зовут!..

Маленький Сашка, целый час перед торжеством прилизывавший свои вихры стянутым со стола сливочным маслом, подошел, вяловатый, с неизменной коварной улыбочкой на бледных губах.

— Сашка! Друг! Брат по несчастью! Нас здесь обоих не признают! В-вы! Видите человека?! Экземпляр! Птица феникс! Не признают нас! Неси мою гитару: «С гитарой и шпагой я здесь под окном!» Сюрприз для новобрачных!.. Тиш-ша! Не шевелиться! Минута святого искусства, а дальше можете хлестать свою водку. Тиш-ша!

Лешка Лемеш с гитарой картинно приосанился на своем стуле. Рядом встал Сашка.

— Что вы ждете, драгоценные обыватели? Романсов? Надрыва? Слезы в пьяном угаре? Не ждите! Не будет романсов!.. Сашка! Народную! Из глуби, из сердца веков! «Лучинушку»!

Сашка посерьезнел, солидно откашлялся, наморщил голубовато-чистый лоб.

Лешка начал с той не открывающейся сразу, сбереженной в голосе болью, с какой начинают все истосковавшиеся по песне, ждущие от нее многого.

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит...

И Сашка подхватил. Его голос, более низкий, решительный, сразу стал в голову, заставил Лешкин тенор нежно и затейливо оплетаться вокруг.

Знать, мое, мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит...

На склоненном Сашкином лбу страдальческие морщины. Из расплывшихся во всю роговицу глаз Лешки истекает черная тягучая тоска. Один — мальчишка, уже чуть тронутый порчей городской улицы, не очень искренний, навряд ли добрый от природы, другой — люмпен,

накипь в людском обществе, пена, которую рано или поздно снимут и выплеснут. Оба выросли в этом тесном дворе, среди каменных домов, на асфальтовой почве. Но откуда у них волчья избяная тоска? Откуда им знать о долгих зимних, без просвета вечерах среди бревенчатых стен, похороненных в сугробах? Откуда им знать, как воет ветер и чадит лучина — единственный свет, единственный друг? Откуда знать им, когда сам Федор этого не пережил? Федор, родившийся в деревне, видел керосиновую лампу, но не застал светца.

Извела меня кручина,
Подколодная змея.
Догорай, гори, моя лучина,
Догорю с тобою я...

К Федору это могло прийти через бабок и дедов, через деревенские легенды, через те сугробы, которые и до сих пор наметаются под бревенчатые стены. А эти?.. Каким чудом неведающие говорят правду?

Мать жениха, горбоносая старуха, приоткрыла сморщенное веко, проглянул зеленый глаз, и нет в нем холодной трезвости — кисленькое бабье умиление.

И гордое, счастливое лицо Аллы, трепетно направленное к Лешке. Время от времени она оборачивается то к одному, то к другому, и ее большие, влажно-темные лучащиеся глаза опаляют по очереди вызывающим презрением: «Чего вы сто́ите по сравнению с ним? Чего вы все сто́ите?»

А Виктор горбатится за столом, давит кисти рук коленями, бледен, уничтожен.

Лешка замолк, тронул последний раз струны гитары — уплыл под тусклый потолок полустон, полувздох. Сашка распустил на лбу страдальческие морщины, и его бледная рожица с маслянисто прилизанными волосами стала скучной, невыразительной.

Все молчали, и, наверно, всем было грустно и приятно, но в то же время неловко — слишком непривычно, слишком красиво, чтобы это могло длиться долго.

Старуха гостья снова дремотно смежила веки, а ее сын-жених, выставив на груди бумажную розу, вздохнул льстиво:

— Да-а, талант.

И Лешка взвился:

— Заткни пасть! Лапоть!

— Лешенька! — качнулась к нему Алла.

— Чи-то он понимает? Навоз! Он должен молчать в тряпочку и не квакать!

— Я же говорил... — обиженно повернулся Миша к невесте.

— Чи-то ты говорил? Ты говорил, свечечка копеечная, что меня нельзя пускать... Куда? В это не-интел-лиген-т-ное общество. Уважаемые граждане, я ему сейчас попорчу прическу!

— Лешенька!

На воробьино-остром личике невесты — ни растерянности, ни испуга, лишь злоба.

— Ты ручалась за него. Ты же обещала,— выговаривала она смятенной Алле. — Нализался, скотина, а теперь хамит.

— Лешенька, пойдем, милый, отсюда.

— С-ска-атина? Счастье твое — я джентльмен... А ну ты, прилизанный! Ты! Женишок! Повтори, что сказала твоя невеста!.. А-а ма-ал-чишь, кусошник!

— Лешенька!

— Заткнись! Сам уйду!.. Но прежде пусть мне скажут — талант я или нет? Пусть скажут, кто понимает... Эй, ты! — Лешка неожиданно повернулся к Федору. — Ты-то чего? А? Молчишь, халява! Ведь по морде видел — нравится. Слова жалеешь? Твое слово — олово?

— Дерьмо ты,— сказал Федор. — Испортил песню.

— Повтори. Я, кажется, ослышался.

Федор поднялся:

— Иди. А то в шею вышибу.

И Лешка отрезвел, с интересом колюче заглянул в зрачки Федору:

— Эге! Праведничек.

— Ну-ка, побыстрей проваливай.

Федор был на полголовы выше Лешки, шире в плечах, сейчас нависал и хмуро смотрел в переносицу. И Лешка вздохнул:

— Полюбуйтесь, люди добрые... Неученый. Научим, пташечка. Ты еще не знаешь Лешку Лемеша. Его весь Арбат знает.

Алла тащила его за рукав к двери. У дверей он оглянулся:

— Мимо наших ворот не пройдешь, козявка.

Мать жениха, приоткрыв круглый глаз, с мудрым равнодушием проводила пьяного Лешку. Дверь захлопнулась, глаз закрылся.

А Миша, оправив галстук, лацканы пиджака, словно и на самом деле только что был в драке, обронил веско и с достоинством:

— Гнида.

Из-за дверей с лестницы раздался женский вопль. Сашкой словно кто выстрелил за дверь.

Виктор поднялся, долговязый, нищенски праздничный — мятый пиджачок и яркий, сохранивший магазинный лоск галстук.

А женский крик бился в стену, вяз где-то на чердаке. И кругом в доме тихо. И на белых простынях под ярким освещением — грязные тарелки, полупустые бутылки, огрызки хлеба, развороченное месиво салата в миске.

Сашка влетел обратно, восторженно сообщил:

— Лемеш Алку бьет!

Виктор сорвался с места. Вера Гавриловна крикнула:

— Куда! С ума спятил!

Но дверь хлопнула, зазвенела посуда на столе. Крик смолк.

— Убьет он его, дурака. Убьет!— стонала Вера Гавриловна.

Федор поднялся из-за стола.

Тусклый лестничный свет, в рыжих пятнах оштукатуренная стена, холодная как в подвале. К этой стене, прилипав растрепанными волосами, жмется Алла. Чуть ниже, на ступеньках возня. Виктор внизу лежит, сжимается в комок, закрывает лицо и голову руками, выставляет острые локти. А над ним на ступеньках, выплясывая, вскидывает начищенные туфли Лешка, целится в голову.

Федор схватил его за шиворот. Лешка был легок и тщедушен, лишь подергивал плечиками, пытаясь вырваться. Федор придавил его к стене, взял пятерней за голову:

— Расквашу.

— Пыс-сти, падло...

Сзади в плечи Федора когтисто вцепились маленькие руки:

— Отпусти! Отпусти его! Тебе что нужно?

Федор стряхнул руки, швырнул Лешку вниз. Загремели ступеньки, мелькнули подметки туфель.

— Дура,— сказал Федор Алле и стал поднимать Виктора.

Тот, встав на ноги, рванулся было вниз, к Лешке, но Федор обхватил его, прикрикнул на Аллу:

— Марш! Уводи своего хахаля! Да побыстрей!

Лешка долго ползал на коленях по площадке, искал кепку. Поднялся, взглянул вверх на Федора и Виктора, ничего не сказал, повернулся и стал спускаться. За ним боязливо следовала Алла, опираясь одной рукой о стену.

Федор подтолкнул Виктора вверх:

— Иди, рыцарь!

В комнате Виктор, растерзанный, с заброшенным за спину галстуком, упал на постель, зарылся лицом в подушку и задергался в беззвучных рыданиях. Вера Гавриловна горестно ворчала:

— Теперь тебе проходу не будет... Хоть уезжай... Убить могут, чего доброго...

Она совсем забыла о Федоре, не вспомнила, что и ему не будет теперь прохода, его тоже, чего доброго, могут убить.

Мать жениха помогала невестке убирать со стола, каждую чашку подносила к глазам, осматривала изнутри и снаружи, поджимала многозначительно губы. У Ани было равнодушное, утомленное лицо.

Сашка смирнехонько лежал под одеялом.

А жених Миша, без пиджака, в ослепительно-белой хрустящей сорочке, стоял перед зеркалом и, поворачиваясь, разглядывал придирчиво свою выбритую физиономию.

— Прохода не будет. Им что — могут и ножом...

Виктор плакал.

6

Утром, выходя из ворот, Федор увидел Лешку. Тот пощипывал струны гитары, мусолил в зубах окурок:

А ты стоять буд-дишь
У ног пак-койничка,
Платком батистовым
Слпезу смахнешь...

Рядом с ним маячил один из его пареньков, в крохотной кепчонке на макушке, с проклюнувшимся острым

кадычком на тонкой шее, долговязый и жидкотелый. Оба оценивающе, сквозь табачный дымок, оглядели Федора, но не издали ни звука. Двое на одного — рискованно, может синяков наставить. Но уж вечером в этой подворотне собьется тесная компания, тут держись, станут храбрыми.

Ах, вспомнишь, вспомнишь,
Моя ты драгоцен-ная,
Дорожку узкую и финский нож...

Не верится сейчас, что когда-то были счастливейшие времена — в Москве находилась тесная студенческая комната, где стояла койка Федора. Вячеслав иногда по вечерам тоже снимал с гвоздя гитару, тоже пел, но не про «покойничка», не про «финский нож»:

Как дело измены, как совесть тирана....

А Православный вопил о луковичных куполах, о мастерстве Андрея Рублева.

Считали Ивана Мыша подлецом, на котором негде пробы ставить. А Иван Мыш по сравнению с этим Лешкой Лемешем — воплощенное благородство, чистейшей совести человек.

Другие теперь живут в их комнате, товарищи утонули в многомиллионной Москве.

Вячеслав родился в сорочке: один московский художник, старый друг отца Вячеслава, разрешил пользоваться ему своей мастерской.

Вячеслав сейчас для Федора — единственная ниточка, связывающая его со счастливым студенческим прошлым. Порвись она, и будет бегать по Москве одинокий человек, все еще мечтающий выбиться в настоящие художники. О его успехах в институте некоторое время еще будут ходить легенды, потом забудутся, и никому в голову не придет спохватиться, куда пропал этот легендарный парень, написавший когда-то за один присест «Синюю девушку».

Пока жив Вячеслав, Федор не одинок и Москва не кажется чужбиной. В любое время можно ему позвонить, в любое время можно к нему прийти и отвести душу, вспомнить, что существуют на свете не только Лешки Лемеши, Веры Гавриловны, дворничихи, изрыгающие по вечерам к темным окнам проклятия «толстомясой разлучнице». Без Вячеслава Федор, пожалуй, стал бы дичать.

Во второй половине дня Федор направился к Вячеславу.

Запах масляной краски, въевшийся, неназойливый, давний,— запах повседневного благородного труда, о каком теперь мог только мечтать Федор.

Вячеслав, в легкой тенниске, в старых лыжных брюках, чуть похудевший, с обострившимся подбородком и запавшими глазами, но веселый, встретил Федора, хлопая по спине:

— Ты очень кстати завернул, бродяга. Угодил в самое яблочко! Будем считать — у меня праздник...

— Надеюсь, не свадьба. Я такими праздниками сыт.

— Ха! Личная жизнь отдана на откуп святому искусству. В последнее время я не позволял себе даже легоньких интрижек. Все силы на дело, и только на дело! И вот награда за благонравность: утром, Федька, я поставил подпись под картиной!.. Все! Точка! Я ее снял, чтоб не мозолила глаза.

— Картина?.. Окончена?.. Ну что ж, показывай.

Вячеслав поставил на середину стул.

— Первому зрителю и первому критику — трон с поклоном. Садись!

И сразу же бросился выдвигать мольберт.

Федор видел его работу лишь в самом начале, были намечены тогда фигуры, подмалеван фон.

— Я назвал ее: «Что о нас скажут люди?»

Среднего размера холст, почти квадратный. Берег реки, вдали белеет удаляющийся пароход. На пиджаке, брошенном на траву, сидит женщина, рядом мужчина. Оба не молоды и не красивы, потрепаны жизнью. У него тяжеловато-сильное лицо, лысеющая голова. Он смотрит на нее, и взгляд его сложен, в нем — суровая мужская требовательность и приглушенная робость, упрямство и загнанность. Рука женщины прижимает к губам скомканный платочек — пальцы рук очерствели от работы. Взгляд в землю, смятенный и в то же время сосредоточенный, безнадежный и чего-то ищущий.

Как поздно встретили они друг друга! Встретили и поняли — не могут жить порознь, пришла поздняя, слишком поздняя, быть может, первая и последняя любовь в их жизни. До этого каждый из них с кем-то встречался, ухаживал и выносил ухаживания, женился, рожал де-

тей, честно заботился о них. И дети, наверное, ждут сейчас дома. А они здесь, в глухом углу, уединившись, решают — как им быть? Мужчина неуверенно требует ответа. Неуверенно! Женщина молчит, смотрит в землю. «Что о нас скажут люди?» Люди не только посторонние, без нужды суетные, но и те, кто близки, дороги... Что скажет мать одних детей, отец других? Что скажут сами дети?.. Мужчина ждет ответа. Ответа нет.

— Ну!.. — сглотнув воздух, выдавил Вячеслав. — Лупи не жалеючи.

— Обожди, Рече. Дай разжевать.

И Рече робко притих, переминаясь у холста.

У мужчины на холсте нетерпеливо-гневливый поворот, сведена в напряжении сильная шея. А женщина безвольно опустила плечо... В изгибе немолодого тела — бессилие, но на лице бессилия нет. Она умней нетерпеливого мужчины, лучше его осознает трагедию проклятого вопроса: «Что о нас скажут люди?» Люди срослись с тобой, их жизнь переплелась с твоей, любой разрыв — кровоточащая рана. И рана может быть смертельной... Мужчина ждет от нее ответа. Он в глубине души верит в ее мудрость.

Федор глядел и удивлялся — точно, тонко, вдумчиво. Но... Но чего-то ему недостает. Наметанным глазом, как опытный охотник на лесной поляне, где побывал зверь, по красноречивым, броским и едва уловимым приметам он прочитал историю, поверил ей, а поверив, проникся участием. История сама по себе и правдива и трогательна. Но чего-то еще не хватает для полноты... Он информирован — фигуры на холсте для него стали людьми с биографиями... Чего еще? Чего тебе мало?..

И Вячеслав снова не выдержал:

— Да ну же! Не томи...

— Хорошо, Рече.

— Без дураков?

— Без...

— Ну, гора с плеч.

— Я еще о ней буду думать. Может, и надумаю что-нибудь. Что-то хочется мне отыскать, что-то нужное, упущенное.

— Ну, а пока мне твоего «хорошо» хватит. — И Вячеслав вскинул к потолку кулаки: — Господи! Господи!

Благослови всех, кто хвалит, сделай их самих счастливыми и удачливыми! Похвала — волшебство, понимаешь ли ты это, господи, захваленный старый дурак? От нее вырастают крылья, распухают мускулы Геркулеса! Я сейчас никого не боюсь, а минуту назад был мышонком, дрожал... Спасибо тебе, Федька, за твое «хорошо». Спасибо!.. Выпьем сейчас. Не за картину, не-ет, я становлюсь суеверным. Просто за встречу. У меня припрятана бутылочка коньячку — три звездочки, как на фронтовом погоне!

Стол был завален бумагами хозяина мастерской, бутылку поставили на стул, на палитре разрезали батон. Вячеслав отмыл стаканы от бурых осадков акварельной краски, на куске газеты распластались ломти ветчины. Вернулось доброе, не столь уж старое студенческое время.

— Ты Православного не встречал? — спросил Федор.

— Не подает голоса. Краем уха слышал, что рыбешек бросил, где-то пристроился писать медицинские плакаты: «Чистота — залог здоровья». Ну, а как ты живешь?..

— Лева Слободко что делает?

— Левка пишет философскую картину: «Бытие и сознание». Черная пирамида, из нее растут зеленые волосы. Черт знает что! «Бытие и сознание»... С сознанием у него всегда было неважно... Как ты сейчас?..

— С сознанием?.. А с бытием?.. Слышал — он женился.

— С бытием у Левки тоже плохо. Женился, как выстрелил. Жена уже, кажется, должна родить. А он, конечно, на правах гения презирает добычу хлеба насущного, изображает себе черные пирамиды в философском аспекте. Беременная жена кормит жреца чистого искусства на свою зарплату, а она, сам догадываешься, не министерская... Ну, ты о себе расскажи.

— А Мыш Без Мягкого?..

— А кто его знает — жив, по-прежнему распирает от здоровья, столкнулся как-то с ним нос к носу, полез, сукин сын, с ручкой... К лешему! Ты о себе докладывай: как жизнь?

— Как жизнь?.. — переспросил Федор. — Нет ли у тебя, друг, ножа подлинней?

— Эва!.. Ножа нет, а веревку найду, если попросишь, и крюк укажу.

— Впрочем, нож — дело опасное. Лучше бы гирьку на веревочке.

— Ты со странностями, не замечал прежде.

— Приспосабливаюсь к обстановке.

— А именно?

— Чтоб войти в дом, я должен прорвать засаду — полдюжины отпетых сопляков. А они будут ждать меня у подворотни не с букетами мимоз.

— В-он что!.. Я пойду с тобой.

— Нет.

— Почему?

— По двум причинам: вечным телохранителем тебя держать не могу, да и вряд ли сильно поможешь; кроме того, мне нужно доказать этим щенкам, что один не боюсь. Тогда станут пропускать с поклонами.

— Не хватает, чтоб тебя упрятали за уголовщину.

— Домой-то я должен попасть или нет?

— Но что же делать?

— Достать оружие — хулиганский кистень.

— В этом доме такую уникальную вещь не отыщешь... Хотя... Где-то я видел тут свинцовый слепок — эдакий компактный бюстик.

— И кусочек прочной веревки для него.

— Этого добра здесь больше чем нужно. Все-таки я за тебя побаиваюсь.

— Э, я стреляный воробей, не из таких переплетов сухим выходил. Пяток блатных подворотных дворняжек, одну щелкни, остальные хвосты подожмут. Давай свой бюстик!

Вячеслав стал хмуро рыться в шкафу.

— Вот... — сказал он, подавая игрушечный бюст, какие обычно украшали старые монументальные чернильные приборы. — Наполеон. Самая подходящая личность для агрессии... За что же они так недовольны тобой?

— Их сопливого атамана спустил с лестницы. Надеюсь, хозяин не обидится, если мы реквизируем это умеренное произведение искусства для надлежащего воспитания?

— Ты позвони мне завтра... А может, все-таки пойти с тобой?

— Нет, незачем. Нельзя подавать им повода, что боюсь. Тогда уж жизни не будет. Дай веревочку покрепче, накинем петлю на шею этому молодцу... Вот и добро... — Федор обмотал бечеву вокруг ладони, помахал свинцовым Наполеоном. — Так вот и живу.

— Ответ красноречив. — Вячеслав невесело глядел на раскачивающегося Наполеона, сразу превратившегося в скопление острых и тупых углов: острые — треуголка, тупые — у основания. — Ты все-таки поосторожней обращайся с этим произведением искусства.

— Постараюсь.

Федор простился.

7

Вечернее солнце висело над крышами. И, как всегда перед вечером, город охватило неистовое оживление: на тротуарах — базарная толчея, у троллейбусных остановок — длинные хвосты, машины у перекрестков напирают друг на друга.

Федор сначала поддался общему настроению, с ходу от подъезда рванул широким шагом и заспешил, заспешил... А спешить некуда, его не ждало дома ни интересное дело, ни заботливая жена, ни дети... Некуда спешить, нечего делать, единственное занятие впереди — завтра утром начнет расписывать витрину магазина, для того чтобы прожить послезавтра.

И Федора вдруг охватило тихое отчаяние, что это завтра наступит. Оно бессмысленно, оно не нужно. Отвратительна была и мысль, что придется идти домой, в тесную келью с продавленной узкой койкой, где из-за одной стены слышатся огорченные вздохи Веры Гавриловны, за другой, как мышь, шуршит Аня, начавшая сколачивать новую семью, а вечером, наверное, под окном будет вопить оскорбленная дворничиха.

Торопиться —куда, зачем?..

Перешел через улицу на бульвар. Здесь, под деревьями, не такая толчея, здесь играют ребятишки и сидят почтенные старички, отдыхают после многолетней спешки.

Федор отыскал кусок незанятой скамейки, с наслаждением вытянул ноги. А ведь есть счастье — не двигаться. Вот так бы уснуть тут и спать, спать, пропуская

дни, проснуться в каком-либо счастливом сказочном времени ранним утром... Светлый город, каким помнится ему Москва в ту первую встречу ранней юности. Светлый город, воздушной легкости замки, люди в ярких одеждах, с прекрасными и добрыми лицами, люди, никогда не думавшие, как добыть кусок хлеба... Вот бы таким рассказать о войне, о трупах, о походах по грязи, о том, как, оборвав поход, посреди войны поет скрипка...

Вячеслав окончил картину, и он счастлив: «Благослови всех; кто хвалит, сделай их самыми счастливыми и удачливыми!» Завтра Федору расписывать окорока и колбасы, он будет добросовестен, он постарается сделать это со вкусом. Но вкус дирекции «Гастронома» и его вкус не сходятся — сколько придется выслушать глубокомысленных указаний... Как хорошо, если б завтра не наступило...

Федор сидел рядом с будкой театральной кассы. Стены ее обвешаны афишами: «Зеленая улица», футбол: «Торпедо» — «Локомотив», «Дядя Ваня»...

Как хорошо, если б завтра не наступило... А ему придется пережить точно такое послезавтра, за ним еще такой же день, еще, еще — без конца. И будут вздохи Веры Гавриловны за стеной, мышиное шуршание Ани сменится писком младенца, у подворотни будут торчать мальчики в «бобочках», а он сам не переставая станет гоняться за случайными заработками...

«Зеленая улица», «Торпедо» — «Локомотив», «Дядя Ваня»... Вячеслав окончил картину...

Тянуть жизнь, длинную, однообразную, никому не нужную, не нужную даже ему самому. Нет надежд, а без них жить бессмысленно.

«Торпедо» — «Локомотив», «Зеленая улица», «Дядя Ваня»... Некуда идти, неохота двигаться.

«Дядя Ваня»... Помнится, как он читал эту пьесу в окопе. Осыпался песок со стенок от взрывов, в воздух взлетали тетрадные листы, и катался по земле глобус с отбитой подставкой — макет планеты, голубой от океанов.

«Дядя Ваня» — книжка, брошенная на бруствер взрывом. И он тогда каждую секунду ждал смерти. И дядя Ваня из книги жаловался ему на то, что придется прожить еще целых тринадцать лет, что нечем наполнить их...

Федору хотелось тогда очень немногого — просто выжить, ходить по улице по-человечески, а не ползать на брюхе. Он тогда ел один раз в сутки, ночью, когда приезжала полевая кухня. Он не умывался и спал в окопе — взрывы снарядов не будили, а будил голос в телефонной трубке, вызывавший «Тополь». А дядя Ваня спал в чистой постели, ел на белых скатертях, дарил цветы. Федор хотел выжить, дядя Ваня просил смерти. Он тоже мечтал: «Проснуться бы в тихое, ясное утро...» И его не будил ухнувший тяжелый снаряд, не стучали автоматы спозаранку, он жил в деревне, ему кричали петухи, занималась заря, роса пригибала траву.

Сейчас Федора тоже никуда не тянет, ничего не хочется, только уснуть и проснуться «в тихое, ясное утро»... Дядя Ваня заразен, уж не стареет ли он, Федор?

По земле мимо его ног катится детский мяч... Мяч, а не продырявленный осколком голубой глобус. И пули не свистят, и он может подняться со скамейки, пойти не пригибаясь, во весь рост. Катится мяч, непробитый глобус, девочка подхватила его.

Вячеслав окончил картину. Федору завтра придется возиться с магазинной витриной... Но черт возьми! Жизнь не кончена. Пусть завтра потеряно — отдай его окорокам и колбасам. А мало ли он потерял дней, таская винтовку? Пусть будут еще потеряны дни, месяцы, пусть даже годы! На закате жизни он вцепится зубами в искусство! И что за беда, если картины Федора Матёрина не заполнят залы галерей, их будет немного, но одну-две настоящие картины он выдаст. Одну, две, может, десяток, но — настоящие. Грибоедов прославился одной вещью.

«Зеленая улица», «Торпедо» — «Локомотив», «Дядя Ваня»...

Федор поднялся. Как приятно чувствовать, что без боязни можешь распрямиться во весь рост! Война за спиной. А война посерьезнее огорченных вздохов Веры Гавриловны или Лешки Лемеша, сторожащего сейчас у подворотни.

Рече написал картину! И чего-то в ней не хватает. Пейзаж какой-то безликий, взятый напрокат. Но пейзаж не главное, пейзаж — фон...

Пейзаж — фон?..

Федора осенило.

В картине не хватает третьего действующего лица, главного персонажа. Есть две жертвы, но нет виновника. Сидит пара влюбленных, а саму Любовь приходится предполагать, брать на веру, как заранее доказанную аксиому,— не показано. А показать можно! Показать нужно! Тот, кто любит, глядит на мир особыми глазами — зелень для него ярче, солнце ослепительней, небо глубже, каждая молекула воздуха заражена тревогой и счастьем. Дай этот преувеличенно ощутимый мир, дай его в пейзаже, он не фон, он главный герой, покажи, ради чего — прекрасного, высокого — решают тяжелый вопрос: «Что о нас скажут люди?» Столкни поэзию с прозой, необычность — с будничностью, счастье бытия и угнетенные лица — вот великое единство противоположностей, без которых не существует жизнь.

Федор стоял на присыпанной песком дорожке, у его ног играли дети, сквозь деревья была видна залитая солнцем городская улица, спешили люди, тысячи людей, не похожие друг на друга,— они несут свои радости и свои несчастья. И есть какая-то досадная разобщенность в них, озабоченно бежит каждый своим путем, прохожий не обращает внимания на прохожего...

У Вячеслава — картина без главного героя, он, Федор, сумел бы написать его портрет — воздух, создающий глубину, опаляющая зелень, пойманные лучи солнца... Как он написал бы это... Но текут по улице люди — прохожий не замечает прохожего. Портрет, сотканный из прозрачного воздуха и лучей солнца,— достаточно ли?.. Хочется сказать людям что-то большое, особое, что заставило бы всех вздрогнуть, остановиться, с удивлением и добрым вниманием поглядеть друг на друга.

Что-то... С минуту назад казалось — ухватил, разгадал. И вот опять — что-то, опять загадка. Нет дна в искусстве. Что есть истина?

Федор размашисто зашагал к троллейбусной остановке. Он ожил, он не хочет походить на дядю Ваню!

Так и есть, как в воду глядел. Под аркой, загородив проход во двор, сгрудилась вся компания. Федор издалека пересчитал всех: восемь лбов, многовато — кепочки-«бобочки» натянуты на глаза, плечи расправлены, руки многозначительно сунуты в карманы. Лешка в центре,

расставил ноги в отутюженных брючках, дымит заломленная папироса.

Федор тоже сунул руку в карман, нащупал угловатый бюстик Наполеона, намотал на ладонь конец веревки, не спеша, вразвалочку, двинулся на Лешку. Пять шагов, четыре шага, три... Заломленная папироса, прищуренные глаза...

Федор бросился. Мальчишка, сунувшийся между ним и Лешкой, отлетел в сторону. Лешка с силой ударился спиной и затылком о стену проезда. Левая рука Федора схватила его за горло, мальчишески нежное, податливое. На крученой бечеве закачался, разворачиваясь, настороженно топорща острые углы треуголки, свинцовый Наполеон.

— Кто сунется — уложу! — предупредил Федор. — Ну, ты, щенок! Назад!

И паренек с крысиной веснушчатой физиономией нехотя отступил.

— А теперь слушай,— обратился Федор к Лешке. — Да руками не дергай, сопля! Пока ты перышко вытащишь из кармана — зоб вырву. И легко... Ты чуешь?.. — Стиснул легонько мягкую шею, глаза Лешки выкатились. — Слушай... Ежели твои мальчики хоть раз встанут на дороге — я изувечу тебя! Ежели хоть один из них пальцем тронет Виктора — я изувечу тебя! Только тебя, вошь! А ежели будете особенно надоедать — слышишь ты, кусок дерьма? — убью! Не таким, как ты, загривки ломал. Заруби себе на носу, я — фронтовик.

Мальчики стояли в стороне, держали руки в карманах, сердито топорщащийся Наполеон на веревочке вызывал у них уважение.

— Ты слышал?

— Пыс-сти,— прохрипел Лешка.

— Повтори,— Федор сильней сдавил шею.

Лешка захрипел, округлившиеся глаза лезли из глазниц.

— Ну?

— Чего л-ле...

— Ну?

— Н-не трогали же...

— Повтори, сукин сын, что я сказал!

— Не тронем... Ладно...

— Да ну, вот спасибо, одолжил.

— Ви... Виктора не... не тронем.

— Уже кое-что. А сейчас вынь правую руку. Давай, давай!.. Э-э, нет, не пустую. Вынь, что держал... Да быстро, сволочь! Задушу! — Лешкины глаза вот-вот брызнут на мостовую. — Вот так-то, малыш.

Федор отпустил Лешкино горло, отобрал финку, повертел ею перед его носом:

— На память возьму. Сам, наверное, точил, знаешь, какая она... А теперь держите своего героя, с ног валится, и штаны, должно, мокрые.

Он толкнул Лешку в кучу, пошел, не оборачиваясь, к подъезду, покачивая свинцовым Наполеоном.

На лестнице открутил веревку с ладони, сунул Наполеона в карман вместе с финкой. Если б так быстро можно было решать все осложнения в жизни!..

Вера Гавриловна шепотом сказала у дверей:

— У вас гость. Час, как ждет.

При появлении Федора у человека, сидящего в его комнате, соскользнула с колен рука, деревянно стукнула о стул. Он встал, и на фоне окна обрисовались косо поставленные плечи, одно выше другого.

— Валентин Вениаминович!

— Здравствуй, дружок.

Светло-бежевый отутюженный костюм, светлая шляпа на эскизе витрины, седые виски, ввалившиеся щеки, хрящеватый нос, теплящаяся улыбка в черных, узко посаженных глазах.

— Никак не ждал, конечно?

— Никак.

— Сядем. Есть разговор.

Уселся поудобнее на стуле, вытянул во всю комнату длинные ноги, закурил, пытливо поглядывая на Федора.

— Чем живешь? Начнем с этого.

— Коллекционирую произведения искусств.

— Гм... И где они?

— Ношу в кармане. Вот, например.

Федор вынул свинцового Наполеона, поставил на стол.

— А почему надета петля на шею этого произведения?

— Для удобства. Талисман. Ношу для счастья, на груди, ближе к сердцу.

— И как? Помогает?

— Помогло.

— А это что? — Валентин Вениаминович указал на лист ватмана под своей шляпой.

— Олицетворение изобилия, которое я должен осветить в витрине одного почтенного «Гастронома».

— Ясно. А не согласишься ли принять заказ на картину?

— Заказ? На картину?..

— Ну, ну, восторг преждевременен. Вряд ли эта картина сулит большие творческие наслаждения. Будем рассматривать ее как приличный заработок.

— Но все-таки картина!

— Да, все-таки картина, а не черная поденщина.

— Спасибо. Я даже не верю, почему мне?..

— Почему? — У Валентина Вениаминовича появилось на лице упрямое и жесткое выражение, в глазах пропала улыбка. — Не считай меня благотворителем, я просто пытаюсь спасти свой труд. Да, свой, кровный, если хочешь высоких слов,— выстраданный. Я встречаю в жизни какого-то зеленого юнца, неотесанную деревенщину, который если и успел узнать что-нибудь в жизни, то только то, как прикладывать автомат к плечу, как зарываться носом в землю от снарядов. Я его пять с лишним лет учу, я с замиранием сердца день ото дня стою за его спиной. Учти — с замиранием, так как ставлю большую ставку — кусок своей жизни. Выйдет он к финишу, завоюет он лавры — я выиграл. Он может это и не замечать, он может самодовольно думать, что этот долговязый, с консервативными взглядами педант-наставник ни при чем, все успехи идут от бога. Но и благословенного богом скакуна можно выездить так, что его будут обгонять клячи. Вы все не замечали мою узду. Я ставлю это себе в заслугу... И вот приходит время, когда я начинаю верить — не подведет, выиграет. Но как раз в это-то время он уходит из моих рук, попадает в стойло, где у него вянут мускулы, скисает душа. И опять я в проигрыше! Кусок моей жизни, крупная ставка — нет, не хочу выбрасывать на ветер. Не благотворительность. Ты понимаешь это?

— Понимаю,— сказал Федор. — Но все равно спасибо. Где ваш заказ?

Валентин Вениаминович придвинул к руке Федора листок, вырванный из записной книжки:

— Вот адрес. Это одна из новых гостиниц. Спроси Николая Филипповича, назови свою фамилию. Она ему уже известна от меня и апробирована лицом более авторитетным, чем я.

— Завтра я встречусь,— сказал Федор, забирая адрес.

— Еще раз предупреждаю — вряд ли заказ полностью придется тебе по вкусу.

— Я стал алчным, мне нужны деньги, чтоб вырваться отсюда и без оглядок нырнуть в настоящую работу. Там и буду услаждать свой вкус.

— Вырваться... Ты наметил — куда?

— Сниму светлую комнату за городом, переоборудую ее в мастерскую.

— Нужны ли сейчас деньги на разбег? Только, пожалуйста, без церемоний!

— А это? — указал Федор на эскиз гастрономической витрины. — Это тоже деньги. На разбег хватит. Да и отступить уже нельзя — договорился, аванс взял.

— Ладно,— буркнул Валентин Вениаминович, взялся за шляпу, еще раз оглядел стиснутую облупленными стенами пыльную комнатушку, продавленную кровать, стол, где лежал гастрономический эскиз. — Да-а... — Прикрыл глаза веками. — Путь на Олимп лежит не через райские долины.

Федор усмехнулся:

— А подойдя к Олимпу, увидишь, что мест свободных нет — старые осы свили гнезда, потесниться не в их интересах.

— Старые осы?.. — сердито уставился Валентин Вениаминович. — Кто молод, тот прогрессивен? Кто стар, тот рутинер?

— Я только хотел сказать, что к почестям и славе добираются те, у кого силы на исходе. Скипетры принимают дряхлые руки.

— А я знаю одного старейшего скульптора, который чуть ли не полвека назад удивил всех своими первыми работами. А то, что он сделал после, превосходит произведения молодости. И он не на Олимпе, нет, музеи хра-

нят его произведения, созданные сорок лет назад, а новые шедевры стоят в мастерской. Я знаю и другого старика, он всю жизнь бьется за признание. Ты, кажется, чуть-чуть веришь моей непредвзятости, моему вкусу. Так вот я заявляю — он величайший график нашего времени! А он зарабатывает себе на хлеб случайными заказами. Сколько талантов в живописи, истинных талантов, дожив до седых волос, оттеснены энергичными молодыми приспособленцами. Нет прогрессивной молодости и рутинной старости, есть самозабвенные таланты и воинствующие бездари. Не дели на старых и молодых, граница проходит не по возрастной меже.

— Вы правы. — Федор не удержался, чтобы не съязвить: — Пример этому наш шеф — он ведь еще не очень стар...

Валентин Вениаминович нахмурился, отвернулся, разыскивая глазами шляпу, хотя держал ее в руке. Как всегда, о шефе, директоре института, он предпочитал молчать. И Федор пожалел— удар ниже пояса.

— Однако пора... До свидания.

Федор проводил его до дверей.

— Чернышев окончил картину,— сообщил он.

— И как?

— Зайдите, посмотрите. Он будет рад.

— Зайду обязательно... Да, передай привет милейшему Савве Ильичу. Он жив?

— Не то чтоб очень. Болеет старик.

Дверь закрылась, Вера Гавриловна предстала перед Федором.

— Это кто же такой?

— Ангел-хранитель,— ответил Федор.

8

Николай Филиппович оказался самим директором гостиницы — меланхолично-спокойный человек с дряблыми добрыми бульдожьими щеками, плотное тело упрятано в отлично сшитый костюм.

— Моя фамилия — Матёрин. Я художник.

— Так, так... — Николай Филиппович вышел из-за сверкающего новым лаком стола. — Очень приятно...

Здесь все кругом было новое, гладкое, стремящееся отразить в себе твою будничную физиономию. На широкой мраморной лестнице, по которой только что подымался Федор, лежала красная неистоптанная ковровая дорожка, на площадках, отмечая лестничные пролеты, стояли золоченые фигуры каких-то задрапированных фей — претензия на старину. Стены холлов и коридоров облицованы под дерево, блестят, словно политы водой. Двери дорогих номеров высокие, тяжелые, перед ними берет оторопь — того и гляди, не хватит сил открыть. Все коричневое, черное, сумрачное, и почему-то хочется здесь говорить шепотом, почему-то тянет спрятаться, да негде.

Николай Филиппович повел Федора коридорами, по пути любовно трогая вялой рукой то скользкую стену, то бронзовые завитки каких-то слоноподобных торшеров с линяло-голубенькими шелковыми колпаками, и его лицо было озабоченным и значительным. Наверное, с таким лицом монастырские прислужники открывали доступ к святым мощам.

«Куда это он меня тащит?» — гадал Федор.

Оказалось, что Николай Филиппович вел его к пустой стене в холле. Остановился, заговорщически значительно, через плечо, поглядел на Федора, скупо кивнул:

— Вот.

Федор ничего не видел, кроме пустой, до зеркального блеска отполированной стены.

— Вот тут, по нашим замыслам, должна висеть картина. Она... — Рука Николая Филипповича в дряблой стариковской коже совершила что-то похожее на латинское знамение — вверх к потолку и вдоль пола. — Она займет вот это все пространство. Ни больше ни меньше. Меньше нельзя, будет портить ансамбль. У нас уже измерено — метр восемьдесят на два двадцать пять.

«Неплохо для начала»,— подумал Федор.

— Как вы понимаете, мне нелишне знать, что бы вы хотели здесь увековечить? — спросил он шефа.

— Об этом мы с вами поговорим за столом,— важно заметил Николай Филиппович. — Идемте.

И снова коридоры, забранные в отлакированную фанеру, ковры, скрадывающие шаги, монументальные двери, снова вялая ладонь директора ласкает вычурную бронзу светильников.

— Садитесь, прошу вас,— указал он на кресло, порыл-

ся в ящике стола, достал репродукцию, положил перед Федором: — Вот.

На репродукции: под открытым небом длинные столы, заваленные снедью, жареные гуси, горки яблок, вокруг столов — бороды почтенных стариков, галстуки молодых, расшитые косоворотки, девичьи платья городского покроя. Репродукция со знакомой картины директора института «Колхозная свадьба».

— Вам, конечно, известна? — со своей меланхоличностью спросил Николай Филиппович.

— Да,— ответил Федор.

— Автор этой картины — ваш учитель?

— Он директор нашего института. Это еще не значит, что он мой учитель.

— Все равно, все равно, он нам рекомендовал вас как весьма талантливого художника. Нам вполне достаточно словесной рекомендации такого человека.

— Вы хотите, чтоб я для вас сделал копию?

— Э-э, не совсем... — замялся Николай Филиппович. — Копия — это и хорошо и плохо. Копия, к сожалению... Вы сами понимаете...

Грустноватый, чуточку обескураживающий взгляд вылинявших глаз, свисающие щеки, поджатые губы. Федор ничего не понимал.

— Вы же видели, мы связаны определенными размерами — метр восемьдесят на два двадцать пять, ни сантиметра больше, ни сантиметра меньше, иначе нарушится наш ансамбль...

— Не понимаю.

— Формат этой картины совершенно другой. Мы же учитываем — произведение искусства, законченность, так сказать... Обрубать, подгонять — кощунство...

— Ну и что же вы хотите в конце концов?

— Создайте нам подобие этой картины. Со всем, так сказать, оптимизмом, жизнеутверждением данного произведения... Торжественный праздник в нашей советской деревне, солнечный, радостный. Словом, в духе этой работы, но по-своему, чтобы самостоятельное произведение... Метр восемьдесят на два двадцать пять.

Федор готов был все силы вложить в этот заказ. Все силы, все мастерство, весь талант без остатка. Дайте свободно поразмыслить, и эти лакированные, неуютные стены он сделает фоном своей картины. Пышный холод-

ный холл, казенно украшенный, — пусть! Но тем ярче, тем теплее будет выглядеть его холст, он это в силах сделать! Сюда будут приезжать иностранцы, а язык прекрасного международен. Он напишет так, что заморские гости станут восторгаться даже против собственного желания. В среде художников пойдет молва, начнется паломничество в этот холл. Дайте только свободно действовать, и он удивит. Тщеславие? Может быть. Какой художник лишен тщеславия?

Свисающие щеки, меланхолический взгляд — лицо, не отмеченное ни печатью энергии, ни живой мыслью. Старый, от природы добрый человек, страдающий, верно, болезнью почек или несварением желудка. Метр восемьдесят на два двадцать пять — бород, галстуков, солнечных бликов — такой, как эти новенькие стены, казенной радости. Склони голову, гордый сикамбр, сожги то, чему поклонялся, и поклоняйся тому, что сжигал, и тебе заплатят деньги.

— Я этого делать не буду.

— Почему? — Щеки дрогнули.

— Просто для такой работы я, кажется, не подхожу.

— Но нам вас рекомендовали как талантливого художника. Мы можем пошевелить только бровью, и к нам прибегут...

— Не сомневаюсь.

— Но мы не можем удовлетвориться каким-нибудь ширпотребом.

— Наверное, придется... Во всяком случае, я отказываюсь.

И голос Николая Филипповича отвердел, в нем проснулся не ценитель искусства, а администратор, человек с деловой жилкой, свято верящий, что все на свете материально, а все материальное оценивается в рублях и копейках.

— Мы платим три с половиной тысячи за эту работу.

— Соорудив такие двери, настелив такие ковры, вы могли бы предложить и больше.

— Хорошо. Я вижу, вы знаете себе цену,— четыре.

— Не собираюсь торговаться с вами. До свидания.

— Послушайте, я же не вотчинник, который распоряжается доходами, как ему заблагорассудится, у меня государственное учреждение. Мне отпущено на такую работу четыре тысячи — и ни копейки больше.

— Для многих этого будет вполне достаточно, уверяю вас.

— Хорошо, хорошо! Четыре с половиной!

— Прощайте.

Федор толкнул податливо тяжелую дверь, вышел в коридор.

По ковру, лежащему на мраморных ступеньках, мимо золоченой бронзы, мимо овальных, на слоновых ногах столов... Метр восемьдесят на два двадцать пять — оптимистическая колхозная свадьба, оцененная административным вкусом вполне прилично — четыре с половиной тысячи рублей.

На улице он отыскал телефон-автомат, опустил монету, набрал номер.

— Валентин Вениаминович?.. Говорит Матёрин.

— Ах, это ты, дружок! Ну как?

— Валентин Вениаминович, вы знали, что это за работа?

— Знал одно — заказ на картину, не больше, без подробностей.

— Ну, слава богу!

— Почему — слава?..

— А я уж о вас плохо подумал.

— Совсем неприемлема?

— Я должен был написать полотно по типу небезызвестной вам «Колхозной свадьбы».

На другом конце провода молчание.

— Я этого сделать не могу, Валентин Вениаминович.

Снова на минуту молчание, затем сдержанное:

— Я понимаю, но... боюсь, лучшего не подвернется.

Федор забыл, что Валентин Вениаминович о своем шефе, директоре института, никогда не говорил ни плохо, ни хорошо — ни о нем самом, ни о его работах.

9

Дома все семейство — Вера Гавриловна, Аня и ее муж, Виктор и Сашка — сидело в одной комнате. У Виктора на лбу кровавая ссадина, лицо серое, мученическое, глаза тусклы, при появлении Федора вздрогнул, поежился. Что-то опять случилось в этих стенах.

Аня с презрительно отвисшей губой проговорила:

— Я всегда знала, что она так кончит.

Миша, ее муж, сидит нога на ногу, голова уютно покоится на широких плечах, в черных глазах выжидающе опасливый блеск. Он веско сказал:

— Кислотой бы вытравить эту ржавь. Кислотой. Да.

Вера Гавриловна испустила свой безнадежный вздох:

— И нужно опять Витьке ввязаться. Отметили по лбу, кавалер хороший.

И Виктор взвился, по серому лицу — пятна, в глазах — бешеными искорками выдавленные слезы:

— Идите все к черту! Идите все!! Какое вам дело до них, до нее, до меня! Жалеете! Вздыхаете! Упрекаете! Врете! Вам ведь на все плевать! На все! К черту! К черту!!

Отвернулся в угол, вздернул плечи.

Никто не пошевелился, все, в том числе и мать, смотрели на него со спокойным, чуточку презрительным сожалением. Только у матери на стертом лице было больше беспомощной жалости, чем у Ани и у ее мужа.

— В чем дело? — спросил Федор.

— Опять с этой Аллой... Наш дурачок не утерпел, ввязался. Лешка Лемеш — видели? — по лбу протянул,— покорно объяснила Вера Гавриловна.

«Дурачок» лишь передернул плечами при словах матери.

Аня отрешенно глядела мимо Федора. Она не любила жильца, занимавшего комнату, которая, как считала, должна принадлежать ей по праву.

Федор прошел к себе. А через пять минут явился Сашка — на постновато-невинной мордочке нетерпение, под ресницами нехороший веселенький блеск.

— Иди-ка спать,— попробовал его отослать Федор.

— Алку-то продали... — хихикнул Сашка.

— Как продали? Что мелешь?

— Вот и продали.

— Кто?

— Лешка.

— За что?

— За что продают? За деньги.

— Рассказывай быстро да катись.

— Арсения Ивановича Заштатного знаете?.. У которого «Победа». В тридцать пятой квартире живет...

— Знаю. Физиономия круглая, вежливый...

— Он с Лешкой договорился — приводи Алку ко мне. Давно уговаривал, да мало давал. Лешка не соглашался, просил тыщу рублей...

— Не ври!

— А я не вру. Может, не тыщу, может, больше, кто знает. У Заштатного денег чемоданы. Артелью заведует, у него там все жулики, а он самый главный. Еще бы не богач...

— Не мели!

— Вчера Лешка с Алкой пошли к Заштатному как бы в гости. Лешка-то посидел да ушел, вроде за гитарой, а Алка осталась. Заштатный — дверь на ключ... Ночь просидела, на другой день к вечеру только вышла. Хи-хи!.. К вечеру выпустил... Она на Лешку. Хи-хи!.. Царапалась... Дура, никто бы не узнал... Хи-хи!..

Этому мальчишке неплохо жилось во дворе — что ни день, то новое событие, не заскучаешь В глазах — дрянненький смешок, на губах блуждающая улыбочка человека, знающего житейскую изнанку. Ни возмущения, ни отвращения, напротив, удовольствие: ах, интересно! И это для Федора было страшно, страшней, пожалуй, того, что сейчас услышал.

— Витька узнал — и на улицу. Он ваш ножик схватил. С ножом... Лешка его сначала трогать не хотел: уйди, говорит... А тот лезет, размахивает. Ну, и ножик отобрали и побили. Поделом, кавалер хороший...

— Хватит! — оборвал его Федор.

— Алка-то... Хи-хи!.. Кричала: «Назло всем проституткой буду!» Хи-хи...

Федор взял его за плечи и вытолкнул из комнаты:

— Иди спать!

Утром к Федору пришел Виктор: чистая праздничная сорочка, мокрые расчесанные волосы, лицо бледно до голубизны, на лбу засохшая ссадина, под внешним спокойствием — решительность скрученной пружины.

— Уезжаю,— сказал он.

— Куда?

— Не знаю. Все одно куда. Подальше бы... Может, в Сибирь, может, на Дальний Восток.

— Что ж... — Федор помолчал. — К лучшему.

Виктор сел к столу, кося глаза в угол, сказал вдруг:

— Во время войны в соседний двор фугаска попала...

— А это к чему?

— А к тому, почему не в наш. Все бы на кусочки разнесло.

— И тебя бы, дурака, тогда не было.

— Пускай. Кому я нужен!

— Надеешься завербоваться на работу — значит, нужен кому-то. Ненужного не возьмут.

— Не пойду вербоваться — обойдутся без меня?

— Обойдутся.

— Значит, не так уж нужен.

— А ты хочешь, чтоб мир без тебя жить не мог, великий человек?

— Хочу,— ответил убежденно Виктор. — Пусть не мир, а чтоб кто-то. Хоть один бы человек не мог жить без меня на свете. Я умру, и он умрет. Вы думаете, я матери нужен? Нужны ей мои копейки, которые я зарабатываю. — Дернул раздраженно головой, спросил неожиданно: — Вам бы хотелось сидеть на месте Сталина?

— Вот никогда не применял себя к его стулу.

— А мне бы хотелось. Посадили бы меня, я бы тогда знал, что делать.

— Что? Интересно.

— Стрелял людей.

— Что-о?

— Собрал бы войска, отдал им приказ — ездите из города в город, ходите по дворам и стреляйте без жалости таких, как Лешка Лемеш или как эта тихая сволочь Заштатный.

Федор стоял над Виктором, разглядывал в упор. Тот сидел перед ним, долговязый, нескладный, болезненно бледный, пугающе убежденный,— мальчишка, безрассудно верящий в случайно подвернувшуюся мысль. Над такими властвует минута, она-то и толкает на преступления.

— Чуть поздновато ты родился,— сквозь зубы произнес Федор.

— А что?

— Был такой правитель, точно по твоему вкусу.

— Кто?

— Гитлер.

Виктор промолчал. И тогда Федор пошел на него грудью.

— Хочешь, сморчок, чтоб тебя любили, чтоб жить без тебя не могли? Хочешь?..

— Ну?..

— А за что? За то, что готов стрелять людей? За что любить? А еще Лешку упрекаешь...

— Я бы за деньги девку не продал, какая бы она ни была.

— Да что тебе девка какая-то, что тебе мать, ты же мечтаешь, чтоб на них фугаска упала! Ты ненавидишь всех! Лешка, по-твоему, гадина, а ты-то хуже.

— Я? Лешки?

— Ему плевать на людей — на тебя, на твою мать, на Алку. Нужно — затопчет в грязь, нужно — пырнет ножом, не задумываясь. Ты за это его не любишь?

— Ненавижу!

— А сам?.. Не нож, так винтовку готов взять против людей. Еще в правители себя ставишь. Такому правителю лешки самые подходящие помощники. Ненавидишь?.. Да тебе целовать его надо в сахарные уста. Ты с ним — два сапога пара!

Виктор съежился, кособоко склонил голову, и Федор почувствовал — пробил, плачет.

— Ну что? Посмотрел на себя со стороны — красив?

— Я ведь так... К слову... — выдавил из себя Виктор.

— И Гитлер сначала всего-навсего орудовал словом, да кончил печами, где детей жег.

— Но что — прощать? Прощать Лешку?

— Нельзя!

— Значит, ненавидеть?

— Да.

— Не пойму. То ругаете, что ненавистник, то говорите — ненавидеть!

— Ненавидеть уметь надо, слепой котенок! Ты же вместе с Лешкой готов ненавидеть мать, которая тебя, дурака, грудью выкормила. Ты порой меня ненавидишь, хотя я тебе ничего плохого не сделал. Разбирайся — кого и за что! Умей глаза держать открытыми.

Виктор молчал, не подымая головы.

— У меня все спуталось,— горестно признался он наконец.

— Ты вот хочешь уехать — езжай, погляди, пощупай мир. Поумнеешь.

Виктор вскинул на Федора красные глаза, сразу отвел, буркнул в сторону:

— А если не поеду, расхотелось вдруг...

— Почему так?

И взметнулись блестящие от слез глаза, и выступил румянец, и, быть может, первый раз в жизни прорвались непривычные слова признательности:

— Кто знает, встречу ли я там такого, как вы. Вдруг да будут попадаться все лешки да заштатные.

— Э-э, дурак, если б на свете жили одни лешки, давно земля стала бы пустой. Люди-лешки вырезали бы друг друга.

Виктор подумал и согласился:

— Верно... Ладно. Поеду. И вы уезжайте скорей отсюда. Вас съедят.

— Кто?

— Анка с муженьком своим. Вы ведь комнату их занимаете.

— Отдам я им комнату. А ты мать свою не забывай.

— Само собой. Анка-то на мать не раскошелится. Вот и скажите мне: любить ее или ненавидеть?

Федор не ответил сразу: любить или ненавидеть — великая наука, не каждый человек постигает ее даже в зрелом возрасте.

В этот день, выходя из подъезда, Федор столкнулся нос к носу с Заштатным. Упитанный багрянец на щеках, рыхлый нос, выражающий простодушие, с конфузливо-ласковым выражением уступил дорогу, из-под припухших век кольнули глазки. Зачесались кулаки, но Федор прошел мимо. Не дано ему права судить и наказывать. Ему не дано, а закон не заметил — сойдет с рук, отделается только конфузом этот конфузливый человек.

А вечером в квартире был большой скандал. Мать воевала с дочерью. Зять время от времени показывался в коридоре, чтоб все видели, какой у него глубоко оскорбленный вид и как он при этом сдержан — не бросается сломя голову в грызню.

Мать и дочь ругались из-за комнаты, которую занимал Федор.

Рано или поздно мать уступит, дочь победит, и Федору придется собирать свои вещи. Нужно уезжать. Нуж-

но найти мастерскую. Нужно полгода независимого времени. Как ни кинь, нужны деньги.

Плох тот стратег, который идет к победе нацеленно по геометрической прямой, не делая обходов, не предусматривая отступлений. Существует картина, пока что созданная лишь администраторским гением директора гостиницы,— метр восемьдесят на два двадцать пять...

10

У Герберта Уэллса есть рассказ. Мальчик открыл зеленую калитку — из городского захолустья с пылью, грязью, вонючими лавчонками попал в сад, где бархатные пантеры ласкались, как домашние кошки. Мальчик очнулся на мостовой, среди лавчонок и прохожих, исчезла дверь в стене, кончилась сказка, началась жизнь — школа, колледж, служба, уже маячило кресло в правительственном кабинете. Но зеленая калитка в стене преследовала, ждал ее, хотел открыть снова, вплоть до смерти...

Калитка не зеленая, просто ветхая. Рядом на столбе — кнопка звонка под ржавым жестяным козырьком, Заполнили небо обильной зеленью два старых дуба. И тянет забытым бражным запахом моченых яблок. Федор, придерживая перекинутый через плечо ремень этюдника, медлит нажать кнопку звонка.

За оградой — влажная тень от разросшихся кустов. Шесть с лишним лет тому назад Федор однажды вошел в эту калитку... Шесть лет, оглянешься — довольно-таки пестро. Снилась калитка? Думал о ней?.. Нет, забыто, заплыло, былью поросло. Но где-то в подвалах памяти хранилось: сношенные каменные ступеньки крыльца, сумрак просторных комнат, в которых, казалось, застоялся воздух прошлого века, тяжелая мебель — современница извозчиков-лихачей... Дом, где приходят в голову успокаивающие мысли — жили люди, люди живут, люди будут жить, какие бы страшные слухи ни ходили о водородной бомбе.

Сжимается сердце... Может быть, так выглядит наяву дом Саввы Ильича, счастливая крепость художника, мечтой о которой был в детстве заражен Федор? Непохоже, не то, но мечты детства, если они исполняются, всегда

имеют другую физиономию — сразу не признаешь, забудешь сказать: «Здравствуй».

Наверно, у каждого человека есть в жизни своя заветная калитка, в которую хотелось бы войти.

Федор протянул руку к звонку, нажал кнопку...

Где-то в стенах, пропахших вековой книжной пылью, вздрогнула тишина — пришел гость извне, старый гость... Признают ли? Не встретят ли холодным недоумением?

Дремал сад под солнцем. Валялись посреди дорожки забытые садовые грабли. В сонной листве деловито перелетала синица. Пусто... Эти электрические звонки на старых калитках никогда не работают.

Дремал сад, и только на верхушках дубов листва шевелилась от ветра. Забытые железные грабли на дорожке — значит, люди живут, не вымерли, не уехали. Но, может, живут другие люди?..

Федор без особой надежды еще раз нажал кнопку, выждал с минуту и хотел повернуться...

Синица взлетела вверх. Хлопнула дверь, за кустами поникшей от жары сирени бойко-бойко зашуршали шаги.

Девушка, тонкая, как чуткий к ветру таловый куст, загорелые колени играют легким подолом сарафана, летит словно навстречу радости — просто ходить иначе не может,— а лицо выжидательно-серьезное, вглядывается сквозь штакетник.

— Вам что? Входите, не закрыто.

Короткие, от солнца выгоревшие в рыжинку волосы, брови строгого и точного рисунка, голубые глаза с девичьей бессмыслинкой. И в незнакомом лице, как отдельные слова и фразы в забытом стихотворении, припоминаются знакомые черты — линия лба, брови и что-то в крыльях носа... Она! Однако шесть лет с хвостиком — срок немалый.

И молчание Федора ее смутило, брови двинулись к переносице, изобразили строгость.

— Вам что?

Федор развел руками, ответил смущенно:

— Да как тут скажешь сразу...

И она до слез в глазах вспыхнула:

— Вы?!

— Неужели узнали?

— Это вы! Вы такой же.

— А вы изменились. Еще как!

— Портрет?.. Вы, помните, меня рисовали?

— Не помнил бы, не пришел.

— До сих пор висит... Да идемте в дом. Идемте быстрей!

И она пошла вперед, почти на каждом шагу нетерпеливо оглядываясь, как охотничья собака, которая боится оторваться от медлительного хозяина. Синие цветочки на подоле сарафана рябили в глазах.

А Федор глядел на нее, чувствовал и неуклюжую тяжесть своих шагов, и громоздкость тела, и косную медлительность человека, вошедшего в зрелую пору. Она оглядывалась, звала и подгоняла взглядом.

«Выросла-то, вот чудо...»

Чопорный сумрак, запах книжной пыли, вросшее в выщербленный пол медными катушками старое пианино и обширный стол, к которому в напыщенном стиле классических романов хочется добавить — на столько-то персон. Шесть лет... Что шесть лет для этого угла, сумевшего сохранить воздух прошлого века. Ничего не изменилось. Хотя нет...

— А дедушка-то умер,— сказала девушка.

Она это сказала просто, без вздоха, без тени на свежем лице. Дедушка умер — она успела пережить это горе, свыклась с ним. Шесть лет...

Столкнись Федор с ней на городской улице, наверно бы, не оглянулся вслед. Светловолосое, светлоглазое, заурядной правильности лицо — сотни таких проходят мимо. Но в пыльной комнате, средь суровых потемневших вещей, в монашеской отрешенности от июльского дня 1952 года, она, загорелая, с оголенными руками, в легкомысленном сарафанчике из веселой ткани казалась оглушающе яркой. Федор не переставал про себя удивляться: «Выросла. Вот чудо-то!»

Он, пожалуй, ни разу ее не вспоминал. Забыл даже о портрете, который набросал походя плотницким карандашом. Его, как кошку, тянуло к дому, а не к хозяевам.

— Мама работает на старом месте, везет на себе хирургическое отделение... Я учусь в институте... Тоже медицинский. Фамильная традиция... Уже окончила первый курс.

В пять минут было рассказано все, что случилось в этом доме за шесть лет.

— Вы теперь художник?

— Считаюсь.
— Почему считаетесь? Что за слово?
— Для того чтобы стать художником, надо что-то сделать. До сих пор занимался тем, что кормил будущую картину.
— Кормили картину?! Как это?
— Халтурил.
— Что за слово?
— То есть занимался работой ради одних лишь денег. И вот заработал, ищу комнату, где мог бы устроить мастерскую, писать свою картину и ничего другого не делать.

Мать Оли, Ольга Дмитриевна, сообщение, что Федор снимет в их доме мастерскую, приняла без особого энтузиазма. Любая мать испытывает страх за свою дочь перед лицом малознакомого мужчины. Но, видать, в этом доме законодательницей стала Оля.

Федору согласились предоставить громадную столовую.

11

Оля вызвалась проводить Федора: «Все равно мне нужно бросить письмо. Брошу на станции».

Но едва они вышли на крыльцо, как увидели, что над поселком растет и угражающе разворачивается в черноту синяя туча. На их глазах она дотянулась до солнца и проглотила его. Сразу стало серо и тревожно в мире. Заламывая растрепанные крылья, летели боком, в смятении и ужасе, вороны. Ветер внезапно свалился, разворошил кусты, пригнул их к земле, вырывая и унося листья. Дубы гневно зароптали над головой, заскрипела ржавая крыша. А по дороге неслась пыль, в ее клубах отчаянно метались куски мятой бумаги.

Дождь был короткий и сильный. Плясала неистово листва кустов, потемнел забор. Брызги накрывали дорогу молочной пеленой. А старая крыша дома набатно гудела. И с треском ломалось небо. Бледнела кутающаяся в кофточку Оля.

Что-то надорвалось в грозном небе: гром, прокатившийся над крышей, прозвучал глухо, бесцветно,

кусты настороженно подняли листья. Дождь внезапно прошел.

Дождь прошел, и закат поджег тяжкие горы облаков. А внизу, под нависшими раскаленными громадами, в оцепенении переживал кроткую минуту обмытый дачный поселок.

С неподвижной листвы капала вода... Тлели лужи на потемневшей дороге... Блестели железные крыши... Из палисадников, от кустов, от травы, из всех пор размоченной земли истекал сложный запах поздних цветов и подпревающих корневищ.

Казалось, воздух настолько густ и плотен, что стоит привстать, махнуть руками — и поплывешь вверх, любуясь под собой тучным дном океана, на котором ты имеешь счастье жить.

Закат отражался в широко распахнутых глазах Оли.

— Что случилось? — спросила она тихо.

Федор жадно оглядывался вокруг.

— Что случилось? Что случилось? — У нее размягченное лицо и глаза, направленные к закату, подозрительно блестят. — Я уверена — что-то случилось! Особое, не дождь. Простой дождь не запомнишь на всю жизнь. Я чувствую — это запомню!

— Только дождь... — Федор стал нерешительно стягивать с плеча ремень этюдника.

— Прошел дождь и принес счастье... Ах, вот так и приходит оно с каким-нибудь дождем, нечаянно.

Падали редкие капли, сверкали в воздухе, искрилась мокрая листва, тлели под закатом лужи...

По дороге шла женщина, тонкое платье обтягивало коренастую фигуру, мокрые слипшиеся волосы упали на щеки, в одной руке туфли, в другой — увесистая авоська, лицо сосредоточенно, выбирает дорогу, не привыкла ходить босиком.

— Что, если подойти к ней?.. Оглянись — счастье же! Много ли ты видишь счастья в жизни? Оглянись! Что, если подойти?.. Мне почему-то жаль ее.

По дороге шла босая женщина, кипел закат, пылала зелень, тлели лужи. Ощетинясь высохшими сучьями, стояла ель, ее хвоя, смоченная дождем, темная, благоухающая, была привольно раскинута над дорогой. Ель отражалась в луже, сама лужа наполовину раскаленно теплилась, наполовину была по-глубинному черна, как

осколок бездонного омута. И шла женщина босиком в мокром платье...

Федор со стуком поставил на крыльцо этюдник, сел прямо на мокрые каменные плиты, опрокинул крышку...

По загрунтованной картонке он не наметил рисунок — некогда, сейчас все исчезнет — уйдет женщина, погаснет закат, высохнет хвоя, увянут лужи. Сейчас все кончится, это минутный каприз, счастливая случайность — безумие пытаться ловить ее. Но уже брошено чуть приправленное киноварью белое пятно — тут будет гореть закат. Взмах кисти — смолисто-черная полоса, она превратится в ствол ели.

Уходит женщина, чуть согнувшаяся под тяжестью авоськи. Исчезнет из глаз, но оставит в памяти след. Память можно овеществить. Пусть уходит, оставляя за спиной истекающие огнем лужи.

Федор отбросил кисти, схватил мастихин, на гибкое лезвие набрал краску, почти со всей палитры — варварское месиво. Прицелился, поколебался и ударил... Кусок дороги, кусок притоптанной, смоченной влагой земли — широкий гладкий мазок. Вытер тряпкой лезвие, на кончик мастихина набрал новую краску — загорелась первая лужа...

Остановись, мгновенье,— ты прекрасно! Ушла женщина, не догонишь. Незнакомая женщина со своими заботами, не обратившая внимания на случайный праздник в природе... Ушла, и мало-помалу потухли лужи, потускнела пылавшая зелень... Остановись! Нет...

Память пока держит все. Пока... но и память стирается, и она невечна. А сейчас она свежа, встревожена, ее тревога передается руке. Рука мечется от кисти к мастихину, мазки густо замешанной краски становятся плотью.

Федор откинулся, издал довольное мычание.

Брызжет кипящий закат на внутренней крышке этюдника, и воздух, густой, насыщенный запахами и парной влагой, и пламенеющая мокрая зелень, и лужи, и мрачная вязкость смолистой хвои, и женщина никуда не ушла, она сгибается под авоськой, босые икры рдеют на закате.

Остановись, мгновенье!.. Что ж, пожалуй...

Федор начал не спеша вытирать кисти и только тут вспомнил, что за спиной стоит Оля.

12

Федор переехал.

Оля ждала новых чудес, но они случаются не часто. Федор завалил старую почтенную столовую набросками с шагающими ногами. Оля разглядывала их, как археолог только что откопанную надпись неизвестной культуры,— почтительно, с предельным любопытством и затаенным мучением — не понять.

— Что это? — спрашивала она.

— Записи для памяти.

— Записи? Мыслей?

— В общем да, мыслей.

— Странно, а их нельзя записать как обычно — алфавитом?

— Пожалуй, нельзя.

И Федор сам удивился вместе с Олей: «Действительно, странные мысли, словом их не выразишь, только линией или цветом».

Перед тем как переехать, Федор проводил на вокзал Виктора. Тот уезжал на Сахалин к отцу. Несмотря на жару, в тяжелом осеннем пальто, в кепчонке, какие носят приятели Лешки Лемеша, и с потертым чемоданчиком, где лежала пара чистого белья да буханка хлеба на дорогу. Мать Виктора вздыхала и утирала глаза платочком. Сын сурово наставлял ее:

— Ты Анке не уступай комнату, найми нового жильца. На что будешь жить, пока я на ноги не встану?.. Ищи хорошего человека, вроде вот его, Федора Васильевича.

Повернулся к Федору:

— Вот в люди выйду, я вас обязательно отыщу. Обязательно, чтоб спасибо сказать.

Прокричал электровоз. Федор обнял Виктора, подтолкнул к вагону:

— Не дичись людей, иди к ним навстречу.

— Ладно, все по-новому будет.

Скрылся из глаз последний вагон, через всю огромную страну повез поезд человека, бросившегося искать счастье где-то на берегах Тихого океана.

Вера Гавриловна плакала, цеплялась за Федора:

— Чует мое сердце, останусь я на старости лет без помощи...

А дома, в комнате Федора, стоял уже новый шифоньер, на днях купленный Аней. Аня завоевывала пространство, вряд ли Вере Гавриловне придется искать нового жильца — не устоит перед дочерью. А как помочь?..

Федор забрал свой чемодан и вышел через ворота, его проводили взглядами дружки Лешки. Прощай, Денежный переулок!

У знакомой калитки его встретила Оля, она ждала его эти дни, ждала — видно было по лицу.

И вот наброски — на столе, на старой тахте... Большой загрунтованный холст прислонен к стене. К запаху старой пыли примешивается запах масляной краски...

Федор вставал в пятом часу утра, одевался, брал этюдник и шел на улицу.

Ночь чуть-чуть разведена пепельным дымком рассвета, в небе висят бледные звезды, сторожко слушают шаги отяжелевшие от росы кусты, свежий воздух пролезает под куртку, вызывает озноб... Едва выходил за калитку, начинали горланить петухи, как в родной Матёре. Разбуженные петушиным криком, перебрехивались собаки...

Поселок стоял загадочно пустой, значительный, погруженный в мутно-голубые сумерки. Федор торопливо шагал с этюдником на плече и вспоминал Савву Ильича. «Вот она, старик, твоя заветная мечта — выходить поутру с ящиком красок, вот она, художническая Аркадия!» Мечты исполняются, прекрасна жизнь. Люди спят, а он идет, чтоб подготовить им подарок. Люди спят и не подозревают, что просыпают самое прекрасное, самое значительное — рождение нового дня. Яснеют сумерки, растет и ширится купол неба, лицо ласкает робкая заря, а за спиной все еще ночная синева.

После каждой такой вылазки Федор нес домой этюд, сталисто-голубой, дымчатый, размытый, почти одноцветный. Иногда он задерживался, пристраивался под откосом дороги, ведущей к станции, и рисовал ноги прохожих, спешащих к утренним электричкам.

В ногах он искал ритм к предрассветным сумеркам, к пению скрипки, которая постоянно звучала у него внутри.

Он возвращался, а из дому выходила на работу мать Оли.

— Доброе утро, Ольга Дмитриевна,— приветствовал он.

— Доброе утро,— отвечала она сдержанно.

Мать Оли мало изменилась за эти шесть лет — по-прежнему застывшее строгое выражение лица, по-прежнему резкие суровые брови подчеркивают бледность лба, по-прежнему она походит со своей короткой стрижкой на делегатку-общественницу двадцатых годов.

Федор в глубине души побаивался ее, рядом с ней чувствовал себя неуютно.

Но она на весь день исчезала в своей больнице. И, подходя к дому, Федор радовался, что сейчас он сядет пить чай вместе с Олей, а новый этюд будет стоять у них перед глазами...

Он рассказал Оле о том, как однажды плелись по раскисшей осенней степи солдаты, голодные, усталые, озлобленные, желающие лишь одного — чтобы поскорей кончилась бесконечная дорога. Лишь бы кончилась — пусть стычкой с противником, ты убьешь или тебя убьют — в обоих случаях отдых. Он рассказал, как эти отупевшие от усталости солдаты наткнулись на скрипача-румына...

Оля впитывала каждое слово, глаза ее темпели, становились матовыми.

— Вы хотите изобразить все, как было? — спросила она.

— Нет.

— Как «нет»?

— Как было — не хочу.

— Почему?

— Была кучка грязных солдат на грязной дороге... Любой, самый простенький, натюрморт в тысячу раз живописней.

— Значит, вы собираетесь лгать, приукрашивать?

— Нет, если я буду изображать шинельную кучу, мне больше всего придется выписывать хлястики от шинелей.

— Пусть хлястики, пусть обмотки, грязь — лишь бы правда.

— Хлястики не правда, а ложь!

— Не пойму.

— Когда я стоял перед румыном, то слушал музыку, а не разглядывал хлястики. У меня внутри все ломалось, каждая клеточка была на грани обморока. До хлястиков ли?.. Вряд ли я еще переживу такое в жизни. А хотел бы... Я даже не могу сказать, что это было. Радость? Да. Горе? Тоже да. Все вместе, в одно время... Понимаете, Оля,— благодарность... Невероятная, сжигающая благодарность, до умопомешательства. И к кому? Ко вчерашнему врагу. И я корчился внутри от страдания, что мир жесток. Мне было всего девятнадцать лет, столько, сколько вам сейчас. Но я был намного глупее вас. Да, да, я был глуп. Но в ту минуту мне казалось, что ни один самый высокий, самый мудрый философ не понимал больше моего. В ту минуту... Вот ее-то я и хочу изобразить на холсте.

— Изобразить минуту?

— Нет, потрясение.

— Изобразить потрясение?

— Почему бы и нет?

— Но изображать можно только то, что имеет форму,— дерево, человека, облако или даже шинельный хлястик.

— А разве имеет форму тревожное состояние перед грозой или лирическое настроение в лунный вечер? Тысячи художников изображали это.

— Ага, но вам все-таки придется писать кучку солдат с хлястиками на спинах. Через них только и можно передать свое потрясение.

— Если я просто изображу кучку солдат, окруживших скрипача,— будет всего-навсего сообщение: был-де такой странный случай. А что происходило в душе этих солдат — останется неизвестным. Внешне все будет правдой. Нетрудно точно выписать хлястики, а эти хлястики спрячут от людей самое важное. Хлястики — не искусство, хлястики — ложь.

Оля молчала, думала...

Холст, приготовленный для картины, стоит, прислоненный к стене. А Оля ждала нового чуда.

13

От Вячеслава пришло письмо:

«Старый бродяга! Пишу эти строки в твоем прежнем логовище. Хозяйка сообщила мне твой новый адрес. Ты исчез! Ты испарился! А ты в эту минуту нужен! Нет, не для дела, просто хочется в трудную минуту увидеть твою физиономию. Ждал, что тебе подскажет шестое чувство — стукнешь ко мне в дверь. Не дождался, пошел искать...

Дело в том, что жюри выставки отклонило мою картину — безыдейная, безысходная, не в духе эпохи. Впрочем, высокие арбитры не очень-то утруждали себя доказательствами на сей счет — поставили крест и отвернулись. От меня отвернулись, а творение Ивана Мыша пришлось им по вкусу. Как мы ошибались, не принимая в расчет этого мужа! Он далеко пойдет! Он еще станет законодателем! Словом, полный крах! Двухлетний труд — просто предмет для собирания пыли. Он еще стоит в чужой мастерской, и мне хочется от него бежать. Бежать от усталости, от бессонницы, от выставки, где будет красоваться шедевр Мыша, бежать из города. Один мой добрый знакомый предложил приехать к нему. Он далек от искусства, живет в райском заповедном лесу, занимается разведением бобров! Еду! Буду пописывать этюды от безделья, пить парное молоко, купаться до заморозков. Наберусь сил и еще предстану перед высокими арбитрами, еще поглядим — кто кого. «Пепел Клааса жжет мое сердце!» Кончаю. Жалею, что не увиделись. Встретиться придется где-то в начале зимы.

Твой Вече

Да, ты на выставку-то загляни. Может, это счастье, что мы не попали туда. Не велика честь красоваться в компании Ивана Мыша».

О выставке молодых уже сообщили газеты, в Москве были расклеены афиши.

Федор собрался на нее на другой день после открытия.

На Кузнецком мосту к широким дверям Салона стояла длинная очередь. Школьники старших классов

и пенсионеры, студенты и солдаты, женщины с кошелками и солидные, самоуверенного вида мужчины теснились к стене здания, жарились на солнцепеке.

Федор простоял без малого час.

Молодые художники! Новое поколение!

Вячеслава не приняли, но наверняка прорвался туда не один Иван Мыш. Сколько ребят-художников, как Вячеслав и Федор, пережили войну, сейчас вглядываются в это трудное время, ищут ответ на вопрос: что есть истина?

Выставка молодых! Где, как не тут, искать новый дух, новые мысли, свежий цвет в живописи. Недаром же торчит к дверям длинная очередь.

Наконец-то в нетерпении шагнул в сумрачную после солнечной улицы прохладу зала и сразу же наткнулся на большой, от потолка до пола, портрет Сталина. Сталин, в мундире генералиссимуса, при погонах и орденах, в зеркально начищенных сапогах, стоит, сурово вытянувшись во весь свой громадный рост, из-под потолка смотрит на Федора. А возле сапог, на постаменте, задрапированном холстом, бронзовый бюст — опять Сталин.

Производственный пейзаж — развороченный котлован с дымом и стрелами экскаваторов — написан средненько. Еще пейзаж и... снова Сталин, уже не в мундире с орденами, а попросту, по-семейному, в белом кителе.

«Колхозное гулянье» с гармонистами, словно взятыми напрокат из хора Пятницкого. И... Сталин, уже не один, в окружении всего правительства.

Но вот сейчас, сейчас, за следующим стендом, подальше от входа, Федор наткнется на картину...

Неизвестный автор — родня по духу. Может, твоя кисть уже сказала то, чего Федор не успел перенести с палитры? Неизвестный автор — ты и друг и соперник, к тебе заранее испытываешь уважение и зависть, желание почувствовать поддержку сильного плеча, и в то же время сосет страх — опередят, придется плестись в хвосте. Чувство спринтера, рвущегося к финишной ленточке. Ради этого и пришел сюда начинающий художник Федор Матёрин — опьянить себя, подхлестнуть себя, набраться от других дерзостной энергии. Вот-вот — встреча за следующим стендом...

А в зале тесно и тихо, слышно лишь однообразное шарканье ног по паркету. Лица посетителей сосредото-

ченно серьезны и многозначительны, все они похожи друг на друга, кажутся каким-то скопищем родственников, которые осматривают новую квартиру, придирчиво обнюхивают каждый угол, каждый метр стены.

Шарканье ног и почтительная тишина. Средь святынь неприлично повышать голос. Выставка молодых... «Нет прогрессивной молодости и рутинной старости»,— сказал при последной встрече Валентин Вениаминович.

А за дверями на солнце стоит терпеливая очередь...

И все-таки наткнулся... Маленькая картина в скромной раме висела в углу, и утомленные однообразием зрители не сразу ее замечали. Ничего особенного — пейзаж. Северная речка, сестра Уждалицы, которая омывает Матёру. Плоский заливной луг до синего леса, облака улыбчиво морщатся в воде. Деревенский парнишка сидит на лошади. Лошадь пьет свое отражение. Обнаженное тело парнишки загорело до звонкой меди, среди луга, неба, воды, облаков оно теплится огоньком и мягко освещает все кругом. Нет, автор не открыл Америк, нет, он не ответил на вопрос — что есть истина? Он просто напомнил детство, и тихое счастье охватило Федора: стоит только захотеть, и будет солнце, обжигающее тело, и можно дышать пресными речными запахами и чувствовать под собой потную спину лошади, вместе с тобой бездумно радующейся привычному и вечно удивительному миру.

За плечом Федора остановился один зритель, облегченно вздохнул, другой, третий... Картину заметили, а Федор испытывал какое-то братское единение со всеми, кто стоял за его спиной...

Рослый человек вежливенько потеснил:

— Виноват, прошу прощения. — И вдруг обернулся: — Матёрин! Федя!

Иван Мыш, по-прежнему могучий, выпуклую грудь обтягивает накрахмаленная сорочка, несмело улыбается, преданно смотрит с высоты своего роста. Его физиономия утратила граненность, в нее словно чуть-чуть поднакачали воздуха, стала менее внушительной и более добродушной. Человека с таким лицом легко представить за семейным столом в окружении детей. Крупная ладонь неловко висела, готовая выброситься вперед при первом движении Федора. Настороженная рука, от ее вида, как

от взведенного курка, испытываешь томящую неловкость. Федор не выдержал, первый протянул ладонь.

И как только он протянул, на упругом лице Ивана Мыша появилось едва уловимое выражение превосходства.

— Ты видел мою картину? — спросил он.

— Пока нет.

— Да ты же прошел ее!.. Пойдем, пойдем, хочу слышать, что ты скажешь.

Мыш настойчиво потащил Федора обратно.

Красивая отполированная рама — светло-коричневый лак под орех. Разумеется, своими руками делал — золотые руки. «Товарищ Сталин на озере Рица». Группа людей, в празднично отутюженных костюмах, созерцает открыточный пейзаж — лесистые горы, синюю воду и синее небо. Среди них Сталин со вскинутой рукой.

«Растет парень, приспособился писать, как все...»

— Пейзажный фон — с натуры. Целый месяц торчал на Рице. Трое штанов о скалы истер.

— Что ж, штаны помогли.

— Тебе, конечно, не нравится?

— Нет, почему же...

— Скажи: чем не нравится?

— Думаю — ты совершил ошибку.

— Какую?

— Неудачно выбрал тему.

— Ну, ну, ты не слишком... Образ вождя — неудачная тема?

— Интересно, как ты понял мои слова?

— Не будем уточнять.

— Почему же, я именно хочу уточнить — ты не оригинален.

— Зато вы все оригиналы, где уж нам... Как у тебя дела?

— Наверно, поступлю на курсы кройки и шитья,— ответил Федор.

«Растет парень — пишет, как все. А может, все стали писать, как Иван Мыш?..»

Очередь продолжала стоять на солнцепеке.

Вече Чернышева в городе нет. Лева Православный потерялся из виду — где живет, неизвестно.

Федор стоял возле автоматной будки и подбрасывал на ладони монету.

Нужно с кем-то встретиться, сейчас, не откладывая. Люди на солнцепеке, ждущие свой черед, когда можно будет лицезреть картину Ивана Мыша, вывели из равновесия Федора. Для этих людей Федор собирается писать свои картины. Нужны ли будут они им? Скромный пейзаж, напоминающий детство, висит в углу, он в загоне, большинство проходит мимо, не замечая.

Один... и многолюдная очередь. Он считает себя правым, а право-то всегда большинство.

Федор подкидывал на руке монету, озирался кругом.

Кругом был привычный город. Солнце раскалило стены домов, камни мостовой, горячий воздух напоен бензиновым перегаром. Потные люди спешат по тротуарам, люди ныряют в подъезды, набиваются в троллейбусы, толкутся у распахнутых дверей магазинов. Город, как всегда, озабочен. Не замечал раньше, что его озабоченность — под стать людской суете, маленькая, однодневная. Кому-то надо купить туфли или тапочки. Кто-то спешит к кафе — успеть бы пообедать в обеденный перерыв, кто-то несется сломя голову к газетному киоску, чтоб взять газету, которую прочитает и забудет через минуту.

Газета, крупа, тапочки, сосиски в кафе — бурлит город в минутной суете. А где-то в засекреченные хранилища ложатся все новые и новые атомные и водородные бомбы, обжитая планета начиняется взрывчаткой. А в деревне Матёра остался один мужчина — отец Федора,— один мужчина, и тот старик. Остановитесь на минуту, подумайте о будущем, люди! Не о своем, об общем!

Из-за витринного стекла глядит портрет человека.

На одного себя тот человек взвалил все заботы. Он мудр, он велик.

Остановитесь, люди! Задумайтесь, люди! А разве они не думают? Федор такой, как все, не лучше и не хуже; если его беспокоит будущее, значит, оно беспокоит всех. Тапочки, крупа, минутная суета — как поверхность моря, прикрывающая не до конца разгаданную глубинную жизнь. Каждый прохожий по-своему ищет будущее.

Вече Чернышева́ нет в городе, адрес Левы Православного неизвестен; но есть адрес Левы Слободко. С ним Федор не встречался ни разу после института, старая дружба давно поросла лебедой.

Федор сунул монету в карман, скользнул взглядом по очереди, направился к метро.

14

Пахло пеленками и жареной рыбой.

Лева Слободко жил в двух маленьких компатушках — он их недавно получил в обмен на «две в разных районах». За стеной плакал полумесячный сын. Лева Слободко первый из ребят курса стал отцом.

Мастерская Левы была забита холстами, подрамниками, ящиками, рулонами бумаги. На стенах висели картины, одна другой крикливей. На длинном полотне по желтому фону — зеленые фигуры, похоже, женские, без голов и со змеиными отростками вместо ног.

И запах пеленок, запах жареной рыбы, теснота, пыль, разъедающие душу ядовитые цвета развешанных холстов. Федор подумал: «Черт возьми! Как он не сойдет с ума...»

А Лева Слободко со времени последней встречи даже чуточку располнел. Облаченный в старенькую пижаму, он возвышался среди хлама с потухшей трубкой в зубах, презрительно кривился, слушая Федора:

— Стадо скотов.

— Гений, возвысившийся над толпой, не изменился,— усмехнулся Федор.

— А ты по-прежнему щеголяешь в штанишках Вече Чернышева? Слышу из твоих уст его ангельский голосок. Да, я осуждаю! Людей? Нет. Это не люди! Это глупые караси-идеалисты. Рыбье племя. Им бросили дешевую приманку — молодые... Они стаей кинулись на нее, клюют... Я не ходил и не пойду смотреть на эту пачкотню. Молодые... Кто? Эти Иваны Мыши? Да они никогда не были молодыми, они еще в чреве матери были расчетливыми старичками. Для них искусство — средство наживы. Подличают, подлаживаются, продаются за тридцать сребреников, иуды искариотские.

Голос Левы Слободко заглушал плач ребенка, доносившийся из-за перегородки. И в этом сердитом голосе не слышалось ни усталости, ни сомнений — по-прежнему несгибаемая правота непризнанного, прежняя фанатичность вождя-одиночки.

— Обругал — и душа спокойна. Легкий ты человек,— позавидовал Федор.

— А что прикажешь — хвалить?

— Разрешить проклятый вопрос: что есть истина?

— Для меня нет этого вопроса. Я знаю свой путь. Ты видишь, как к нему иду... —Лева Слободко обвел чубуком трубки захламленную, тесную мастерскую. — У жены на завтрашний день не осталось ни копейки денег, не на что купить хлеба, молока мальчишке. Я не знаю, буду ли я завтра обедать. У меня пять тысяч рублей долгу. Я не жалею, что у меня нет приличных штанов, нет ботинок, но, если ты мне дашь рублей пятьдесят, я возьму их без стеснения. И на них я куплю не молоко, не штаны, а краски и холст. Ты видишь, какова моя дорожка в искусстве. Мог ли бы я шагать по ней, не зная цели? Я знаю! И таких, как я, появится скоро много! И в конце концов нынешние караси-идеалисты начнут понимать и уважать нас. Они вспомнят, что их деды и прадеды бросали гнилыми яблоками в великие творения импрессионистов. Очнутся! Придет срок! Залог этому то, что осмеянные в свое время полотна Ренуара, Клода Моне, Сезанна вызывают молитвенное настроение у нынешних карасей-идеалистов. Великий Ван-Гог при жизни был презираем, почему бы мне не разделить его участь?

Плакал ребенок, и Лева Слободко с разгоревшимся лицом, разрубая кулаком пыльный, пахнущий пеленками воздух, пророчествовал о своей великой миссии. И Федор в эту минуту даже готов был верить ему, завидовал его простой и бесхитростной убежденности — раз человечество признало Ренуара и Сезанна, оно непременно должно признать и его, Леву Слободко.

— Мы еще сойдем с мансард на землю. Нам еще будут посыпать путь цветами!..

— Ладно,— перебил его Федор. — Соловья баснями не кормят. Показывай, что ты готовишь для бессмертия.

Он ждал, что Лева Слободко царским жестом укажет на стены: «Смотри». Но Лева сказал значительно:

— Я тебе покажу две свои последние работы.

— Валяй.

Лева подошел к стене, повернул к свету широкий холст.

— Вот... — и отступил в сторону.

К удивлению Федора, на холсте были изображены не бесформенные абстрактные завихрения, а стилизованная домна с огненным ореолом вверху. Вокруг домны на коленях люди, у людей видны только пятки и туго обтянутые одеждой зады, голов нет.

— Называется «Огнепоклонники»,— возвестил Лева.

Люди, распростертые перед раскаленным, угрюмо-гневным Молохом, люди без голов, без туловищ, состоящие из пяток и тупых задов,—и автор в непростиранной пижаме, с сумрачным торжеством ждущий удивления, восторга или возмущения, непризнанный гений, свято верящий в свое высокое будущее.

Чернильно-лиловые тона, и небо над домной — зловеще красное, насыщенное губительным печным жаром.

— Ну? — напомнил Лева.

Что сказать? Сообщить, что угарно-красный колорит впечатляет, что от вида крупнозадой, безголовой толпы, распростертой ниц, невольно испытываешь какую-то опустошенность в мозгу, отупляющее равнодушие во всем теле. Сообщить это, порадовать его похвалой. «От похвалы вырастают крылья, распухают мускулы Геркулеса». Гений в непростиранной пижаме, он тоже человек, и ему нужна похвала, возрождающая за спиной крылья. Только куда он полетит с этими крыльями?..

Федор молчал, Лева Слободко ждал.

Домна в зареве, молящиеся на нее люди, люди без голов...

Где-то в глубине времен, на более молодой и дикой Земле, в темном мозгу животных вспыхнула искра разума, долго тлела, готовая заглохнуть, и не заглохла — разгорелась. И этот медленно разгорающийся пожар по векам и тысячелетиям оставил свои следы: каменный топор, бронзовая мотыга, колесо, водяная мельница, паровая машина, автомобиль, домна, самолет... Изменялась жизнь, появлялись новые осложнения, неизвестные животному, прозябавшему в глухих сумерках разума. Кто говорит, что эти негаданные осложнения переносить легко и просто, что за них не приходится платить расстроенными нервами и кровью? Но автомобиль, домна, самолет — несчастье? Лева ждет ответа, от похвалы вырастают крылья, в какую сторону он хочет махнуть ими? Вспять, в утробу матери?

Лева Слободко ждал, и Федор произнес:

— Куда зовешь, пророк?

— Я не пророк, а художник,— холодно возразил Лева.

— А разве художнику чужд дар пророчества?

— Противопоказан!

— Между тем ты пытаешься пророчествовать.

— Нет, хочу ущипнуть, чтобы проснулись.

— Ты мне напоминаешь пьяного, который идет по улице, плачет, кричит с надрывом: «Дураки!» А по какой причине дураки, откуда это видно — самому неизвестно. Право, такое поведение со стороны выглядит не очень-то умно.

Лева потемнел лицом, сердито повернул холст к стене.

— Ты хочешь,— произнес он в сторону,— чтоб я указал готовые рецепты, как изменить мир. Не много ли?.. Достоевский или другой любой, на твой выбор, художник-гигант рецептов не дали.

— Но Достоевский указывал — и довольно точно,— что дурно в человеке. В самом человеке, а не во всем человечестве — разница. А ты ведь против человечества вообще, словно сам к какому-то сверхидеальному племени принадлежишь. Тогда уж ответь, что совершенней, что выше человечества, на кого мне, бедному зрителю, равняться? Вырезай язвы, но не уничтожай всего организма.

— Ладно, вы с Чернышевым были и останетесь для меня жителями другой планеты. Не поймем.

— Видимо, не поймем. Показывай вторую работу.

— А что толку? Чтоб лишний раз по скудости облаял?

— Показывай.

— Изволь, не убудет. Только свои высказывания держи при себе.

Лева повернул вторую картину, приставил ее к стене, сам сердито отвернулся, начал набивать трубку.

Вторая картина — маленький холст, сияющий нежными полутонами. На фоне ясного, чуть тронутого утренним золотом неба — огромные, как горы, как два пухлых гигантских холма, обнаженные женские груди, соски вызывающе торчат в поднебесье. А между грудями грубым крабом угнездился отливающий металлом пулемет. Он угрожающе направлен в лоб Федора.

— А эта как называется? — спросил Федор.

— Не все ли тебе равно? Ну, хотя бы — «Завоеванные высоты»,— ответил Лева в сторону.

— Гм...

Не тронь, я это завоевал, мои высоты, позаришься — пуля в лоб! Женские груди, только груди — не женщина. Горы похоти, моя собственность, не смей сунуться! Завоеванные высоты... Откуда у Левы Слободко, креп-

кого парня, неплохого товарища, добряка по натуре, такое презрение к роду человеческому? В жизни Федор не замечал у него презрения, и самого Леву никто не презирал особо, мстить не за что и некому. Откуда?

Федор честно не высказал своего мнения, стал прощаться.

— Слушай,— пряча глаза, с усилием произнес Лева. — Ты, кажется, при деньгах, одолжи рублей пятьдесят.

Федор без слов вынул деньги.

Плакал, не унимаясь, ребенок за стеной. Эти деньги не пойдут ему на молоко, на них будут куплены краски...

А кожа женских грудей написана хлестко — душистая прозрачная голубая кровь гуляет в мягкой плоти. И раннее солнце ласкает эту кожу. Все-таки способен, сукин сын...

Федор шел к метро прокаленными тихими улочками. Они были пусты, только редкие прохожие спешили убраться от зноя.

Иван Мыш своими работами враждебен Федору, враждебен он и Леве Слободко. Лева Слободко — Ивану Мышу и Федору в равной степени. Федор, должно быть, враждебен им двоим.

К чьим работам в будущем выстроится очередь? И скоро ли она отвернется от картин Ивана Мыша?

15

Возле каждого художника, высок он или зауряден, всегда должны находиться рядом полпреды от племени зрителей, те, кому показываются работы, те, чьи замечания выслушиваются, и те — а это самое главное,— кто верит. Ходят легенды о художниках-отшельниках, непризнанных гениях, которые создавали свои шедевры в полном одиночестве. Непризнанные гении были, но абсолютных отшельников при искусстве не существовало. Непризнанным был Ван-Гог, не признанным обществом, но не близкими. Его брат Тео и такой же отверженный Гоген, еще десяток других были для Ван-Гога полпредами от грядущих зрителей. Наверно, то же самое можно сказать и об отшельнике Сезанне. Признание полпредов достаточно, чтобы фанатическая вера в себя не угасла.

Самым одиноким из всех, кого знал Федор, был Савва Ильич. Но даже у него были свои зрители, которые не обходили похвалой: «Ну, право, как взаправдашнее. Истово, как на самом деле...»

В пустоте гибнет любая страсть. В институте были все авторами и все зрителями. И если все переставали замечать твои работы — опускались руки, если восторгались — вырастали крылья.

Сейчас у Федора был всего один зритель, один, зато верный и преданный,— Оля. Более шести лет тому назад она увидела, как на пожелтевшем листе бумаги появилось ее собственное изображение — губы, сдерживающие рвущийся наружу смешок, лучащиеся из-под ресниц глаза. И уже тогда поразило... А потом новая встреча и новое чудо — гаснущие лужи на дороге вновь вспыхнули на куске картона. Счастливая минута, которая должна бы исчезнуть без возврата, вернулась и осталась навечно. А сколько еще чудес впереди и как интересно их ждать!

Вече Чернышев сказал: «От похвалы вырастают крылья, распухают мускулы Геркулеса». Федор даже не догадывался, что Оля подхлестывает его, за мольбертом забывал ее, как забывают о воздухе, которым дышат.

Пришло письмо из Одессы, от Олиной тетки. Тетка давно звала племянницу к себе, Оля давно обещала приехать. А если ехать, то сейчас — через двадцать дней у Оли начнутся занятия в институте. Ольга Дмитриевна сказала дочери — поезжай. Федор проводил Олю на вокзал...

Он вернулся в пустой дом. Ольга Дмитриевна была на работе. На стене сиял свежими красками этюд, который он закончил сегодня утром,— поле с дорогой, как всегда, в сумеречных тонах. Оля про него сказала, что он «дымит».

У порога стояли Олины босоножки-танкетки. Казалось, что они еще хранят тепло ее ног. И Федор подумал — эти босоножки будут стоять без движения полмесяца.

Он подошел к стене и оторвал листок календаря — все на один день меньше.

Решил вскипятить себе чай. В кухне на гвоздике висел фартучек Оли, она надевала его каждый раз, когда вози-

лась у плиты,— тонкая, гибкая, с ловкими руками, светлые короткие волосы падают на щеки.

— Федор, идите пить чай.

И даже вздрогнул — так отчетливо представил ее голос.

Не дотронулся до чайника, вернулся в мастерскую. Этюд дороги... Он и верно дымит, истекает парной влагой...

Она сидела вот в этом кресле...

Потом она взяла в руки книгу. Книга здесь — открыта на той странице, на которой отложила ее Оля.

Оли нет, а дом заполнен ею. Никогда не чувствовал ее так близко, когда была рядом.

И Федор решился на эксперимент. Он еще не прибегал к нему по доброй воле. Он стал вспоминать...

Узкая красная юбка, стреноживающая крепкие ноги, стук каблуков, замирающий где-то у верхних этажей, вспомнил двор, глядящий освещенными окнами, бледную звезду над крышей, голос скрипки и голос из репродуктора... Он вспоминал и смотрел на босоножки у порога, и его снова тянуло к календарю оторвать листок.

Он помнил московскую Нефертити, как звезду, как скрипку, как смех детей. И поднятый из разворошенной памяти стук каблуков уже не вызывал в нем знакомого тоскливого одиночества, тревожного бессилия...

Одиночество он испытывал при виде неостывших босоножек, забывчиво брошенных у самого порога.

«Вот так так! — удивился он. — Не действует».

Федор сел в кресло, где утром сидела Оля.

«Вот так так... Что ж ты, брат,— сам от себя тайком?»

Он кривил душой: тайком — нет. Она ему понравилась уже в ту минуту, когда бежала на звонок к калитке: загорелые колени играют подолом сарафана, легкие ноги едва касаются травы...

Это ее глаза, распахнутые на закат, заставили снять с плеча этюдник и... остановись, мгновенье!

Уже после первой встречи спешил к ней, постарался побыстрей расстаться с Верой Гавриловной.

Каждое утро, возвращаясь с этюдов, радовался — увидит, сядет напротив нее за чайным столом...

Она была рядом. Они чопорно называли друг друга на «вы». Он в мыслях не заглядывал вперед, оскорбился

бы, если б кто ему намекнул, куда тянется прямая от их встречи. Рядом,— значит, все в порядке.

И был слишком занят собой. Ответственнейший момент в жизни — быть или не быть, остаться в неудачниках или вознестись! Она рядом, можно подумать и о себе.

Сейчас оглушен открытием: «Вот так так...»

Босоножки брошены у порога не навечно. Каких-нибудь пятнадцать дней, всего пятнадцать, и он услышит, как стучат эти босоножки по истертым каменным ступенькам крыльца.

«Вот так так...»

Для того чтобы оторвать еще один листок календаря, нужно проспать ночь, прожить утро, длинный день, только вечером можно протянуть руку. Один листок оторван, осталось четырнадцать...

Вечером с работы пришла Ольга Дмитриевна, стянула с волос косынку, сказала непривычно ласково:

— Давайте, Феденька, пить чай...

И они пили, беседовали. Федор возмущался выставкой, она говорила о том, как у больного во время операции остановилось дыхание. Ее не интересовали проблемы изобразительного искусства, Федор ничего не понимал в трахеотомии, но вдвоем было уютно, тянулись друг к другу.

Утром Федор начал писать эскиз — черновой набросок будущей картины. Этюды глядели на него со стены. Каждый этюд — открытая и заученная строчка, из строчек складываются поэмы. Черновой набросок... Пепельно освещенное небо, по колено в нем шагают солдатские ноги. Эскиз он выдал залпом, вечером протянул руку к календарю, оторвал листок, вот и нет дня.

Босоножки на прежнем месте ждали хозяйку.

16

Он трижды переписывал эскиз, пока тот на засветился внутренним пепельным светом. Военный поход, ноги, заплетающиеся от усталости, и извечно покойный утренний свет — об этом и должна петь скрипка в руках пленного солдата.

Ушла неделя — семь листков календаря.

На ремонте дороги, неподалеку от поселка, работало воинское подразделение. Шел дождь, дул порывистый ветер, солдаты были одеты в шинели — осень пришла раньше обычного. Федор несколько часов простоял в стороне, ловил движения, ракурсы фигур, складки шинелей. Даже складки... В одежде человека, не стоящего манекеном, а живущего, есть особая поэзия, старые мастера знали это, пользовались этим. В самые первые часы начинающему художнику преподносят — избегай мелких подробностей, обобщай их, боже упаси, не увлекайся складками. Но для того чтобы обобщать, нужно знать. Грубые складки серого сукна, в них,— простота характеров, тяжелая прямолинейность солдатской судьбы, суровый быт, где постоянным жильем является шинель — крыша и стены, печь и постель. В таких случаях складки одежды говорят о жизни не меньше, чем ископаемая архитектура о культуре погибших народов.

Молодой лейтенант, из тех, кто пришел в армию уже после войны, подошел к Федору с требовательно-каменным лицом:

— Что вы тут записываете?

— Ничего. Рисую.

— Ваши документы!

— Пожалуйста.

Лейтенант повертел в руках паспорт, вгляделся в справку от Союза художников — единственное, чем тот наградил Федора, не допустив пока в свои ряды,— внимательно перебрал все рисунки, со вздохом протянул обратно. Лейтенанту очень хотелось поймать шпиона, но документы в порядке — под шпиона не подходит.

А из календаря на стене вечером сорван новый листок.

В старом доме, где поколение сменялось поколением, на чердаке скопилось много хлама. Среди него Федор нашел старую скрипку, без струн, без смычка. Она его вполне устраивала — на картине может играть и скрипка без струн. Протер ее маслом, темный лак заиграл на свету...

Но одного инструмента мало, нужны подходящие руки, которые бы играли на нем.

В дом, где жили две женщины, издавна наведывался старик, истопник поликлиники Антон Иванович. Он брал-

ся за все работы: падает изгородь — поставит новый столб, протекает крыша — кряхтя, лезет наверх, латает рубероидом, осела дверь — подтесывает, подгоняет, оставляет после себя кучу мусора. В последнее время Федор сам подпирал изгородь, латал крышу, но старик по привычке наведывался.

— Как живете-можете?

Не спеша снимал кепочку, заправлял на макушке остатки волос сведенными негнущимися пальцами, нос дряблой репкой торчит из продубленных морщин, маленькие глазки смотрят лукаво и доброжелательно. В Федоре он уважал мастера, способного сделать то, чего он, старик, не может.

Подолгу разглядывал этюды, вздыхал:

— Да-а, дело тонкое... Ишь ты.

— Послужи искусству,— попросил его Федор.

— Отчего не послужить. Я всю жизнь служу. Можно и искусству.

В его руки и вручил Федор скрипку, руки темные, с въевшейся угольной пылью, раздавленные лопатой, руки с железными негнущимися пальцами, которыми старик мог починить даже дамские часики.

За два сеанса Федор написал портрет с упором па руки и на скрипку. Старик был доволен:

— Я — вылитый. Ишь, Ванек взял не свой горшок. Со скрипочкой...

Доволен был и Федор, они вместе распили бутылку.

Федор много слышал в Матёре о тех, кто подался в город, бросил землю. Отец о таких говорил только с глухой враждой. И вот сейчас с Федором сидел один из беглецов — смоленский мужичок, из такой же, как Матёра, деревни Волок. Тоскует ли он по земле? Должен тосковать, должен помнить и медовый запах клеверных полей, и золотисто-жидкую дымку над цветущей рожью...

Нет, Антон Иванович не тосковал.

— Человек на чем стоит? На́ ногах. А нога, брат, шаткости не терпит, ей дай опору. Без опоры ноги мешают, тут уж крылья расти. Вот и я крылышки выпростал, птицей стал. И сыновья все повылетели. В деревне-то, считай, ныне и нет нашего корня.

— А здесь у тебя опора крепкая?

— Крепкая не крепкая, а нашел местечко ногу поставить. Что моя нога — сыновья встают на обои. Мы вот еще домишко огорюем, не избу с полатями,— сами мастера.

И уловил во взгляде Федора осуждение, залучился морщинками у глаз:

— Ты и сам того — крылышками махнул. С кисточки-то, поди, каша погуще, чем с плуга. Кисточка тонка, но тоже костылек для ног. Главное — оп-по-ра!

Федор промолчал. Еще неизвестно, насколько прочная опора, которую он выбрал. Неизвестно, получится ли картина, неизвестно, примут ли ее на выставку, неизвестно, признают ли, будут ли платить на кашу,— ничего не известно, висит в воздухе. И это может длиться всю жизнь, и не бросишься ради густой каши искать нешаткое место — отравлен.

До намеченного числа в календаре оставалось три листка, Федор водрузил на мольберт заветный холст.

Привычное ощущение нетронутой поверхности — картина-мечта, вызубренная наизусть, как таблица умножения. Она вместит в себя десятки этюдов, сотни набросков...

Кусок угля провел первую линию — итак, начато.

Три дня до приезда Оли. За эти три дня он сделает рисунок углем, успеет пройтись жидкой краской, закрепит... Федор не любил скрупулезно разработанного рисунка под живопись — он сковывает, кисть должна свободно жить, ей нужны лишь отправные точки, а не жесткая схема. Трех дней хватит.

Оля давно мечтала увидеть начатую картину. Так вот она — начата!

Сумерки. Федор отложил кисть в сторону. В полутемной комнате белел просторный холст, на нем проступают застывшие фигуры, ноги, косые полосы, рваные штрихи... В привычной комнате, среди примелькавшихся вещей — что-то чужое, странное, словно видение из жизни другой планеты. Две фигуры на переднем плане, ноги вверху, погруженные в небо... Пока все условно, еще изменятся фигуры, наверняка иначе станут шагать ноги...

Рука протянулась к календарю. Последний листок! Завтра!

Он так много думал о ней, что она стала представляться какой-то особой, не похожей на других — небожительницей. Почему-то казалось, что на вокзале среди толпы она будет светиться, все кругом, пораженные, станут оглядываться.

А он даже не сразу разглядел ее у вагона. В легкой косынке, в наглухо застегнутом пальто, кажется ниже ростом, до обидного простоватая, люди равнодушно не замечают ее. Но она повернулась в его сторону, еще не видя его, и он разглядел ее лицо, милое, озабоченное, чуть-чуть забытое, чуть-чуть непохожее на то, какое представлял,— обдало жаром, расталкивая народ, бросился:

— Оля!

И она вздрогнула, стала очень серьезной и строгой.

— Федя... — Почему-то удивленно сказала: — Вот вы какой!

А всего-то прошло пятнадцать дней, всего пятнадцать! И приехала от тетки из Одессы, не с фронта.

Но все сразу стало необычным. Необычно шумен вокзал, необычно криклива и радостна толпа — смеются, обнимаются, целуются, плачут от счастья, дарят цветы. И пришла в голову мысль: удивительное место — вокзальный перрон, на нем с каждым приходящим поездом — людской праздник. Великое счастье встретить близкого!

Оля охнула, войдя в столовую:

— Начал!

Он этого-то и ждал, к этому-то много дней и готовился.

У порога лежали босоножки. Оля тут же надела их, раздался знакомый стук по комнатам.

Федор по привычке протянул руку к календарю и опустил — пусть висит. Нет нужды торопить время.

17

Утром пили чай у начатой картины. Оля еще не могла прийти в себя. С Ольги Дмитриевны сошло праздничное настроение — на лице привычное спокойно-суровое выражение, она уже мысленно была на работе. Темный облегающий костюм, глухая белая блузка до подбородка, застегнута каждая пуговица — так одеваются педантичные старые девы или женщины-службисты, заменившие наряды раз и навсегда принятой формой.

Оля радовалась, что Федор много сделал. Ольга Дмитриевна прервала ее:

— Ему бы следовало сделать небольшие каникулы. Говорю как врач.

— Он и правда плохо выглядит,— упавшим голосом согласилась Оля.

— Бросьте на время и отдохните.

— Не могу,— ответил Федор.

— Почему?

— Буду сходить с ума.

Ольга Дмитриевна осуждающе покачала головой:

— Сколько энергии, сколько сил растрачивается людьми и...

— И?.. — насторожилась Оля.

— И для чего?

— Но разве это не важно, не нужно? — возмутилась Оля.

— Сейчас? В наши дни?.. Сомневаюсь. Если б это упорство направить на другое...

— Например, пахать землю,— подсказал Федор. — Это мне уже говорил мой отец.

— Он, наверно, не так уж далек от истины...

— Мама! Свою-то работу ты не считаешь бесполезной?

— Моя работа... Нас много, но нас не хватает, мы выбиваемся из сил, лечим, лечим, а болезней не убывает. Вот бы куда бросить силы! Мне порой кажется, что вот уж без малого тридцать лет я отчаянно сражаюсь с гидрой, срезаю ей головы, а они растут. А почему? Да потому, что люди нередко живут еще по пяти человек в комнатушках на шести квадратных метрах. Отсюда — грязь, анемия, неврастения, пьянство, травмы при драках. Жизненно необходимого нет. А полные сил, с избыточной энергией члены общества, получившие высшее образование, или совсем не производят никаких ценностей, или, простите, вроде вас производят ценности эфемерные. Ваш отец говорит — пахать землю?.. Нет, быть агрономом — инженером, техником, ученым-экспериментатором! Великий отряд интеллигенции, творящей то, что практически нужно сейчас, сегодня. Вот тогда-то придет быстрее тот день, когда, как хлеб, как воздух, понадобятся ваши картины. А пока... Пока рано... Вы создаете самолет, когда еще не изобретен ткацкий станок. Берегитесь! Время мстит торопливым.

Ольга Дмитриевна отодвинула от себя пустую чашку, собиралась уже подняться из-за стола. Но Федор переспросил:

— Великий отряд, служащий народу?

— Да, служащий, да, сгорающий для него, да, отряд образованных людей, понимающий насущные задачи и решающий их.

— Как он велик, этот отряд?

— Чем больше, тем лучше.

— А все-таки — максимально? На двести миллионов населения — сколько вы прикидываете?

— Десять миллионов, двадцать... Не знаю.

— Значит, один человек будет понимать задачи, решать их, а десять или двадцать — не понимать?

— Их дело — заставить других в конце концов понять.

— Ага, понять! Тогда почему вы отвергаете искусство? Язык искусства — что может быть впечатлительней, ярче, действенней? Самые логические, самые умные, но отвлеченные высказывания не смогут идти в сравнение по силе воздействия. Вы отсылаете искусство в прекрасное будущее, а оно, пожалуй, нужней нам сегодня.

— Ну как, мама? — спросила Оля, с ласковой ехидцей заглядывая ей в глаза.

Ольга Дмитриевна помолчала.

— Заставить понять... — повторила она. — Заставить... можно только через что-то материальное. В моем отделении нянечка ворует обеды у больных, я ее пробовала воспитывать. А она получает такую мизерную зарплату, так изворачивается, чтобы свести концы с концами, что не так-то легко ее воспитывать — сам воспитатель поставлен в сомнительное положение. Прежде чем воспитывать, все-таки надо накормить человека, одеть, обуть, поместить в приличное жилье. А ваше искусство этого не дает. Невольно вспомнишь пословицу: «Сухая ложка рот дерет».

— Вы хотели перевоспитать нянечку, одну нянечку в отрыве от всех. Если весь род людской воспитывать от нянечки к нянечке, поодиночке, в розницу — вряд ли будет польза.

— Все-таки дайте сначала всем хлеб с маслом, потом воспитывайте.

— Но чтоб добыть этот хлеб и масло, чтоб правильно их распределить, нужно определенное сознание. Все-таки

придется начинать с изменения человека. Простите, но такие подвижники вроде вас, пытающиеся заманить народ в прекрасное будущее куском хлеба, густо намазанным маслом,— утописты. Они походят на невежественного врача, который собирается вылечить оспу, делая припарки к наружным болячкам.

Ольга Дмитриевна сидела, опустив руки на колени.

— Припарки к болячкам? — повторила она. — Припарки?.. Вы подумали, что сказали?.. Припарки... Это ужасно.

— Мама, он не хотел тебя обидеть!

— Нет, нет, я не обижаюсь. Ну, мне надо идти. — Она с усилием поднялась со стула, провела рукой по волосам. — Да-а...

Дверь тихо закрылась за ней. Федор мучительно сморщился:

— Я — кретин! Дернуло меня за язык!

— Но ведь ты не хотел ее обидеть?

— Все равно — припарки... Она тридцать лет работает, не жалея себя. Удар ниже пояса... Черт знает что.

— Федя, ты же прав!

Но Федор морщился. И Оля легко тронула его за плечо:

— Федя...

— Да.

— Я ведь тоже стану хирургом...

— Я же не говорю, что мир должен обходиться только одними воспитателями от искусства.

— Я буду хирургом, но я не утону в больничной палате! Я что-то буду делать помимо этого. Что? Еще не знаю. Я и раньше думала, что стану излечивать больных, спасать их от смерти, стану к ним так внимательна, как не может быть мать,— кровь, силы, здоровье — все отдам. Но я после этого потребую от каждого за спасение, да, потребую — сделай хоть одно такое же доброе дело кому-то, какое я тебе сделала. Я смогу быть такой, Федя? Как ты думаешь, смогу? Распространять инфекцию доброты, Федя!

У нее сияли глаза, горели щеки, вся она подобралась от счастья, от радостного ожидания того невероятного, красивого будущего, которое ее ожидает, заглядывала требовательно в зрачки:

— Скажи — смогу?

— Сможешь.

— Знаешь что — не работай сегодня, пойдем гулять. В лес! К реке! Подальше! Будем весь день вместе, будем говорить... о том, как возвысить мир! Мир, не меньше! Рядом с тобой мне всегда приходят невероятные мысли. Пошли бродить, Федя!

— Пошли,— он повернулся спиной к картине.

А на крыльце у дверей стояла Ольга Дмитриевна, смотрела вдаль, куда-то поверх дачных крыш.

— Ты что, мама? — спросила Оля испуганно.

— Ничего,— ответила Ольга Дмитриевна. — Мне почему-то сегодня очень не хочется идти на работу. Очень... Может, подать на пенсию? — Оборвала себя сердито: — Глупости!

Спустилась с крыльца, зашагала к калитке. Походка медлительная, деревянная, походка человека, заведенного раз и навсегда на определенную деятельность. Завод не скоро кончится — не один год придется шагать от крыльца к калитке, от калитки к поликлинике.

18

Шла затяжная осень. Старый дом жил трудовой жизнью. Оля каждый день вставала в семь утра, ехала в Москву, в институт, возвращалась уже вечером. Ольга Дмитриевна, как всегда, была занята в поликлинике. Федору приходилось отрываться от картины, топить печи, даже готовить обед. Но картина продвигалась.

Когда наступили первые сумерки,— а они теперь наступали очень рано,— казалось, что с широкого холста на пол комнаты льется холодный серебристо-серый свет,— Федор превзошел самого себя.

Шла осень, дубы у крыльца шевелили расквашенной ржавой листвой, мелкий дождь мочил унылый сад под окнами, сами окна слезились. Федор никуда не выходил, никуда не выезжал, жил добровольным затворником. И не было счастливее времени в его жизни, чем эти дни.

С таким покойным рабочим счастьем он встретил первый снег. Картина обрастала деталями, маячил конец.

По-прежнему с холста истекал незамутненный утренний свет...

Счастье исчезало постепенно. Чем законченней становилась картина, чем меньше оставалось работы, тем неуверенней чувствовал себя Федор.

Он превзошел себя: никто из знакомых ему молодых художников еще не заполнял холст таким вещественно ощутимым влажным воздухом, никто не передавал такого рассеянно-мягкого света, который размывал тени, скрадывал резкие грани, окутывал фигуры на переднем плане. Как живописец, Федор на большее не способен: каждый вершок холста — драгоценность, ни одного случайного мазка.

Но чем дальше, тем очевидней — скрипка не поет, и заставить петь ее нельзя. Того оглушающего чувства, которое в свое время пережил Федор, нет. В воздухе, пронизанном рассеянным светом, как в аквариуме, плавают две человеческие фигуры, по верхнему краю шагают ноги — и только.

Свет, воздух, объемные фигуры — бессмысленные удачи. Мастерство есть, но это мастерство краснобая — красиво говорить ни о чем. А Федор превзошел самого себя, на большее не способен.

И все-таки он работал, но чем ближе к концу, тем сильней понимал — идет по ложному пути.

Стекает с холста в сумеречную комнату серебристый свет. Надеялся — этот свет заставит петь скрипку. Свет живой, ощутимый, а скрипка мертва.

Каторжный труд, время, отведенное на подвиг. Да и деньги уже на исходе, не станет же он жить за счет Ольги Дмитриевны. Но самое страшное — *как исправить?* — он не знает.

Провал! Крушение! Катастрофа!

А Оле нравилось:

— До чего верно! До чего удивительно!

И впервые ее восторги стали вызывать раздражение. Может быть, она виновата во всем, может быть, ее умиление и убило в нем недоверчивость к себе? Расплата за спокойное творческое счастье.

Шли дни, и каждый день нужно вставать к ненавистной картине. Обязан работать, иначе не имеешь права жить. А работа бессмысленна, никому не нужна.

Уже лежал глубокий снег за окном, уже до Нового года оставались считанные дни. А к Новому году рассчитывал окончить картину, восторжествовать. Новый, 1953 год должен бы для него стать началом новой жизни, заполненной победами.

Стоит широкий холст посреди комнаты, дразнит мастерски выписанными тенями и полутенями, воздухом, пронизанным светом.

Надо притащить к картине знающего человека, услышать совет, гневную отповедь, пусть злые ругательства — все помощь. Он больше не может питаться искренними восторгами Оли, свято верующей в его гений.

Снег за окном напомнил, что в Москву давно уже возвратился Вече Чернышев.

Утром, как всегда, Оля собиралась в институт. Федор протянул клочок бумаги с номерами телефонов:

— Разыщи Вячеслава Чернышева. Очень нужно.

— Конечно, а что сказать?

— Скажи — горю!

— Как — горишь?

— Ясным пламенем.

— Ты какой-то странный в последнее время.

— Оленька, погибаю! Найди мне Вячеслава.

Оля тревожно вгляделась в него своими прозрачными глазами, ответила:

— Найду и приведу.

Верный Вече явился под вечер вместе с Олей. Легкое пальто с поднятым воротником, пестрый шарф, мягкая шляпа, на разрумяненном морозом лице знакомое фатоватое довольство собой. Ехал-то с Олей и уж конечно не без того — распускал перья, верно, рта не закрывал всю дорогу. С порога полез обниматься:

— Жив курилка! Здравствуй, старый сыч. Наконец-то подал голос.

— Здравствуй. Пошли...

— Куда?

— К моей работе.

— Эге! Вот так встреча! Ты сегодня что-то слишком серьезен... Дай хоть пальто снять. — Мимоходом ловко раскланялся с вышедшей из своей комнаты Ольгой Дмитриевной.

Федор утащил его в столовую, закрыл дверь, повернул картину к свету.

Вячеслав посерьезнел, потер ладонью не отошедшую с мороза щеку, воскликнул:

— Черт возьми! Как ты эту пепельную гамму хватил! Шлифовочка!

Федор взял его за плечи, толкнул к стулу:

— Сядь, вглядись и не спеши стрелять комплиментами. Я не девица.

Вячеслав покорно опустился на стул, глядел долго, тер щеку, думал. Мало-помалу на лице появилась недоуменность.

— Не пойму, почему у тебя такая угрюмая рожа? Мне нравится. Честно.

— Вече, случай особенный — мне сейчас нужна не похвала, а ругань, чем злее, тем лучше.

— Мне нравится. По-моему — прелестная вещица.

— Прелестная? — вскипел Федор. — Вече, мне впервые в жизни хочется смазать по твоей гнусной физиономии.

И Вячеслав озлился:

— Ты, видно, метишь в гении. Гениям я не советчик, пас... Мне нравится. Я был бы доволен, если б написал такую картину.

— Все?

— Все.

— Тогда пошли пить чай.

— Успеешь. Я еще полюбуюсь... Ах, черт! Каково — воздух хоть пригоршнями черпай. Только... зачем этот скрипач на переднем плане? Без него лучше. Ноги в походе и уставший солдатик у обочины. Скупее. Скрипач — экстравагантность, надуманность.

— Пошли пить чай.

— Мой друг, мой нежный друг, у тебя появился сволочной характер.

Федор провожал его до станции. Вече воодушевленно посвящал в свои планы:

— Смейся, упрекай, но меня потянуло на эпическое. Задумал триптих о девятьсот пятом годе. Так сказать, роман в трех частях. Часть первая — «Варшавянка». Демонстрация в городе...

Федор молчал всю дорогу. Ему не нравился Вячеслав, его благодушная болтовня, его несокрушимое довольство собой. И Федор вспоминал последнюю картину Вячеслава, которую хвалил, за которую с чистой совестью распил бутылку коньяку. Двое несчастных влюбленных — тысячу раз перепетая, ставшая ширпотребовской тема. Как он этого тогда не понял? Информирован о биографиях людей, но до чего эти биографии мелки и обыденны. Обыватель со слезой умилится — трудно бедняжкам.

Федор шел и молчал.

19

Глупо рассчитывать на советчиков, когда сам бессилен. «От похвалы вырастают крылья, распухают мускулы Геркулеса...» Похвала Вячеслава совсем убила: «Прелестная вещица... Нужно выкинуть скрипача...» Выкинуть скрипача — останется один лишь утренний свет. Знатоки, наверное, будут восхищаться мастерством: «Как передан воздух — черпай пригоршнями...»

Ведь была же та минута... Была скрипка среди похода... Солдат в шинели врага... И боль не за себя... И благодарность до слез... И потрясающее открытие: на свете не только кровь, трупы, пожарища...

Вместо этого умиление — серебристая гамма, тонко передан воздух!

Перепевать пропетые уже многими серебристые гаммы, вызывать сладенькое умиление, получать за это, как сказал старик Антон Иванович, «густую кашу с кисточки»... Нет! Лучше выходить поутру к конюшне, поить лошадей из обледенелой колоды, смотреть, как капает вода с лошадиных губ. Лучше прожить простую и честную жизнь, все больше пользы — без обмана.

Оля верит, наивная девочка. Ты не тот, кто властвует над людьми, ты заурядность, кому ты интересен? Рано или поздно Оля поймет, расстанется без жалости.

Текло время, шли дни за днями, ничего не случилось — не заболел, не стал хуже, не произошло войны, землетрясения, казалось бы — нет причин для несчастья. Шли ровные дни... Что же, собственно, произошло? Катастрофа, все ломается, вся жизнь навыворот. Несчастье, больше его — только смерть.

Федор прежде работал над картиной весь день, от сумерек до сумерек, и дня не хватало — мог бы работать и круглые сутки, все для того, чтоб прохожий с улицы взглянул на его картину, стал его пленником. Теперь в это не верит. Серебристая гамма, верно переданный пепельный свет, где уж... И все-таки Федор по утрам заставлял себя вставать к мольберту. Не из упрямства — безделье в таком настроении страшно.

Но однажды, оставшись один, он, вместо того чтобы взяться за палитру, натянул пальто, закрыл дверь на замок, вышел на улицу.

Хватит месить попусту краску, надо на что-то решиться. Скоро кончатся деньги, придется их зарабатывать, для этого удобнее жить в Москве, надо переезжать. Опять комнатушка в квартире какой-нибудь Веры Гавриловны, опять беготня по заказчикам — жизнь без цели, жизнь для того, чтобы прожить. А может, и на самом деле выкинуть скрипача, получится «прелестная вещица» с солдатиками в серой гамме. Вдруг да ее примут на выставку, у него появится имя, с именем — заказы на картины, с солдатиками и без оных. Можно будет даже соглашаться на «Колхозную свадьбу».

Стоял зимний, удивительно мягкий день. А до сих пор днями Федор всегда был занят, удавалось выползать на улицу только по вечерам, с темнотой. И сейчас будничный заснеженный поселок был для него каким-то откровением. Горе у тебя, но запушенные инеем деревья красивы. Ты неудачник, но как покоен нетронутый снег на обочине дороги. У тебя ломается жизнь, но мир-то от этого не пострадает — люди будут спешить на электрички, дети — смеяться, дома — выпускать теплые дымки над заснеженными крышами. Все живут без хитростей, без расчетов на высокие подвиги, почему бы и тебе не жить как все.

Карапуз в вязаной шапочке и толстой шубке, натужно присев, привязывал лыжу к валенку. Над ним стоял мужчина, должно быть дед, но из ранних, не старый. Карапуз сопя возился с лыжей, дед смотрел сверху. Федор вдруг увидел руки, висящие над малышом. Крупные натруженные руки, пальцы вздрагивали и пошевеливались — в этих руках было такое желание помочь мальчугану, так они выражали доброту и тихое счастье лю-

бящего человека, что Федор остановился, глупо уставился. Мужчина с удивлением взглянул на него.

Федор бродил по заснеженному поселку, не спешил домой.

Эти добрые, переживающие руки не выходили из головы.

Федор вспомнил, что тяжелые солдатские руки висели над головой румына, тоже добрые и переживающие...

Он постепенно начал понимать, почему неудачна картина. Скрипач слишком плохо связан с миром, он не центр вселенной, он лишь частица ее. Ноги шагают мимо скрипача, свет разливается сам по себе, один молодой солдат с увлечением слушает, только он обратил внимание на румына. Картина без центра, без духовного центра — просто пейзаж со скрипачом, с маленькой сценкой на переднем плане. Кажется, начинает понимать...

Дома он разглядывал свою картину уже без отчаянья, без отвращения, с любопытством, изучающе...

Надо ломать, надо начинать все заново. Это намного легче, чем ломать всю жизнь.

Заново?.. Но картина держит его в плену. Пока она существует, трудно идти по новой дороге, все время будет тянуть что-то спасти, что-то использовать. Если двигаться вперед, то надо сжечь мосты к отступлению.

Оля, вернувшаяся домой из института, застала Федора за мольбертом. Он снимал мастихином краску. Пепельная гамма, излучающая мягкий свет, превращалась в грязный с разводами и царапинами холст.

Оля вскрикнула:

— Что ты делаешь?

...Последние дни Федор жил в каком-то непонятном угаре. Сейчас уничтожает работу, над которой каторжно трудился несколько месяцев. Уничтожает свою картину, а она была смыслом его существования.

Федор обернулся к ней, лицо было покойным, каким-то выглаженным:

— Вот... К чертям эту ерунду.

— Федя, что с тобой?

Он вгляделся в нее и рассмеялся:

— Не бойся, я не сошел с ума.

20

Начинать сначала, с чистого холста. Даже старый холст не подходил, нужен был другой формат — у́же и длиннее, чтоб ощущался простор степи, чтоб вместил другую композицию, другой замысел.

У новой картины не должно быть позорного двойника. А пепельная гамма — не потеря, эта гамма сидела у Федора в печенках.

Победы всегда к Федору приходили неожиданно, словно выскакивали из-за угла. Так, например, негаданно, без предупреждения появилась «Синяя девушка» — портрет, нашумевший в институте. И когда приходило это нежданное, Федор словно взрывался.

Ночами он набрасывал композиции, фантазировал фигуры, руки. Днем он часто убегал с альбомчиком в кармане, толкался на платформе станции, уезжал в Москву, сидел на вокзалах, наблюдал, запоминал, набрасывал мужские руки.

Просторно раскинулась степь, через всю степь — поход, цепь усталых солдат. Степь вместе с шагающими солдатами обнимает с двух сторон скрипача. Над ним, за спиной, стоят солдаты, их лица не видны, они где-то за пределами картины, видны лишь руки на фоне шинелей. Шинели, мятые, с грубыми складками, шинели — многострадальное солдатское жилье — и солдатские опущенные руки, добрые, переживающие, сильные и беспомощные. На корточках, чуть в стороне, молодой солдат. Его лицо — единственное на картине, даже лицо скрипача плохо видно, угольно-черная голова низко наклонена. Лицо молодого солдата, как зеркало, должно отражать все, что слышат люди, что переживают они. Лицо и висящие руки... Руки найдены, а лицо... Федору не хватило терпения искать его. Потом...

С утра он бросался к холсту и забывал обо всем, сумерки обрывали его работу. День изо дня, день изо дня, а ночами мучила бессонница — рисовал, чтоб время зря не пропадало.

Ольга Дмитриевна сердито выговаривала:

— Я — врач и не могу терпеть, когда рядом со мной люди занимаются самоуничтожением.

Оля ходила подавленная, глядела на Федора уже не восторженно, а с испугом.

А он забывал обедать, спал урывками, даже ночами во тьме мысленно писал свою картину.

Бывшая пепельная, свежая, радостная гамма стала какой-то тревожной, глухой, настораживающей. Фигура скрипача переписывалась уже пять раз, его склоненная голова, казалось, вылезала с полотна, нависала над полом. Но она, выпукло вылепленная, прописанная до натурализма, снова показалась грубой, глушащей живописные куски. И он переписал ее в шестой раз...

Фигура скрипача переписывалась, а руки сразу легли на холст, добрые руки, переживающие, в них — тоскливая беспомощность и нерастраченная сила...

Было еще светло, Федор работал один. Он в очередной раз отошел от холста, чтобы окинуть его взглядом. Отошел, постоял и вдруг понял — перелом. Картина еще далеко не кончена, но судить о ней уже можно смело. Сомнений нет — удача.

Тревогой и опасностью пропитан воздух, низкое небо угрожающе давит на плоскую землю, и грубо, до жестокости ласкают раздавленные руки скрипку... В позе скрипача страсть обезумевшего непонятно совмещается с отрешенным покоем. Солдатские руки висят у него над головой, руки слушают... Кажется, что вся широкая степь звучит, отзывается, как оконное стекло. И все должно отражаться в одной точке, в лице присевшего на корточки солдата. Лица самого пока нет, вместо него незаписанный кусок холста. Но и этот кусок уже не молчит, от него ждешь чего-то необычного, невероятного. Как трудно будет подыскать лицо.

Написано нервно, с той грубой и свободной силой, с какой скрипач мнет рабочими руками нежную, хрупкую скрипку. Широко и общо — хлястики не выписаны, хлястики — ложь.

Еще вчера работа выглядела неопределенно, еще вчера ее было трудно понять... Федор снял со стен все этюды, чтоб они не рассеивали внимание, чтоб перед глазами была только одна картина. Сел и стал смотреть...

В старой сумрачной столовой, законсервировавшей воздух прошлого века, среди кресел, на которых отдыхали бородатые интеллигенты, современники Толстого

и Чехова, в стенах, отгороженных от мира и времени,— военная степь, сырой ветер, запах гари, солдат в каске. Здесь картина выглядела словно современный экскаватор среди стада мамонтов.

Если б Федора спросили: как выгодней повесить работу? — ответил бы: в такой вот комнате, тут она громогласнее.

Раздался звонок. Федор оторвался, пошел открывать.

— Как живете-можете?

Явился давно не заглядывавший Антон Иванович, переносье над дряблой репкой-носом морщится в улыбочке.

— Ты иди глянь, что я сделал,— пригласил его Федор.

Старик шагнул в столовую и остановился.

— Ишь ты! — Постоял и сообщил: — Будто в лоб ударило.

Ольга Дмитриевна, до сих пор лишь мельком бросавшая взгляд на работы Федора, долго всматривалась.

— Вы, однако, умеете доказать свою правоту,— сказала она.

Федор и Оля остались вдвоем. Оля молчала. Молчал и Федор.

Из всего сложного и запутанного, что он ощущал, самое сильное, торжествующее надо всем было чувство облегчения — гора с плеч! Он, в который уже раз в жизни, вышел победителем, как он выходил победителем в поединке с тем неизвестным, невиданным, что обстреливал склон, ведущий к колодцу, как выбрался живым при переправе через Дон, как осилил первый натюрморт — бутылку с лимонами.

Наконец Оля произнесла:

— Я начинаю бояться тебя, Федор.

— Оля... Я хочу...

Оля насторожилась.

— Оля, раньше не решался, но мне сегодня все доступно... Оля, хочу ни мало ни много, чтобы ты жила со мной всегда. Без тебя мне трудно, без тебя невозможно... Оля, не показывай, что это для тебя новость! Ты догадывалась!

Оля сжимала круглыми коленями кисти рук.

— Странно,— произнесла она. — Если б ты мне сказал это раньше, я бы больше обрадовалась.

— Когда — раньше?

— Даже тогда, когда ты ходил несчастным... Сейчас я почему-то боюсь тебя.

— Оля, я не отступлю!

— И не надо. Я тоже люблю тебя. Но сейчас у меня какой-то страх перед тобой. Все думается: достойна ли я тебя?

— Достойна?.. Я просто не могу без тебя. Не веришь? Или мне броситься на колени, произносить клятвы?

Оля помолчала и тихо проговорила:

— Наверно, мне будет очень трудно с тобой.

— Я все сделаю, чтоб тебе было легко!

— Зачем? Пусть будет трудно. Чем-то я должна платить за то, что ты со мною рядом... Боюсь другого — как бы со временем не перешагнул через меня и не ушел... А трудно — пусть... согласна.

Он притянул ее к себе, и она покорно подалась, на минуту замерла в его руках, затем отстранилась несмело и ласково:

— Мама может войти.

21

Федор навестил Вячеслава. Ему-то он должен был сообщить о победе.

У Вече в мастерской стоял эскиз: солнечный, нарядно белый город, по улице — мазутный поток рабочих. И в этом мазутном потоке легким, сияющим лебедем застряла пролетка с дамами в летних платьях. Они сжались от страха, они затравленно глядят на слитную толпу людей, выползших из нищих окраин сюда, в их солнечное, белокаменное царство.

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас грозно гнетут...

Вече в студенческой комнате пел это под гитару. Теперь, видать, пришла пора пропеть то же самое другим голосом. В эскизе было то, чего не хватало его первой картине,— есть незримый герой, он пугает. Над мазутной толпой, в прозрачном воздухе летнего дня, среди сияющих стен города одна грозная сила схлестнулась с другой — классовая ненависть, классовая вражда! Сжимаются от ужаса барыньки в пролетке...

Вячеслав показал Федору и другой эскиз, карандашный,— «Победитель». Кончился бой, стоят разбитые баррикады, лежит, разметавшись на булыжной мостовой, рабочий парень... А над ним солдатик, из заморенных, забитая серая скотинка в пузырящейся шинели. Ванька — убийца из лапотной деревни. Победитель не испытывает радости, он только с тупым удивлением разглядывает поверженного врага — почему тот полез на рожон? Ему непонятно, ему недоступно — почему?..

Федор ушел от Вячеслава с ощущением — что-то копится в жизни. Если такие работы повесить на выставке, то открыточные холсты Ивана Мыша, помпезные портреты человека в сапогах и с трубкой придется поспешно снимать со стен. Что-то копится, когда-то прорвется... И он рано осудил Вячеслава.

Возвращался домой поздно, но сквозь запушенные инеем кусты светилось окошко — его ждали.

Тебе почти тридцать лет, половина жизни, считай, прожита, но только в далеком детстве ты имел дом, тебя ждали, за тебя волновались. Тридцать лет!.. Жил в землянках и окопах, потом временное пристанище — комната студенческого общежития, потом угол среди чужих людей... Пусть у тебя много верных товарищей, армия знакомых, но если нет дома, если нет окошка, светящегося обжитым теплом, за которым тебя с тревогой ждут родные,— все равно ты себя будешь чувствовать Робинзоном Крузо среди людей.

Теплится окно сквозь распушенные кусты, тебя ждут, не ложатся спать.

Его ждали, и не только Оля, не только ее мать. В комнате сидела гостья.

Она повернула голову, взглянула из-под приспущенных век:

— Здравствуй, Федя.

Нина Худякова в обтягивающем полнеющую талию платье, новая прическа — волосы накручены чалмой.

Федор перевел глаза на Олю. Она сейчас была очень похожа на свою мать — то же замкнуто-суровое выражение, бледный лоб оттеняет брови, взгляд навстречу тягучий, вбирающий. Ольга Дмитриевна сидела с опущен-

ными к столу глазами, по лицу ничего не прочтешь — холодно и спокойно.

У Нины вид, словно собралась на праздник — наряжалась, возилась с прической, пудрилась, охорашивалась,— а праздник вдруг отменили, хоть плачь, куда себя деть теперь?

Оля глядит по-чужому, испытующе, Ольга Дмитриевна прячет глаза.

Федор в растерянности переминался у порога.

— Вот решила навестить,— произнесла Нина виновато. — Как-никак институтский товарищ, шесть лет знакомы...

Но хитрость не удалась — товарищ, и только-то... Оля порозовела и отвела взгляд от Федора.

— Нина Николаевна нам весь вечер говорила о тебе,— сказала Оля в сторону. — О том, как ты удивлял всех талантом.

— Видела твою картину! — подхватила Нина. — Ты среди нас — великанище.

— Ну, спасибо,— выдавил из себя Федор.

Про себя подумал: «Время-то позднее, не останется же она здесь на ночь».

Оля решительно поднялась с места:

— Не станем вам мешать. Мама, пойдем.

Но Нина тоже встала:

— Нет, нет, уже поздно. Мне пора ехать.

— Я провожу тебя,— почти благодарно сказал Федор.

Обвеяв комнату волной духов, Нина с высоко поднятой головой, статная, медлительная, с опущенными долу ресницами поплыла в прихожую, обронив с достоинством:

— До свидания. Прошу извинить за беспокойство.

Они молча вышли за калитку. Горело окно сквозь снежный сад. И Нина, вздохнув, заговорила:

— Ко мне частенько на огонек заглядывает Авдиев... Ты его не знаешь?.. Он артист, в кино снимается, одевается сногсшибательно... — И вдруг привалилась к плечу Федора, всхлипнула: — Федя, я все вру... Всю жизнь вру сама себе... Федя, все ждала, что ты в дверь позвонишь...

А сбоку через пустой заснеженный сад, на пустую темную улицу светило окно...

Нина ткнулась Федору в плечо, он придерживал ее за плечи, не отстранял и не приближал к себе.

В сукно пальто, под воротник — глухой шепот:

— У меня ни матери... Да и отца тоже, считай, нет... Был ты один во всем свете...

Она не раз спасала его от невылазного одиночества, когда в густонаселенном городе, на тесных улицах чувствуешь себя забытым всеми Робинзоном. Не раз, ощущая пустоту вокруг, он переступал ее порог. И кому, как не ему, понять — худо человеку быть едину.

Но из-за отяжелевших от выпавшего снега кустов светит зовуще окно...

Не пинай лежачего. Ты не способен на это.

Но в окне свет. Тебя ждут, быть может, нетерпеливее, чем всегда.

Отвернись, забудь про окно.

Забудь?.. А забыть нельзя, от него можно уйти, а помнить будешь — есть, горит, зовет.

Будешь помнить всю жизнь и проклинать того, кто оторвал тебя.

Нина уткнулась в плечо и плачет.

Минута доброты, а потом целая жизнь ненависти!

Руки Федора лежали на ее плечах, и Федор боялся погладить, боялся сказать ласковое слово, оно может быть принято за обещание. И светило окно, и корчилась душа от презрения к себе. Но чем помочь? Что он может?.. Только оскорбительно солгать, запутать себя и ее новой ложью.

Нина, так и не дождавшись ответа, вытирая слезы, безнадежно сказала:

— Надо идти.

И они пошли бок о бок, как часто ходили ночами по городу.

Показалась станция, Нина произнесла в темноту задумчиво:

— Неужели я такая плохая? Неужели меня нужно избегать?

— Ты чудесный, добрый человек. Всегда буду помнить тебя,— ответил Федор.

— Ох, не надо,— отмахнулась она.

И Федор снова замолчал.

Вышли под свет фонарей, поднялись на платформу, где мерзли редкие пассажиры, ожидающие позднюю электричку. При виде людей к Нине вернулись суетно-житейские заботы женщины.

— Погляди,— попросила она, поворачиваясь к Федору лицом. — Я слишком страшна? У меня не очень красные глаза?

Лицо ее было просто усталым, чуть бледным, расслабленным, после слез под глазами остались следы краски с ресниц.

— Ты никогда не бываешь страшной, Нина,— сказал он, а сам похолодел от мысли: это лицо он видит в последний раз так близко. Знакомое, годами изученное лицо!

На секунду, только на секунду появилась крамольная мысль: а что, если не возвращаться туда?..

Но в глубине затканной снежком ночи прорвался свет — лобовой фонарь приближающейся электрички. Как отточенные ножи, блеснули рельсы и полились к платформе, подгоняемые стуком колес. Люди зашевелились, очнувшись от оцепенения.

— Прощай, Федя,— сказала Нина. — Хочу, чтоб у тебя все было хорошо. Честное слово...

— Спасибо, Нина.

Ее рука была теплой, какой-то бескостной.

Окно за кустами продолжало призывно светиться.

При виде Федора Ольга Дмитриевна поднялась из-за стола, сказала, как всегда:

— Спокойной ночи. Не засиживайтесь долго.

Ушла своей медлительной, негибкой походкой.

Оля сидела склонив голову, рассыпавшиеся волосы закрывали лицо.

— Садись, пей чай,— обронила в стол.

— Спасибо, я не хочу.

Помолчали.

— Оля...

И Оля вздрогнула:

— Не надо ни о чем говорить... Мне нужно... Нужно ко многому привыкнуть. Я боюсь, что ты перешагнешь через меня, как через эту женщину... Перешагнешь, а к тому времени я совсем...

— Оля!

— Не надо, Федя! Иди ложись спать. Так лучше.

Он постоял, помялся.

— Иди спать.

И он послушно ушел.

Долго горел огонь в старом доме, долго светило окно в пустой сад, на пустую улицу. Но и после того, как свет погас, в притихшем доме, хранившем под крышей незаконченную картину, еще долго не спали.

А утро началось со звонка в дверь:

— Примите телеграмму. Для Матёрина.

Закутанная по самые глаза платком почтальонша сунула под нос Федору книгу:

— Распишитесь.

Федор разорвал телеграмму. Оля, одетая в шубу, прошла мимо него на улицу. Она, как обычно, с электричкой в семь тридцать уезжала в институт.

— Что случилось? — спросила Ольга Дмитриевна.

Федор протянул ей телеграмму:

— Сегодня уезжаю.

Телеграмма была от отца:

«Умер Савва Кочнев приедешь сообщи задержим похороны Матёрин».

И Федор понял, какое лицо бывает у Ольги Дмитриевны, когда она узнает у себя в больнице о смерти безнадежно больного,— просто покорное.

— Деньги у вас есть? — спросила она.

— Да.

На эту поездку уйдут последние деньги, вернется обратно без копейки.

— Если задержитесь, сообщите непременно. Нельзя оставлять нас в неведении. Вы понимаете?..

— Понимаю,— ответил Федор.

22

Знакомая станция — хмурая, темная водокачка, позеленевший колокол у дверей на бревенчатой стене и толстый, старый, усталый начальник станции — он бессменен, как водокачка. Федор его еще помнит молодым, в его дочку был влюблен в школе.

Знакомая станция — ворота на родину.

Поезд стоит здесь всего пять минут.

Федор соскочил с подножки, оглянулся — может прийти встречать отец. Савва Ильич уже не прибежит, запыхавшийся и счастливый...

Но и отца не видно.

Прижимает мороз. Почему-то не торчат в окнах вагонов лица, почему-то почти все проводники вдруг исчезли с подножек, скрылись внутри, хотя двери открыты, сигнала к отправке нет.

А у станционного здания суматоха — хлопают двери, проскакивают раздетые люди. Какая-то буфетчица в несвежем белом халате, под халатом десяток одежек — оттого толста, как снежная баба,— бегает, хватается за голову, наскакивает на людей, кричит:

— Он умирает, а мы живы! Несправедливость, господи! Он умирает, а мы живы! — Наскочила на Федора, с красного, ошпаренного морозом лица глянули белесые в сумасшедшинке глаза, взмахнула короткими руками — взлетела бы, да слишком толста. — Он умирает, а мы живы! Что же это такое? Он умирает!..

Федор даже не успел прийти в себя — шарахнулась в сторону. Что за чертовщина? Не Савва же Ильич поднял переполох?

А толстая буфетчица топала дальше, кидалась на людей:

— Мы живы, а он?.. Вы слышали: очень тяжелое!.. Мы живы, а он!..

Федор двинулся к начальнику станции. Тот стоял, держась за язык колокола, глядел мимо Федора, сумрачно опустив серые усы.

— Что стряслось? — спросил Федор.

— Сталин...

— Что с ним?

— Бюллетень только что передали — тяжелое состояние... Похоже, надежды нет.

Начальник станции ударил отправление.

— Вот ты где, а я в другом конце шарю.

Перед Федором стоял отец — под рыжей вытертой шапкой на кремневом лице скупая улыбочка, на щетинистых усах иней перепутался с сединой.

— Пошли. Дай ящичек-то понесу.

Сутуловатый, громоздкий, косолапо загребающий снег валенками — стареет, даже походка меняется.

— Это же несправедливо! Мы все живы-здоровы, а он...

Отец проворчал в усы:

— Что ж, всему миру в гроб ложиться, что ли?..

— Жизнь как-то повернется,— произнес Федор.

— На худшее-то не повернет.

— Вот в какой компании Савва Ильич уходит.

— Там-то можно и в такой. Это здесь почешешься... А Савва-то отошел, как и жил, даже бабка Марфида проглядела. За день до этого все тебя вспоминал.

Они шагали привычной дорогой, почти не изменившейся со времен детства: широкий большак, полузаметенная тропка, осинник, березняк, поредевший ельник, крыши Матёры...

Ельник повырубили, а березы набрали силу.

Федор написал первый и последний портрет бывшего учителя рисования. Только теперь спохватился — как это не догадался написать его при жизни.

Федору принадлежало «наследство» Саввы Ильича — его пейзажи — березки-елочки. Долго рылся в них, вглядывался: вдруг да откроется, что покойный Савва Ильич был выдающимся примитивистом, со своим голосом, со своей манерой,— вологодский Пиросманишвили.

Но лист за листом, пейзажик за пейзажиком... «Я всю жизнь учусь у природы...» А все дилетанты мира вот так же рисовали елочки да кустики, красили небеса разведенной в синеву водичкой. И только одна работа задержала взгляд Федора — портрет Ван-Гога, небритого мужичка, похожего на матёринского Опенкина, долгое время страдавшего язвой желудка. «Я учусь у природы!» А Ван-Гог-Опенкин срисован из книжки, и все-таки в него Савва Ильич внес свое — не фанатичный упрямец, а кроткий, безвольный человек. Среди других его работ — случайный шедевр. Федор сохранит его на всю жизнь.

Стоял крутой мороз, гулко стреляли деревья.

Вынесли гроб из избы, положили в розвальни на солому. К гробу подсадили закутанную в ветхий тулуп бабку Марфиду. Бабка не могла уже ходить — ползала, для нее даже покойный Савва Ильич был «сыночком». С другой стороны пристроили грубо отесанный крест.

Савва Ильич не верил в бога, наверняка не высказывал желания, чтоб над его могилой красовался крест. Но бабка Марфида со стоном и плачем вымолила:

— Не нехристь же он, тоже человек божий. Тише его на земле не было. Без креста, на погубление!.. Господи! Вот и я умру, меня тоже без креста!.. Кол вгонят, как бусурману. О господи!..

В деревне решили — крест так крест, почему не уважить старуху, да и крест-то привычнее. И Федор, слушая стоны бабки, не осмелился возразить: Савве Ильичу теперь все равно, а для Марфиды не просто огорчение — кощунство, издевательство, остаток дней проживет в ужасе, что и ее похоронят без креста на вечную муку. А дней-то ей осталось прожить не так уж и много, они и без того будут тяжки, зачем усугублять.

Федор делал вид, что не замечает креста. Он прихватил с собой палитру.

Лохматая лошаденка лениво выступала, низко навесив заиндевелую морду, сосредоточенно глядела в накатанную дорогу, словно шаг за шагом что-то искала — что-то безнадежно утерянное.

Возле саней с вожжами в руках шел паренек, четырнадцатилетний сын Опенкина, того самого, на которого смахивал Ван-Гог Саввы Ильича. За санями шагали трое — мать Федора, на время переставшая утирать красные глаза, но поминутно скорбно вздыхающая, отец Федора в своей вытертой рыжей шапке и Федор. Деревня Матёра была равнодушна к смерти человека, который был для нее всегда чужаком.

У обочины дороги стояла пятитонка с задранным капотом, двое парней на морозе копались в моторе. Они оторвались от работы, недоуменно повернули красные лица в сторону жалкой процессии. Федор услышал, как один сказал другому:

— Ну и ну, под сурдинку какой-то словчил.

Еще вчера разнеслась весть, которую тревожно ждали все,— умер Сталин. До Матёры еще не дошли газеты с траурной каймой.

Скучный деревенский погост с торчащими из нетронутого снега покосившимися крестами. Летом здесь жестоко припекает солнце, зимой свирепо воют метели. Деревенский погост, убежище многих поколений землеробов.

На окраине его — рыжее крошево мерзлой глины на белом снегу, веющая ледяным холодом яма.

Не было речей, не было даже произнесено — «прости». Только сползла с розвальней бабка Марфида, припала к доскам гроба, мать Федора смахивала слезы варежкой. Федор стянул шапку с головы, за ним отец обнажил седины, за отцом — шмыгающий простуженным носом парнишка Опепкин.

— Чего уж... Возьмемся помаленьку,— произнес отец.

Натянули шапки, взялись за веревки, потом за лопаты...

Бабка Марфида тихо скулила, сидя на снегу. Мать Федора старалась ее поднять...

Над ярко-рыжим холмом средь истоптанного снега встал крест, на котором химическим карандашом выведены скупые слова: Савва Ильич Кочнев, год рождения и год смерти.

Федор взял палитру, на ней осталась еще краска, замерзшая сейчас на морозе. Палитра, с которой Федор работал над картиной, работал он с нею и над единственным портретом Саввы Ильича — даже краска осталась.

Гвоздями накрепко прибил палитру к кресту. Надпись на кресте сообщит имя и фамилию человека, но она скоро смоется дождями. А палитра расскажет о том, что здесь похоронен художник. Неизвестный художник, достойный такого же почтения, как и неизвестный солдат.

Он не потряс мир шедеврами, его имя не вспомнят даже самые дотошные исследователи, и все-таки его жизнь не прошла бесследно — он повинен в том, что на свете появился еще один художник. Как знать, без него, наверно, топтал бы землю человек, быть может, неплохой, быть может, по-своему полезный людям, а все-таки без призвания. А великое дело открыть призвание — одним творцом на земле больше.

Низко плавало солнце в морозном предвечернем мареве. Его жидкие лучи обжигали щеки холодом. На свежевыструганном кресте распята палитра, бабке Марфиде это ничего не говорит, а Федору напоминает — путь художника тернист.

Нет Саввы Ильича, есть он, Федор. И Федору не на что жаловаться — его ждет почти оконченная картина, ждет близкая победа, есть силы, несокрушимое здоровье, талант, есть преданность своему труду и, наверное, есть дерзость. Не на что жаловаться!

Но беспокоит мир, ни мало ни много беспокоит судьба планеты. Лежат в хранилищах супербомбы, они могут вырваться из заточения, обрушиться на материки — огонь, пепел, разъедающая все живое зараза радиоактивности. Накалены страсти в мире. И умер вчера вождь, и миллионы людей сейчас, в эту минуту, задают себе вопрос: что дальше?

Что дальше?.. Федору кажется, что мир похож на того молодого солдатика, который вглядывался в лысый склон, пропеченный солнцем. Тогда солдат победил смерть; он живет до сих пор, готов торжествовать новые победы.

Лошадь тронула с места сани. В молчании пошли обратно к деревне. Крест с палитрой остался за спиной.

А в Москве, в Колонном зале, среди венков и часовых над сумрачным восковым лицом веяла траурная музыка. Люди вглядывались в будущее.

1964

Плоть искусства

Очерк

Разговор с Читателем

Дорогой Читатель, выясним отношения. Вот уже много лет, как я занимаюсь странным, казалось бы, делом — пытаюсь заставить Тебя восхищаться тем, чем сам восхищаюсь, негодовать на то, что у меня вызывает негодование, горевать или радоваться, как сам горюю и радуюсь. Иногда это мне удается, иногда нет. Вместе со мной пытаются заставить Тебя радоваться, огорчаться, страдать другие прозаики и поэты, художники своими картинами, актеры своей игрой, музыканты-сочинители, музыканты-исполнители, то есть те, кто тем или иным способом служит искусству.

Что ж получается, мы вторгаемся в мир Твоих чувств, навязываем Тебе свое видение, посягаем на Твою самостоятельность. Можно подумать, мы отнимаем у Тебя возможность быть тем, кем Ты есть.

Но вот что странно. Ты, ценящий свою личную независимость, сам стремишься к тому, чтобы испытать радость, огорчение, которые в той или иной форме кто-то преподносит Тебе со стороны. Ты покупаешь книги, посещаешь картинные галереи, консерваторию, торчишь у театральных подъездов, с надеждой спрашивая: «Нет ли лишнего билетика?» Больше того, Ты благодарен тем, кто как-то меняет мир Твоих чувств: «Это мой любимый поэт». Любимый потому, что Ты наиболее сильно испытываешь на себе его влияние.

Возникает вопрос. Нужно ли навязывать чувства? Не лучше ли, если каждый будет чувствовать произвольно, как бог на душу положил?

Однако Тебе самому нередко случалось упрекать людей только за то, что они чувствуют не так, как нужно:

«Он, мол, радуется чужому несчастью». То есть испытывает дурные чувства, значит, и сам этот человек дурной, опасен в общежитии.

Тебе известно, что бредовые идеи расового превосходства, проповедуемые Гитлером, вызвали в свое время в Германии общенациональный психоз — исступленный восторг, исступленное ненавистничество. И этот психоз придал силу нацизму, сыграл немалую роль в развязывании Второй мировой войны, самой ожесточенной, самой кровавой из всех известных человечеству войн.

Еще в 1927 году Альберт Эйнштейн заметил, что безумства и страсти «руководят почти полностью судьбами человеческими как в малом, так и в большом».

И в малом, и в большом каждый из нас зависит от того, какие чувства испытывают окружающие нас люди. Ничто так не осложняет и не отравляет нашу жизнь, как несовместимость наших чувств. И наоборот, сходство испытываемых чувств помогает сближению, облегчает взаимопонимание.

И если я Тебя и еще кого-то сумел заставить страдать и радоваться тому, что у меня вызывает страдание и радость, не значит ли — мы в чем-то стали духовно близкими?

И так ли уж я заставляю Тебя? По своему ли произволу? А может, я сам от Тебя зависим?..

Если мы и дальше начнем выяснять наши отношения, то неизбежно упремся в тривиальный вопрос: «Что такое искусство?» Наверное, Тебе известно, что ясного и точного ответа тут нет. Слабые голоса миротворцев, выкрикивающие: «О вкусах не спорят!», безнадежно тонули и тонут в ожесточенных перепалках школ, группировок, фронтальных направлений, придерживающихся в искусстве разных взглядов, разных вкусов.

Вряд ли нам нужно вникать в эти споры, идущие на протяжении многих веков. Этому пришлось бы посвятить жизнь целиком, превратиться в ученых искусствоведов. Попробуем посильно разобраться, исходя лишь из собственного опыта, я — из своего, Ты — из своего. Разберемся, что происходит между нами, как друг на друга влияем, а попутно постараемся уяснить свое представление об искусстве.

НАЧАЛО НАЧАЛ

Начнем с того, что чувствовать и выражать свои чувства свойственно не только человеку. Даже планария, существо по организации ниже земляного червя, уже что-то чувствует и даже проявляет свои примитивные чувства в какой-то форме, хотя бы в попытке удалиться от объекта, причиняющего неприятные ощущения.

Мы легко улавливаем по виду собаки ее настроение, хорошо знаем, когда она испытывает ярость, когда радость, когда страх. Улавливают это и сами собаки ничуть не хуже, чем мы.

Волчица, застигнутая у своего логовища, скалит зубы и рычит: «Берегись! Я страшна в гневе! Буду защищать своих детенышей до последней капли крови!» И будь то чужак-самец, медведь или человек, каждый поймет волчицу *правильно*.

Произошел процесс общения, передана и получена информация. Передать информацию можно и непроизвольно не ведая об этом. Передают нам информацию и мертвые вещи. Далекая звезда выдает астроному ценнейшие сведения, но назвать это общением со звездой допустимо только в рамках поэтической вольности. Однако волчица, в отличие от звезды, *активно* обращается к незваным гостям, она *желает* установить связь и добивается *через выражение чувств*.

Наверняка задолго до появления человека и его приматов, даже, скорей всего, до появления первых млекопитающих, мир животных уже эмоционально общался. Наглядно выражались и улавливались определенные чувства. Те животные, которые сами не умели проявлять свое внутреннее состояние и не воспринимали его в других, оказывались недостаточно приспособленными в борьбе за существование. Не иметь способности подать сигнал тревоги и уловить его, разгадать заблаговременно агрессивные настроения или определить по виду трусливого — значит постоянно ошибаться. Естественный отбор безжалостно расправлялся с такими истуканами.

В нашем примере волчица выражает свой гнев при наличии реально существующей опасности. Так сказать, тут реакция соответствует раздражителю. Ну, а расшалившийся не в меру волчонок опасности не представляет, он просто досаждает волчице своей возней, и мать — ни-

как не исключено — может прорычать на него почти столь же свирепо, как и на того, кто явно опасен.

В данном случае волчица намеренно преувеличивает свой гнев, в какой-то степени искусственно его создает. Можно сказать, она играет в гнев.

Но эта игра принципиально отличается от игры, скажем, того же волчонка или бесхитростно взбрыкивающего теленка. Волчонок и теленок играют от избытка сил, для собственного удовольствия, в их поведении чаще всего нет и намека на намерение кому-то что-то сообщить. Волчица же играет в гнев не ради удовольствия, не от переизбытка сил — она при этом может быть очень усталой,— у нее важная задача — сообщить некую информацию через свое раздражение, добиться, чтобы ее поняли. А поймут ее легче всего, когда раздражение будет наиболее очевидным, то есть сильней выражено, а потому она намеренно преувеличивает его, искусственно возводит в степень грозного гнева. Сказать тут: играет в гнев — можно только в плане образности. На самом же деле поведение волчицы куда серьезнее простой игры, в ней, как выразились бы искусствоведы,— «элемент тенденциозности».

И мы с Тобой в обыденной жизни стихийно, помимо своей воли и разума, выражаем постоянно свои чувства. Разве редки случаи, когда нам хотелось бы скрыть свое волнение, страх или неуместное торжество, но оно прорывается наружу, замечается другими. Тут над нами берут верх врожденные инстинкты, проявляется наследственность, полученная от предков-животных.

Достаточно часто мы и «разыгрываем» свои чувства, притворяемся сердитыми, когда испытываем благодарность, радуемся, когда хочется плакать, намеренно преувеличиваем свой гнев или свою нежность. Приглядись к себе, много ли Ты произносишь слов без эмоциональной окраски и сколько поступков свершаешь Ты в угоду своему настроению. Знаменитое: «Я мыслю — следовательно, я существую» — красиво своей гордостью за разум, но несправедливо. Куда справедливее: пока чувствую — существую. Это подойдет и к примитивной планарии, и к нам с Тобой.

Общение с помощью чувств — естественная потребность, возникшая в процессе развития жизни. Потребность настолько сильная, что животные для выражения

своих чувств готовы отдавать не только избыточные, а даже последние силы. Тут природа готова на расточительство, так как от правильно переданной и полученной информации часто зависит жизнь особи, а значит, и сохранение вида.

Та же потребность живет и в нас, и нет никаких оснований считать, что она утратила свое жизненно важное значение.

Казалось бы, нелепо ставить рядом столь несовместимые явления, как оскал волчицы и «Данаю» Рембрандта или арию Мефистофеля в исполнении Шаляпина. Но мы должны уловить тут некое, весьма отдаленное родство: и то, и другое — выражение определенных чувств, примитивно животных и чрезвычайно сложных — человеческих. Между ними пропасть, но, наверно, ничуть не больше той, какая лежит между условным рефлексом и разумным действием.

Попробуем не построить, а хотя бы умозрительно представить некий возможный мост через эту неизмеримую пропасть.

РОЖДЕНИЕ

Первобытный охотник приносил с охоты не только мясо убитого бизона, но еще целую гамму острых, ярких впечатлений. Нужно применить усилие, чтобы их скрыть, наверное, немалое усилие. Скрывать свои впечатления общественному существу, пожалуй, столь же трудно, как и не реагировать на окружение. Естественней не скрывать, а делиться.

Однако это не так-то просто. Даже на современном языке с его обширной лексикой весьма трудно передать сложное ощущение азарта во время погони, или напряженное состояние в схватке, или всеобъемлющее торжество по случаю победы, а при скудных речевых возможностях первобытного человека это вообще было непосильно. У охотника есть один-единственный способ выразить свои впечатления, он должен следовать тем событиям, которые сам пережил, изображать их. Изображать погоню так, чтобы зритель почувствовал азарт, показать сцену борьбы с бизоном, чтобы вызвать ощущение напряженности и опасности... Для этого охотник то делает вид, что подкрадывается, то замахивается копьем,

то падает с мычанием на землю... Это внешне очень похоже на игру, но не игра, а самовыражение, рассказ, только образный. Если б охотнику было легче то же самое сообщить иным путем, той же речью, он избежал бы игры.

Он не может с точностью передать все как было. Какие-то мельчайшие, несущественные подробности забылись, остались наиболее яркие впечатления, их-то и передает охотник. Здесь неосознанно, так сказать, происходит отбор материала.

Охотник у костра находится в иной обстановке, вместо леса с его завалами и чащами — пещера, вместо длинного пути, по которому шла погоня,— узкая площадка перед костром, вместо самого зверя — внимающие ему соплеменники. Наконец, невозможно физически перевоплотиться в зверя, в того же бизона, нужно найти какие-то характерные повадки, движения, которые напоминали бы зрителям загнанного зверя.

Задумаемся на минуту: что все-таки передает охотник? Реально существовавшее событие? Нет, собственное восприятие, духовный след этого события. След охоты в передаче охотника столь же мало похож на настоящую охоту, как след ноги на саму ногу.

Все это в какой-то степени характерно и для животных. Собака, видя, что ее хозяин собирается на прогулку, начинает скакать и радоваться. Ее радость вызвана тем, что предыдущие прогулки доставляли ей большое удовольствие. Если бы они были неприятны собаке, она не выражала бы радости. Прогулки когда-то происходили, в данный момент причина собачьей радости — тот духовный след, который они оставили. При этом собака не просто радуется, она всеми силами старается обратить внимание хозяина на свою радость, внушить ему — какое счастье для нее предстоящая прогулка, и как огорчительно будет, если она сорвется. И трудно не понять этот эмоциональный, весьма выразительный собачий язык.

В основном первобытный охотник у костра совершает действия, которые до него делали уже животные. Только след, оставленный реальностью, неизмеримо сложнее, глубже, ярче, красочней, и передать его можно лишь прибегая к несравнимо более сложным и разнообразным средствам. В данном случае происходит известное явле-

ние: количественные накопления дают качественные изменения.

Если животные выражали свои чувства стихийно, теми средствами, какими наградила их мать-природа — возбужденные скачки, оскалы, визг, рычание и прочее,— то охотник уже старается выразить не только свои чувства, но и подсмотренные им чужие,— скажем, ярость бизона, его агонию,— пользуется не только врожденными средствами, а перенятыми, совмещая те и другие, создает новые формы выражения — творит. А коль способ передачи чувств не стихийный, а творческий, то его по праву уже можно назвать искусством. Он качественно отличается от всего, что «творили» рычащие, прыгающие, визжащие эмоциональные животные.

Ты вправе упрекнуть меня за наивный примитивизм примера — удачливый охотник, торжествующий над убитым бизоном. Да, верно. С моей стороны, это тоже всего лишь образный прием, наглядная схема. В жизни, отдаленной от нас пластами тысячелетий, наверняка все было иначе — намного сложнее. Не так-то легко и просто люди от животного выражения чувств переходили к образному языку искусства. Кто знает, какие мычания, рыки, оскалы выдавали первые актеры, выражая победную радость удачной охоты, и какие временны́е пустыни отдаляли эти наверняка уже по-своему затейливые танцы от момента, когда куском угля или глины первобытный охотник набросал на стене пещеры первый, еще несовершенный рисунок, нашел принципиально новую возможность выразить свои впечатления.

Нет сомнений, что человек в своем развитии шел сложным путем, взлетая и падая, петляя и застывая на месте, столь же сложно и путано развивалась и его потребность в искусстве.

КИРПИЧИ И ЗДАНИЕ

Наверное, у Тебя уже не вызывает возражения, что искусство — это своеобразное общение, истоки которого наблюдаются еще у животных.

Впервые такую идею высказал Л. Н. Толстой в 1898 году: «Искусство есть одно из средств общения людей между собой... Особенность же этого средства общения,

отличающая его от общения посредством слова, состоит в том, что словом один человек передает другому свои мысли, искусством же люди передают друг другу свои чувства».

Мне кажется странным, что столь простое открытие произошло так поздно. В практике жизни давным-давно бытовали ставшие трафаретными выражения: «актер такой-то поведал нам...», «автор сюиты раскрыл своим слушателям...», «художнику удалось передать чувство радостного удивления пред природой...». Задолго до Толстого признавалось как очевидное — в искусстве что-то передается, что-то принимается, то есть происходит некое общение.

Сам Толстой в своей знаменитой работе «Что такое искусство?» добросовестно собрал высказывания многочисленных предшественников, но никто из них не рассматривал-искусство в плане общения.

Эту работу Толстой построил на пристрастных рассуждениях о «религиозном сознании». Художник И. Левитан отозвался о ней: «Гениальная и дикая в одно и то же время». Что стоит, например, такое утверждение: «Отношение к искусству вытекает из свойств человеческой природы, а свойства эти не изменяются».

Не только мы сейчас знаем, что человек не вышел из-под творческой десницы всевышнего готовеньким, с вечными свойствами, знаем, что он продукт длительной эволюции, менявшей его самого вкупе со свойствами, но знал это и сам Лев Николаевич Толстой, человек всесторонне образованный, читавший Дарвина, навряд ли простодушно веривший в наивную притчу о сотворении Адама и Евы. Он знал — не мог не знать — и пренебрегал этими знаниями. И лучше всего такое странное поведение объясняет сам Толстой в том же трактате:

«Я знаю, что большинство не только считающихся умными людьми, но действительно очень умные люди, способные понять очень трудные рассуждения научные, математические, философские, очень редко могут понять хотя бы самую простую и очевидную истину, но такую, вследствие которой приходится допустить, что составленное ими иногда с большими усилиями суждение о предмете, суждение, которым они гордятся, которому они поучали других, на основании которого они устроили всю свою жизнь,— что это суждение может быть ложно».

Камень, брошенный в других, попадает в себя.

Мы приняли основное положение Толстого, но и тут придется уточнить одно важное недоразумение: совсем ли верно считать искусство средством общения, таким же, как речь? И так ли уж правильно толстовское заявление «что словом человек передает... мысли, искусством же... «чувства»? Не кто иной, как сам Толстой, мастерски пользовался словом, чтоб передать не только свои мысли, но и чувства. Именно последним-то он и велик.

Да и мысль не обязательно передается исключительно словом, написанным или изустным. Ее иногда можно передать и жестом, и заранее условленным символом, наконец, математической формулой, диаграммой, а в наше время перфокартой, засланной в электронно-счетную машину.

Искусство же, наряду со словом, использует тот же жест, мимику, графическую линию, краски, вплоть до киноленты и экрана телевизора. Резкое разделение — искусство для чувства, слово для мысли — должно вызывать недоумение уже потому, что как мысль, так и чувство в равной степени пользуются разнообразными средствами для выражения.

Искусство и речь для Толстого — различные ветви от одного общего корня — общения. На самом же деле они поросль разного леса, никак не родственны.

Речь — да, средство общения, она ближе по родству к математическим символам, кодовым знакам, нотным знакам. Она, речь, родственна холсту и краскам, с помощью которых художник передает своим зрителям то, что сам почувствовал. Родственна средствам, какими пользуется художник, но не процессу его творчества, предполагающему общение.

Искусство — процесс общения, не средство уже потому, что само нуждается в средствах, в той же речи хотя бы.

Между средством общения и процессом общения такая же разница, как между жилым домом и строительным материалом. Как здание возводится из кирпича так и любое общение должно воплотиться во что-то ощутимое для восприятия.

Лев Толстой сделал тончайшее наблюдение, заметив связь искусства с общением. Но он ошибочно принял кирпичи за здание, средство перепутал с процессом.

«МОДЕЛЬ» ЧУВСТВА

Искусство — общение... Я испытал чувство, передал его Тебе. Но как это делается? Не вынешь же из себя и не передашь из рук в руки...

Воспользуемся примером Толстого.

«Самый простой случай: мальчик, испытавший, положим, страх от встречи с волком, рассказывает эту встречу и, для того, чтобы вызвать в других испытанное им чувство, изображает себя, свое состояние перед этой встречей, обстановку, лес, свою беззаботность и потом вид волка, его движения, расстояние между ним и волком и т. п. Все это, если мальчик вновь при рассказе переживает испытанное им чувство, заражает слушателей и заставляет их переживать все, что пережил рассказчик,— есть искусство. Если мальчик и не видал волка, но часто боялся его, и, желая вызвать чувство испытанного им страха в других, придумал встречу с волком и рассказывал ее так, что вызвал своим рассказом то же чувство в слушателях, какое он испытывал, представляя себе волка,— то это тоже искусство».

Толстой утверждает: «Признак, выделяющий настоящее искусство от поддельного, есть один несомненный — заразительность искусства». «Искусство же становится более или менее заразительно,— говорит он дальше,— вследствие трех условий: 1) вследствие большей или меньшей особенности того чувства, которое передается; 2) вследствие большей или меньшей ясности передачи этого чувства и 3) вследствие искренности художника, то есть большей или меньшей силы, с которой художник сам испытывает чувство, которое передает».

Разберемся в этом по порядку.

Итак, первое — особенность чувства... Вспомним чеховский рассказ «Сирена», где передается в общем-то самое заурядное чувство предобеденного аппетита. Но там это ничем не примечательное, можно сказать даже низменное, чувство возводится автором в степень особенного, из ряда вон выходящего: «Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб соблазн был...» Герои рассказа приходят от него в исступление. Мальчик испытал страх от встречи с волком — такое случается не каждый день. Если бы волки

бегали по задворью, как собаки, то навряд ли слушатели заинтересовались бы рассказом, во всяком случае, страхом не заразились. То, что привычно,— не пугает. Особенность чувства... Согласимся с первым условием Толстого.

Второе — ясность передачи... Мальчик может просто сообщить: видел волка, испугался его — и... на этом умолкнуть. Такое сухое информационное сообщение несет в себе все признаки безупречной ясности, никто из слушателей не поймет мальчика превратно, но, скорее всего, выслушают с холодным равнодушием, так и не испытав страха. Разумеется, если нет ясности и рассказ не понятен, то он и не подействует. Но и при наличии ясности он тоже может не заражать, не вызывать чувства. Ясность — необходимое требование при любом общении, но, увы, она еще не признак искусства.

Наконец, третье — искренность художника... Сам Толстой считал: «искренность — самое важное из трех». Но как часто каждый из нас искренне хотел бы передать свое изумление перед поразившим воображение горным пейзажем или перед красочным закатом. Искренне хотел, но бессилен. Почему?.. Искренность достаточно распространенное свойство среди людей. Вряд ли можно найти такого человека, который бы не переживал в жизни приступа сильной искренности, искренности до самоотречения. Так что же, в периоды таких приступов любой человек может стать художником пера, кисти или нотной партитуры?..

Толстой понимает искренность как степень силы, «с которой художник сам испытывает чувство, которое передает». И он утверждает, что «если мальчик вновь при рассказе переживает испытанное им чувство», то он заражает слушателей.

Вдумаемся, что значит искренне вновь переживать испытанное чувство? В тот момент, когда мальчик наткнулся на волка, почувствовал страх, то, наверное, этот страх у него проявился главным образом в каких-то физиологических функциях организма,— отлила кровь от лица, (побледнел), испытал перебои в сердце и прочее в этом роде. Искренне, то есть по возможности с прежней силой пережить испытанное чувство перед слушателями, значит вновь побледнеть, испытать перебои в сердце... Вряд ли это возможно, какие-то функции орга-

низм просто откажется повторить. Кроме того, такой повторенный страх не столь уже сильно воздействует на зрителя и слушателя. Многие признаки страха останутся незамеченными. Плох способ «заражения» — вновь переживать испытанное прежде чувство, пусть даже с предельной искренностью, с предельной силой.

Из трех условий, выдвинутых Толстым в качестве опознавательных примет настоящего искусства, мы можем согласиться только с первым — особенность чувства. Но одной этой особенности мало, чтобы цветом, звуком или «глаголом жечь сердца людей». Разве мало мы встречаем рассказчиков, бесцветно сообщающих о переживаниях наиособеннейших, из ряда вон выходящих, а вот Чехов и заурядное чувство предобеденного аппетита сделал «зажигательным». Толстой-теоретик не дает удовлетворительного ответа.

Зато его мимоходом подсказывает Толстой-художник, один из самых выдающихся мастеров передачи сложнейших переживаний. В его примере мальчик «изображает себя, свое состояние перед этой встречей, обстановку, лес, свою беззаботность и потом вид волка, его движения, расстояние между ним и волком и т. п.». Оказывается, мальчик меньше всего рассказывает слушателям о своем чувстве страха как таковом. По всей вероятности, он и не пытается пережить вновь с прежней силой свой бывший страх с липким потом, дрожью в коленках. Вновь-то он воссоздает не свое чувство, а *причину, вызвавшую его*. Воссоздает теми средствами, которые имеются в наличии. Он не имеет возможности показать своим слушателям натуральную причину страха — самого волка. Но он может описать его словами, передать мимикой и жестами его характерные черты. Слушателям тоже свойственно испытывать страх перед волком, на них тоже эмоционально воздействует элемент неожиданности — «беззаботность и потом вид волка»,— ничего себе, «встречка с кумом», у кого хошь продерет мороз по спине. И чем мальчик *ощутимее* передаст причины, породившие его чувство, тем сильней отзовутся слушатели, тем острей испытают они сходное чувство.

Значит, успех мальчика, олицетворяющего для нас художника, в первую очередь зависит от того, насколько чувственно ощутимо удастся ему *смоделировать причину* своего страха. И уж не столь важно, смоде-

лировал ли мальчик эту причину по образцу и подобию некоего реального случая или же на основе своего прежнего опыта, прежних наблюдений просто вообразил ее. Важно лишь то, чтобы модель была ощутима,— чем ощутимей, тем больше шансов, что она вызовет сходное чувство. Можно сказать, степенью ощутимости модели и измеряется сила воздействия художника.

Итак, я не «заражаю» Тебя своим чувством, не пользуюсь некими флюидами телепатического характера, я только тогда добиваюсь успеха, когда в силу своего мастерства воссоздаю причины, вызвавшие у меня чувство. Ты сходен со мной — человек, как и я, у Тебя те же пять органов чувств. Ты живешь в одном со мной мире, сталкиваешься с одними явлениями, у нас одни причины способны вызывать если не совсем одинаковые, то наверняка сходные чувства.

Микеланджело и Шекспир, Гойя и Бальзак, Роден и Достоевский создавали модели чувственных причин едва ли не более потрясающие, чем те, какие преподносит нам жизнь. Оттого-то их и называют великими мастерами.

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА? (I)

Что же служит образцом для модели?

Ты вправе удивиться — что за вопрос? Да сама жизнь! Она порождает причины, вызывающие в нас чувства,— пугающих волков, красочные закаты, страстные натуры. Эти причины не бесформенны, художнику остается только как можно точней повторить их, преподнести зрителю, и пожалуйста — зритель испытывает чувство.

Если бы все было так просто!

Вновь вернемся к толстовскому примеру мальчика и волка.

Мальчик изображает перед слушателями и лес, и свое состояние, и расстояние до волка... Изображает, надо полагать, как можно точнее. А что это, собственно, значит «точнее»?

Если попросить Тебя описать лес, Ты, наверное, окажешься в некотором затруднении: «Ну, елки и березы, ну, тропинка, брусника, лес как лес, ничего особого». Лесничий опишет лес по-своему: «Такой-то массив, такой-

то номер участка, деловой древесины с гектара столько-то...» Ботаник укажет на смешанность леса, опишет виды кустарников, травянистый подстилающий покров. Следователь хладнокровно отметит: событие произошло в стольких-то километрах от деревни такой-то, на тропе, ведущей туда-то, такие-то опознавательные приметы... Лес во всех этих описаниях совершенно разный, но каждое описание по-своему точно, даже Твое — «ничего особого», потому что и в самом деле данный лес не отличается от других лесов.

Мальчику же изображение леса нужно для того, чтобы ярче выглядело то бурное потрясение, которое он испытал в нем. Неожиданная встреча с волком покажется тем неожиданнее, а значит, впечатлительнее, чем спокойнее, тише будет выглядеть лес до этого. Поэтому мальчик отметит в первую очередь особенную, усыпляющую, а потому коварную тишину леса. Он волей-неволей выдвигает эту тишину на первый план, как бы преувеличивает ее значение среди других отличительных примет леса.

Переживший потрясение мальчик преувеличивает и свою беспечность, он и расстояние до волка может сократить с тридцати шагов до пяти — опасная близость! Если бы мальчик не преувеличивал, а передавал точно так, как было в действительности — невыразительный лес, невнятное состояние, далекое, не опасное расстояние до волка,— то, скорее всего, рассказ не подействовал бы на слушателей.

Но как-никак, а если расстояние до волка было тридцать шагов, а мальчик сокращает его до пяти, значит, он искажает действительность — врет, другого определения не подыщешь.

И все-таки законно спросить: какой рассказ более правдив — тот, что во всем точен, но не вызывает доверия в самом важном, ради чего он, собственно, и рассказывается, или же тот, что не точен в частностях, зато достоверен в главном — передает с должной силой испытанное чувство?

Уместно вспомнить тут слова Пикассо: «Мы все знаем, что искусство не есть истина. Искусство — ложь, но эта ложь учит нас постигать истину, по крайней мере, ту истину, какую мы, люди, в состоянии постичь».

Неужели — ложь? А если так, каким путем она помогает постичь истину?

Попробуем разобраться, почему мальчик вынужден искажать действительность?

Всегда ли мы одинаковы? Предположим, Ты по натуре человек сдержанный, рассудительный, способен объективно оценивать людей, но это не значит, что никогда не испытываешь, скажем, раздражения. Обычная усталость, бессонная ночь, неприятное событие — все может ввергнуть Тебя в это состояние. И тут пустяковый повод вдруг вызывает у Тебя вспышку гнева, у близкого человека обнаруживаешь неприятные черты, порой даже несколько необычная форма ушей — безобиднейшее отличие! — замечается с чувством неоправданного отвращения. Ты уже не столь сдержан, как прежде, не столь объективен в своих оценках. Ты внутренне заметно изменился по сравнению с собой в нормальном состоянии.

И это не только Твое исключительное свойство, это присуще всем в той или иной степени.

Окружающий мир, с которым мы постоянно соприкасаемся, вызывает в нас чувства. Но и эти вызванные внешним окружением чувства в свою очередь заставляют нас несколько иначе воспринимать знакомый нам мир — иначе чувствовать. Меняется наша восприимчивость, меняемся мы сами. Нельзя рассматривать человека как нечто стабильное, раз и навсегда заданное. Пользуясь бытовым выражением: любой и каждый — «с переливами», одни больше, другие меньше, но неизменно устойчивых на свете не бывает.

Толстовский мальчик в нормальном состоянии может трезво оценить расстояние: мол, до того пня не меньше тридцати шагов. Но вместо пня — волк, опасность! Мальчик испытывает сильное потрясение, и это меняет его, он уже не способен размышлять с прежней трезвостью, объективно оценивать обстановку. Волк — не пень, он захватывает все внимание мальчика, явление исключительное, из ряда вон выходящее, его просто невозможно мерить обычными мерками, как невозможно измерить по-обычному и расстояние до него, оно кажется куда меньше, чем есть на самом деле.

Волк мог находиться в неподвижности какую-то долю секунды, в обычном состоянии за такое короткое время ничего не успеешь разглядеть, но сейчас нервная система так обострена, что видишь столько, сколько мог бы увидеть за несколько минут при спокойном разглядывании: и уставившиеся в упор глаза волка, и зализы шерсти на покатом черепе, и сомкнутые челюсти...

Изменяется пространство, изменяется время — у мальчика все по-иному по сравнению с уравновешенным сторонним наблюдателем. Физики бы сказали, что он находится «в иной системе отсчета», его восприятия нельзя измерить аршином объективности.

А мальчик-то выражает перед слушателями *свои* восприятия, *свои* чувства; сказать, что он врет, нельзя — *он так видел*.

Мальчик делает отступление перед святая святых — истинным положением вещей,— и в то же время он правдив, его поведение нельзя назвать лживым. Напротив, мальчик бы лгал, поступи он иначе,— сообщал не то, что чувствует.

Наука обязана отражать истинное положение вещей в мире, искусство обязано отражать истинность восприятия мира человеком.

«Большая ошибка — думать, что научные истины существенно отличаются от обычных»,— говорил в свое время Анатоль Франс. Увы, все-таки отличаются, и не «только широтой охвата и степенью точности», как утверждал Франс. Нам обычно приходится полагаться лишь на свои индивидуальные органы чувств, а они не обладают ни точностью, ни стабильностью. Например: какой величины Тебе кажется полная луна на небе? Я задавал этот вопрос, по крайней мере, сотни раз разным людям и постоянно слышал разный ответ. Мой брат утверждает, что луна выглядит с двухкопеечную монету, жена — с большой поднос, мне кажется — с тарелку. И ни один — буквально ни один! — не ответил так, как должна выглядеть луна на самом деле. Ее угловые размеры для земного наблюдателя примерно такие, какими Ты видишь букву О, напечатанную здесь. Задача науки — предельно точно подходить к объективной действительности, тогда как *каждый из нас* к действительности пристрастен, каждый воспринимает ее по-своему да еще в зависимости от настроения.

Научные истины существенно отличаются от обычных, но ведь и правда искусства тоже не слишком-то напоминает повседневную, будничную правду жизни. Мы не столь уж часто в своей повседневности испытываем яркие, выходящие из обычных норм чувства, а именно они-то, сильные чувства, заставляют необычно воспринимать мир, становятся предметом передачи в искусстве.

Сделаем из всего здесь сказанного пока один очевидный вывод: правда искусства и научная истина не одно и тоже. Не думаю, чтоб Ты был особенно поражен этим открытием, оно не столь уж и ново, Ты, наверное, сам интуитивно об этом догадывался.

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА? (II)

Мы знаем, что мальчик мог и не встречаться с волком, а просто вообразить себе встречу столь живо, что испытал страх, передал его другим. Мы знаем, что и серьезные художники поступают так же: сами из ревности не убивали своих Дездемон, но столь ярко это показали, что заставили зрителя верить и сострадать.

Как тут понимать правду искусства, если даже самого повода для переживаний вообще не существовало, а вместо него преподносится некое измышление? Не придется ли нам снова обратиться к Пикассо: «Искусство — ложь»?

Встречи с волком не существовало, вместо него вымысел, нечто нереальное. Для кого нереальное? Для стороннего наблюдателя, с холодным расчетом оценивающего обстановку. А мальчик от этого «нереального» испытал страх, который в принципе ничем не отличается от страха, вызванного настоящим, с кровью и плотью, с острыми клыками, волком. Уж ежели появилось реальное чувство, то значит существовала реальная причина. Причина эфемерная, в которую не веришь, страха, да еще сильного, не вызовет.

Другое дело, что реальность такой причины не материальна. Никак нельзя путать эти два понятия. Реальность и материальность вовсе не одно и то же.

Почему нужно думать, что наши чувства могут вызываться лишь материальными объектами — некими волками с зубами? Как часто причиной наших радостей или

огорчений бывает нечто далекое от какой-либо материальности — доверие или недоверие окружающих, хорошее или дурное настроение близкого человека... Наконец вдумаемся, пользовалось ли когда-нибудь искусство материальными, теми, какие существуют только в действительности, вещами? Брало их за образец — да! Но никогда прямо не использовало их. Какой художник, чтоб вызвать страх у зрителя, решался преподнести ему настоящего волка — всегда некую отвлеченную модель. Зрителю в конце концов не столь уж и важно, какие действительные объекты послужили образцом для модели художника. Наслаждающемуся бифштексом не обязательно интересоваться бойней. Зрителю в первую очередь важно, чтоб сама по себе модель художника представляла реальную причину, способную порождать настоящие, сильные чувства.

Но все-таки вымысел мальчика основан на действительности. Встречи с волком, как таковой, не было, но она могла быть. И это «могла быть», несомненно, придает реальность вымыслу. А можно же вымыслить и такое, чего заведомо и быть не может. Способно ли такое «невозможное» вызывать чувства, служить искусству?

Представим себе верующего, который проповедует нам о вознесении Христа на небо. Допустим, что этот верующий — художественно одаренная натура. Вознесения Христа, по нашим понятиям, быть не могло, это нам подсказывает и наш жизненный опыт, и современная наука. Но верующий так убежден в своей правоте, так сильно переживает за Христа и не менее сильно выражает нам свои переживания, что мы, если наш атеизм не заставил закоснеть наши человеческие чувства,— не исключено — невольно будем вместе с верующим испытывать некий восторг перед вознесением Христа на небо, в то же время отдавать себе отчет, что подобного случая ни при каких обстоятельствах быть не могло.

Так получается в хорошем театре. Мы знаем, что талантливый актер, играющий Отелло, не задушит знаменитую актрису, но... «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» — невольно содрогаемся от ужаса.

Казалось бы, если мы поверили в искренность верующего, в его правдивость, то должны изменить и своему атеизму, поверить в легендарного Христа, взлетевшего в

космос вопреки силам гравитации. Нет, этого не случается.

Чему же мы верим тогда?

Не совсем тому, во что верит верующий. Мы с ним по-разному оцениваем реальности. Для верующего Христос — некая материальная реальность: существовал в действительности, жил на свете во плоти. Для нас же Христос — лишь реальный повод для реальных чувств. Человек — общественное существо, нам трудно оставаться равнодушными, когда кто-то испытывает эмоциональный накал, переживает непритворные чувства. Нам важна не только голая объективность мира, в котором мы живем, важен мир, пропущенный через другую личность, тем более что эта личность несколько иначе чувствует, иначе воспринимает, значит, способна как-то расширить наше чувственное восприятие. Ради этого мы готовы пойти на некую условность, точно так, как мы принимаем условности театра, лишь бы пережить сильные чувства.

Легковерный, но впечатлительный проповедник, как художник, правдив, его фантастическая, грешащая против здравого смысла и против науки проповедь, как произведение искусства,— тоже правда, потому что способна вызывать истинные, а не ложные чувства.

«Над вымыслом слезами обольюсь...» Могло быть в жизни, не могло — для искусства не столь уж это и существенно, как не существенно, был или не был материальный прообраз волка.

Если мальчик субъективно изменил расстояние до волка, если он волен вообразить несуществующую встречу с волком, то почему бы при определенных обстоятельствах ему не вообразить встречу с чертом, заведомо не существующим в природе, но существующим в сознании людей. Черт в сознании не возник случайно, это своеобразная модификация действительности, пропущенная через личное восприятие. И образ Христа, вознесшегося в небеса, тоже появился от соприкосновения с объективной действительностью, но кем-то когда-то в оны времена так субъективно воспринятой, что действительность утратила реальные черты.

Мир, отраженный другой личностью, для нас не менее интересен, чем сам по себе. И опять же это свойственно не только человеку, но и животным. Оленя может

испугать и дуновение ветерка, принесшего незнакомый запах, то есть некий сигнал опасности, идущий непосредственно из окружающего мира. Но этого же оленя испугает и настороженная, выражающая неведомую опасность поза другого оленя, то есть некое чувственное отражение мира другим субъектом.

Между мальчиком, передавшим невыдуманную встречу с волком, и верующим, передавшим древний вымысел, принципиальной разницы нет, оба носители субъективизма.

Тот, кто глядит на мир через искусство, всегда должен помнить, что видит этот мир через другую личность. А потому и не следует удивляться, что мир сквозь такую призму грешит против объективности.

И. Эренбург в своей книге «Люди, годы, жизнь» сообщает следующий разговор с Матиссом:

«Во время последнего сеанса он много говорил об искусстве. Позвал молодую женщину, Л. С. Делекторскую, которая помогала ему в работе над картонами: «Принесите слона». Я увидел негритянскую скульптуру, очень выразительную,— скульптор вырезал из дерева разъяренного слона. «Вам это нравится?» —спросил Матисс. Я ответил: «Очень».—«И вам ничего не мешает?»— «Нет».— «Мне тоже. Но вот приехал европеец, миссионер, и начал учить негра: «почему у слона подняты вверх бивни? Хобот слон может поднять, а бивни — зубы, они не двигаются». Негр послушался...» Матисс снова позвонил: «Лидия, принесите, пожалуйста, другого слона». Лукаво посмеиваясь, он показал мне статуэтку, похожую на те, что продаются в универмагах Европы: «Бивни на месте. Но искусство кончилось».

У слонов бивни не подымаются, это противоестественно, но не для человека, наблюдающего слоновью ярость, быть может, находящегося в непосредственной опасности. Человек видит лишь признаки ярости — растопырены уши, вздернут хобот, открыта пасть — все в движении, искажена каждая частица, каждая черта, и неподвижные, неизменившиеся, оставшиеся в спокойном состоянии бивни, самая опасная, самая угрожающая часть тела слона,— противоестественны с точки зрения неуравновешенного, пораженного грозящей яростью наблю-

дателя. Художник, оставивший бивни в неподвижности, может убить впечатление ярости, а значит, не передаст свое чувство, не создаст правдивого произведения.

«А мы, художники, знаем, что бивни могут подыматься...» Знают потому, что умеют переноситься из уравновешенного мира в мир неуравновешенный. Там все перерастает трезвые нормы — расстояние до волка сокращается, закрепленные к черепу бивни подымаются, жена, изменившая мужу, бросается под поезд, ревнивец не ограничивается письмом в партком или профком, а душит невинную возлюбленную!

Мы одинаково верим автору «Гулливера у лилипутов» и автору «Робинзона Крузо», хотя отлично знаем, что события, развертывающиеся в первом произведении, не могли быть на земле, а во втором — могли, даже в каком-то измененном виде бывали в свое время. Мы можем вместе с героями сказок «Тысячи и одной ночи» искренне переживать фантастические приключения, хотя рассудком понимаем невозможность существования какой-нибудь птицы Рокк. Для искусства важна в первую очередь достоверность чувств, а не достоверность фактов.

Становится ясной вся несостоятельность утверждения Пикассо, что искусство — ложь. Нелепо мерить время тоннами и килограммами, а массу — часами и сутками. Пикассо именно так и поступает, измеряя искусство совершенно чуждой ему мерой — степенью научной истины.

КАКАЯ ГОРА ГОРИСТЕЙ?

До конца ли мы выяснили с Тобой, что такое правда в искусстве. Нет, не совсем. Вспомним, что нам постоянно приходится слышать: «Такое-то произведение показывает типичные характеры, такое-то — нетипичные». То есть в одном случае изображено наиболее распространенное в жизни, характерное, а значит, наиболее правдиво отражающее жизнь, в другом — недостаточно характерное, случайное, не отражающее жизнь в полную меру, тем самым грешащее против правды.

Казалось бы, бери, художник, то, что встречается на каждом шагу, с чем постоянно сталкивается сам зри-

тель, что является нормой, а никак не исключением, бери и показывай, будешь правдив!

Но мы только что убедились: художник может в своем произведении показать не только широко распространенное, но даже то, что и вообще-то не встречается в жизни, при этом искусство такого художника не грешит против правды. Никто не осмелится упрекнуть во лжи автора бессмертного «Дон-Кихота», но так ли уж характерна сверхэкспансивная натура героя этого романа, самозабвенно воюющего с ветряными мельницами? На свете куда больше уравновешенных людей, а искусство занимается неуравновешенным миром сильных чувств, далеких от каких-либо норм и ограничений. Как все это совместить с требованиями типичности?

Представим, что трезвого ученого и эмоционального художника попросили: дайте наглядный образец, что такое гора?

Для ученого низкие и пологие, чуть возвышающиеся над равниной горы не слишком характерны, есть много гор выше. Ученого могут поразить самые высокие горы, но он трезв и объективен в своей оценке, именно потому, что эти горы поразили его своей высотой, говорит за то, что их высота из ряда вон выходяща, горы не обычны, а исключительны, потому достоверного представления о горах вообще дать не могут, есть много гор ниже. Ученый остановится на среднем варианте — горы не слишком высокой и не слишком низкой, одинаково удаленной как от той, так и от другой крайности, поэтому он и берет ее за наглядный образец.

На художника пологие, едва подымающиеся над равниной горы не произведут впечатления. Горы повыше и покруче — произведут, но, наверно, не так сильно. Зато самые что ни на есть высокие и крутые, уходящие вершинами к облакам, вызовут самые яркие впечатления, самое сильное чувство. И художник знает, что раз он сумел испытать сильное чувство от таких гор, то непременно испытают и другие. И он заявит: вот гора, которая меня поразила больше других, ее главный признак — высота — самый наглядный, самый яркий из всех виденных мной гор, а потому эта гора — самый яркий представитель, только по ней могу мерить другие горы, ее возьму за образец, за характерный тип.

Термин «тип» (от греческого «типос» — отпечаток,

образ) пришел из науки, введен в 1816 году для классификации животных по сходными признакам (главным образом нервной системы). Типично то, что несет в себе эти сходные, характерные для данного вида признаки.

Примерно в том же смысле употребляют «типичное» и в искусстве — индивидуальное, несущее в себе общие для данной группы индивидуальностей признаки, а никак не исключительные, не отклоняющиеся от общей нормы.

Но в нашей-то истории гора поразила художника как раз тем, что она исключительна по высоте. Наглядным образцом обобщения была бы другая гора, выбранная ученым. Ее высота не отклоняется от средней нормы, большинство гор примерно столь же высоки. Значит, выбор ученого и есть пример типичного. Но раз такая гора не подействовала на воображение художника, то можно ли ожидать, что подействует на зрителя?

Обратимся к конкретным произведениям, возьмем классический образец реалистического искусства — роман «Анна Каренина» Л. Толстого.

Все ли типично в этом романе? Нет, в первую очередь сам образ Анны Карениной — отступление от типичности. Тысячи жен изменяли своим мужьям, при этом испытывали и презрение со стороны окружающих, страдали, разрывались в противоречиях и т. д. и т. п. Типичная для общества ситуация? Да, вполне. Тысячи жен, но можно с уверенностью сказать, что из этих многих тысяч весьма и весьма немногие дошли до такой степени страданий, душевных мук, так сильно были разрываемы противоречиями, что решились на самоубийство, бросились под поезд. Типично это? Нет, куда типичнее в таком конфликте личного с общественным обычная развязка — успокоение женщины с новым или старым мужем. А что значит показать Анну Каренину с такой развязкой? Это значит снизить страстность ее натуры, сгладить противоречия, смягчить трагичность положения, словом, из незаурядного создать заурядное, свести до типической нормы. И образ Анны утратил бы свою художественность, и само произведение уже не действовало бы с такой эмоциональной силой?

Гамлет типичен? Ой, нет! Тем-то и значителен для нас принц Датский, что это исключительная, далекая от

всяких норм, всякой заурядности личность. И Отелло не типичный ревнивец, а особенный.

Роман «Война и мир», казалось бы, населен целой армией высокохудожественных и вовсе не выходящих из рамок типичности образов. Николай Ростов, князь Василий, Анатоль Курагин — не Гамлеты и не Отелло. И они не совсем типичны, потому что живут и действуют не в типичной, а в исключительной обстановке времени войны 1812 года. Из истории России Лев Толстой мог знать только два периода, сходных по масштабам и трагичности с войной 1812-го: начало татарского ига и смутное время, связанное с Лжедмитрием. Время и обстановка исключительны для России — падение Москвы, все слои общества переворошены, народ поднимает голову, то, что раньше казалось значительным, становится неважным, заурядное оказывается значительным. А такая обстановка просто не может не сказаться на героях романа, нетипичность времени отражается на их поступках, их поведении — одни становятся возвышенно нетипичными, ничтожество и низость других на фоне общих бедствий выглядят вопиюще нетипичными. Когда приходит «типичное» время с детскими пеленками, то и сами герои становятся типичными, но... сразу тускнеют в глазах читателя, им не помогает даже мастерство великого писателя. К счастью, тут-то и кончается роман.

Да и нужна ли типичность в искусстве? А если нужна, то в каком виде?

Вернемся вновь к примеру с горами. Отметим, что пристрастный взгляд художника не во всем отличается от взгляда ученого, в чем-то они совпадают. Как тот, так и другой в поисках наиболее типичной горы руководствовались одним — высотой, тем, что, собственно, и отличает любую гору от остальной пересеченной местности.

Высота — основной признак, присущий всем горам без исключения, некое общее характерное свойство. Оказывается, художник вовсе не избегает общих признаков, напротив, выделяет среди прочего самое характерное, руководствуется им. Ему простой горы мало, даешь самую гористую, всем горам гору, не типичную, а сверхтипичную!

Для ученого, что сверх, то уже отход от типичности, «сверх» несет в себе элемент исключительности.

Художник же хватается за эту исключительность характерного для всех признака — нагляднней, ощутимей, сильней воздействует на органы чувств.

Чувственно ощутимей не что-нибудь, не случайное, а то, что определяет все горы вообще. Ты почувствовал общий признак, значит, выделил его из других — случайных, второстепенных, нехарактерно наносных,— значит, невольно совершил для себя некое обобщение.

Наш умозрительный художник выбрал исключительно высокую гору. Л. Толстой в романе «Анна Каренина» выбрал не простую женщину, а исключительную по своей натуре, Достоевский в «Преступлении и наказании» построил все не на простом убийстве, а на исключительном по характеру, а разве «Давид» Микеланджело «нормально-простой» молодой человек — нет, некое исключительное воплощение силы и молодости!.. Обратись к любому выдающемуся произведению, всюду увидишь пристрастное стремление художника показать характерное в исключительном виде.

А что, если художник будет добросовестно точен, показывать характерное таким, как есть, не выделяя его, не подавая в исключительном виде?

Предположим, толстовский мальчик, изображая эпизод встречи с волком, будет с одинаковой добросовестностью рассказывать обо все, что имело место во время встречи,— о самом волке, о деревьях, растущих кругом, о папоротниках под деревьями, о брусничных кочках и прочее и прочее. Характерно для людей испытывать страх перед волком, не перед деревьями, не перед кочками. А как раз волку-то в общей картине уделено столько же места, сколько любому предмету. Наиболее характерный объект страха не выделен, не поставлен в обособленное — исключительное — положение, теряется среди несущественных, нехарактерных подробностей. Слушателям в этом ворохе случайных деталей трудно уловить, что, собственно, так испугало мальчика. Да вопрос — испугало ли? Если он, мальчик, сумел разглядеть и запомнить деревья, кочки, пенечки,— значит, волк даже не занял все его внимание... Такой рассказ вызовет недоверие или недоумение вместо страха. Как ни парадоксально, но стремление к предельной точности отображения всего и вся превращается в неверность отображения.

И в самом деле, мы же никогда не воспринимаем мир с равнодушием зеркала, где все отражается одинаково отчетливо,— нет, мы всегда невольно что-то выделяем, что-то вызывает в нас сильные чувства, что-то слабые, а что-то и вовсе не замечается. Одинаково сильно чувствовать все нельзя!

Художников, которые с одинаковым усердием изображают и главное и второстепенное, характерное преподносят наряду со случайным, неодухотворенно копируют натуру, принято называть натуралистами. Они, одержимые предельной точностью передачи всего, что есть, невольно лгут зрителю.

Мы порой слишком догматически понимаем слова Энгельса, высказанные в частном письме к Маргарите Гаркнесс по поводу ее книги. «На мой взгляд,— пишет Энгельс,— реализм подразумевает, помимо правдивости деталей, правдивость воспроизведения типичных характеров в типичных обстоятельствах». Нужна типичность характеров, как и связанных с ними типичных обстоятельств, но если то и другое не будет заострено, не выделено до степени какой-то исключительности, реализма не получится, появится серенький натурализм. Авторы таких произведений будут оставаться в уравновешенно трезвом мире, математически точно передавать расстояние до волка, намертво закреплять бивни у разъяренного слона, трагедию изменившей женщины не доведут до самоубийства, сами не станут поддаваться чувству и другим не разрешат.

Так что же такое типизация в искусстве? Философский словарь объясняет нам: «Типизация — сложный процесс, представляющий собой взаимопроникающее единство двух противоположных моментов творчества: художественного обобщения и индивидуализации объективного содержания». Мудро и невнятно! Не проще ли сказать: типизация в искусстве — это характерное, доведенное до исключительности.

Ты вправе заметить, что исключительность — понятие растяжимое. Можно довести характерные признаки до такой исключительности, что от их характерности ничего не останется. Скажем, автор «Отелло» раздует ревность своего героя до столь исключительных размеров, что

этот герой задушит не только свою возлюбленную, а начнет самоисступленно душить всех направо и налево. Тут ревность перерастает в патологию, становится исключительна не по размеру, а уже меняет свою сущность. Такая «ревность» вызовет не сострадание, а, скорее, отвращение.

Если мальчик сообщит своим слушателям, что до волка было не пять метров, а пятьдесят сантиметров, слушатели не поверят ему — не характерно, чтоб волк так близко подпустил и не искусал.

Художник имеет право усиливать характерное, изменять его количественно, но эти количественные изменения не должны перерастать в качественные.

Кстати, знать меру количественных изменений присуще не только искусству, но любой деятельности человека. Конструктор не может увеличивать крылья самолета сверх всякой меры, иначе самолет вообще не полетит, количественные изменения характерной части изменят качественную суть целого. Везде и всюду человек придирчиво следит за нормой количества, устанавливает допустимые отклонения. Любой технический справочник — не что иное, как свод законов, охраняющий неприкосновенность качества от посягательств количественного накопления.

В искусстве не может быть справочников и узаконенных стандартов, потому что оно имеет дело с бесконечно многообразной, вечно изменчивой, материально выраженной и духовно отраженной жизнью. Нельзя даже рассчитать, какому эмоциональному поводу художник посвятит свой труд, как нельзя предусмотреть, какими приемами он воспользуется. Единственным «стандартом» для художника является его «Я». Что на меня сильно действует, то должно действовать и на других.

Жизнь, пропущенная через «Я» художника, может вовсе не напоминать то, что нас окружает, но при этом не утрачивает своей типичности.

Например, Салтыков-Щедрин заставляет своих глуповцев ловить сетями солнечные лучи. Что это? Тут заострения доведены до такого исключительного уровня, что утеряли, казалось бы, какие бы то ни было характерные черты реальной действительности. А тем не менее мы не осмелимся бросить в лицо великому сатирику: врешь,

братец, сетями ловить свет солнышка не принято, таких дурачков в жизни не встретишь — не типично!

Задолго не только до появления «Истории города Глупова», а наверняка задолго до появления первой письменности для людей уже было характерно изменять реальность до нелепицы, вызывая этим то добродушный, то саркастически злой смех. Свойство это в человеческой жизни отнюдь не исключительное — типичное, как типично для людей гиперболизировать действительность, обыденное превращать в сверхъестественное.

Стой, солнце, над Гаваопом,
И луна над долиною Аиалонскою!

Мы уже говорили, что действительность — не только та незыблемая земля, по которой мы шагаем, не только материальные вещи, которые нам мешают или помогают жить, действительны не только наши трезвые отношения к этим вещам, конкретным явлениям, друг к другу, а и отношения с иной, вовсе не трезвой окраской, приводящие к фантастическим вымыслам, гротесковым искажениям, духовным миражам.

Не имеющие подобия в природе образы мифических героев, чертей, ведьм, вурдалаков — действительность уже потому, что они, эти плоды человеческого измышления, в неменьшей степени могут вызывать у нас чувства, чем реальные вещи. Никогда не существовавшая русалка способна стать причиной не менее сильного настроения, чем существующая во плоти поэтическая березка, смотря, как они будут выражены.

Наша действительность не ограничивается миром реальных вещей, наше искусство — рамками реализма.

НОВЫЙ ГОСТЬ В СТАРОМ НАРЯДЕ

Думается, Ты и без меня давно знал, что исключительное, из ряда вон выходящее вызывает у Тебя более сильное — тоже по-своему исключительное — чувство.

К привычным, часто попадающим в сферу наших ощущений вещам мы приобретаем некий иммунитет. Чем чаще они там попадаются, тем меньше на нас действуют, пока, наконец, не перестают совсем замечаться.

И опять же, это свойство всего живого. Если бы мы с одинаковой силой реагировали на знакомые и незнакомые явления, то наша жизнь превратилась бы в кошмар. Все задевает, все вызывает чувственные реакции, нам бы пришлось тратить массу энергии на восприятие того, что уже известно. Да и что известно, что неизвестно — мы бы не смогли тогда отличить, все одинаково привычно и непривычно, мы просто начисто утратили бы способность познавать окружающий мир.

Каждый новый объект для нас — некая исключительность среди привычного. И, наверное, то искусство более действенно, которое несет в себе наибольшее количество нового для нашего восприятия. Недаром же выражение «новаторское искусство» употребляется, как правило, в похвальном смысле, «традиционное искусство», то есть — повторяющее что-то прежнее,— уже не столь похвально, и совсем убийственно звучит избитое, ходульное, обветшалое искусство — старое, распространенное, набившее оскомину.

Значит, чем новей — тем лучше?

И опять же, не так-то все просто.

Предположим, Ты никогда не интересовался астрономией. Для Тебя сообщение, что расстояние от Земли до Солнца равняется 150 000 000 километров,— ново.

Разреши спросить, что Ты почувствовал, услышав эту новую для Тебя информацию? Скорее всего, ничего, в лучшем случае нечто смутное: далеконько светило от нас.

Но если я Тебе объясню, что на поезде, делающем около ста километров в час, пришлось бы «пилить» до Солнца свыше ста семидесяти лет, тут Ты уже как-то начинаешь ч у в с т в о в а т ь расстояние.

В первом случае двузначная цифра с семью нолями не связывается ни с чем таким, что Ты мог бы ощутить, что в Тебе когда-либо вызывало чувства. Эта цифра настолько нова, что лежит вне Твоего чувственного опыта, ничто Тебе не напоминает, ни с какими ощущениями у Тебя не связывается.

Мы только что говорили: привычное, уже чувственно знакомое не столь остро воспринимается, как новое, незнакомое. Но остро воспринимается новое с р е д и привычного, и не просто с л у ч а й н о среди, а, как правило, находящееся в с в я з и с привычным. Мир, окружающий

нас, никогда не бывает скоплением независимых вещей, а всегда связанных друг с другом, взаимозависящих друг от друга. Чувствуя старое, привычное, мы вместе с ним чувствуем и связи, а через них обретаем способность почувствовать и новое, уяснить для себя его место в мире, его сущность. Любой процесс познания, будь то рациональный или чувственный, идет неизменным путем от старого, уже известного, к новому, с ним связанному. А когда новое появляется перед нами без всяких связей, совершенно обособленно, «голеньким», то ощущать-то его органами чувств мы можем, но такое ощущение нам, собственно, ничего не дает, это наше ощущение не связывается с другими нашими ощущениями, находится вне нашего опыта и наших потребностей, интереса и внимания к себе вызвать не может, как не может быть и воспринятым.

Так для Тебя, совсем не интересовавшегося астрономией, девятизначная цифра ни с чем не связана, явление вне Твоей жизни, а потому и не воспринимается.

Для того, чтобы Ты сумел ее воспринять, я должен поставить ее в тесную связь с чем-то старым, уже известным Тебе. И я связываю умозрительное расстояние до Солнца с поездом. Что такое поезд, Ты хорошо знаешь, и скорость 100 км/час для Тебя вполне ощутима, на обычном пассажирском поезде Ты передвигался бы тише, 100 км/час — скорость экспресса. И на экспрессе нужно ехать 170 лет! Срок, не укладывающийся в рамки твоей жизни. 170 лет назад еще не было на свете Твоего отца и Твоего деда. Пушкину исполнилось всего четыре года, а первому поезду с неуклюжим паровозом еще только предстояло двинуться по планете. Как Тебе после этого не почувствовать некое почтительное удивление. Новая для Тебя информация стала причиной для возникновения нового чувства только потому, что я это новое облек в старые одежды.

Чем новее — тем лучше? Да нет, новое бессмысленно без старого, как будущее без прошлого.

Представим, что некий художник-сверхноватор создал картину, которая н и ч т о не напоминает, не несет н и ч е г о знакомого, того, что прежде вызывало какие-то чувства у зрителя. Ничто не способно и вызвать нечто, между художником и зрителем не произойдет общения.

Вспомни, как Ты чувствуешь себя в театре, когда идет пьеса на незнакомом для Тебя языке. Это не значит, что в картине и пьесе нет такого, что способно вызывать у Тебя чувство. Есть, но не донесено. В данном случае телеграмма отправлена, но испорчена линия связи, до адресата не дошла, общение не состоялось.

Художник обязан нести зрителю новое, если он будет потчевать старым, давно известным, то искусство такого художника будет походить на анекдот с бородой. И чем новее, пожалуй, тем лучше, но только изволь, художник, преподнести это новое через старое, привычное.

Чем новее, тем лучше не обязательно предполагает нечто абсолютно новое, революционно новое, не имевшее прежде прецедента. Часто, казалось бы, хорошо известная нам вещь, увиденная с иной позиции, в ином ракурсе, открывает нам в себе совершенно новые, не замеченные прежде стороны.

Отнюдь не нов, например, знаменитый любовный треугольник в литературе, но сколько великих произведений построено на нем. Или вспомните, как преподносит Евгений Шварц образы старых сказок. Его ветхозаветные короли для нас новы, потому что преподнесены под неожиданным ракурсом. Пироги-то старые, да начинка новая.

То, что преподносит нам художник, называется *содержанием* произведения, то, в каком виде он преподносит, называется *формой* произведения. Сейчас мы можем сделать немаловажный вывод: *содержание в искусстве стремится к новому, форма — к старому, привычному.*

Но это вовсе не означает, что форме присущ консерватизм, что ей чужды какие-либо изменения. С каждым новым содержанием появляется и соответственно новая форма.

В примере с расстоянием от Земли до Солнца новое космическое содержание требует от нас и нового, неожиданного использования знакомого всем поезда. Мы его отправляем не в обычный путь, скажем, от Москвы до Бердичева, а через величественные просторы Солнечной системы. *Использование для формы старого материала вовсе не исключает ее новизну.*

Только характер нового в форме появляется не произвольно, он определяется содержанием.

Бывает, что художник, создавая новую форму, сумел показать какие-то новые стороны вещи или явления, значит, он тут стихийно «набрел» на новое содержание.

Форма, не считающаяся с содержанием, живущая сама по себе, столь же невозможна и бессмысленна, как слово без значения, как сигнал без информации.

К чему же мы пришли? Да к общеизвестному, к тому, что стало притчей во языцех,— соответствию содержания и формы.

Мы знаем, что художник не может передать свое чувство так, непосредственно. Он передает не само чувство, а причину, его породившую, моделируя ее, то есть облекая в какую-то форму.

Теперь мы знаем, что материалом для формы, несущей новое, еще не прочувствованное содержание, художник должен использовать лишь то, что уже привычно для восприятия зрителя, знакомо ему.

А из этого вытекает и отношение к привычному, традиционному искусству. Если художник, создавая произведение, не считается с тем, что создали когда-то его предшественники, то он обворовывает сам себя, так как традиционное, привычное зрителю искусство неизбежно помогает почувствовать искусство новое. Художник, пренебрегающий традицией, не использует с максимальной возможностью духовный багаж зрителя, так сказать, выращивает свое растение на сильно обедненной почве.

Искусство — процесс общения, процесс не эпизодический, а постоянный, длящийся с незапамятных времен, в котором одно поколение передавало свой обретенный эмоциональный опыт другому поколению. Как ученый не в состоянии отмахнуться — знать не хочу того, что открыли до меня!— так и художник, как бы он ни афишировал свое новаторство, не может не считаться с традициями, до него заложенными. Не может потому, что будет выброшен тогда из общего процесса.

Когда мы слышим выражение: такой-то смело порвал с традициями, то не следует понимать его буквально — со всеми традициями, со всем прошлым. Скорее всего,

этот дерзкий талант порвал с какой-то малой частью обветшавших, самих себя изживших традиций, но продолжает вовсю пользоваться накопленными до него традиционными запасами прошлого.

Утверждение: нельзя не считаться с традицией — не оригинально. Его можно было бы и не повторять, если бы многие не оглядывались с опаской: как бы тут не оправдать рутинеров, мол, виноваты в тупой невосприимчивости зрителей сами новаторы, которые недостаточно традиционны, а значит и недостаточно понятны.

Взять хотя бы наиболее яркий факт из истории искусства — появление импрессионистов... Не получится ли, что издевательский смех и гнилые яблоки, летевшие в новаторские картины на первых выставках импрессионистов,— вовсе вина не обывателей, а самих художников? Они сами себя подвели, порвали с традицией, не пользовались привычным, тем самым сеяли на обедненной почве, оказались непонятыми.

Трагедия непонятого гения обычна в мире искусства, но никогда она не является доказательством того, что гений рвет с традицией, не пользуется трудом своих предшественников. Сам факт появления гения говорит о резком продвижении вперед, о скачке. Азбучно: искусство, как и сама жизнь, не развивается равномерно, не движется с неторопливостью равнинной реки, становясь все краше и величественнее. Искусству свойственны (быть может, еще сильнее, чем жизни) качественные скачки. Таким скачком было появление импрессионистов. Нет нужды разбирать сейчас причины этого скачка, достаточно согласиться — он был, искусство сделало резкий рывок. И просто невозможно допустить, что все могли поспеть за этим скачком. Многие остались на том берегу, исхоженном, утоптанном, знакомом до оскомины.

Тут даже дело не в том, что для отсталого зрителя формы, созданные художниками, были чувственно не воспринимаемы. Не воспринималось, скорее, содержание, повод, служащий основой для создания моделей.

Представим на минуту, что мы задались целью объяснить расстояние до Солнца какому-нибудь жрецу-солнцепоклоннику, для кого наше светило было одухотворенным божеством. Для него покажется оскорбительным само наше намерение. В показе расстояния до

Солнца, как до любого неодушевленного предмета, жрец увидит посягательство на божественное. Он не примет сам повод для конструирования модели, и, уж как ни наряжай удивительное расстояние в знакомые для жреца одежды, все равно не вызовешь удивления. Тут не разрыв с традициями, а нечто большее — чудовищный разрыв в сознании.

Что-то похожее произошло и между импрессионистами и обывателями. На протяжении не одного столетия в картинах художников фигурировали лишь материальные вещи и люди, преимущественно возвышенные античные и библейские герои. Цвет и свет выполняли лишь скромную подсобную роль, были не целью изображения, а средством достижения цели. И вот вдруг эти цвет и свет материализовались на полотнах, стали самостоятельными «героями», содержанием произведения, а средством для их выражения оказывались люди, природа, вещи. Согласиться на такое — это не просто изменить вкусы, это пережить какой-то переворот в сознании. Такой переворот слишком серьезное явление, чтоб его можно было произвести с помощью одних лишь картин. Искусство влиятельно, но нельзя же преувеличивать его влияния. Вся жизнь должна подвести к этому. И захваченный врасплох обыватель, еще не подготовленный своей жизнью, отказался понимать импрессионистов. И результат — издевательский смех духовных недорослей, гнилые яблоки...

Художник должен стремиться быть понятным и простым для своего зрителя, но может ли это стремление идти за счет упрощения того, что он собирается показать,— обеднения содержания? Мы в свое время еще поговорим об этом.

СЕКРЕТ АБСТРАКТНОСТИ

Мы познакомились с тем, как в искусстве «неощутимое» передается через «ощутимое»: девятизначная цифра километров — через грубо зримый поезд, абстрактное — через конкретное. Но это свойственно не одному искусству.

Мы не можем ощутить, скажем, понятие «три», не можем и передать его, если не воспользуемся неким кон-

кретным символом этого понятия, будь то арабская цифра — 3, римская — III, слово написанное или произнесенное. Само по себе понятие «три», оторванное от материальных вещей и конкретных явлений,— три горы, три овцы, три события,— чистая абстракция, которая воспринимается нашими органами чувств только через посредство чего-то конкретного, что можно увидеть, услышать, осязать.

Абстрактное неощутимо — казалось бы, очевидно. Но нет, нам возражают, и не кто-нибудь, а специалисты в этом вопросе. Вот, например, что говорит «Философская энциклопедия» в статье «Абстракция»: «Часто абстракцию понимают как синоним «мышленного», «понятийного», в противоположность чувственно-созерцательному, наглядно-данному. Однако абстракция может быть и не только понятие, не только мысленное отвлечение, но и чувственно-наглядный образ (например, геометрический чертеж, схема или произведения, т. н. абстрактной живописи)».

Оставим до поры до времени в стороне «произведения т. н. «абстрактной живописи», остановим свое внимание на геометрическом чертеже, который, по мнению автора этих строк, есть абстрактный чувственно-наглядный образ.

Возьмем для примера всем известную теорему: «Квадрат гипотенузы в прямоугольном треугольнике равен сумме квадратов катетов», вспомним и знакомый нам чертеж — те самые, прославленные среди школьников «пифагоровы штаны». Этот чертеж — абстракция? Но по сравнению с чем? По сравнению, скажем, с иллюстрацией к басне «Кот и повар» — да. Но на каком основании делается такое сравнение столь разнородных, лежащих в разных областях явлений? Почему произвол не распространить и дальше, не сравнить этот чертеж с живой коровой или мертвым, но весьма конкретно-вещественным подойником? Не лучше ли его рассматривать в рамках того процесса, составной частью которого он является.

Доказывается отвлеченная мысль: «Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов». Для того чтобы лучше его понять, рисуется чертеж. И этим мы вовсе не абстрагируем и без того абстрактную мысль, а напротив, конкретизируем ее, представляем в виде наглядно-

го рисунка — наглядного, доступного нашим органам чувств! Выходит, что этот чертеж, столь абстрактный по сравнению с окружающими нас вещами — коровой на лугу, пепельницей на столе, иллюстрацией в книге — создан ради конкретизации чего-то еще более абстрактного. А уж если такая схема выполняет конкретные задачи, то называть ее абстрактной столь же неосновательно, как хирургическую операцию — садистским актом. Автор статьи в данном случае вырывает явление из среды, приклеивает характеристику по чисто внешним признакам — раз выглядит абстрактно, то так оно и есть. Детская истина: внешний вид часто обманчив.

Абстрактное, понятийное — не чувственно-наглядно, но это не значит, что конкретное непременно должно обладать этим качеством. Мысль в нашей голове может существовать сама по себе, не облеченная в слова или в какие-то символы. Чтобы ее передать, мы должны «одеть» ее в ощутимую форму. Но может же такая невысказанная мысль быть предельно конкретной: «Чайку бы попить...» Конкретность? Да! Но почувствовать ее можно не иначе, как через посредство другой конкретности.

Чертеж теоремы Пифагора выполняет конкретную задачу, но по сравнению с земельным участком геометрической конфигурации этот чертеж — отвлеченная абстракция. «Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов» — абстракция, но в сложных математических доказательствах может конкретизировать что-то еще более абстрактно-отвлеченное. Между абстрактным и конкретным жесткой границы нет: как то, так и другое — относительно. $2 \times 2 = 4$ — казалось бы, чистейшая абстракция, но она давно стала для нас нагляднейшим примером предельной простоты: «Это просто, как дважды два четыре». Мы можем употребить и другое, равнозначное по смыслу, выражение: «Проще пареной репы». Пареная репа тут обрела некую отвлеченность, стала более понятийно-общей, абстрактной, «дважды два» опустилось до конкретности. Конкретное в нашем сознании способно переходить в абстрактное, абстрактное — в конкретное.

За мыслью прочно признано право быть абстрактной. Выражение «отвлеченная мысль» привычно для любого и каждого, не «отвлеченное чувство» режет слух, нахо-

дится вне закона. Если его и употребляют, то большей частью иронически, чтобы специально совместить несовместимое. Отвлеченное чувство воспринимается как расплывчатость чувства, недостаточность его, чуть ли не отсутствие такового.

Но вдумаемся, разве мысль «отвлеченней» чувства по своей природе? Мысль не передашь непосредственно, а чувство?.. Я уколол себе палец иголкой, вполне конкретным предметом, испытываю боль, воздействие предмета стало принадлежностью моей психики. И это мое простейшее, казалось бы, конкретное из конкретных чувство нельзя ощутить органами чувств кому-то другому. Другой ощущает не мою боль, а признаки боли, мной проявляемые,— гримаса на лице, выкрик... Невысказанная мысль и непроявленное чувство одинаково неконкретны для окружающих.

Как мысль мысли — рознь, одна может быть простенькой, сугубо конкретной, другая сложной, весьма отвлеченной, так и чувство столь же может быть отлично от другого чувства уже потому только, что наша способность чувствовать тесно связана с сознанием.

Когда-то утверждение: Земля имеет шаровидную форму — противоречило чувственному восприятию любого и каждого, все ощущали незыблемую Землю плоской. Теперь же большинство людей воспринимает округлость Земли как нечто вещественно-конкретное, не противоречащее личным ощущениям. Кто посомневается, что тут человек не обрел способность отвлеченно чувствовать.

Любая вещь в мире, любое явление как-то осмысляется нами. И если мы чувствуем вещь, то вместе с ней непременно должны чувствовать и мысль с ней связанную. Мысль стала одним из важнейших — если не самым важным — источником эмоций, а значит, и предметом выражения в искусстве. Без мысли искусство просто не может существовать. Даже те произведения, которые осуждаются как очевидно глупые, тоже пользуются какими-то непрезентабельными мыслишками.

Разные мысли бродят по миру, и чувства тоже разные, связать их так, чтобы эти связи между мыслью и чувством отвечали интересам рода человеческого,— наверное, самая насущная и самая высокая задача на нашей планете.

Мысль сама по себе не ощутима, она может быть передана в искусстве только через что-то конкретное, хотя бы через чувственно-наглядный образ поезда. Но только ли образы зримых вещей служат средством выражения мысли? Нет, ощутить мысль может помочь другая мысль, уже знакомая, привычная, ставшая какой-то конкретностью для зрителя.

Вот хрестоматийный пример:

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит.
Однако ж прав упрямый Галилей.

Обрати внимание, для того чтобы показать весьма абстрактную мысль относительности движения, Пушкин наряду с образной картинкой спорящих «мудрецов брадатых» призвал на помощь другую мысль — о вращении земли, настолько известную и доступно-конкретную, что даже не пришлось ее излагать целиком, достаточно намека на нее и громкого имени великого ученого, которого история связала с этой общеизвестной мыслью.

А в результате вызвано определенное настроение, которое не назовешь ни радостью, ни удивлением, ни горем, оно настолько сложнее этих простых чувственных реакций, насколько мысль об относительности движения сложнее бытовых мыслишек вроде: «Неплохо бы сейчас пропустить чайку». Этот комплекс чувств так отвлечен от конкретности, что не сразу поддается определению, мы даже не подыщем названия, что именно мы тут испытываем, а это может создать у нас впечатление неясности, неопределенности чувства.

Самое время поговорить об одном бытующем заблуждении. Конкретность часто смешивается с определенностью, тогда как абстрактность — с расплывчатостью, невнятностью. Тут нас подводит наш не слишком строгий житейский опыт. Обычно отвлеченное, абстрактное надвигается на нас из науки, именно наука чаще всего преподносит нам такие понятия, которые недоступны нашим непосредственным ощущениям, а потому кажутся невнятными, смутными, расплывчатыми. А в свою оче-

редь и невнятное по причине своей расплывчатости легко создает впечатление некоей универсальности, применимости не к какому-то одному конкретному объекту, а ко многим, что и принимается за обобщение, а значит и за «абстрактность».

На самом же деле абстрактность ничего не имеет общего с невнятностью. Напротив, необходимость абстрагироваться от конкретных вещей вызывается стремлением наиболее точно понять их, более точно, чем мы это можем сделать нашими органами чувств. Мы «на глазок» лишь весьма и весьма приблизительно можем определить прочность моста или тавровой балки, но инженер с помощью абстрактных формул определит это куда точней.

Как отвлеченная мысль не теряет точности, так и отвлеченное чувство не утрачивает силы и определенности.

Вижу, нюхаю букет — испытываю удовольствие. Тут связь прямая и короткая, а чувство простое и конкретное.

Вижу букет — вспоминаю прошлое, блуждаю по всей прожитой жизни, переживаю ее заново: «Как хороши, как свежи были розы!» Длинные, переплетенные друг с другом ассоциативные связи, а от этого и чувство мое обширно и сложно, шутка ли, раскинулось на всю жизнь, а если я еще свою жизнь приму за образец для всего человечества, то моя грусть, моя тоска, того и гляди, обретут всечеловеческий характер. При этом мое широкое чувство не обязательно должно расплываться в нечто смутное, размытое, скорей всего, оно окажется более сильным, а значит, и более определенным, чем простенькое удовольствие при виде цветов.

Не лучше ли на наглядном примере проследить, как художник идет от конкретного чувства к чувственной абстракции. Возьмем другое стихотворение Пушкина.

Цветок засохший, безуханный
Забытый в книге вижу я...

«Вижу я» — конкретное чувство, вижу остатки некогда живой плоти, что-то задевается в душе, что-то еще неясное самому поэту. Конкретность далеко не всегда означает очевидность, она не исключает невнятности и расплывчатости.

И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя...

Уход от конкретного «вижу», отвлечение от него, но не произвольное, не анархическое — куда хочу, туда и лечу! — а подчиненное внутренней логике, отправной точкой которой явилось «вижу цветок засохший», что-то чувствую смутное, хочу отделаться от смутности, выяснить, что именно чувствую.

Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем?

Обрати внимание, чувство отвлекается от конкретности, а форма становится еще конкретней. В ней вещественные понятия — цветения, весны — и категорические, недвусмысленные, конкретные вопросы.

Но вот чувство достигает высот отвлеченности, идет эмоциональное решение необъятно общего, абстрактно-философского вопроса бытия и преходимости всего живого. И это умчавшееся от наглядной конкретности чувство выражено материально образной, осязаемо-конкретной формой:

И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?

Способность мыслить абстрактными категориями — величайшее человеческое достижение. Наверняка столь же великим обогащением человека является тесно связанная с абстрактностью мысли способность ассоциативно широко, отвлеченно, то есть абстрактно чувствовать.

Кажется, пришла пора нам повернуться лицом к так называемому, абстрактному искусству, которое, наверное, и появилось для того, чтобы вызывать абстрактные чувства, иначе зачем бы вывешивать столь громковещательную вывеску.

ПАРАДОКС АБСТРАКТНОСТИ

Художники-абстракционисты отказываются от конкретных форм, обращаются к формам, где ничто не напоминает нам те объекты, которые существуют в окружающем нас мире,— произвольные сочетания цветовых пятен, линий, геометрических фигур и прочее и прочее.

Мы знаем: художник не может передать само чувство, он в той или иной форме передает причину, его вызывающую. А эту причину абстракционисты преподносят в абстрактной оболочке.

Мы знаем и то, что сама по себе абстракция не воспринимается нашими органами чувств. Утверждение автора статьи в «Философской энциклопедии», что абстракция может быть чувственно-наглядным образом,— заблуждение. И то, что абстрактное понятие при определенных обстоятельствах способно представлять некую чувственную наглядность (например, в выражении: «Это просто, как дважды два четыре»), говорит лишь о том, что это, некогда абстрактное, тут лишилось характера абстрактности, перестало быть ею, превратилось в нашем сознании в конкретность. Но то, что для нашего сознания в данный момент, при данных обстоятельствах абстрактно, увы, нельзя почувствовать.

Обращаясь к абстракции, как к средству выражения, художники-абстракционисты пытаются исполнить заведомо невыполнимое: передать чувство посредством того, что невозможно почувствовать. Это столь же невыполнимо, как «пришить пуговицу к свисту».

Обращаясь к абстракции... Но на каком основании произвольные сочетания пятен и линий нужно считать абстракцией? На основании того только, что эти пятна-линии неопределенны, невнятны? Неопределенность, невнятность — отличительная черта абстрактности? Любой ученый возмутится этим. Абстракция, то есть «мысленное отвлечение от тех или иных сторон или связей предмета с целью выяснения существенных и закономерных признаков», применяется, собственно, для того, чтоб устранить неопределенность понимания, ликвидировать невнятность. «...*Все* научные (правильные, серьезные, не вздорные) абстракции, — говорит Ленин в «Философских тетрадях»,— отражают природу глубже, вернее, *полнее»*. Вряд ли кто решится здесь спорить.

Право же, художники-абстракционисты напоминают ту анекдотическую куму, которая, разбив одолженную корчажку, оправдывается: «Во-первых, я тебе эту корчажку вернула, а во-вторых, я ее в глаза не видела». Во-первых, само намерение заставить чувствовать через абстрактное нелепо, а во-вторых, абстрактность худож-

ников-абстракционистов ничего не имеет общего с абстрактностью. В лучшем случае у так называемого абстрактного искусства лишь видимость абстрактного, как у манекена в витрине магазина мод видимость человека.

Но Ты вправе мне возразить, что, глядя на абстрактные полотна, Ты испытываешь какие-то чувства, часто неподдельное удовольствие, удивление, легкую радость... А раз произведение вызывает определенные чувства, значит, это искусство.

Да, искусство. Произвольные сочетания цветовых пятен, линий, геометрических фигур, ничего привычного не изображающие, могут быть сами по себе гармоничны и красивы. Человек, уловивший такую гармонию и красоту, по праву может называться художником. Кроме того, произведения подобного рода должны привлекать наше внимание уже в силу своей непохожести на знакомые нам, примелькавшиеся предметы. Все кругом привычно, а это — нет, исключение из привычного. А мы знаем — на исключительное человек реагирует сильнее.

Но вот вопрос: отвлеченные ли чувства вызывают такие произведения? Поданное под маркой абстрактного, ничего не напоминающее нам знакомого, а значит, не задевающее нашего прошлого чувственного опыта, нашей жизни (как, скажем, задевает «цветок засохший»), вызывает лишь прямые, непосредственные чувства: увидел — умилился, нет никаких ассоциаций, виденное ни с чем не связывается из нашего прошлого, отвлекаться и ассоциировать не от чего. И, конечно, такое прямое чувство не может жить долго: вижу — испытываю нечто, отошел — забыл, след не глубок. Только ассоциации, тесно связанные с жизнью самого зрителя, живут долго, становясь его духовным багажом.

И такое искусство, способное вызывать непосредственные, несложные чувства,— вовсе не «изобретение» нашего века. Оно существовало на протяжении всей истории человечества. Сочетания цветовых пятен на тканях, ковры с затейливыми узорами, ничего конкретного не изображающие, геометрические узоры на фризах, способные радовать глаз, несущие в себе некую гармонию, доставляющую удовольствие,— все это было в обиходе еще в глубокой древности, по-своему служило человеку, украшало его жизнь. Только такое искусство называлось от-

нюдь не абстрактным, а прикладным, считалось весьма и весьма конкретным.

Всякое действие мы оцениваем по его результату. Если стихи Пушкина вызывают у нас глубокие отвлеченно-абстрактные чувства, то, наверное, и искусство этого поэта по праву можно считать абстрактным. Картины Кандинского, напротив, вызывают чувства без особых ассоциаций, не отвлеченные, прямые, конкретные, и такого рода искусство вовсе не абстрактно, а сугубо конкретно. Будем судить не по внешнему виду, а по существу. Unicuigue suum! — как говорили древние римляне. Каждому свое!

Получается парадоксальный вывод: конкретное искусство — абстрактно, абстрактное — конкретно. Право, я не стремился к хлесткой парадоксальности, она сама явилась ко мне незваной гостьей.

А музыка?.. — напомнишь Ты с ехидством.

Признаться, ох, как неприятно мне это напоминание, рад бы проскочить мимо — совершенно далек от музыки, не знаком, не восприимчив, не вправе судить. Но — все равно схватят за шиворот, ткнут носом: музыка считается наиболее абстрактным искусством, как ее совместить с конкретностью?

Что ж, попробуем порассуждать и о музыке — по аналогии с другими видами искусства. Уж если какие-то законы действуют в равной степени на искусство слова, изобразительное, актерское, то было бы крайне странно, чтоб музыка оказалась исключением, не подчинялась общим правилам.

Ученые считают, что около 70 процентов всей информации из внешнего мира приходит к нам через зрение. Человек доверяет больше зрению, чем слуху, зрительные образы для него более надежны, а значит, и более конкретны, чем слуховые. Потому искусство, созданное на слуховых образах, должно нам казаться более отвлеченным, менее конкретным, чем искусство, созданное на зрительных образах.

Но означает ли это, что музыка лишена вообще какой бы то ни было конкретности? Самая реалистическая, предметная живопись во многом абстрактна по сущест-

ву. Пейзаж на холсте уже некая отвлеченность от природной конкретности тем только, что создан на плоскости — условность, с которой волей-неволей мирится зритель. Верно ли, что в музыке меньше конкретного и больше абстрактного по сравнению с живописью? Скорей всего, ее конкретность и абстрактность своеобразны, не схожи с изобразительной.

Даже для меня, отличающегося чисто младенческой восприимчивостью в музыке, плясовой мотив — конкретность, помогающая как-то воспринимать характер того музыкального произведения, куда он входит составной частью. Плясовой мотив как бы выполняет роль того поезда, который помогает мне ощутить досель не ощутимое расстояние до Солнца.

Но и сам-то этот плясовой мотив не сразу для меня стал конкретным, когда-то я его впервые услышал, одновременно с конкретными действиями — вместе со зрительно-ощутимой пляской.

В музыке, мне кажется, как и в любом другом искусстве, абстрактное облекается в конкретную форму, только это музыкально-конкретное более абстрактно по сравнению, скажем, со зрительными или литературными образами. И не зря же музыка постоянно вступает в симбиоз с другими видами искусства — литературно-поэтическим (песни), танцевальным, театральным (опера). Выходит, что музыка ищет конкретности где только может.

Думается, нет оснований выделять музыку в разряд специфически абстрактного искусства, у нее все как у всех. Впрочем, предоставляю право доказать это или опровергнуть другим — сведущим.

Абстракционисты считаются антиподами натуралистов; казалось бы, между этими крайне противоположными направлениями ничего не может быть общего. Одни не признают никакой конкретности, другие конкретны до рабского подражания природе. И тем не менее, если вдуматься поглубже, как у тех, так и у других есть общее в своей основе.

Натуралисты скрупулезно копируют форму предмета, внешние признаки конкретности. Абстракционисты тоже занимаются слепым копированием внешних признаков,

но уже абстрактности. Натуралистам кажется, что, чем точнее, «похожее» передадут они внешний вид, конкретную оболочку вещи, тем сильнее они раскроют ее внутренний характер. Абстракционисты считают, что, чем похожее по внешнему виду они изобразят абстрактное, тем более абстрактный характер станет носить их искусство. По сути дела, как те, так и другие руководствуются одним принципом отображения — копированием внешних признаков. Один подход приводит и к однозначному результату — натуралисты передают мир не так, как он воспринимается человеком, лгут своим зрителям; абстракционисты, вместо абстрактных чувств наделяя зрителей конкретными, тоже не оправдывают своего назначения — лгут.

Между двумя столь непохожими крайностями — натуралистами и абстракционистами — лежит неисчислимое количество различных направлений, ответвлений, обособленных группировок, которые, каждое по-своему, пытались и пытаются обновить искусство, меняя лишь его внешний облик. Их нелегко даже перечислить, а разобрать — совсем непосильная задача. К тому же пришлось бы уйти от общих вопросов, утонуть в частностях.

Мне кажется бесспорным, что эти саранчой расплодившиеся по свету «новаторы», начиная от ветхозаветных декадентов, кончая каким-нибудь (уже устаревающим) поп-арт,— доказательство глубокого кризиса современного искусства.

Я верю — наших детей ждет искусство иное, не схожее с тем, какое мы знаем и любим. Казалось бы, не так уж и далек от нас по времени А. П. Чехов. Еще живы те, кто были его младшими современниками, и книги его для нас еще не утратили актуальной злободневности. Но, однако, как отличается тот мир, в котором творил Чехов, от мира нашего.

Чехову понадобилось почти три месяца «копно-лошадиного странствия», чтобы попасть на Сахалин, а мы теперь можем, утром проснувшись в Москве, вечером лечь спать в какой-нибудь сахалинской гостинице. Чехову бы в голову не пришло бояться тесноты на своей обширной планете, мы же этого ощутительно побаиваемся, не без тревоги говорим о демографическом взрыве.

Чехов и вообразить себе не мог общество, где в меньшинстве были бы крестьяне и рабочие-производители.

Но мы сейчас уже знаем страны, где каких-нибудь 12 процентов работают в сельском хозяйстве и успешно кормят все население. А солидные ученые, занимающиеся футурологией, нам сообщают, что «производством в 2000 году будут заняты только около 10 процентов трудоспособных людей. Более 75 процентов желающих работать будут заняты в административной сфере, в области просвещения и обслуживания».

Мы уже можем не выходя из дома наблюдать, как люди работают на поверхности Луны. А «достать Луну с неба» во времена Чехова означало как выражение самых бессмысленных претензий.

Думал ли Чехов, что человек когда-либо осмелится помечтать о победе над самой смертью. А мы мечтаем, и не без надежды: «Человек, по мнению многих ученых, сможет наслаждаться бессмертной жизнью...»

И уже совсем бы невероятными показались Чехову такие строки: «Биохимики уже всерьез подумывают о создании для особых условий работы, например в космосе, полумеханизированного «сверхчеловека» — полуробота, получеловека с охлажденной кровью, дыханием, управляемым насосами с электронным программированием и электронным мозгом, ведующим кровообращением и обменом веществ». «И сказал Бог: «сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему...»

Но изменился не только мир, сильно изменились мы сами вместе с нашими органами чувств. Мы теперь можем «пощупать» нечто неосязаемое — атом. С помощью электронного микроскопа увидеть молекулу. Можем даже вообще видеть то, что, казалось бы, не подлежит виденью, скажем, теплоту. Антенны радиотелескопов «слышат» шум галактик, удаленных от нас на миллиарды световых лет!..

И не может быть того, чтоб человек, живущий в ином мире, по иному чувствующий, не создал иное искусство.

Но как не изменится искусство, оно все равно будет своеобразным процессом общения, все равно художник станет вводить зрителя в неуравновешенный мир сильных чувств. И по-прежнему правда искусства будет не совпадать с научной истиной и характерное будет так же подыматься художником до исключительности, и ему,

художнику, стремящемуся быть понятым, придется лепить форму своих произведений не из абстрактных флюид, а из глины конкретности. Форма — плоть искусства, а дух не существует вне плоти!

ЗАВИСИМОСТЬ ХУДОЖНИКА

До сих пор мы с Тобой выясняли механизм общения, но почти совсем не затрагивали наших отношений. Попрежнему создается впечатление некой зависимости Тебя от меня. Не Ты мне, а я Тебе передаю свои чувства. Порой, казалось бы, влияние художника столь велико, что он заставляет зрителя верить, вопреки здравому смыслу, в двигающиеся бивни слона, в расстояния, заведомо не соответствующие действительности, в приключения в фантастической стране Лилипутии. «Над вымыслом слезами обольюсь...» Но вымысел может бросить не только в слезы, но и в неистовство, толкать на действия...

«Писатели — инженеры человеческих душ». Я — писатель, но меня коробит от этого выражения. Есть тут что-то оскорбляющее достоинство человека. В этой формулировке как бы заранее предполагается, что человек с его внутренним миром так доступно прост, так примитивен, что некий инженер сверху, с высоты своих знаний, своего обособленного положения, способен и обязан перестраивать по своему усмотрению его душу. Столь же оскорбляюще и другое, грешащее грубой технократической образностью, сравнение человека с бездушными винтиками и колесиками, опять же предполагающее отсутствие личной воли, стремлений, как бы созданное специально для управления тех, у кого воля и стремление присутствуют. Оба эти сравнения попахивают дурным, ницшеанским запахом «сильной личности», сдобренным вульгарным материализмом.

Впрочем, не так уж далеко ушли от этого взгляда и те, кто признает за талантом в искусстве некую магическую силу. Мол, только от таланта художника, и ни от чего более, зависит духовное влияние на зрителя. Ни обстоятельства, ни подготовленность самого зрителя не принимаются тут в расчет. Как после этого не возвести обладающего всепобеждающим талантом художника в

ранг сильной личности, не противопоставить его толпе — сборищу посредственностей.

Но как часто в искусстве воистину могучие таланты были бессильны и беспомощны перед людским равнодушием.

Только в XX веке получил признание английский поэт Джон Донн, живший одновременно с Шекспиром.

Нас теперь изумляют его стихи:

И в сфере звезд, и в облике планет
На атомы вселенная крошится,
Все связи рвутся, все в куски дробится.
Основы расшатались, и сейчас
Все стало относительным для нас.

И понятно восклицание нашего современника: «Нужно протереть глаза, чтобы удостовериться — это написано не в начале XX века, а за триста лет до того».

Но современника Джона Донна эти стихи почти не волновали. Кроме какой-то узкой кучки людей, знакомой с открытиями Коперника, Кеплера, Галилея, читатель позднего средневековья в своем подавляющем большинстве еще продолжал жить в тесном мире Птоломея и Аристотеля, где все было расставлено по своим местам — солнце кружило вокруг земли, звезды были намертво приклепаны к небесной сфере, ничто не рвалось и не дробилось в хозяйстве божием.

Не волновали стихи Донна и читателей XVIII—XIX веков, мир которых был объяснен гением Ньютона, где опять же все было прочно связано, тоже ничто не рвалось и не дробилось. Могучий, проницательный талант не волновал. Джон Донн был прочно забыт.

Но вот наступил наш век, «пришел Эйнштейн, и стало все как раньше» — «основы расшатались, и сейчас все стало относительным для нас». Теперь уже наукой заинтересовались не жалкие единицы, а широкие массы. Похороненный три столетия назад поэт восстал из гроба, получил мировую славу, бессильный прежде талант обрел силу. В данном случае сила искусства зависела не столько от художника, сколько от зрителя.

Сила светлого таланта Пушкина проверена в течение полутора столетий на сотнях миллионов читателей, а вот совсем недавно в Китае Пушкин был ославлен как вредный, «буржуазный» писатель. И наивно думать, что это

только официальное мнение реакционной верхушки, нет, скорее всего, и рядовой китайский читатель тоже сейчас тайком не хватает Пушкина, не упивается его стихами. Он воспитан на идеях противоположных пушкинским, он живет в такой обстановке, где крайне странными кажутся утверждения:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Пробуждать добрые чувства, когда китайский читатель считает нужным готовиться к войнам в мировом масштабе, к жестокой борьбе, к уничтожению инакомыслящих! А кроме того, призыв к милости, да еще к падшим! Звуки пушкинской лиры могут лишь вызывать озлобление у китайского читателя, гуманное содержание творчества великого поэта не соответствует духовному багажу. Не та почва, чтоб на ней возросли благородные семена.

Художник не может приказать: чувствуйте так, как я того хочу, по моей воле, а не иначе. Если я живу не теми интересами, какими живешь Ты, иного желаю от жизни, значит, то, что чувствую я, для Тебя в лучшем случае безразлично, в худшем — крайне неприятно, вплоть до отвращения, до ненависти.

В любом процессе общения важен не только тот, кто говорит, но и тот, кто слушает. Если мой слушатель глух, то какой бы я силой красноречия ни обладал, разговора не получится. Я не смогу ничего передать ему.

Я живу в одном с Тобой обществе, иного слушателя, кроме Тебя, у меня нет, я вынужден обращаться к Тебе, значит, я обязан учитывать, чем Ты живешь, что Тебя интересует, на что Ты способен реагировать. В какой-то степени Ты диктуешь мне, с чем именно я должен к Тебе обращаться, диктуешь содержание моего искусства, а значит, и форму его, так как форма-то идет от содержания.

Оказывается, я не меньше, если не больше, завишу от Тебя, чем Ты от меня. Можно сказать: *искусство делает не только художник, но и зритель.*

Учитывать Твои желания, Твои интересы... А если я увижу, что Ты ошибочно желаешь то, что впоследствии

для Тебя же самого обернется несчастьем? Должен ли я рабски к Тебе подлаживаться, лишь бы быть понятным Тебе?

С Твоей стороны уместно возражение: «Я один могу ошибиться, но я же не единственный Твой читатель, приглядывайся, прислушивайся ко всем таким, как я. Если подавляющее большинство желает одного и того же, значит, принимай это желание за руководство. Большинство не ошибается».

А так ли это?

Вот пример, приведенный Энгельсом: «Людям, которые в Месопотамии, Греции, Малой Азии и других местах выкорчевывали леса, чтобы добыть таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их вместе с лесами центров собирания и хранения влаги».

Наверняка в те далекие времена подавляющее большинство жителей этих мест считало: вырубать лес — прямая польза, дает хлеб. Если и находились такие, кто предвидел будущее запустение, то, скорей всего, их осмеивали и изгоняли.

Далеко не всегда интересы общества настолько просты и очевидны, что их отчетливо видит любой и каждый. Скорее всего, эти неочевидные интересы первыми разглядят наиболее проницательные отдельные личности, своего рода чемпионы прозорливости. Большинство всегда право?.. Да нет, гораздо чаще большинство придерживается устарелых, а значит, в какой-то степени ошибочных взглядов, а выдающиеся единицы оказываются первооткрывателями истины. История науки сплошь состоит из таких примеров: некогда все поголовно считали, что Земля — центр Вселенной, Солнце кружится вокруг нее, нужна была гениальная прозорливость Коперника, чтобы отвергнуть это общее мнение. Каких бы первооткрывателей ни взять — Галилей, Ньютон, Дарвин, Эйнштейн,— все они выступали против мнения большинства и в конце концов выходили победителями, мир признавал их правоту. Наверняка так было и в других областях человеческой деятельности, не только в науке.

Но художник зависим от массового зрителя, обязан учитывать его желания, его интересы. Учитывать, и только-то? Нет, мало! Он, художник, должен знать больше

того, что желательно зрителю, чувствовать острей и тоньше зрителя, быть проницательней его. Острей, тоньше, проницательней не в чем-нибудь, не в каких-то далеких, посторонних для зрителя областях, а именно в том, что является его, зрителя, жизненной необходимостью, что диктуется его интересами.

И в самом деле грош цена такому художнику, который чувствует так же — не сильней и не острей,— как зритель, видит не дальше его. Этот непроницательный, заурядно чувствующий художник станет предлагать то, что зритель и без него уже видел, слышал, ощущал. Произведения художника не несут нового содержания, повторяют известное, примелькавшееся, набившее оскомину, напоминают анекдот с бородой. Кому интересны подобные произведения, такое непроникновенное ординарное творчество?

Все это никак не мое единоличное открытие, вот что писал в свое время А. И. Герцен: «Поэты в самом деле, по римскому выражению,— «пророки», только они высказывают не то, чего нет и что будет случайно, а то, что неизвестно, что есть в тусклом сознании масс, что еще дремлет в нем».

Художник-поэт лишен произвола сильной личности: куда хочу, туда тебя, зритель, ворочу! Нет, изначальное «хочу» идет от зрителя. Художник не господствует, а помогает.

Азбучная истина: слабые ростки нового среди заматеревшего старого не заметны. Художник обязан увидеть их раньше других, показать новое через старое, что уже привычно для чувственного восприятия большинства.

Все выдающиеся художники в той или иной мере сокрушали косность мысли и чувства того общества, в котором они жили. В этом плане любопытен пример все той же «Анны Карениной» Толстого. Автор поставил эпиграфом к роману слова: «Мне отмщение, и Аз воздам», то есть как бы осуждал свою героиню, разделил бытующие в его среде нравственные нормы — измена жены мужу есть противобожеский грех, достойный наказания. Толстой мыслил не глубже своих читателей, но он был великим художником, способным глубоко и верно чувствовать, а потому всем ходом своего романа он опрокидывает бытующие нормы, оправдывает героиню, вызывает

к ней вместо осуждения сострадание. А дать почувствовать относительность нравственных понятий в человеческом обществе едва ли не более важно, чем, скажем, открыть относительность времени и пространства.

Само по себе нравственное открытие Толстого, сделанное в романе, не столь уж неожиданно и ново. Наверняка задолго до Толстого многие приходили к тому же выводу, что право любить значительней формальных законностей, наложенных обществом на человека. К этому приходили на горьком опыте те, кто попадал в сходные с Анной Карениной ситуации, к этому приходили и чисто теоретическим путем, осмысляя и оценивая общественные отношения. Толстой был не первооткрывателем, а скорее, распространителем нового взгляда. Никто до него так громко, с такой силой убедительности не сказал об этом, никто не сделал это новое достоянием столь широких масс, а значит, никто до Толстого не сделал новую нравственность столь побеждающей силой.

Открыть что-либо насущно полезное,— казалось бы, самая большая заслуга перед человечеством. Но если дело ограничивается одним лишь открытием, оно большой пользы, увы, не приносит. Аристарх Самосский на тысячу восемьсот лет раньше Коперника открыл, что земля не является центром мироздания, но его идея не получила распространения, не повлияла на развитие науки, рассматривается теперь не как ценный вклад, а как некий любопытный курьез. Открытие без распространения силы не имеет.

Более того, среди многих миллионов людей, составляющих общество, по теории вероятностей всегда найдется такой, кто будет достаточно проницателен и глубок, чтоб распознать при благоприятных условиях — это, мол, нужно людям. Само открытие для общества еще не проблема, куда более сложна проблема — убедить общество в его полезности, заставить понять и принять. Только тут открытию дается путевка в жизнь.

Человек — общественное существо, а потому его сила не столько в проницательности разума, сколько в способности понимать друг друга. Мы в наше время это чувствуем с особой остротой: такие достижения разума, как проникновение в секреты атомного ядра, грозят катастро-

фой разобщенному, страдающему от отсутствия взаимопонимания человечеству.

Наиболее трудную задачу выполняет не тот, кто первым открывает необходимое, досель никому не известное, а тот, кто малоизвестное делает широкоизвестным, не гениальный прозорливец, а «волшебник», наделенный даром слепым давать зрение, нечутким — чуткость. Еще раз повторяю, что художник способен неощутимое подавать в привычной для ощущений оболочке, видимое для исключительно прозорливых делать видимым для многих. Отсюда — чрезвычайно важную роль художника в развитии общества, искусства — в жизни.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

«А художники далекого прошлого? — спросишь Ты. — Что они, удаленные от нас толщей веков, а порой и тысячелетий, могут подсказать нам, умудренным, принципиально нового?» Тем не менее искусство Фидия или Андрея Рублева для нас не менее, а часто куда как более интересно, чем творения современных художников.

Но разве новое открывается для нас только в нашем сегодня? Право же, далекое прошлое не в меньшей степени, чем современность, может быть источником этого нового, в том числе и чувственно нового.

Остановимся перед иконой Андрея Рублева. Она волнует нас, возможно, не меньше, чем пятьсот лет назад волновала современников этого художника. Но вот вопрос: так ли волновала, те ли чувства вызывает икона у нас, какие вызывала когда-то?

Зритель XV века в первую очередь видел в иконе Рублева изображение бога, распоряжающегося судьбами людей, в том числе и судьбой самого зрителя. Одно это уже заставляло его испытывать особые чувства — восхищения, благоговения и прочее. Современника Рублева радовали светлые, чистые цвета рублевского «Спаса» не потому, что они чисты и светлы сами по себе, а потому, что это цвета всесильного бога. Как не радоваться, когда всевышний господин столь светел и чист, не подавляет угрюмостью. И то, что сам «Спас» обличьем похож на знакомого зрителю деревенского мужика, говорит о доступности бога-спасителя, о его простоте, понятности, такой не

пугает, а подает надежду: уж если он, зритель, простой смертный, сумел понять бога, то, значит, и мудрый бог поймет зрителя,— обнадеживание вызывало и определенные приподнятые эмоции.

Мы же смотрим на рублевского «Спаса» совершенно иными глазами. Он для нас не икона, нас нисколько не волнует тот факт, что здесь изображен бог. Кроме того, мы — куда более искушенные люди, чем житель русского средневековья, мы видывали и не такие изображения, не такие радующие глаза сочетания цветов. Но для нас в работе Рублева есть что-то такое, чего не существовало для нашего прапрапрадеда — преодоление времени, векового барьера истории. Признаки той далекой жизни, столь привычные, будничные для современника Рублева, для нас необычны, вызывают острые ощущения. Старого зрителя волновали светлые, чистые цвета, потому что эти цвета не какие-нибудь, а «божеские», нас они волнуют уже по иной причине. Оказывается, там, за веками, в темной средневековой Руси, были не только едкий чад печей по-черному, не только злобная междоусобица, кровь, плаха, дыбы, кнут палачей, не только темное, но и светлое, чистое — художник-то не высосал эти цвета из пальца, подсмотрел в жизни. А как нам остаться равнодушными, когда с мертвой доски на нас выглянуло живое лицо простого мужика тех лет, с его характером, с печатью ума в чертах, как не удивиться тому, что он, далекий мужик, имеет сходство с теми, кто и по сей день живет рядом с нами, с кем мы видимся, кого мы по-житейски понимаем и любим. Как не быть нам благодарным художнику, свершившему невозможное — через пропасть лет дал почувствовать давно прошедшее, исчезнувшее, казалось бы, уже недоступное, расширил наше представление о мире в самом труднодоступном для нас направлении — временном.

Зрители XV века и мы, зрители XX, как бы стояли перед двумя разными произведениями. Еще раз уместно повторить — искусство делает не только художник, но и зритель. Мы с Рублевым сотворили нечто свое — *для нас современное*, тогда как зритель XV века и Рублев — свое, современное им.

Как археологи, выкапывая сведения о давно исчезнувшей культуре, обогащают культуру современную, так и мы вглядываемся в Рублева, в Фидия, читаем Гомера

не ради прошлого, а ради интересов нашего сегодня, более того — ради будущего.

Даже неразумные животные чувственно могут воспринимать приметы прошлого, например, след другого животного — был здесь да ушел. И это ощущение недавнего прошлого помогает животному «строить» свое ближайшее будущее, скажем, устремиться в погоню с целью нагнать и съесть того, кто оставил следы. А уж человеку-то и подавно прошлое помогает предвидеть будущее. Мы не в состоянии представить себе дальнейшую эволюцию, не уяснив, не прочувствовав эволюцию предыдущего.

Потому-то нами и ценятся так старые произведения, что несут в себе из первых рук то, к чему мы сами уже не можем вернуться и непосредственно почувствовать. Одно сознание, что мы соприкасаемся с неким выражением давно исчезнувшей жизни — вполне серьезный повод для возникновения определенных чувств. Тут время становится как бы составной частью произведения искусства. Отними древность у наскальных рисунков, окажись они ловкой подделкой современных художников, интерес к ним сразу же упадет: исчезло главное достоинство этих произведений — почтенное время.

Создавая свои иконы, Андрей Рублев не имел в виду нас. Джон Донн был признан через три столетия не потому, что, гениально предугадав научную революцию начала XX века, желал быть полезен именно в это время. Нет, он-то хотел бы быть понятым своими современниками. Художник творит, исходя из требований только своего времени. Ничего не может быть глупее заведомого расчета на признание потомков. Для этого нужно предугадать тех, кто еще не родился. Это уже сродни пророчеству, ничего не имеет общего с предвиденьем.

И если художник не считается со своим временем, не улавливает и не отражает его интересов, то, скорее всего, он будет неинтересен и далеким потомкам, которые не смогут уже по его произведениям достоверно судить о минувшем времени.

Джон Донн отразил доньютоновское изумление перед миром,— «основы расшатались, и сейчас все стало относительным для нас»,— но никак не наше послеэнштейновское изумление. Этим-то он и интересен для нас,— шутка ли, испытываем некое братство духа через века!

* * *

Мы постоянно слышим благородные слова: нужно ценить человеческую личность.

Личность... Нет на земле двух в точности похожих людей. Каждый человек неповторим, несет в себе только ему одному присущие черты, каждый из нас — индивидуальность. И то, что люди не копируют друг друга, то, что они не схожи — одно из важных обстоятельств развития человека. Чем ярче проявляются индивидуальные стороны ума и характера того или иного человека, чем сильней он отличается от остальных, тем больше шансов на то, что общество обогатится от него чем-то новым, доселъ никому неведомым. Без проявления отчетливо выраженной индивидуализации в стаде человекообразных обезьян это стадо так и осталось бы стадом неразумных животных. В лучшем случае оно достигло бы незавидного совершенства муравьиной кучи, где одна особь ничем, собственно, не отличается от другой. «Разнообразие и возможность,— говорит Норберт Винер,— внутренне присущи сенсорному аппарату человека и на деле являются ключом к пониманию наиболее благородных битв человека...»

Итак, нужно ценить личность. Но нельзя ценить то, что непонятно. «Чужая душа — потемки» — горькие слова, родившиеся у людей, отчаявшихся понять друг друга, а значит, не способных друг друга и ценить.

Искусство — процесс общения. Зритель своими желаниями, своими интересами подсказывает художнику. Художник в свою очередь показывает, как лично он чувствует желание зрителя, как лично он видит его интересы. Если художник чувствует столь же заурядно, как и сам зритель, видит не более остро, он, художник, зрителю не интересен, общения не происходит.

Но уж коль общение состоялось, то рождается и определенное взаимопонимание — художником зрителя, зрителем художника, то есть обоюдное понимание массы и личности.

Это понимание основано на способности сходно не столько мыслить, сколько чувствовать — скажем, радоваться одному и тому же, одному и тому же огорчаться. А большего духовного родства представить трудно. В искусстве личность роднится с личностью, человек с человеком.

Родственность не означает похожесть. Ты наверняка отличен от меня, как от остальных людей на земле, но как мы ни отличны, а сходства в нас все же больше — все мы люди, живущие в одном мире, единой жизнью, и нельзя, чтобы Твое горе вызывало у меня радость, а причины моего восторга были для Тебя ненавистны. Почувствуй мое, как свое, если Ты не хочешь, чтоб мы отравили друг другу существование! Это должно стать целью не только искусства, а любого общения.

1973

СОДЕРЖАНИЕ

Тендряков В. Ф.

Т33 Собрание сочинений. В 4-х т. — М.: Худож. лит., 1980.

Т. 3. Роман; Очерк. 1980. — 477 с.

Том объединяет два произведения В. Тендрякова, написанные в разных жанрах роман «Свидание с Нефертити» и очерк «Плоть искусства», но по существу посвященных одной теме — об отношении искусства к действительности.

Т $\frac{70302\text{-}199}{028(01)\text{-}80}$ подписное **Р 2**

Владимир Федорович
Тендряков
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Том 3

Редактор Н. Иванова
Художественный редактор
С. Гераскевич
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Л. Лобанова, И. Филатова

ИБ № 1246

Сдано в набор 15.08.79. Подписано к печати 04.01.80. А09302. Формат 84×108 1/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 25,2 усл. печ. л. 25,87 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Изд. № Шб-4. Заказ № 52[illegible].
Цена 1 р. 90 к.

Издательство
«Художественная литература»
107078, Москва, Ново-Басманная, 19.

Отпечатано с матриц ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского производственно-технического объединения «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15, в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 2 имени Евгении Соколовой «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский пр., 29.

